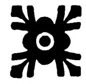
Вяч. Шишков

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в восьми томах



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1961

ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том четвертый

УГРЮМ-РЕКА

Роман

Том первый

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1961

ЖЕНЕ И ДРУГУ
Клавдии Михайловне Шишковой
ПОСВЯЩАЮ

УГРЮМ-РЕКА

Роман

ТОМ ПЕРВЫЙ

«Уж ты, матушка Угрюм-река,
Государыня, мать свирепая».

(*Из старинной песни*)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

На сполье, где город упирался в перелесок, стоял покосившийся одноэтажный дом. На крыше вывеска:

СТОЙ. ЦРУЛНА. СТРЫЖОМ. БРЭИМ. ПЕРВЫ ЗОРТ

Хозяин этой цирюльни, горец Ибрагим-Оглы, целыми днями лежал на боку или где-нибудь шлялся, и только лишь вечером в его мастерскую заглядывал разный люд.

Кроме искусства ловко стричь и брить, Ибрагим-Оглы известен пьющему люду городских окраин как человек, у которого в любое время найдешь запас водки. Вечером у Ибрагима клуб: пропившиеся двадцатники, — так звали здесь чиновников, — мастеровщина-матушка, какое-нибудь забулдыжное лицо духовного звания, старьевщики, карманники, цыгане; да мало ли какого народу находило отраду под гостеприимным кровом Ибрагима-Оглы. А за последнее время стали захаживать к нему кое-кто из учащихся. Отнюдь не дешевизна водки прельщала их, а любопытный облик хозяина, этого разбойника, каторжника. Пушкин, Лермонтов, Толстой — впечатления свежи, ярки, сказочные горцы бегут со страниц и манят юные мечты в романтическую даль, в ущелья,

под чинары. Ну как тут не зайти к Ибрагиму-Оглы? Ведь это ж сам таинственный дьявол с Кавказских гор. В плечах широк, в талии тонок, и алый бешмет, как пламя. А глаза, а хохлатые черные брови: взглянет построже — убьет. Вот черт!

Но посмотрите на его улыбку, какой он добрый, этот Ибрагим. Ухмыльнется, тряхнет плечами, ударит ладонь в ладонь: «Алля-алля-гей!» — да как бросится под музыку лезгинку танцевать. Вот тогда вы полюбуйтесь Ибрагимом...

Заглядывал сюда с товарищами и Прохор Громов.

Оркестр давно закончил последний марш, трубы остыли, и турецкий барабан пьет теперь в трактире сиводрал. Сад быстро стал пустеть. Дремучий, вековой, огромный: нередко в его трущобах даже среди бела дня бывали кровавые убийства. Скорее по домам: мрачнел осенний, поздний вечер.

Прохор Громов, ученик гимназии, сдвинул на затылок фуражку и тоже направился к выходу.

Вдали гудел отчаянный многоголосый крик, словно граяла на отлете стая грачей. Прохор Громов остановился:

«Драка», — и он припустился на голоса прямиком, через клумбы цветов и мочежины.

— Бей!

Он треснул по голове бежавшего ему навстречу мальца. Опытным глазом забияки он быстро окинул поле битвы: на площадке, где обычно играла музыка, шел горячий бой между «семинарами» и «гимназерами». К той и другой стороне приставали мещане, хулиганы, всякий сброд.

— Ура! Ура!

— Гони кутью в болото!

— Ребята!.. Наших бьют!..

Прохор Громов выхватил перочинный нож и марш-марш за удиравшими. В нем все играло диким озорством, захватывало дух. Рядом с ним неслись кулачники, где-то пересвистывались полицейские, трещали трещотки караульных, лаяли псы.

— Полиция! — И все врассыпную. — Лезь по деревьям!..

Но буйный нож Прохора, наметив жертву, уже не мог остановиться. Прохор на бегу полоснул парня ножом. И сразу отрезвел.

— Полиция!.. — с гамом мелькали возле него пролетающие тени. — Айда наутек!

Прохор Громов вскочил на решетку и, разодрав об железо шинель, перепрыгнул.

— Ага! Есть! С ножом, дьяволенок! — сгреб его в охапку полицейский, но он, как налим, выскользнул из рук и — стремглав вдоль улиц.

— Жулик! Имай! Держи!

Но Прохор юркнул в темный проулок, притаился. Закурил. На правой руке кровь.

«А где ж картуз?» — И сердце его сжалось. Новая его фуражка с четкою надписью на козырьке «Прохор Громов», очевидно, попала в руки полицейских. Прохор перестал дышать. Он уже слышит грозный окрик директора гимназии, видит умирающего парня, полицию, тюрьму. «Боже мой! Что ж делать?..»

— К Ибрагиму!

Да, к Ибрагиму-Оглы. Он спасет, он выручит. Ибрагим все может. И Прохор, вздохнув, повеселел.

Он отворил дверь и задержался у порога. В комнате человек пять его товарищей, гимназистов. Ибрагим правил бритву, что-то врал веселое: гимназисты хохотали.

Прохор поманил Ибрагима, вместе с ним вышел в соседнюю комнату, притворил дверь. Чуть не плача, стал рассказывать. Он ходил взад-вперед, губы его прыгали, руки скручивали и раскручивали кончик ремня. У Ибрагима черные глаза загорались.

— Я за ним... Он от меня... Я выхватил нож...

— Маладэц! Далшэ...

— Я его вгорячах ножом... — упавшим голосом сказал Прохор.

— Цх! Зарэзал?.. — радостно вскричал черкес.

— Нет, ранил...

— Дурак!

— Я его тихонько... перочинным ножичком, маленьким, — оправдывался Прохор.

— Дурак! Кынжал надо... Вот, на!.. — Горец сорвал со стены в богатой оправе кинжал и подал Прохору. — Подарка!

— Да что ты, Ибрагим... — сквозь слезы проговорил Прохор. — Меня исключат... Ты посоветуй... как быть?.. — Он опустился на табурет, сгорбился. — Главное, фуражка... По фуражке узнают...

— Плевать! Товарища-кунака защищал, себя защищал. Рэзать нада! Трусить нэ нада... Джигит будэшь!..

На громкий его голос один за другим входили гимназисты.

— Ружье тьфу! Кынжал — самый друг, самый кунак!.. — крутил горец сверкающим кинжалом. — Ночью Капказ едем свой сакля. Лес, луна, горы... Вижу — бэлый чалвэк на дороге. Крычу — стоит, еще крычу — стоит, третий раз — стоит... Снымаим винтовка, стрэляим — стоит... Схватыл кынжал в зубы, палзем... подпалзаим... Размахнулся — раз! — Глядим — бабья рубаха на веревке. Цх!

Все засмеялись, но Прохор лишь печально улыбнулся и вздохнул. Ибрагим сел на пол, сложил ноги калачиком, потом вдруг вскочил.

— Ну, не хнычь... Все справим... Идем! Кажи, гдэ?

Прохор пошел за Ибрагимом.

— Стой! — остановился тот. — Дэнги нада, платить нада. Полиций бэгать. Гимназий бэгать... Дырехтур стрычь-брыть дарам... не бойся... Ибрагишка все может.

Он рылся в карманах, лазил в стол, в сундук, вытаскивал оттуда деньги и засовывал их за голенища своих чувяков.

— Айда!

2

Лето дряхлело. После жаров вдруг дыхнуло холодом. Завыл густой, осенний ветер. С севера тащились сизые, в седых лохмах, тучи. Печаль охватила зеленый мир. Тучи ползут и ползут, льют холодным дож-

дем, грозят снегом. Потом упрутся в край небес, остановятся над тайгой и с тоски, что не увидать им полдневных стран, плачут без конца, пока не изойдут слезами.

Заимка Громовых, что крепость: вся обнесена сплошным бревенчатым частоколом. Верхушки бревен заострены, окованы, как копья: лихому человеку не перемахнуть. Ворота грузные, в железных лапах. Вход в них порос травой; они, должно быть, редко отмыкались. Рядом с воротами — высокая калитка, чтоб можно было проехать всаднику. В стене прорублены дозорины. Два сторожа смену держат, все кругом видят. А что за высокой стеной — с воли не видать. Вот если залезть на вершину сосны, что стоит на краю поляны, да раздвинуть ветки, увидишь: в середке бревенчатого четырехугольника красуется просторный, приземистый, под железом, дом. Он в прошлом году срублен. А раньше жили вот в том, посеревшем от времени, флигеле, что прячется за домом. А еще раньше, когда дедушка Данило Громов на это место сел, он жил с женой в маленькой хибарке. Ее тоже берегут, не ломают: пусть внуки-правнуки ведают, посматривая на покосившуюся черную избенку с кустом бузины на крыше, с чего начал дед и до каких хором своими руками достукался.

Откуда пришел сюда Данило Прохорыч почти семьдесят пять лет тому назад — никто не знал.

— Какое кому дело?.. Пришел, да и весь сказ... Из берлоги вылез, — говаривал старик.

И верно. Сначала один, как медведь, корежил тайгу, потом сына Петра поднял. Мельницу-мутовку на речке сделали, пушнину у звероловов скупали, копейку берегли.

И чрез черный труд, чрез плутни, живодерство, скупость постепенно перекочевывали из хибарки во флигель, из флигеля в просторный новый дом.

А теперь весь сухой, в позеленевшей бороде, лысый, но с прежним орлиным взглядом, древний Данило лежал на кровати, под ситцевым пологом.

Ночь была.

— Петька! — позвал он сына. — Петька! Да встань ты, встань... — и закашлялся и зашептал молитву.

В соседней комнате скрипнула кровать.

— Бегу, батюшка! — И в одном белье, босиком шагнул к Даниле чернобородый, лохматый Петр.

— Зажги лампадку.

Петр, что-то бормоча, тревожно зажег лампадку: час был неурочный.

— Подь сюда... Умираю...

У Петра сердце ударило в грудь, сладко замерло, быстро забилось: наконец-то родитель в одночасье сделает сына богачом.

— Петя, — старик взял его за руку. — Вот и конец... вот и...

Петр вздохнул и пристально поглядел в орлиные глаза его.

— Ничего, батюшка. Может, еще...

— Нет, сынок... Крышка... — Старик тяжело задышал: — Ох, да-кось воды... Помочи голову. — Он взглянул на колыхавшийся огонек лампадки и перекрестился: — Прости, заступница-богородица... Вот, Петька, ты теперь один останешься. Ну, прости меня, душегуба. Разбойник я... Деньги там... Сосну с развилиной знаешь у Зуева болота?.. Ну, отмерь на закат двадцать два шага, камнище найдешь... От камнища три печатных сажени влево: тут:..

Петр затаил дыхание, глаза его жадно заблестели, золотой звяк взыграл в ушах.

— На добрые дела... на упокой души... А то погибель мне будет: там не простится, с вас взыщется, с тебя, с Прошки, со всего кореню нашего... Церковь сделай... Бедным... богаделенку построй какую... Слышишь?

— Слышу, батюшка... Сполню...

— Перекрестись... Встань на колени... Клянись...

Петр дал клятву. Потом спросил:

— А сколько, батюшка... всего-то?

— Много, Петька... Ох, большой у меня камень на душе... Убивец я... Не одну душу загубил...

— Кого же ты?

— Ну, чего там... Ну... вот опосля скажу. Отходить когда буду... в тот свет... теперича еще, может, оклемаюсь. Буди Марью... Зови Прошку. Да-а... ведь он в науке... Зря... Не надо бы. Зови попа... Пусть Гараська верхом смахает в Медведево... Стой! стой! Подожди-ка... Ну ладно... Покличь Марью...

Петр плохо понимал, что говорил отец. Пред его глазами стояла сосна, серел покрытый мхом вросший в землю камень, блестели и сладко позванивали червонцы, а дальше... разливным морем бурлила вольная жизнь-услада.

Петр наскоро чмокнул отца в холодный лоб, брезгливо отер губы и тряхнул головой:

— Батюшка, благослови.

— Бог тебя благословит. Иди покличь.

Петр расставил локти, благодарно взглянул на лучистый огонек у образов и радостно зашлепал босыми ногами по крашеному полу.

— Марья, батюшка зовет! Вставай!.. — потрепал по плечу жену. — Ну, шевелись...

— Чего такое? — поднялась та, щурясь на зажженную свечу. — А ты куда это?

— А куда надо... за попом, — бросил Петр, вытаскивая из-под кровати болотные сапоги и суетливо обуваясь. — Черти... Смазать не могли. Как дерево, твердые, не лезут... Дьяволы!

Петр стучал грузными сапогами, отыскивал пиджак. Скорей... Проверить... Он отлично помнит этот камень, много раз отдыхал на нем во время охоты. «Господи! А вдруг да кто-нибудь нашел?»

Терзаясь неизвестностью: богач он или так себе, ни в тех ни сех, — он спустился с крыльца во двор и покликал Шарика. Тот подкатился к нему серым комом, заюлил возле ног и, обнюхав болотные сапоги, вопросительно взглянул на пустые руки: а где ружье?

— Лука, отопри-ка, — сказал Петр караульному, — с батюшкой чегой-то худо...

— А сам-то куда?

— Да тут, недалече, — смутился Петр и нахлобучил шляпу. — Слушай-ка, Лука. Ты шагай-ка, парень, на кухню. Может, от хозяйки наказ какой

выйдет. За попом али что. Ежели за попом — Гараську пошли, пусть Каурку заседлает, а под попа — Сивку.

— Плох, говоришь, старик-то?

— Плох.

Белобрысый, маленький горбун Лука, жалеючи, почмокал губами, сдернул мокрую шапку и перекрестился.

Петр быстро шагал знакомой тропой, Шарик бежал впереди. Мелкий дождь упорно поливал тайгу. Утоптанная тропинка была скользка. Фонарь светил тускло, и Петр раза два натыкался лицом на сучья.

Он спустился в глухую балку и перешел вброд шумливый поток. Путь сделался труднее, без тропы. Пробираясь сквозь чащу, Петр чутьем, как волк, отыскивал направление. Он шел через тьму напролом, потрескивая сухим хворостом. Мысль его усиленно работала, весь он был в зыбком угаре. Он то становился выше ростом, шире в плечах: тогда перед ним вставала богатая, еще не изведанная жизнь на виду у всех, чтоб про него гул по земле катился, чтоб трубы трубили, колокола бухали. То вдруг мечты проваливались в яму: вновь делался он маленьким-маленьким, его жизнь замыкалась навеки в бревенчатом частоколе, что опоясал колдовской чертой их таежную заимку.

Петр приподнял фонарь и водил им кругом, соображая, куда идти.

«Ага! Зуево болото. — Он огладил Шарика, пошел прямиком. — Вот и сосна».

Он отыскал обомшелый, тот самый, камень, отсчитал три сажени влево. Разгреб пласт хвои с перегноем и стал копать.

Шарик посовал носом в пахучую раненую землю, посмотрел на хозяина и тоже принялся скрести передними лапами, откидывая назад большие комья. Петр взял лом и прощупал яму во всех углах. Лом глубоко уходил в грунт. Пусто. Стал копать в другом месте. Пусто. Петра брало нетерпение. Однако он выбился из сил, подошел к камню, сел и закурил

трубку. Сердце его ныло, фонарь остался на сосне, вдали, а здесь, у камня, тьма. Петр посмотрел туда: ему показалось, что фонарь покачивается, а ветра нет.

— Шарик! — крикнул он и посвистал.

Кто-то слегка ткнул его повыше пятки. Петр вскочил.

— Ты?

Шарик ластился к нему. Фонарь теперь висел неподвижно, но железная лопата там, в яме, цокает о землю и скрипит. Петра затрясло.

«Черти роют... Заклятый клад...» — подумал он.

В яме копошилось серое, седое.

— Шарик! Узы! Узы!

И Петр как сумасшедший бросился к яме. «Надо говорить, надо кричать... А то жуть».

Шершавым голосом твердил вслух, ковыряя землю:

— Ай да дедушка Данило!.. Вот так это отец! Ничего, ладно... Душегуб... А? Ну и хорошая наша порода! Шарик, как ты полагаешь? А? Дедушка-то, Данило-то? Знаешь, который костей-то тебе после обеда выносил?.. Чудно... А посмотреть — святитель, станови в иконостас... Копай! Чего лежишь... Шарик!

Но пес, вытянув лапы, смирно лежал и чужими, бесовскими глазами смотрел хозяину в лицо.

— Ну! Ты! — с испугом крикнул на собаку Петр. — Смотри веселей!

Кругом тьма, жуть. Петр все чаще озирался по сторонам. Кто-то окликает его, ухает, посвистывает, кто-то в дерево ударил. Дождь холодными струйками стекал со шляпы за ворот. Петр терял терпение. Лопата на что-то натыкалась, глухо звуча. Петр то и дело подносил фонарь и со злобой видел лишь толстые перевившиеся, как змеи, корни со свежими на них белыми ранами.

— Не здесь.

Он вновь тщательно отмерил три сажени и стал рыть чуть поправее.

В тайных глазах собаки сверкнул огонь. «Батюшки, да ведь это не Шарик... Ведь это сатана!..» По спине мороз.

— Шарик!.. Ты?!

Но тот, торчком поставив уши, шагнул вперед и заворчал на тьму... Послышался чуть внятный крик:

— А-а-ааа...

Собака ощетинилась, подняла нос и, втягивая сырой воздух, осторожно пошла верхним чутьем на смолкший голос.

— Господи Христе... — встревожился Петр. — А ведь это сатана застращивает...

— А-а-ааа, — вновь почудилось из тьмы, и где-то тявкнул Шарик.

Петр насторожился, переступил ногами: в сапогах жмыхала вода.

«Запугать хочет...» — Он вытащил из-под рубахи крест.

— Ну-ка... С нами бог! — поплевал на руки, расставил ноги и со всего маху, крякнув, долбанул ломом землю. Звякнул металл. Припрыгнув, Петр ударил немного правее.

— С нами бог! — Лом вновь стукнулся о металл и соскользнул.

Забыв про холод, Петр сбросил пиджак и в одной рубахе, напрягая сильные мускулы, швырял землю, как мягкий пух.

— А ну! А ну!

Мрак серел. Занималось пасмурное утро. Петр спустился в яму и, разгребая руками черную грязь, едва выворотил из земли большой котел.

— Ху-ууу!.. — взвыл он и вытащил из котла кожаную суму. Он тряхнул — сума звякнула.

— Золото...

Его руки плясали, лицо улыбалось. На него, виляя хвостом, удивленно смотрел Шарик.

— Шарик!.. Шаринька!.. Эва! Видал?!

Он схватил его в охапку и стал крутиться с ним возле ямы. Стиснутый пес кряхтел, молол хвостом. А Петр притопывал, ухал, подсвистывал и хохотал.

— Папаша!.. Что ты!..

Петр врос в землю. Пред ним стоял всадник. Поодаль, в сереющей мгле, всхрапывала лошадь.

— Папашенька... Это я... — сказал Прохор. Он соскочил с седла и несмело стал подходить к

тяжело пыхтевшему, чуть попятившемуся от него отцу.

Вдруг отец резко нагнулся и выхватил из-за голенища нож.

— Убью!! — Как медведь на дыбах, он встал возле сумы, сверкал ножом и тяжело, с присвистом, дышал. — Проходи, проходи!.. Не отдам... Эва!.. Крест... Рассыпься! Фу!!

— Да что ты, папаша!.. — испугавшись, плаксиво крикнул сын.

— Прошка? ты?!

— Я... Ночевали тут. Заблудились... Ты чего в грязи?

— Так, Прошка... Ничего... Ну, айда домой!.. Дедушка Данило хворает... Плох. А ты пошто приехал?

— Исключили меня... уволили.

Дома они узнали, что их отец и дед, древний Данило, преставился в ночи.

3

Торговое село Медведево стояло при реке.

Петр Громов перебрался с семьей сюда. Он живо выстроил двухэтажный дом со светелкой, открыл торговлю.

Прохору очень нравилась кипучая работа. Он разбивал рулеткой план дома, ездил с мужиками в лес, вел табеля рабочим и, несмотря на свои семнадцать лет, был правой рукой отца.

— Ну, Прошка, далеко пойдешь, — говорил он сыну.

— А как же, папаша, насчет гимназии-то?

— Ну, чего там... дома выучишься... У меня другое в голове...

Он любовно осматривал Прохора, его тонкую, высокую фигуру, орлиный, из-под густых бровей взгляд и думал: «Весь в дедушку Данилу».

Прохор всегда в деле. Улица, катанье с гор, масленичные веселые дни, посиделки с девками не тянули его. В лавке, в тайге с ружьем, во дворе при доме, — Прохор всегда у дела.

Он все старался воду в баню провести при посредстве архимедова винта, как в книжке вычитал, да не сумел. Тогда стал от дровяного склада железную дорогу строить, чтоб можно было в дом дрова возить.

Он много читал, брал книги у священника, у писаря, у политических ссыльных, и прочитанное крепко западало в его голову.

Однажды, перед весной, отец сказал за чаем:

— Прохор, вот что, брат... Возьми-ка ты человека да собирайся на Угрюм-реку... Слыхал?

— Надо, папаша, карту...

— Какую еще карту?.. Дай-ка сюда лист бумаги, я тебе срисую... Хоть сам сроду не бывал там, а от бывалых людей слыхивал.

Марья Кирилловна переводила от сына к мужу испуганный взгляд свой и вздыхала.

— Пофыркай!.. — пригрозил ей Петр. — Раз решено, значит баста. — Он послюнил карандаш и неловко провел по бумаге черту. — Вот это, скажем, дорога от нас в Дылдино, двести сорок верст... Отсюда свернешь на Фролку — верст триста с гаком. Тут река Большой Поток предвидится. Отсюда перемахнешь через волок на Угрюм-реку, в самую вершину.

Купец поставил крест и сказал:

— Это деревня Подволочная на Угрюм-реке. Там построишь плот либо купишь большую лодку, — шитик называется, — сухарей насушишь... Да там тебе укажут мужики, что надо. А весной, по большой воде поплывешь вниз.

— Зачем, папаша? — спросил Прохор и взглянул на мать. Из ее глаз текли слезы. — Зачем же мне туда ехать?

— Ну, это не твое дело. Слушай.

И целый час объяснял Прохору, что он должен делать.

— Река большая... слышал я — три тыщи верст. Она впала в самую огромную речищу, а та — прямо в окиян. Тунгусы, якуты по ней. Там большие капиталы приобрести можно... Будут встречаться торговцы в деревнях, всех расспрашивай и все записывай

в книжку. А язык за зубами, кто ты таков, по какому случаю... А просто — проезжающий. Ну вот, милячок, опасности тебе много будет... А может, и погибнешь, не дай боже... Это к тому, что остерегайся, ухо востро держи.

— Не пущу... не пущу!.. — заверещала мать и притянула к себе сына: — Прошенька ты мой, ангел ты мой!..

Петр резко постучал торцом карандаша в столешницу.

— Будя-а-а!..

Мать выпустила Прохора и, горько заплакав, ушла.

Прохор дрожал. Ему хотелось кинуться, утешить мать, но отец взял его за рукав и усадил возле.

— Ух! — выдохнул отец. — Не слушай баб, не обращай внимания... Иди напролом, никого не бойся, человеком будешь.

— Папаша, а можно мне с собой одного знакомого захватить... Мы с ним вдвоем...

— Кто такой?..

Прохор, волнуясь, рассказал ему о горце. Мать у Ибрагима черкешенка, отец турок, а сам Ибрагим-Оглы называет себя черкесом.

— Верный, говоришь? Так, правильно. Этот народ — либо первый живорез, либо друг, лучше собаки... Валяй!

Прохор повеселел и тут же написал Ибрагиму письмо: «Будешь служить у нас... Папаша положит хорошее жалованье».

Начались сборы. Мать чинила белье, сушила пшеничные сухари, готовила впрок пельмени. Скрепя сердце она примирилась с отъездом сына. Петр старался внушить ей, что в коммерческом деле без риску нельзя.

— Вспомни-ка дедушку Данилу, родителя моего... Двадцать раз у смерти в зубах был, а, слава богу, почитай, до ста лет дожил...

Марья Кирилловна успокоилась.

Дорога еще не рухнула, стояли последние морозы, приближался март. Вдруг среди ночи громко залились собаки.

«Ибрагим», — подумал Прохор и сквозь двойные рамы услыхал:

— Отворай!.. Нэ пустишь, через стэна перемахнем, всех собак зарэжим, тебя зарэжим!..

— Ибрагим! — радостно крикнул Прохор, сунул ноги в валенки и выскочил на двор в накинутом бешмете.

— Ну, Прошка, вот и мы... — обнял его горец. — Спасибо, Прошка. Моя все бросал, тайгам любим, слабодный жизнь любим... Ничего, Прошка, едэм... Живой будэшь...

Отцу с матерью Ибрагим-Оглы понравился. Его разбойничий облик не испугал их: много в тайге всякого народа приходится встречать.

Промелькнула неделя.

— Вот, Ибрагим, — сказал ему Петр, — доверяю тебе сына... Я про тебя в городе слыхал... Можешь ли быть вроде как телохранителем?

— Умру! — захлебнувшись чувством преданности, взвизгнул горец. — Ежели довераешь, здохнэм, а нэ выдам... Крайность придет — всех зарэжим, его спасем... Цх! Давай руку; давай, хозяин, руку. Ну! Будем кунаки...

Чай пили в кухне, попросту, как при дедушке Даниле, — хозяева и работники вместе. Кухня просторная, светлая, стол широкий, придвинутый в передний угол, к лавкам, идущим вдоль стены.

Ярко топилась печь. Кухарка, краснощекая Варварушка, едва успевала подавать пышные оладьи. Масло лилось рекой. Вкусно любили поесть хозяева, да и приказчики с рабочими не отставали.

А хозяйка, Марья Кирилловна, поощрительно покрикивала:

— Ребята, макайте в мед-то!.. С медом-то оладьи лучше... Ибрагимушка, кушай. Варварушка, садись...

Ибрагим пил чай до шестого пота. Он всегда угрюм и молчалив. Но сегодня распоясался: хозяин оказал ему полное доверие, почет.

Ибрагим, обтирая рукавом синего бешмета свой потный череп, говорил:

— Совсэм зря... каторгу гнали...

— За что? — враз спросила вся застолица.

Ибрагим провел по усам рукой, икнул и начал:

— Совсэм зря... Сидым свой сакля, пьем чай. Прибежал одни джигит: «Ибрагим, вставай, твоя брат зарэзан!» Сидым, пьем. Еще джигит прибежал: «Вставай, другой брат рэзан!» Сидым пьем. Третий прибежал: «Бросай скорей чай, твоя сестра зарэзан!» Тогда моя вскочил, — он сорвался с места и кинулся на середину кухни, — кынжал в зубы, из сакля вон, сам всех кончал, семерым башкам рубил! Вот так! — Черкес выхватил кинжал и сек им воздух, скрипя зубами.

Все, разинув рот, уставились в дико исказившееся лицо горца.

Вскоре Прохор с телохранителем отправился в безвестный дальний путь.

4

Петр Громов после смерти родителя зажил широко.

— Все время на цепи сидел, как шавка... Раскачаться надо, мошной тряхнуть...

И в день Марии Египетской именины своей жены справил на славу. Поздравил ее после обедни и не упустил сказать:

— Ты все-таки не подумай, что тебя ради будет пир горой... А просто так, из анбиции...

Гости толклись весь день. Не успев как следует проспаться, вечером вновь явились — полон дом.

Мария Кирилловна хлопотала на кухне, гостей чествовал хозяин.

Зала — довольно просторная комната в пестрых обоях, потолок расписан петухами и цветочками, а в середине — рожа вельзевула, в разинутый рот ввинчен крюк, поддерживающий лампу со стеклянными висюльками.

Посреди залы — огромный круглый стол; к нему придвинут поменьше — четырехугольный, специально для «винной батареи», как выражался господин пристав — почетнейший гость, — из штрафных офицеров, грудь колесом, огромные усы вразлет.

— Ну, вот, гуляйте-ка к столу, гуляйте! — посмеиваясь и подталкивая гостей, распоряжался хозяин в синей, толстого сукна поддевке. — Отец Ипат, лафитцу! Кисленького. Получайте...

— Мне попроще. — И священник, елозя рукавом рясы по маринованным рыжикам, тянется к графину.

— А ты сначала виноградного, а потом и всероссийского проствейна, — шутит хозяин. — А то ерша хвати, водки да лафитцу.

— Поди ты к монаху в пазуху, — острит священник. — Чего ради? А впрочем... — Он смешал в чайном стакане водку с коньяком. — Ну, дай бог! — и, не моргнув глазом, выпил: — Зело́ борзо́!

Старшина с брюшком, борода темно-рыжая, лопатой, хихикнул и сказал:

— До чего вы крепки, отец Ипат, бог вас храни... Даже удивительно.

— А что?

— Я бы, простите бога ради, не мог. Я бы тут и окочурился.

— Привычка... А потом — натура. У меня папаша от запоя помре. Чуешь?

— Ай-яяй!.. Царство им небесное, — перекрестился старшина, взглянув на лампадку перед кивотом, и хлопнул рюмку перцовки: — С именинницей, Петр Данилыч!

— Кушайте во славу... Господин пристав! Чур, не отставать...

— Что вы!.. Я уже третью...

— Какой там, к шуту, счет... Иван Кондратьич, а ты чего?.. А еще писарем считаешься.

— Пожалуйста, не сомневайтесь... Мы свое дело туго знаем, — ответил писарь, высокий, чахоточный, с маленькой бородкой; шея у него — в аршин.

Было несколько зажиточных крестьян с женами. Все жены — с большими животами, «в тягостях».

Крестьяне сначала конфузились станового, щелкали кедровые орехи и семечки; потом, когда пристав пропустил десятую и, чуть обалдев, превратился в веселого теленка, крестьяне стали поразвязней, «дергали» рюмку за рюмкой, от них не отставали и беременные жены.

Самая замечательная из всех гостей, конечно, Анфиса Петровна Козырева, молодая вдова, красавица, когда-то служившая у покойного Данилы в горничных девчонках, а впоследствии вышедшая за ротного вахмистра лейб-гусарского его величества полка Антипа Дегтярева, внезапно умершего от неизвестной причины на вторую неделю брака. Она не любила вспоминать о муже и стала вновь носить девичью фамилию.

Бравый пристав, невзирая на свое семейное положение, довольно откровенно пялил сладкие глаза на ее высокую грудь, чуть-чуть открытую.

Она же — нечего греха таить — слегка заигрывала с самим хозяином. Угощал хозяин всякими закусками: край богатый, сытный, и денег у купца невпроворот. Нельмовые пупы жирнущие, вяленое, отжатое в сливках, мясо, оленьи языки, сохатиные разварные губы, а потом всякие кандибоберы заморские и русские, всякие вина — английских, американских, японских погребов.

Гости осмелели, прожорливо накинулись на яства, — говорить тут некогда, — громко, вкусно чавкали, наскоро глотали, снова тыкали вилками в самые жирные куски, и некоторых от объедения уже бросило в необоримый сон.

Но это только присказка. И лишь пробили стенные часы десять, а под колпаком — тринадцать, вплыла в комнату сама именинница, кротко улыбаясь бесхитростным лицом и всей своей простой тихой в коричневом платье фигурой.

— Ну, дорогие гостеньки, пожалуйте поужинать... — радушно сказала она. — Гуляйте в столовую, гуляйте.

Все вдруг смолкло: остановились вилки, перестали чавкать рты.

— Поужи-и-нать? — хлопнул себя по крутым бедрам отец Ипат, засвистал, присел, потешно схватившись за бородку. — Да ты, мать, в уме ли? — И захохотал.

Пристав закатился мягким, благопристойным смехом и, щелкнув шпорами, поцеловал руку именинницы.

— Пощадите!.. Что вы-с... Еле дышим...

— Без пирожка нельзя... Как это можно, — говорила именинница. — Анфисушка, отец Ипат, пожалуйте, пожалуйте в ту комнату. Гуляйте...

Всех охватило игривое, но и подавленное настроение: животы набиты туго, до отказа, — отродясь такого не было, чтобы обед, а после обеда — этакая сытная закуска, а после закуски — ужин...

Крестьяне стояли, выпучив глаза, и одергивали рубахи; их жены икали и посмеивались, прикрывая рот рукой.

Однако, повинуясь необычному гостеприимству, толпой повалили в столовую. Низкорослый толстенький отец Ипат дорогой корил хозяина:

— А почему бы не предупредить... Я переложил дюже... Эх, Петр Данилыч!.. А впрочем... Могий вместити да вместит... С чем пирог-то? С осетром небось? Фю-фю... Лю-ю-блю пирог.

За столом шумно, весело. Поначалу как будто гости призадумались, налимью уху кушали с осторожностью, пытая натуру: слава богу, в животах полное благополучие, для именинного пирога места хватит. А вот некоторые в расчетах зело ошиблись, и после пятого блюда, а именно — гуся с кашей, отец Ипат, за ним староста и с превеликим смущением сам господин пристав куда-то поспешно скрылись, якобы за платком в шинель или за папиросами, но вскоре пожаловали вновь, красные, утирая заплаканные глаза и приводя в порядок бороды.

— Анфиса Петровна! Желаю выпить... только с тобой. Чуешь? — звонко, возбужденно говорил хозяин и тянулся чокнуться с сидевшей напротив него красавицей вдовой.

— Ах, чтой-то право, — жеманилась Анфиса, надменно, со злой усмешкой посматривая на именинницу.

— Ну, не ломайся, не ломайся... Эх ты, малина!.. Ведь я тебя еще девчонкой вот этакой, голопятенькой знавал...

— А где-то теперича Прошенька наш?.. — вздохнула Марья Кирилловна, усмотрев, как моргает нахальная вдова купцу, а тот...

— Прохор теперь большо-о-й, — сказал отец Ипат, аппетитно, с новым усердием обгладывая утиную ножку. — Надо бога благодарить, мать... Вот чего...

— Да ведь край-то какой!.. А он — мальчишка, почитай.

— Смелым бог владеет, мать... Поминай в молитвах, да и всё.

— Вы помяните у престола, батюшка...

— Помяну, мать, помяну... Ну-ка, клади, чего там у тебя? Поросенок, что ль? Смерть люблю поросятину... Зело борзо!..

— А ну, под поросенка! — налил пристав коньяку. — Хе-хе-хе!.. Ваше здоровье, дражайшая! — крикнул он и так искусно вильнул глазами, что на его приветствие откликнулись сразу обе женщины: «Кушайте, кушайте!» — Анфиса и Марья Кирилловна.

— А поросенок этот, простите бога ради, доморощенный? — поинтересовался старшина, которого начало изрядно пучить, — отличный поросенок... Видать, что свой... Вот у меня в третьем годе...

— Анфиса!.. Анфиса Петровна!.. настоящая ты пава...

— Кто? Кто такой?

— Прошенька-то ведь у меня единственный...

— Ах, хорош, хорош паренек, простите великодушно.

— Петрован!.. Слышь-ка... Данилыч... Эй! хозяин!

— Погодь! Дай ему с кралей-то, — развязали языки крестьяне.

— Эх, на тройках бы... Анфиса! А?

— На тройках?.. Зело борзо!.. — вскрикнул веселый отец Ипат. — Мать, чего там у тебя еще?..

Притащили гору котлет из рябчиков.

— Мимо... не желаем!..— закричал белобородый румяный старик.— Ух, до чего!.. Аж мутит.

— Нет, мать... Ты этак нас окормишь.

— Кушайте, дорогие гости, кушайте.

— Ешь, братцы, гуляй!.. Царство небесное родителю моему... Капиталишко оставил подходящий...

— А ты на церковь жертвуй! Духовным отцам своим.

— На-ка, выкуси! Хxха-ха!.. Мы еще сами поживем... Анфиса, верно?

— Наше дело сторона,— передернула та круглыми плечами.

— А вот киселька отведайте!.. С молочком, с ватрушечками. Получайте.

— А подь ты с киселем-то... Ну, кто едет?.. Эй, Гараська! Крикни кучеру... Тройку!..

— Постыдись!— кротко сказала жена, сдерживая раздражение.

— К черту кисели, к черту!..

— Нет, Петр Данилыч... Погоди, постой... До киселька я охоч...— И священник, икая, наложил полную тарелку.

— Господа, тост!..— звякнул пристав шпорами и, браво крутя ус, покосился на ясное, загоревшееся лицо Анфисы.— Уж если вы, Петр Данилыч, решили широко жить, давайте по-благородному. Тост!

— К черту тост! К черту по-благородному!— махал руками, тряс кудлатой бородой хозяин:— Тройку!.. Анфисушка, уважь...

— Постыдись ты, Петруша... Людей-то постыдись...

— Людей?! Ха-ха!..— И, вынув пухлый бумажник, хлопнул им в ладонь.— Во!.. Тут те весь закон, все люди...

После ужина затеяли плясы. Но у плясунов пьяные ноги плели бог знает что, и от обжорства всех мутило. Отец Ипат, выставив живот, тяжело пыхтел в углу, вдавившись меж ручек кресла.

— Обкормила ты нас, мать, зело борзо. Ведь этакой прорвой пять тысяч народу насытить можно...

— Едем! — появился Петр Данилыч в оленьей дохе и пыжиковой с длинными наушниками шапке. — Анфиса! Батя!..

И в тесной прихожей, где столпившиеся гости тыкались пьяными головами в чужие животы, в зады, Петр Данилыч громко, чтоб все слышали, говорил оправлявшей пуховую шаль вдове:

— Хоть я, может и не люблю тебя, Анфиса... при всех заявляю и при тебе равным манером, отец Ипат... Что мне ты, Анфиска? Тьфу!.. Из-под дедушки Данилы горшки носила. Ну, допустим, рожа у тебя... это верно что, и все такое, скажем в аккурате... Одначе едем кататься вместях. Назло бабе своей. Реви, фефела, реви... Едем, Анфиска!!!

Под звездным небом все почувствовали себя бодрее. Отец Ипат прикладывал к вискам снег и отдувался.

Тройка вороных смирно ждала.

— Марковай, слезовай! — шутливо проблеял батя кучеру Марку, копной сидевшему на козлах в вывороченной вверх мехом яге и собачьих мохнатках.

— Слезовай, Марковай!

— А ты сам, батя, что ли?.. Мотри, кувырнешь хозяина-то, — покарабкалась с козел, бухнула в сугроб копна.

— Ну, скоро вы? — горел нетерпением купец.

— Живчиком!.. Марковай, ну-ка засупонь меня... Не туго!.. Пошто туго-то?! — хрипел отец Ипат. — Аж глаза на лоб. Уф!.. Ну и нажрался... — Перетянутый кушаком по большому животу, он взгромоздился на козлы, забрал в горсть вожжи и, взмахнув кнутом, залихватски свистнул: — Ну-у, вы!.. Богова мошкара... фють!!

Гладкие кони закусили удила, помчались. На первой же версте, на повороте, сани хватились о пень, седоки врезались торчмя в глубокий сугроб, а тройка, переехав священника санями, скрылась.

— Править бы тебе, кутья прокислая, дохлой собакой, а не лошадьми! — выпрастывая из снега хохотавшую Анфису, сердился Петр Данилыч.

— Но, но... Ты полегче... — подбирая меховую скуфью с рукавицами, огрызался отец Ипат. — И не на таких тройках езживали.

Вся сельская знать, бывшая на именинах, мучилась животами суток трое. Отец Ипат благополучно отпился огуречным рассолом, пристав перепробовал все средства из походной аптечки Келлера, староста выгонял излишки банным паром, редькой.

А сам хозяин неделю ходил с завязанной шеей и не мог поворотить головы.

— Ямщичок!.. Чертов угодничек! — брюзжал он на попа.

5

На реку Большой Поток наши путники прибыли ранней весной. Могучая река даже в межень достигала здесь трехверстной ширины, а теперь разлилась на необозримые пространства. Острова были покрыты водой, и только щетки затопленного леса обозначали их границы.

Кое-где еще плыли одинокие льдины, иной раз такие огромные, что, казалось, на каждой из них смело могли бы разместиться деревни три-четыре с пашнями и лугами.

На матерых берегах лежали высокие торосы выброшенного льда, отливавшего на солнце цветами радуги.

Картина была привольна, дика, величественна. Скользящая масса воды замыкалась с одной стороны скалистым, поросшим густолесьем берегом, с другой — сливалась с синей далью горизонта. Вечерами ходили вдали туманы, а утренней зарей тянулись седые низкие облака. Когда вставало солнце, всегда зачинался легкий ветерок и рябь реки загоралась. Ни деревень, ни сел. Впрочем, вдалеке виднелась

церковь. Это село Почуйское, откуда поедут в неведомый край Прохор с Ибрагимом-Оглы.

Прохор сделал визит почуйскому священнику. Тот сидел в кухне, пил водку и закусывал солеными груздями.

— А ты не осуждай... Мало ли чего...— встретил он гостя.— Мы здесь все пьем понемножку. Скука, брат. Да и для пищеварения хорошо. И пищу мы принимаем с утра до ночи: сторона наша северная, сам видишь. А ты кто?

Прохор назвал себя.

— А-а... Так-так... То есть тунгусов грабить надумали с отцом? Дело. Пьешь? Нет? А будешь. По роже вижу, что будешь... Примечательная рожа у тебя, молодец... Орленок!.. И нос как у орла, и глаза...— Батюшка выпил, пожевал грибок.— Прок из тебя большой будет... Ты не Прохор, а Прок. Так я тебя и поминать у престола буду, ежели ты полсотенки пожертвуешь...

— Эх, господи! — вздохнул кто-то в темном углу.— Прок, что бараний рог: оборот сделал, да барану в глаз.

Прохор оглянулся. У печки — конопатый мужик лет сорока пяти, плечистый, лысый вяжет чулки.

— Это Павел,— пояснил батюшка,— слепорожденный. Прорицает иногда. А что, раб божий Павел, разве чуешь?

— Чует сердце. Начало хорошее, середка кипучая, а кончик — оёёй!..— Слепец перекрестился и вздохнул.

— А ты выдыш конца, слепой дурак?! — крикнул Ибрагим.— Шарлатан! Борода волочить надо за такой слова. Чего ребенка мутишь?

— Эх, господи!.. Татарин, что ли, это? — поднял незрячие глаза раб божий.

Батюшка усмехнулся, шепнул Прохору:

— Прохиндей, не верь... Дурачка ломает,— и громко: — А вот скоро пожалуют сюда с плавучей ярмаркой купцы.

— С плавучей? — переспросил Прохор.— Интересно.

Через два дня, на закате солнца; Прохор встречал эту ярмарку. Вдали забелели оснащенные парусами баржи. Течение и попутный ветер быстро несли их к селу. Белыми лебедями, выставив выпуклые груди парусов, они плыли друг за другом.

— Сорок штук... Ибрагим, красиво? — залюбовался Прохор.

Вскоре ярмарка открылась: выкинули флаги, распахнули двери плавучих магазинов. Зачалося торжище.

Все село высыпало на берег. Выезжали из тайги с огромными караванами оленей якуты и тунгусы, по вольному простору реки со всех сторон скользили лодки: надо торопиться окрестным селам и улусам — через три дня ярмарка двинется дальше, за сотни верст.

С ранней весны до поздней осени плывет она на дальний север, заезжает в каждое богатое село и, наконец, останавливается в Якутске. Там все распродается, баржи бросаются на произвол судьбы, и обогатившиеся торговцы возвращаются домой.

Вечером Прохор Громов обошел всю плавучую ярмарку и остановился у самого нарядного магазина. От берега, борт к борту, счалены три баржи. На каждой — дощатые, в виде дачных домов, надстройки. Разноцветные по карнизу фонари и вывеска:

ТОРГОВЫЙ ДОМ ГРУЗДЕВ С СЫНОВЬЯМИ

Прохор вошел в первую баржу-магазин: все полки завалены мануфактурой, сияли четыре лампы-«молнии», покупатели жмурились от ослепительного света, желтый шелк и ситец полыхали от ловких взмахов молодцов-приказчиков. Тунгусы стояли как бы в оцепенении, не зная, что купить, только причмокивали безусыми губами. Пахло пóтом, керосиновой копотью и терпким каленым запахом от кубовых, кумачных тканей.

Хозяин, глава дома, Иннокентий Филатыч Груздев — седой, круглобородый старик — очки на лоб, бархатный картуз на затылок — едва успевал получать деньги: звонким ручейком струилось золото, серебряной рекой текли круглые рубли, осенним листопадом шуршали бумажки. Шум, говор, крик.

— Уважь, чего ты!.. Сбрось хоть копейку.

— Дешевле дешевого... Резать, нет?

— Гвоздья бы мне... Есть гвоздье?

— Проходи в крайний...

— А крендели где у вас тут?

Прохор стоял у стены и улыбался. Ему нравился весь этот шумливый торг: вот бы встать за прилавок да поиграть аршинчиком.

— Раздайсь! Эй ты, деревня! — вдруг гаркнул вошедший оборванец с подбитым глазом. — Прочь, орда! Приискатель прет! Здорово, купцы!! — Он хлопнул тряпичной шапкой о прилавок, изрядно испугав дородную, покупавшую бархат, попадью.

— Почем? — выхватил приискатель из рук матушки кусок бархату.

— Семь с полтиной... Проходи, не безобразь, — сухо сказал приказчик.

— Дрянь! Дай высчий сорт... Рублев на двадцать, — прохрипел оборванец. — Да поскореича! Знаешь, кто я таков? Я — Иван Пятаков, — куплю и выкуплю. У меня вот здесь, — он хлопнул по карману, — два фунта золотой крупы, а тут вот самородок поболе твоей нюхалки. Чуешь?

«Сам» мигнул другому молодцу. Тот весело брякнул на прилавок непочатый кусок бархату:

— Пожалте! Выше нет. Специально для графьёв.

— Угу, хорош, — зажав ноздрю, сморкнулся приискатель. — А лучше нет? Ворс слаб... ну, ладно. Скольки, ежели на пару онуч?

— На пару онуч? — захлопал глазами приказчик. — Тоись, портянок?

— Аршина по два!.. — крикнул «сам» и благодушно засопел.

— Это уж ты по два носи! Дай по четыре, либо, для ровного счета, по пяти.

Когда все было сделано, он швырнул броском две сотенные бумажки, сел на пол:

— Уйди, орда! — и стал наматывать бархат на свои грязнейшие прелые лапы, напялил чирки-бахилы, притопнул: — Прочь, деревня! Иван Пятаков жалаит в кабак патишествовать... Кто вина жрать хочет, все за мной!.. Гуляй наша!..

И, задрав вверх козью бороду, пошел на берег. Длинные полосы бархату, вылезая из бахил, ползли вслед мягкими волнами. Удивленные примолкшие покупатели враз все заговорили, засмеялись.

— Ну и кобылка востропятая!

— Вот какие народы из тайги выползают. Прямо тысячники... — сказал «сам» мягким масленым тенорком. — А к утру до креста все спустит. Смее-ешной народ...

До самой ночи гудела ярмарка. Но купец Груздев затворил магазин рано.

— Почин, слава те Христу, добер. Надобно и отдохнуть. Ну-ка, чайку нам да закусочки... с гостенько-то, — скомандовал он и взял Прохора за руку. — Пойдем, молодчик дорогой, ко мне в берлогу... Знакомы будем... Так, стало быть, по коммерческой части? Резонт. Полный резонт, говорю. Потому, купцу везде лафа. И кушает купец всегда пироги с начинкой да со сдобной корочкой. Ну, и богу тоже от него полный почет и уваженье.

Из мануфактурного отдела они через каламянковые расшитые кумачом драпировки прошли во вторую баржу: «бакалею и галантерею».

Купец отобрал на закуску несколько коробок консервов:

— Я сам-то не люблю в жестянках, для тебя это. А я больше уважаю живность. Купишь осетра этак пудика на два, на три да вспорешь, ан там икры фунтиков поболе десятка, подсолишь да с лучком... Да ежели под коньячок, ну-у черт тя дери! — захлебнулся купец и сплюнул. Сладко сглотнули и приказчики.

— Эх, Прохор Петрович!.. Хорошо, мол, жить на белом свете! Вот я — старик, а тыщу лет бы прожил.

Вот те Христос! Нравится мне все это: работа, труд, а когда можно — гулеванье. Ух ты-но!

— Мы еще с вами встретимся... Вместе еще поработаем.

— О-о-о... А кой тебе годик, молодец хороший?

— Восемнадцать.

— О-о-о!.. Я думал — года двадцать два. Видный парень, ничего. А капиталы у тятьки есть?

— Тятька тут ни при чем. Я сам буду миллионщиком! — И глаза Прохора заиграли мальчишеским задором.

Купец засмеялся ласково, живые черные глазки его потонули в седых бровях и розовых щеках. Он хлопнул Прохора по плечу, сказал:

— Пойдем, парень, хлебнем чайку. Поди девчонки-то заглядываются на тебя? Ничего, ничего... Хе-хе...

До полночи вразумлял его Иннокентий Филатыч, как надо плыть неведомой рекой, что надо высматривать, с кем сводить знакомство. Прохор слушал внимательно и кое-что заносил для крепости в книжку. Сидели они в небольшой комнате об одно оконце. Тут была и походная кровать с заячьим одеялом и три, с лампадкой, образа, возле которых висела гитара.

Старик курил папиросы третий сорт — «Трезвон», прикладывался к коньячку, крестился на иконы, лез целоваться к Прохору и под конец всплакнул:

— Ну и молодчага ж ты, сукин сын, Прошка!.. Вот тебе Христос. Женю... Девка есть у меня на примете. Сватом буду. Запиши: город Крайск. Яков Назарыч Куприянов, именитый купец, медаль имеет. Ну, медаль-миндаль, нам — тьфу! А есть у него дочка, Ниночка... Понял? Так и пиши, едрить твою в кочерыжки...

Весело возвращался Прохор домой. Вдоль берега костры горели. У костров копошились, варили оленину, лежали, пели песни охмелевшие тунгусы в ярких цветных своих, шитых бисером, костюмах, меховых чикульманах, черные, волосатые, с заплетенными косичками. Пылало пламя, огнились красные повязки на черных головах, звучал гортанный говор.

Небо было синее, звездное. Месяц заключился в круг. Большой Поток шумел, искрились под лунным светом проплывавшие остатки льдов.

Через три дня ярмарка двинулась на понизово. Первыми снялись и всплеснули на утреннем солнце потесями-веслами баржи Груздева.

— Только бы на стрежень выбиться! — весело покрикивал старик. — А там подхватит.

Дул сильный встречный ветер; он мешал сплаву: баржи, преодолевая силу ветра, едва двигались на понизово. Но человеческий опыт знал секрет борьбы. С каждой стороны в носовой части баржи принялись спускать в реку водяные паруса.

Прохор, не утерпевший проводить ярмарку до первого изгибня реки, с жаром, засучив рукава, работал. Ему в диковинку были и эти водяные паруса, и уносившиеся в вольную даль расписные плавучие строенья.

— Нажми, нажми, молодчики! Приударь! Гоп-ля!

Рабочие, колесом выпятив грудь и откинув зады, пружинно били по воде длинными гребями.

— Держи нос на стрежень!

— Сваливай, свали-ва-й! — звонко неслось над широкой водной гладью.

— Ха-ха! Смешно, — посмеивался Прохор, помогая рабочим. — В воде, а паруса... Как же они действуют?

На палубе лежала двухсаженная из дерева рама, затянутая брезентом. Ее спустили в воду, поставили стоймя, одно ребро укрепили впритык к борту, другое расчалили веревками к носу и корме. С другого борта, как раз против этой рамы, поставили вторую. Баржа стала походить на сказочную рыбу с торчащими под прямым углом к туловищу плавниками.

— Очень даже просто... Та-аперича пойдет, — пояснил бородач-рабочий и засопел.

Прохор догадался сам: встречный ветер норовил остановить баржу, а попутное течение с силой било в водяные паруса и, противодействуя ветру, перло

баржу по волнам. Барже любо-весело: звенит-хохочет бубенцами, что подвешены к высоким мачтовым флюга́ркам, увенчанным изображением св. Николая. Поскрипывают греби, гудят канаты воздушных парусов, друг за другом несутся баржи в холодный край.

Разгульный ветер встречу, встречу, а струи — в паруса — несутся гости.

— Хорошо, черт забирай! — встряхнул плечами Прохор, его взгляд окидывал с любовью даль.

— У-у-у... благодать!.. Гляди, зыбь-то от солнышка каким серебром пошла. Ну, братцы, подходи, подходи... С отвалом! — кричал хозяин и тряс соблазнительно блестевшей четвертью вина.

Пили, крякали, утирали бороды, закусывали собственными языками, вновь подставляли стакашек.

— Ну, Иннокентий Филатыч, мне пора уж, — сказал Прохор.

Старик поцеловал его в губы.

— Плыви со Христом. А про Ниночку попомни. Эй, лодку!

И когда Прохор встал на твердый берег, с баржи Груздева загрохотали выстрелы.

— До свиданья-а-а!.. Счастливо-о-о!! — надсаживался Прохор и сам стал палить из револьвера в воздух.

На барже продолжали бухать, прощальные гулы катились по реке.

Прохор быстро пришел в село. У догоревших костров валялись пьяные, обобранные купцами инородцы, собаки жрали из котлов хозяйский остывший корм; какая-то тунгуска, почти голая, в разодранной сверху донизу одежде, обхватив руками сроду нечесанную голову, выла в голос.

А в стороне, у камня, раскинув ноги и крепко зажав в руке бутылку водки, валялся вверх бородой раб божий Павел и храпел. На его груди спал жирнущий поповский кот, уткнув морду в недовязанный чулок.

Прохор постоял над пьяным прорицателем, посмеялся, но в юном сердце шевельнулся страх: а ну,

как он колдун? Прохор сделался серьезен, щелкнул в лоб кота и положил на храпевшую грудь слепого гривенник:

— На, раб божий Павел, прими.

6

— Я простоквашу, Танечка, люблю. Принеси нам с Ибрагимом кринку, — сказал поутру Прохор хозяйской востроглазой дочери.

— Чисас, чисас, — прощебетала девушка, провела под носом указательным пальцем и медлила уходить — загляделась на Прохора.

— Адин нога здэсь, другой там... Марш! — крикнул Ибрагим в шутку, но девица опрометью в дверь.

— Цх! Трусим?.. Ничего. Ну, вставай, Прошка, пора. Сухарь дорогу делать будем, шитик конопатить будем. Через неделю плыть: вода уйдет.

Прохору лень подыматься: укрытый буркой, он лежал на чистом крашеном полу и рассматривал комнату зажиточного мужика-таежника. Дверь, расписанная немудрой кистью прохожего бродяги, вся в зайчиках утреннего солнца. Семь ружей на стене: малопулька, турка, медвежиное, централка, три кремневых самодельных, в углу рогатина-пальмà, вдоль стен — кованные железом сундуки, покрытые тунгускими ковриками из оленьих шкур. На подоконниках груда утиных носов — игрушки ребятишек. Образа, четки, курильница для ладана. В щели торчит большой, с оческами волос, медный гребень, под ним — отрывной календарь; в нем только числа, а нижние края листков со святцами пошли на «козьи ножки», на цигарки.

Открылась дверь, сверкнула остроглазая улыбка.

— Давай, дэвчонка... Нэ пугайся. Я мирный, — сказал Ибрагим.

— Чего мне тебя, плешастого, пугаться-то? — огрызнулась Таня. — Я с тятенькой на ведмедя хаживала. — Потом улыбчиво сказала: — Вставай, молодец... чего дрыхнешь! А на гулянку к нам придешь?

— Приду. — Прохор сбросил с себя бурку, стал одеваться.

Девушка услужливо подавала ему шаровары, сапоги, полотняную блузу и все дивилась на его белье:

— Богач какой ты, а? Ишь ты, буковки!.. Кто вышивал-то? Поди краля? И чего она, дуреха... на подштанниках вышила, а рубаху не расшила. Поди она богачка?.. Поди один сахар ест да пряники... А часто с ней целуешься?.. — юлила Таня, стрекотала, и Прохор никак не мог от волнения застегнуть пуговку на вороте. А Таня так и надвигалась грудью, виляла дразнящими глазами.

— Цх! Геть, язва! — прищелкнул пальцами Ибрагим. — Дэржи ее!..

Девушка с звонким смехом опять бросилась вон.

Ибрагим взглянул на Прохора. Тот закинул руки, привстал на цыпочки, сладко потянулся и зарычал, как молодой зверь, поднявшийся из логова. Глаза его горели. Ибрагим покачал головой, сказал:

— Нэ надо, Прошка.

Но Прохор ничего не понял. Простокваша была холодная, освежающая. Прохор крепко сдабривал ее сахаром. Таня удивлялась:

— До чего вы, богатые, сладко живете! Взял бы меня к себе, в стряпки хошь.

В глазах Тани была молодая страсть и настойчивая уверенность. «А я тебя поцелую... А ты мой...» — говорили ее жадные глаза.

Что-то непонятное, новое шевельнулось в Прохоре. Он сказал:

— Душно как... — и вышел на улицу.

Утро было солнечное. На лугу пылали желтые лютики. Прохор осмотрелся. Деревенька, куда прибыли они вчера с Ибрагимом, маленькая. Избенки ветхие, покосившиеся. Лишь дом Тани выглядел богато: четыре окна на улицу, занавески, герань, гладко струганная крыша, дверь с блоком в мелочную лавчонку, над воротами расписанный в синий цвет скворечник.

Прохор спустился к берегу. Узенькая, тихая река дремала.

«Вот она какая — Угрюм-река, — разочарованно подумал юноша. — И на реку-то не похожа».

Он сбросил с правого плеча бешмет и швырнул через реку камнем. Урча и воя, словно большой шмель, камень пулей пересек пространство и ударился в румяно-желтый под солнцем ствол сосны. Прохор опустился к урезу воды, где мужики конопатили шитик.

— Что ж река-то ваша какая маленькая? Камнем перебросишь.

Отец Тани, черный как грач, оторвался от работы и сказал:

— Силы не набрала... Она еще взыграет. Вот ужо к Петровкам, когда все болота оттают в тайге. Поди умучился дорогой-то?

Да, он устал вчера изрядно. Тридцать верст, отделяющие Почуйское от этой деревеньки, показались ему сотней. Грязь, крутые перевалы, валежник, тучи комаров.

— Вот погодите, — сказал хвастливо Прохор. — Через десять лет пророю от вашей Угрюм-реки к Большому Потоку канал. Тогда в Почуйское будете на лодках плавать. А то и пароходы заведу.

— Нет, брат паря, — насмешливо возразил второй мужик, — еще у тебя кишка тонка.

— Чего ты понимаешь, медведь! А я знаю.

— Знаешь ты дуду на льду.

— Осел! — заносчиво крикнул Прохор.

Мужик раскрыл рот, чтобы покрепче обложить мальчишку, но, встретившись с его гневными глазами, нагнулся к шитику и с сердцем затюкал кианкой по конопатке.

Тропинкой спускалась к воде Таня. Она закинула обе руки на коромысло, лежавшее у нее на плечах, от этого грудь ее приподнялась и колыхалась под голубой свободной кофтой.

— Пусти... Ишь ты, загородил дорогу-то, — толкнула она крутым бедром зазевавшегося Прохора и усмехнулась белыми, как фарфор, зубами.

У Прохора заалели щеки. А девушка, подобрав юбку, вошла в воду. Было мелко. Она взглянула на

Прохора, подняла юбку выше и зачерпнула серебряной воды в ведро. Прохор, не отрываясь, смотрел на ее крепкие ноги и вдруг всю раздел ее глазами. Но тотчас же в смущении отвернулся и пошел к лодке: «Выкупаться надо», — подумал он.

Сел в корму и с силой взмахнул легким, как соломинка, веслом. Течение стало быстрее, мелькали кусты, тонули в водоворотах широкие листья кувшинок с распускавшимися бутонами. А вот и приплесок с мелким сыпучим песком. Прохор причалил, быстро разделся и бухнулся в воду.

Июньская вода все же была прохладна. Дул крепкий ветерок, обрызгивал воду серебристой рябью, гнал облака пищавших комаров в тайгу. Прохор фыркал, отдувался, гоготал, сплавал на ту сторону, нарвал фиалок и царских кудрей, расцветил букет огнями желтых лилий и поплыл обратно.

— Что за черт?! А где же белье?!

Лодка была пуста. Очевидно, смахнуло ветром. Он вскочил в лодку и проворно схватился за весло.

— Ау! — вдруг прозвучало из кустов.

— Эй! Отдай! Это ты взяла? Татьяна, ты!

— Иди, миленок, ко мне... Иди!..

Прохор, скорчившись и стыдливо прикрывшись рукой, сидел в лодке. Что ж ему делать?

— Иди... Ну, скорей... Красавчик мой!

Прохор еще не знал женщин, но чувство созревающего мужества частенько беспокоило его. И вот теперь...

Сквозь шелестевшую листву голубело платье Тани, словно невидимая рука сыпала сверху незабудки.

— Отдашь или нет?! Я озяб.

В ответ — задорный смех. В Прохоре закипело раздраженье. Он бросил колючее слово.

— Ушла. Ну тебя! Подурачиться нельзя... — обидчиво крикнула Таня, и кусты зашуршали, как от удалявшейся лодки камыши.

Прохор, все так же прикрываясь и вздрагивая от свежего ветра, побежал к одежде. Его стройное тело, еще не обсохшее от воды, белело на солнце, как снег. Ветер мешал надеть рубаху, трепал рукава, озорничал.

Прохор запутался головой в одежде и вдруг... его ноги кто-то обхватил и жарко припал к ним.

— Нахалка! Ну и нахалка! — весь сжавшись от стыда, с гневом оттолкнул он Таню и, не владея собой, ударил ее.

Девушка вздрогнула, запрокинула голову и умоляюще глядела в его лицо, безмолвная.

Прохор тяжело рванулся прочь, бросился на землю и стал, ругаясь, одеваться. Голос его осекся, сделался слабым:

— Ну и девки у вас... А! Первый раз видишь и лезешь.

А та привалилась к нему, вся дрожала.

Возвращались они в лодке по густым розовым волнам. Страшная, влекущая к себе глубь внизу, и кругом пахло разомлевшими под зноем цветами. Глаза Тани были закрыты; она улыбалась, обнажив свои белые ровные зубы.

Прошла неделя. Шитик был налажен. Заготовленные впрок сухари высушены великолепно — звенели, как стекло. Можно было отправляться в путь, но Прохор медлил.

— Вода еще не пришла, — говорил он.

— Знаем мы эта вода. Нэ надо, Прошка... Рано дэвкам любишь, больно молодой, — журил его Ибрагим, сидя под окном и натачивая об оселок кинжал.

Вот на Кавказе у них другое дело: там солнце, как адов глаз, горячее, там в январе миндаль цветет, и люди созревают быстро. Нет, нехорошо Прошка поступает. Не за тем посылали его мать-отец в неведомую сторону. Кто в ответе будет, ежели с ребенком грех случится? Он, Ибрагим. Кто клятву дал, что ребенок будет цел? Кто?

— Я не ребенок! — крикнул Прохор. — Запомни это. — Он крупным шагом, стараясь громко стучать в пол подкованными сапогами, подошел к стене, сорвал с гвоздя бешмет и вышел на улицу.

Ибрагим, как был, согнувшись над кинжалом, так и остался, только прищелкнул языком и посмотрел

вслед Прохору, словно старый орел на соколенка, впервые выпорхнувшего из гнезда.

Вечер был тихий. Солнце упало в тучи, вода в реке стала сизой, задумчивой, и кровь обнаженного обрыва потемнела. Вдали погромыхивало: наверное, к ночи гроза придет.

Чтоб прогнать восвояси докучливых комаров и мошек, молодежь замкнула себя в огненном кольце: кругом пылают-пышут в небо веселые костры, а в середке — лихая песня, пляс.

Шире раздайтесь, братцы! Прохор в круг вошел. Громче, дружней пойте песни, сегодня Прохор правит отвальную, а завтра... Эх, что там про завтра толковать: пой, кружись, рой землю каблуками!

Грянула звериным ревом песня:

Я любила Феденьку
За походку реденьку...
Я любила Васеньку
За бумажку красненьку!

Прохор в шелковой похрустывающей рубахе, перехваченной по тонкой талии серебряным кавказским поясом — подарок Ибрагима, — сложив на груди руки, отплясывал возле веселой Тани.

А плясовая разухабисто гремела, крепко похлопывали в такт мозолистые ладони.

Здоровые глотки парней и звонкие девичьи голоса далеко разносят песню во все стороны. Плывет песня над рекой, толкается в берега, в тайгу и, будоража пламенные гривы костров, улетает ввысь к сизой, придвинувшейся вплотную туче.

Я любила Мишеньку
За зелену вышивку.
Я любила Петеньку
За шелкову петельку.

Высоко подпрыгивает Прохор, ударяя каблук о каблук, крутится-крутится, не спуская с милого лица влюбленных глаз. А Таня вся ослабла от какого-то

сладкого томленья, тихо улыбается Прохору, лениво взмахивает в воздухе каемчатым платком.

— Целуй! Прохор, целуй! — раздалося от костра.

Прохор притянул к себе Таню, обнял; та жеманно подставила губы, не отталкивая его и не воспламеняясь: игра ведь, не взаправду... Но тут, словно бревном по голове, ударил Прохора злой, сиплый как у пьяницы, голос, скандально заоравший:

Целовала Прохора,
После три дня охала,
Купец в лодочке уплыл,
Таньку навек загубил.

— Ха-ха-ха!! — заржал, всколыхнулся воздух.

— Молчи, Оська! — с хохотом закричали парни.— Он тебя вздует... Он за черкесцем сходит.

У Прохора на голове зашевелилась шляпа. Он шагнул к кострам, где сидели парни.

— Это кто? — Его голос был упруг и мужествен. — Ты?!

Перед ним, задрав вверх ноги и вытянув руки, словно обороняясь от неминучей трепки, лежал на спине верзила-парень и тонким, щенячьим голосом притворно выкрикивал:

— Я... я это. Ей-богу, я... Таперя зашибет меня купец. Вот те Христос... Братцы! Заступись...

Огонь костров освещал его толстогубый, насмешливо кривившийся рот и прищуренные пьяные глаза. Медные глотки сотряслись смехом.

— Черт! — ругнулся Прохор. — Ты издеваться?!— Он ловкой хваткой сорвал с ноги верзилы заляпанный глиной сапожище и, размахнувшись, запустил им в своего обидчика.

Тот хрюкнул, вскочил и грудью полез на Прохора.

— А, купчишка! Ты так-то?

— Уйди!

— Ты наших девок забижать?! Братцы, катай его!

Тут врезались между ними парни, а девки подняли неимоверный визг.

— Прошенька, голубчик! — всхлипывала Таня, увлекая за собою Прохора.

— Мотька! Ты сдурел?.. — крепко держали верзилу парни и шипели, будто гуси: — Вот подвыпьем ужо... Тогды... Без девок чтобы, без огласки... — И к Прохору: — Приятель, где ты? Прохор Петров! Он же ненароком, он так... Ну, давайте мировую.

В бане огонек, но скудный свет его не проникал на волю: единственное оконце заткнуто старыми хозяйскими штанами.

Парней загнал в баню дождь с грозой. Сидели на полу, плечо в плечо, возле четвертной бутыли, тянули водку из банного ковша. Тесные стены и низкий потолок покрыты сажей, пахло гарью, мылом, потом, и все это сдабривалось какой-то кислой вонью, словно от пареной капусты. Пили молча, торопливо, громко чавкали круто посоленный, с луком, хлеб.

Но молчание прервал верзила. Он налил в ковш вина.

— С предбудущим отвалом тебя, Прохор Петров... — И не успел выплеснуть вино в широкий рот, как грянул неимоверной силы громовой удар; все подпрыгнули, хватаясь друг за друга: всем показалось, что баня провалилась в тартар.

— Вот так вдарило! — сказал кто-то.

Беседа не клеилась: не о чем было говорить, всех связала одна мысль, и эта мысль черна, как стены бани. Впрочем, водка брала свое: молчанка сменилась шепотом, а там и загрозили.

Но в эту минуту Прохор плохо слышал. Прохор был в своей мечте, сладостной, влекущей. Все бурливей становится река, шитик мчится быстро, Прохор в веслах, Таня на корме. Солнце, легкий ветер, паруса. А по берегам цветы, цветы. И не цветы, — червонцы, золото. «Таня, золото!» — «Да, Прошенька, золото». — «Таня, мы будем жить с тобой в хрустальном дворце». — «Да, Прошенька, да». А вот и вечер, ночь. Тихо малиновка поет, тихо волна голубая плещет, шепчутся на рябине листья. И течет горячая по жилам кровь, и в одно сливаются влажные губы: «Таня, милая моя». — «Ой, Прошенька!»

— Ой, Прошка! — Это там, в избе.

Сквозь зыбучий мрак непогожей ночи, сквозь вспышки молний, хлюпая по грязи, падая, мчался вдоль деревни Ибрагим. Торопливая дробь дождя и глухие раскаты грома не могли заглушить ни лая собак, ни отчаянных криков и ругани там, у речки, возле бани. Вот хрустнула с крепким треском выломленная из частокола жердь, и загремел высокий знакомый голос.

«Прошка это воюет», — с удовлетворением подумал Ибрагим, ускорив бег. Он натыкался во тьме на изгородь, на избы, на стоявшие среди дороги сосны, вот утрафил в нужный переулок и, шурша обсыпавшимися камнями, покатился по откосу вниз.

Он чутко слышал, как свистела в воздухе жердина, как пьяно орали и крякали парни, вот палка щелкнула, словно по горшку, кто-то крикнул: «Ой ты!» — и крепко заругался.

«Прошка».

Тьма озарилась медлительным блеском молнии. Перед Ибрагимом всплыла из мрака живая куча тел. Вниз лицом валялся Прохор, кулаки парней смачно молотили его по чем попало.

Ибрагим остановился, улыбка скользнула по его лицу.

— Ничего... Пускай.. Пырвычка будет... — Но вдруг его ноздри с шумом выбросили воздух: — Геть, геть!! — И звонкая сталь у бедра звякнула построгому: — Кынжал нэ видишь?! Смерти хочешь? Цх! Режь!

Как овцы от кнута, парни молча — прочь, пьяные ноги не знали, куда бежать, и взмокшие спины в страхе чувствовали по рукоять вонзавшийся меж ребер черкесский нож. Парни падали, хрипели, ползли умирать в кусты, сталкиваясь друг с другом лбами. Один бросился в реку, но и там мстящий клинок настиг его: парень завизжал, как поросенок, и забулькал в воде.

А черкес меж тем стоял на месте, добродушно удивляясь трусости гуляк. Потом шагнул к растеряв-

шемуся Прохору, ощупью сгреб его за шиворот, высоко приподнял, как ягненка, и встряхнул:

— Будэшь дэвкам бегать?! Будэшь водку жрать?!

Прохор шипел, плевался.

— Геть! — крикнул Ибрагим и швырнул его на землю.

Прохор внезапно протрезвел и вмиг проникся к Ибрагиму уважительным страхом, себя же почувствовал маленьким, несчастным. Он всхлипнул, словно наказанный ребенок, и, виновато съежившись, поплелся домой.

За ним угрюмо, важно шагал черкес. Ему хотелось приласкать Прохора, заглянуть в его глаза, сказать теплое, ободряющее слово.

— Другой раз ребра ломать будэм! Щенка худой! — визгливо крикнул он.

Прохор, пошатываясь, надбавил шаг.

Парни всю ночь до зари буйным табуном ходили по деревне, останавливались возле дома Татьяны, вызывали черкеса на честный кулачный бой.

Поутру Татьяна плакала горько, щеки ее горели от двух звонких пощечин, что влепил отец. Мать, пофыркивая, возилась у печки и растерянно сморкалась в фартук.

А черкес, засучив рукава, усердно скреб кинжалом вымазанные дегтем ворота, смывая с них девичий позор. Татьяна уткнулась лицом в подушку, плечи вздрагивали, катились слезы.

И еще нужно Татьяне плакать много-много. Прохор Петрович! Прощай.

7

Погода стояла мрачная, накрапывал дождь, и на душе у Прохора мрачно.

Деревня Подволочная, где жила Татьяна, далеко осталась позади. Шитик беззвучно скользил вперед, обгоняя дремотные речные струи. Поросшие лесом берега томили своим однообразием, и все кругом, под туманной сетью мелкого дождя, было серо, скучно.

На обгорелой лесине, изгибая шею, надсадисто каркала ворона, точно костью подавилась: «Кх-кар, кх-кар». Две сороки стрекотали у самой реки, на окатном камне, блестевшем от дождя.

Угрюм-река наводила на Прохора тоску. Шитик тянуло вперед, а мысли юноши возвращались все к ней, к Татьяне, и никак он не мог направить их в деловое русло.

— Будет, побаловался... надо и за работу, — говорил он сам себе, как искусившийся в жизни человек, деловито вынимал книжечку, зарисовывал повороты реки, всякий раз точно отмечая время.

— Эй, Фарков! А как называется этот ручеек?

Константин Фарков, чернобородый мужик лет пятидесяти, длиннорукий, жилистый, скуластый, сидел в лопашных веслах. Он нанялся поводырем — вроде лоцмана, — он поведет шитик до Ербохомохли, до последнего жилого места на Угрюм-реке.

Фарков утер рукавом серого азяма вспотевший лоб.

— Это не ручеек, а старица, протока. Вот ужо она версты через три широко выйдет.

Прохор отметил в книжке. А на полях написал: *«Таня Таня... Я тебя люблю»,* потом перевернул страницу и стал рисовать по воспоминанию милое лицо; за лицом явилась шея, нагая грудь. Прохор сладко вздохнул, покосился на сидевшего в корме Ибрагима и густо зачеркнул рисунок.

— А вот тут Антипово плёсо зачинается, — раздался крепкий лесной голос Константина. Он стал рассказывать плавно, мерно; он много знает забавных случаев, любопытных историй в этой дикой таежной стороне. — А с Антиповым плёсом дело было так. Значит, стояло зимовьё — вот ужо мимо поплывем, — в зимнее время туда ямщики завертывают греться да чайку попить. И жил там старик Антип, а невдалеке от зимовья похоронена тунгуска, раскрасавица девка, шаманством занималась, волховством. Вот она вставала по ночам из своей могилы и пошаливала по тайге, очень всех пугала...

Прохор весь душой и телом тут, на шитике, но вот внезапно очутился там, у Тани, и вновь пережил

недавнюю гнетущую разлуку с ней. «Надолго ли? Может, навсегда!»

— А морозище палящий был: плюнешь — слюна камнем падает. А он — превечный ему спокой — в одних портках да рубахе. Так навовсе и замерз.

— Кто это? — очнулся Прохор, губы его дрожали, щекотало в горле.

— Кто это?.. Антип... Нешто не слыхал сказ-то мой?

Глаза Прохора все еще далекие, затуманенные, но все-таки он овладел собой:

— Расскажи. Мне интересно.

— Вот я и говорю, — начал Фарков недовольным голосом. — Она, эта самая колдовка-то, шаманка-то, раз середь ночи к Антипу и объявись возьми. Да как крикнет: «Ей, вставай, Антип! Я, мертвая, к тебе пришла, гулять пришла, плясать пришла!..» А сама ударила ладонь в ладонь, подбоченилась — в красном во всем, в бисере, — да как пошла трепака откалывать, только вихорь засвистал по зимовью. Тут наш Антип заорал с перепугу благим матом: «Сгинь, нечистая сила, сгинь!» — да в одном бельишке, босой по морозу-то — дуй, не стой! Дак, веришь ли, пятнадцать верст без передыху отмахал, а тут торнулся, значит, в сугроб носом и застыл... Белый весь лежит, белей снегу белого, и глаза белые, остеклели, как у судака... Вот, брат.

— Удивительная вещь... — Прохор с любопытством поглядел на Фаркова и стал записывать.

— Врешь складно, — крикнул Ибрагим. — По башке веслом тебя! Нэ ври!

В середине шитика сделана крыша из брезента, натянутого на дугообразные упруги. Поэтому, чтоб лучше разглядеть сидевшего в корме Ибрагима, Фарков вытянул шею, бросил весло и сказал:

— Как это — вру?

И Прохор тоже:

— Ничего не врет. — Ему хотелось досадить Ибрагиму за вчерашнее, и в Фаркове он почувствовал своего союзника.

Углы рта Ибрагима с подрубленными черными усами, с окладистой черной бородой, подтянулись к ушам. Ибрагим ядовито ухмыльнулся:

— А ты видал, кто к Антыпу приходил?.. Может, баран приходил! И какой слово говорил — ты слыхал? Может, мертвый старик тебе толковал?

Прохор было ощетинился, но вдруг захохотал:

— А верно ведь.

Фарков в недоуменье помигал, засопел и лениво взялся за весла.

— Такой слых в народе... Я почем знаю... — растерянно сказал он и уставился в булькающую под веслами воду.

Небо прояснилось. Луч заходящего солнца прорезал облако. Все кругом сделалось приветливо и нежно, словно улыбка девушки, только что переставшей плакать. На душе у Прохора тоже стало хорошо. Его подзуживало дружелюбно пошутить над провравшимся Фарковым, но тот был мрачен, все так же смотрел в воду и сердито бухал веслами. Весь вечер плыли в молчанье, и когда река под сгустившимся сумраком сделалась обманчива, Фарков скомандовал:

— Вороти к берегу! Круче, круче!

Упругим поворотом шитик стал резать воду, и дно его зашуршало по прибрежному песку.

Разложили костер, сварили чай и двух застреленных в дороге уток. Фарков все еще мрачен, молчалив. «Нет, он не врун, он все-таки оправдается, докажет», — так говорили его чуть раскосые черные глаза.

Стемнело. Река, тайга и небо слились в одно. Но вот взошел месяц, и картина сразу изменилась: на противоположном берегу обозначились темная щетина леса, песчаный откос и торчавшие в реке коряги, возле которых тихо плескалась вода, играя голубоватым серебром под лучами месяца.

— Сорок верст здесь будет, — проговорил Фарков. — Эвот и зимовье Антипово, — и указал рукой за реку. — Видишь, месяц в стекла бьет. И шаманка там схоронена.

Прохора взяла легкая оторопь, но он с молодым задором сказал:

— Айда туда!.. Посмотрим...

— Айда!

И быстро переплыли реку.

Когда подошли к зимовью, у Прохора заколотилось сердце. Фарков отбросил кол, припиравший снаружи дверь, и оба они, набожно перекрестившись, шагнули в избу. Кромешная тьма в избе. Должно быть, месяц скрылся в облаках.

— Что это? — прошептал Прохор.

— Где?

Ему показалось: светятся во тьме два горящих угля, как пара волчьих глаз. Вот всколыхнулся воздух, что-то мягко прошумело, угли погасли, но через мгновение вновь загорелись в другом месте. Прохор уцепился за руку мужика.

— Ничего... Это я знаю кто... Это филин, — сказал Фарков спокойно, зажег огарок и направился в угол, где светились глаза. Но там ничего не оказалось, кроме черной закоптевшей иконы.

— Оказия, — протянул он, осматривая все углы, — это она, стало быть...

— Кто?

— Ну, кто, кто... Не понимаешь, что ли?

Прохор не заметил, что голос Фаркова борется со страхом, и весело сказал:

— Интересно!..

Фарков с удивлением посмотрел на него и, пристыдившись, успокоился.

— Вот плешастый-то твой не верит, а, между прочим, после Антипа здесь жил солдат из деревни Оськиной. Поплывем мимо, — можешь справиться. Ему тоже видимость была, вот в это самое оконце колдовка-то к нему лазила. — Фарков поднял над головой огарок. — Видишь?

В верхнем конце под самым потолком — дыра.

— Вот шаманка и летала кажину божью ночь к солдату, а тот выпить не дурак, да в пьяном положении с тунгуской-то и снюхался. Да как и не слюбиться. Уж очень собой-то пригожа была, не девка —

сахар. Сильно солдат одобрял ее. Ведь солдат-то думал, что она живая, а на поверку-то вышло — мертвая, самая настоящая покойница.

— А где же она похоронена?

— Вот пойдем, коль не боишься.

Прохор с тревогой осмотрелся. Живая тьма сгущалась, напирала, хотела притушить огарок, как морской маяк волна. Чужие тени мягко шмыгали во тьме, падали, вставали, тянулись к Прохору. Вот словно бы ударили ладонь в ладонь, и с тихим смехом кто-то пустился в пляс — ближе, ближе — кто-то голубой, трепещущий, холодный.

— Пойдем, Фарков! — в страхе метнулся Прохор к двери.

— Ты чего? Это ж месяц.

В окно, как призрак, тянулся свет луны, тени приникли к полу, присмирели, и тьма стала неподвижной, выжидающей.

Шли густыми зарослями. Месяц освещал им путь. Пихтач, сосны и боярка цеплялись за Прохора, предостерегающе шумели, не пускали, с размаху хлестали по лицу.

— Ну, вот смотри, — сказал Фарков, кивнув вверх и закуривая трубку.

На двух врытых высоких столбах лежала колода. Она сверху прикрыта широкими кусками бересты. Береста голубела и, казалось, вздрагивала, словно лежавший под ней мертвец тяжко вздыхал.

«Это ветром», — одинаково подумали оба, но голубой тихий воздух не колебался. Месяц привстал на цыпочки и никак не мог подняться над тайгой, только ревниво поводил серыми бровями: «Эй вы! Полунощники!»

В щель колоды свисал плетью черный жгут.

— Это ее коса... Шаманки-то...

— Черная какая!

Голоса их казались чужими, словно звучали из-под корней тайги. Взглянули друг на друга: лица бледно-зеленые, как у мертвых. Прохор ощутил в груди щемящий холодок.

Вдруг, внезапно вскрикнув, они кинулись прочь. Жуткий страх мчал их через тьму и непролазную трущобу, как белым днем по широкой степи.

Шитик бестолково резал воду, белые весла судорожно взмахивали, хлопали, словно окоченевшие руки утопающего. А вслед несся из тайги свирепый свист. Но Прохор, опамятовавшись, понял наконец, что это из его собственной груди вылетает со свистом воздух. Он бросил весла и отер со лба холодный пот. Обоим было до смерти стыдно. Избегали смотреть друг другу в глаза и, не перемолвившись словом, оба повалились спать.

Сон Прохора неспокойный, огненный. Красное-красное — кровь. Земля красная, небо красное, красная тунгуска в кумачах, шаманка: «Бойе́, друг, обними меня!.. Ну, крепче, крепче!» Истомно, жарко Прохору, сладостно. И слышит он голос: «Вставай, Прошка... Время!»

Прохор проснулся. Ибрагим трясет его за плечо и смотрит строгими глазами ласково.

Утро было погожее, ясное. Шитик шел медленно. Река текла с ленивой негой, словно еще не пробудилась от зеленых грез.

Стали попадаться взгорки. Вдали маячила обнаженная грудь скалы. Голосила ранняя кукушка, влюбленно кричали утки в камышах.

— Ты чего вчера испугался? — тихо спросил Прохор.

— А ты?

— Я, на тебя глядя, побежал.

— А я, паря, на тебя.

Оба улыбнулись и замолкли. Река круто повернула вправо, навстречу солнцу. Вода заблестела, как расплавленный металл. Прохор зажмурился.

— Мне послышалось, будто колодина затрещала. С шаманкой-то... Как хрустнет! — сказал Фарков.

Прохор, щурясь, взглянул на него удивленно:

— А я слышал голос тунгуски: «Бойе, друг, обними меня!..» Ясно так, ясно.

— Врешь?! — И лицо Фаркова вытянулось, глаза стали серьезными. — Точь-в-точь, как тому солдатишке... Точь-в-точь. — Он, крадучись, перекрестился.

— Ты что? Может, лешатика видышь?! Мордам крестишь?! — крикнул Ибрагим.

— Нет, — ответил Фарков. — Сегодня година моей бабушке...

Прохор задумался. Сон и волшебная явь встревожили его. Где-то вдали печаловалась иволга. Прохор вздохнул.

— Нэ надо голову вешать! Надо прамо! — бодро проговорил Ибрагим.

— А вот скоро работа будет... Не заскучаешь, — сказал Фарков. — Чу, как шумит... Это называется Ереминский порог.

Действительно, лишь повернули прочь от солнца, послышался шум, как отдаленный шелест леса. Течение становилось все слабее и слабее, а шум порога возрастал, и, после нескольких изгибней реки, быстрая волна вдруг подхватила шитик.

— Правей!! — кричал Фарков, его голос сливался с шумом. — Нешто не видишь?!

Ибрагим со всех сил навалился на весло и стиснул зубы, а шитик, застряв на камне носом, стал поперек реки и накренился. Фарков соскочил в воду. Вода не доходила до колен. Фарков взял наметку и, борясь с течением, пошагал от берега к берегу, измеряя глубину. Он что-то прокричал, махнул рукой, опять прокричал, но говор воды дробил и путал звуки.

— Нет ходу, — сказал он, приблизившись. — Скидывай, Ибрагим, штаны... Давай глубь искать.

Пошли оба щупать воду, а Прохор стал зачерчивать в книжку положение порога. Но лишь он отвлекался от работы, как в его воображении вставал печальный образ Тани, а в душе вновь оживало чувство одиночества. Почему Ибрагим таким зверем заорал на него, когда Прохор хотел взять с собою Таню? Осел. Как он смеет!

Но вот, словно одуванчик под порывом вихря, развеялся образ Тани, и, вместо грустного, в слезах,

лица, задорная улыбка, бисер, колдовские кумачи: «Бойе, друг!..» Прохор раздражительно отмахивается и долго, с любопытством смотрит в воду: струи быстро мчат под ним, извиваясь меж камней. У него рябит в глазах. Он переводит взгляд на берег, и все, что видит перед собою, все движется, плывет, плывет: кусты боярки и калины, зеленый луг, тихая тайга — все подхвачено обманчивым потоком и — что за черт! — опять тунгуска в красных кумачах извивно крутится в удалом танце, манит Прохора к себе и исчезает в зарослях вновь остановившегося леса. Прохор хмуро улыбнулся: «Чертовка! Ну, погоди, я тебя поймаю, да не мертвую, а живую сграбастаю!» Взбаламученная кровь бьет в мозг, солнце насыщает тело трепетным волнением: хочется любить, хочется перецеловать всех девок.

— Эге-е-ей! Прошка! Сюда...

Прохор проворно сбрасывает с себя одежду, обувается в сапоги, чтобы удобней было идти по каменистому дну, и сходит в воду. Стрежень валит его с ног, он падает на четвереньки, — ух! — подымается, вновь падает, хохочет. Камни круглы, скользки, как голова тюленя, вода бурлит. Прохор неуклюже взмахивает руками и, словно неопытный канатоходец, ловит моменты равновесия. Фарков то и дело выскакивал на берег, ломал ветки ивняка и втыкал их меж камней порога, обозначая будущий путь шитика. Саженях в ста от Прохора лежали две воды: шумно бурлящая, рябая и, дальше, — тихая, застеклелая, вся в солнечном пожаре. Грань этих вод — предел порога. Ибрагим ворочал в воде камни. Прохору показалось издали, что все коренастое тело черкеса, в особенности руки и спина, испещрено темными полосами: «Татуировка», — подумал он, но, когда подошел к черкесу вплотную, удивился:

— Вот так тело у тебя, Ибрагим!.. Как у борца... Должно быть, силенка есть.

— Мало-мало есть. — Ибрагим нагнулся и поднял над головой круглый, в несколько пудов камнище; выпуклые, резко очерченные мускулы под смуглой кожей заиграли, напряглись и, словно вылепленные

из глины, вдруг застыли, настороженно карауля волю господина.

— Цх!.. — И камень, опоясав воздух черною дугою, далеко бухнул в воду.

— Урра!.. — закричал от восторга Прохор.

— Чего орешь, работай!..

Прохор принялся за дело. С юношеским жаром ворочал камни, прокладывая путь.

— Корягу видишь? Вали на нее... Прямо! Саженев через десять будет глыбь.

Работа кипела. Фарков был уже на шитике и выводил его на стрежень. Обратно Прохор шагал рядом с Ибрагимом.

— Заколел, Прошка, замерз? Надо спирт проглотить...

Уловив в голосе Ибрагима ласку, Прохор сказал:

— Ты на меня не злись. Я тебя люблю.

— Мы тоже любим. Ничего, молодца, Прошка. Джигит!

— С тобой, Ибрагим, не страшно... Ты сильный.

— Кынжал сильный... Ибрагишка верный, верней собаки...

Сели усталые, продрогшие. Шитик летел по порогу уверенно, сшибая носом расставленные вехи...

— Слава тебе господи! — облегченно сказал Фарков. — Одно дерьмо прошли.

— А дальше?

— Горя хватим много. Ух, много, братцы! Угрюм-река, она свирепая.

8

Петр Данилыч Громов развернулся вовсю. Катил сквозь жизнь на тройке вскачь. Тройка — на лешевых подковах, и куда мчалась она — Петра Данилыча не интересовало. По кочкам, по сугробам, в пропасть — все равно, лишь бы свистал в ушах веселый ветер, лишь бы хохотало и звенело в голове.

Впрочем, занимался Петр Данилыч и делами по хозяйству. Расширил торговлю, красного товару привез на десяти возах и посадил в лавку доверенным

приказчика Илью Сохатых. Открыл в тайге смолокуренный завод и еще бросился в кой-какие предприятия. Но за всем этим досматривал он плохо, дело култыхалось через пень-колоду.

Марья Кирилловна завела большое молочное хозяйство и так захлопоталась, что некогда было и замечать ей шашни своего мужа.

Тот политику свою сначала вел довольно тонко: уедет на охоту, а сам — к Анфисе, соберется за артелью дровосеков досмотреть, а сам — к Анфисе. Птицы, звери благодаренье небу шлют, дровосеки лодыря гоняют, доверенный Илья Сохатых шелковые полушалки, серебряные денежки нечаянно в карман сует. А хозяин из бутылки буль-буль-буль да — к своей Анфисе.

Илья Сохатых — рыжий, кудреватый, лицо в густых веснушках, отчего малый издали кажется румяным; на самом же деле он тощ и хвор, но до женского пола падок. По селу он — первый франт: всегда в воротничках, в манжетах, в ярких галстуках, набалдашник тросточки тоже не из скромных, портсигар снаружи совсем приличный, а откроешь крышку — там черт знает что: даже отец Ипат, увидавши, сплюнул. Имел еще Илья Сохатых дюжины две зазорных карточек — парни на вечерах хватались за животики, а девушки поднимали благопристойный визг: «Ах, охальник! Тьфу ты!..» — но глаза их горели шаловливо и льнули украдкой к запрещенному плоду.

Илья Сохатых любил крепко надушиться дешевыми духами, от него за три версты несло укропом и чесноком. Перстни, запонки, булавки играли фальшивым стеклянным цветом, часы и цепь накладного золота сияли. Вся эта «цивилизация» — он любил ушибить головы парней и девушек мудреным словом — была им усвоена в уездном городе, откуда добыл его Петр Данилыч Громов, прельстив порядочным окладом и вольготной жизнью.

Девки только им и бредили, а самые пригожие были на ножах друг с другом: каждой он клялся и

божился, что любит лишь ее одну. Иным разом так далеко заходила девья пря, что соперницы, зарвавшись, при всем народе провирались про свои любовные услады: со мной там-то, а со мной вот там-то, а потом, придя в рассудок, горько плакали, кололи болтливые языки булавками, да уж не воротишь.

Мужние жены — молодицы — также не уступали девкам и считали превеликой честью провести с ним ворованную ночь где-нибудь у гремучего ручья под духмяным кустом расцветающей боярки.

Илья Сохатых принимал все ласки, как нечто должное, и хотя отощал, словно мартовский гуляка-кот, но амурные успехи он относил исключительно к своей неотразимой, по его мнению, наружности. И в конце концов так возгордился, что дерзнул облагодетельствовать своей пленительной любовью и Анфису.

Он приступил к этому с сердечным трепетом и нервной дрожью, как боевой, видавший виды конь. Анфиса казалась ему неприступной. Да и хозяин... О, хозяин сразу оторвет ему башку! Но Илья Сохатых весь проникся мужеством. Завладеть Анфисиным сердцем во что бы то ни стало — вот цель его жизни. Итак, смело в бой, к победе!

Подкрутив колечком усики, взбив кок в кудрях, Илья Сохатых направился сумеречным вечером ко двору красотки.

— Никто не видал? — спросила та, открывая дверь. — Ты стучи в калитку — раз-раз! — тогда буду знать, что ты... Понял? А хозяин где? Уехал?

Домишко у Анфисы маленький, плохой, но рядом рубился, иждивением Петра Данилыча, новый дом — скоро новоселье.

Анфиса накрывала стол, ставила самовар. Илья вытащил из кармана бутылку рябиновой и сверток саратовской сарпинки:

— Дозвольте прикинуть. Кажись, к лицу...

Анфиса стояла высокая, поджав алые губы; глаза ее полны холодной насмешки. Илья петушком плясал возле нее и все норовил, примеряя отрез сарпинки, крепче прижаться к соблазнительной Анфисиной груди.

— Кажись, к лицу-с...

Та щелкнула его по блудливой руке, отстранила подарок:

— Не надо. Не нуждаюсь.

— Ах, Анфиса Петровна!.. Это даже огорчительно... Вас, наверное, по всем швам хозяин задарил.

— А тебе какое дело? Да и тебя мне не надо. Ну на что ты мне?.. А, Илюша?

— Ну как это можно. Женщина, можно сказать, во цвете лет... В поэтичном одиночестве. И все такое...

За чаем Илья врал, рассказывал анекдоты про монахов, Анфиса хохотала, отмахивалась, затыкала уши.

— Дурак ты какой!.. И за что тебя девки любят? А, Илюша? Рябой, курносый, чахоточный, чисто овечья смерть.

— А вот вы когда меня полюбите? — спросил он, нервно кусая губы.

— Никогда.

— Неправда ваша... Могу сейчас доказать-с...

Он подкрутил усы колечком, утер потное лицо надушенным шелковым платком, и глаза его из масленых стали умоляющими.

— Анфиса Петровна, ангел! Ну, один только поцелуйчик... в щечку, Анфиса Петровна?

Но та хохотала по-холодному.

— Это мучительство. Как вы не понимаете? Я усиленно страдаю...

— Дурак ты, вот и страдаешь. — Лицо Анфисы вдруг стало ледяным, она словно студеной водой плеснула на распалившееся мужское сердце, и Илья, окутанный внезапным паром страсти, бросился к Анфисе и жадно схватил ее за талию.

— Голубочка! Пшеничка!.. Пощадите мой нервоз...

Вдруг в завешенное окошко кто-то постучал.

— Сам! — в один голос прошептали оба. Со страху у приказчика даже веснушки побелели. Он заметался.

— Полезай в подполье, да проворней. Убьет... Ну!..

Она прихлопнула за ним тяжелую западню в полу и поперхнулась шаловливым смехом. Стучали в калитку. Анфиса отперла.

В белой фуражке, высоких сапогах, поддевке вошел Петр Данилыч. Он оправил густые усы.

— Страсть сладка, чертовка... А что это накурено? Гости были? А?

— Я сама.

— Сама? Давно ли куришь? На-ка, покури...

Она курнула и закашлялась.

— Крепкая очень.

— Крепкая? — Петр Данилыч засмеялся, снял фуражку. — А я сам-то нешто не крепкий? Эвота какой!.. Грудь-то, кулаки-то...

— Богатырь, — улыбнулась Анфиса. Густые, льняного цвета волосы ее закручены сзади тугим узлом, малиновые губы полуоткрыты.

Он поймал ее белые руки, притянул к себе. Она села к нему на колени. Под полом послышалась неспокойная возня. Петр Данилыч насторожился.

— Это кот, — сказала Анфиса, засмеялась, словно серебро рассыпала.

Илья Сохатых замер. Будь проклято это низенькое подполье! Он сидел скорчившись на какой-то деревянной штуке между двух огромных кадок и вдруг почувствовал, что его новые брюки из серого трико в полоску начали сзади промокать. Он вскочил и резко ударился — черт его возьми! — теменем в потолок. «Слава богу, кажется, не слышали, сошло». Тогда он освидетельствовал дрожащей рукой то, на чем сидел.

— Извольте радоваться... Грибы соленые, рыжики!.. — Он возмущенно засопел и сплюнул.

Он теперь стоял, согнувшись в три погибели, упираясь напомаженным затылком в покрытый плесенью половой настил, и раздумывал, как бы ему поудобнее примоститься. Его ухо ловило глухой, сочившийся в щель говор.

— Знаешь, кто у меня в подполье-то? Любовник... — сказала Анфиса и фальшиво рассмеялась.

— Любовник?! — сердито переспросил хозяин, и половицы заскрипели.

У Ильи Сохатых обессилели ноги, и он снова сел в грибы.

— Стой, куда! — крикнула Анфиса. — А ты и поверил? Эх, ты!

Илья Сохатых облегченно вздохнул, осенил себя крестом.

Петр Данилыч что-то невнятно пробурчал. Потом замолчали надолго. Золотая щель в полу померкла — видно, загасили свет.

«От ревности меня может паралич разбить, — злобно подумал Илья; сердце колотилось в нем до боли. — Тоже называется купец... От собственного приказчика красотку отбивает... Эксплуататор, черт!..» Он пощупал карманы. «Эх, спички остались там!» А надо бы переменить место, но он боялся пошевельнуться и терпеливо ждал. Накатывалась густая сизая дрема. Он заснул, клюнул носом и очнулся. Тихо. Страшно захотелось есть. Он ощупал кадку: капуста. Он ощупал другую: «очень просто, огурцы!..» — Вытащил ядреный огурец и с аппетитом съел.

— Свежепросольный,— тихонько сказал он вслух.

Повыше подобрал манжет и вновь запустил руку в кадушку. Огурец попался великолепный. Съел.

— Эй ты, мученик! Да ты, никак, уснул?

— Ничего подобного! — перекосив рот и щурясь от света, крикнул Илья Сохатых и быстро покинул свою тюрьму.

— Да ты не ори, молодчик! — Голос Анфисы серьезен, но грудь тряслась от сдерживаемого смеха. — Будешь фордыбачить — вышвырну.

С чувством большой досады и ревнивой горечи Илья проговорил:

— Вы мне большой убыток причинили. Новый жакетный костюм... На что он теперь похож? А?

Анфиса молчала.

— И вот, на основании вашего легкого поведения, я битых три часа в соленых грибах сидел, в кадушке.

Анфиса ударила себя по бедрам, раскатилась хохотом. На глазах Ильи мгновенно выступили слезы, он бросился к ней с сжатыми кулаками, но она сгребла его в охапку и, все еще продолжая хохотать, звонко поцеловала в потный лоб.

Илья забыл про все на свете.

— Анфисочка!.. Цветочек!..

— Стой, стой, стой! — Она усадила его к столу. — Давай кутить.

Петр Данилыч жил по-русски, попросту: стол у него незатейливый, крестьянский: любил простоквашу, баранину, жирные с наваром щи. Одевался без форсу, просто; в запойное время пил до потери сознания, исключительно водку. Человек без широкого размаха — он решительно не знал, куда ему тратить в этой глуши деньги. Пожертвовал в церковь, выстроил дом Анфисе, завел себе и ей обстановку, ковры, часы, узорчатые самовары. А дальше что? Эх, закатиться бы в Москву! Но крылья у него куриные, да и лета не те.

Все-таки за три-четыре месяца он успел проспиртоваться основательно: нос стал красный, лицо опухло, во сне пальцы на руках плясали, всего подергивало. А когда увидал двух мелких чертенят, сидевших, как два зайца, на шкафу, твердо решил: «Надо сделать перерыв».

Два дня отпивался квасом, ел капусту и на третий уехал верст за пятьдесят в тайгу. Даже с Анфисой не простился.

9

Средина лета. Путники загорели, как арабы. У Прохора три раза слезала с носу кожа.

Плыть весело, и погода стояла на диво. Вставали с зарей. Пока Прохор купался, Ибрагим жарил шашлык. Фарков возился с ведерным чайником. Подкрепившись, бодрые, пускались в дорогу, и уж в пути их встречал солнечный восход.

Вторую неделю весь воздух был насыщен дымом; где-то горела тайга. Солнце стояло большое, кровавое, как докрасна накаленный медный шар. Резкие тона и очертания в ландшафте сгладились, расстояние стало обманчивым, неверным: близкое стало далеким, далекое приблизилось вплотную. Воздух был неподвижен. Сквозь молочно-голубую дымку мутно голубело все кругом: лес, скалы, острова — все тускло, призрачно.

— Ибрагим, как все-таки хорошо... А?

— Вздыху нет. Глаза ест... Худо, Прошка!

Ибрагим сидел теперь в гребях, Фарков на руле: река все еще мелка, а ходовая бороздка извилиста, лукава. Вот глубокое плесо.

Фарков говорит:

— Прохор Петрович, у вас есть нажива? Надо к обеду рыбы наловить.

Прохор подает ему коробочку, наполненную слепнями, и прихлопывает у себя на колене еще двух слепней.

— Черт, сколько их!

У Фаркова пара удочек. Один за другим беспрерывно шлепаются в лодку золотистые караси.

— Жирнущие, — радуется Фарков и через пять минут заявляет: — Ну, теперича довольно.

Прохор привык к щедрым дарам Угрюм-реки и не удивляется. Он глядит на часы — время обедать. Присматривает удобное место и командует:

— Фарков, к берегу!

— Подале бы, Прохор Петрович, — слабо возражает тот, — деревня скоро.

Прохор чувствует, что дал маху: конечно, в деревне остановиться на отдых лучше: яйца, молоко, ватрушки, но раз сказал — сказал.

— Ты слышал?

Фарков ослушаться не смеет.

Уха очень жирная, каша крутая, с маслом, сухарей изобилие, и чай пьют до седьмого пота. Ибрагим среди обеда расстегивает на штанах все пуговки, сбрасывает подтяжки и самодовольно рыгает.

— Что, Ибрагим, наелся?

— Нэт.

Глаза его горят, как у волка, потом затуманиваются; круглая ложка проворно шмыгает из котла да в рот, наконец он еще громче рыгает и, опьянев от еды, ползет на карачках в тень всхрапнуть.

Прохору и Фаркову спать не хочется, Фарков лежит на спине, рассказывает о Даниловской сопке, что миновали вчерашний день. В ней есть пещера, где в недавние времена жил огненный змей. Днем его нету, но лишь наступает вечерний час, словно полымем осияет небо — мчится змей. Много крещеных он украл, все больше молодых баб да девок. Жил с ними, до смерти замучивал. А одна, сказывают, родила от него девку-шаманку, ту самую, что Антипа уморила.

— Неужто?!

— Да уж я не стану врать. А вот на этом самом месте, где мы лежим с тобой, мужик бабе нос отгрыз. Сначала за косы трепал, а тут отгрыз и выплюнул... Не нарушай венца...

Вдруг вода заплескалась где-то близко и — гортанный крик:

— Тяни, тяни-и-и!

Хлопают весла по воде, шуршит под ногами галька. Прохор пристально посмотрел в ту сторону: молочно-голубая сказочная мгла скрывала все. Но вот еще немного, и высунулось из дымного тумана почти рядом с Прохором какое-то мглистое чудовище; оно, как неясный призрак, медленно скользило по воде.

— Ну, черти! Тяни, тяни!

Большой шитик. Его тянут на лямках против течения пятеро, шестой маячит у руля, седьмой на носу с багром: он отталкивает судно от встречных камней и карч.

— Ну, черти, ну!.. Так твою в тартынку! Ну!

Пятеро заходят выше пояса в воду и, напрягая остатки сил, буровят грузный шитик.

— Давай, давай, давай! — залпом несутся гнусавый окрик и крепкая оскорбительная брань.

— Это купчишка тутошний, торгаш, из армян. Уголовный он, — сказал Фарков. — Ужо я его покличу. По шее бы ему накласть. Самый мазурик.

На шитике навалены горой лосиные, скупленные у тунгусов, шкуры, на шкурах — три пуховые подушки; на подушках, как Будда в облаках, важно восседал боровообразный, весь заплывший салом человек. Над ним, бросая тень, колыхался балдахином большой белый зонт:

— Чего встали? Эй ты, рыжий! Тяни, тяни!..

Веревки вот-вот лопнут, они глубоко впились в согнутые спины батраков. Изнывая от жары и напряжения, люди надсадно дышат, словно запаленные, больные кони.

— Аганес Агабабыч! — крикнул Фарков, приподымаясь. — Вот имечко-то чертово, язык сломаешь, — сказал он Прохору. — Политики его тянут, царские преступники. Аганес Агабабыч, слышь!..

— Кто такие? — отозвалась копна.

— Жители. Тут человек с тобой желает перемолвиться, купецкий сын.

— А-а-а, — протянул торговый и загнусил: — Эй, вы! К берегу... Выбирай постромки, подтягивай бурундучную... К берегу, так вашу в тартынку!..

К Прохору подкатился на коротких ногах-бутылках шарообразный, в два обхвата, человек; он пыхтел, сопел, обливался потом, мокрая его рубаха расстегнута, рукава засучены, грудь и руки в густой, как у медведя, шерсти.

— Здрасте вам, — он протянул Прохору пухлую ладонь-подушку. — Откудова? — говор его не русский, гортанный.

Прохор назвал себя, с интересом рассматривая рыхлую копну на ножках, нескладно обмотанную сукном и ситцем. Торгаш сел по-турецки на землю, спросил:

— Что тебе здэсь надыть? Зачем едешь? Может, торговлю желаишь заводить? — Торгаш засопел, запыхтел, продул ноздри и, покачивая круглой бритой головой, гнусаво стал кричать: — На-а-прасно! Здэсь пропадешь... Народ — сволочь, все норовит в долг

без отдачи. Порадка нэт, управы нэт, чисто разор! Тунгусишки — зверье, орда, того гляди зарэжут... Ой, не советую! Ой-ой!..

— Чего зря врешь, Аганес Агабабыч, — не стерпел стоявший у костра Фарков. — У нас народ хороший. А ты ведь, как клещ, впился — ишь брюшину какую насосал...

— Что-что-что? — Сидевшая в песке копна заработала пятками и грузно повернулась вокруг своей оси к Фаркову. — Что? Клещ? Я клещ?!

— А приплывем ли мы до заморозков в Крайск? — спросил Прохор с волнением.

Вновь заработали пятки, и копна с великим сопеньем повернулась лицом к нему:

— Хо-хо! Нэт!.. Ты что? Поворачивай-ка назад скорей... Ты знаешь, скольки верстов? Три тыщи верстов отсюда. А река, о-го! Прямо смерть.

Прохор кивнул на сидевших в стороне рабочих и спросил:

— А это кто такие?

— Полытики... Смутьяни... Ссылка... Дрянь. Я их — во!..

— Почему дрянь? — вопросительно взглянул Прохор в его заплывшие свинячьи глазки.

— А как! Против цара, против порадку, против капиталу? Пускай-ка они, сукины дети, на себе теперича меня повозят, пускай лямку потрут... Ха-ха-ха... Я их — во! — он вскинул мохнатый кулак и покачал им в воздухе.

— Да ты и весь народ рад — во! — сказал Фарков, горевший нетерпением сцепиться с ним.

— Что-что-что? — повернулась вокруг оси, крикнула копна. — Эй, рыжий! Подай-ка сюда книжку! Вот посмотрим... Я знаю тебя, голубчика... Ты Фарков? Знаю... Ты мне больше сотни должен.

— Ни шиша я тебе не должен... Ты в десять раз дороже накладываешь против настоящего... Ты нас процентой задавил... Ты...

— Что-что-что?!

Прохор направился к политическим. Как-то в городе он ходил со знакомым студентом на сходку мо-

лодежи. Там были и политики. С жаром, справедливо говорили, пели, ругали начальство, порядки. Да как хлестко, как правильно! Прохору очень тогда все понравилось; он о многом расспрашивал студента, который дал ему кой-какие книжечки, правда, очень непонятные и скучные. Прохор кое-как перечитал их и возвратил, ничего почти не запомнив.

— Здравствуйте!

Все посмотрели на его высокую фигуру, на гордо поднятую голову с зоркими глазами. Прохор протянул им портсигар. Закурили.

— И охота вам этого черта на себе тащить, — начал Прохор, — пристукнули бы его где-нибудь.

Все ласково улыбнулись, а тот, что в шляпе, сказал, вздохнув:

— Если начнешь пухнуть с голоду, на все согласишься. Чалдоны на работу не берут, да мы и не можем: тайгу корчевать да новину распахивать где ж нам.

Прохор взглянул на его бледное, в черной бороде, лицо, на белые вспухшие от комариных укусов руки, к которым плохо приставал загар.

— Я, например, бухгалтер, а товарищ мой — фармацевт, — сказал другой, тщедушный, маленький, — а вот этот человек — юрист, известное дело, мы к мужичьему труду не приспособлены. А вам сколько лет, товарищ?

— Двадцать, — соврал Прохор, и все поверили ему. — Я тоже купец, — сказал он. — Может быть, сюда приеду работать... Но я дело иначе поведу.

Тот, что в шляпе, безнадежно махнул рукой, но все-таки полюбопытствовал:

— А как же?

— Прежде всего этого бегемота и всех мерзавцев, что грабят мужиков, в омуте утоплю... А потом...

В это время у куста страшно заорали:

— Жулик!!

— Нет, ты жулик!.. Вот кто!

Фарков стоял прямой, как столб, длинные его руки покачивались. Возле него подпрыгивал запыхавшийся толстяк и тыкал в его лицо раскрытой книжкой:

— Вот запись! На-на! В тюрьма!.. На поселенье!..

— Тьфу твоя запись! — свирепо плюнул Фарков на книжку.

Толстяк, припрыгнув, ударил Фаркова в подбородок, тот с размаху ткнул кулаком в тугое брюхо. Толстяк отпрыгнул, пригнул голову и, быстро крутя кулаками, двинулся, как вепрь, к противнику. Тот грохнул кулаком по жирной спинище, как по тесту, но тотчас же от хлесткого удара слетел с ног.

— Ага-а! Так твою в тартынку!!

Все слилось в ревущую неразбериху: вот меж ногами Фаркова хрипит и закатывает глаза налившаяся кровью голова армянина; вот сам Фарков, царапая скрюченными руками землю, юлит, как большой ящер, выползая из-под рухнувшей на него горы. Облаком взметнул песок, с хрустом шебаршит щебень; головни и горящие сучья, словно жар-птица, летят из костра куда попало.

— Довольно!! — во всю мочь вскричал Прохор и бросился их разнимать.

— Баста, — грузно поднялся толстяк, как свекла красный, и стал вправлять в штаны выбившуюся разодранную рубаху. — Будешь?!

Фарков молча схватил весло и опоясал толстяка по широкому седалищу. Звонкий, хлесткий, как пощечина, удар враз покрылся дружным смехом. Армянин схватился за вспыхнувший от удара зад, плюнул в Фаркова и скомандовал:

— Эй вы, к шитику! — И прокричал с подушек, потрясая распущенным зонтом: — В острог, сукин ты сын, в острог!! Есть свидетели!

Забурлила вода, захлюпали натруженные ноги, дальше, призрачней, и все потонуло в мутной синеве. Только слышалось: «Тяни-тяни!» — и терпкая, как турецкий перец, ругань.

Прохор долго грустно смотрел туда, где скрылся чертов призрак, потом подошел к потухшему костру. Фарков теплым чаем тщательно промывал подбитый в свалке глаз.

Вдруг в соседнем кусту зашевелилось — приподнялся Ибрагим и посмотрел на солнце.

— Никак, проспали?

— Кто проспал-то? — засмеялся Прохор. — Тут целая война была... Неужто не слыхал?

— Чего врешь, — мрачно отозвался черкес. — Какой война?

— Вот так дрых! — крикнул Фарков. — Вишь, даже глаз мне подбить могли... Война и есть. Ведь тебя истоптали было. Кувыркались через тебя.

— Чего врешь! — Ибрагим насупил брови и сердито ворочал белками. — Мертвый я, что ли? — Большая лысина его сияла.

Прохор с Фарковым закатились хохотом.

Ибрагим икнул и хмуро потянулся к чайнику.

10

Август перевалил за середину. Северное лето шло к концу. Вода сделалась холодной, отливала сталью. На осине и прибрежных тальниках появились блеклые листы; они трепетали при ветре, как крылья желтых птиц. Удивительно прозрачный воздух делал картину отчетливой, ясной. Издали можно было видеть, как рдеют под солнцем гроздья рябины и боярки. Тишина стала чуткой, жадной до звуков. Крик далекой иволги звучал почти рядом с Прохором; слышно было, как крадется лиса сквозь чащу. Четко плыли в ночи монотонные рыданья сов. А ружейный выстрел напоминал громовой раскат; он долго гудел и рассыпался по граням гористых берегов.

Угрюм-река все еще продолжала быть капризной, несговорчивой. В ее природе — нечто дикое, коварное. Вот приветливо улыбнется она, откроет меж зеленых берегов узкое прямое плесо: «Плывите, дорогие гости, добрый путь!» — и шитик, сверкая веслами, беспечально движется в заманчивую даль. Но вдруг, за поворотом, нежданно расширит свое русло, станет непроходимо мелкой, быстрой. Стремительный поток подхватывает шитик и с предательским треском сажает на мель. А вода, шумно перекатываясь по усеянному булыжниками дну, издевательски

хохочет над путниками, как ловкий шулер над простоватым игроком. Тогда путники, раздевшись, долго с проклятиями бродят по холодной воде, меряют глубину, ворочают булыги, пока не отыщут ход.

И снова тихое, улыбчивое плесо, и снова ему на смену непроходимый перекат или порог. Так изо дня в день. Шиверы, пороги, перекаты, запечки, осередыши.

А время шло не останавливаясь. Парус у времени крепок, пути извечны, предел ему — беспредельный в пространстве океан.

Ибрагим от раздраженья пожелтел; он скрежетал зубами и ругался, а белки выпуклых его глаз в минуты гнева наливались желчью. Прохор обкладывал Фаркова мужичьей бранью, словно тот был виноват во всем.

— Ну и река! Что это за река? Перекат на перекате! Глупая какая-то!.. Столько времени теряем...

— Река бедовая, свирепая... Уж бог создал ее так, — спокойно говорит Фарков. — Она все равно как человечья жизнь: поди пойми ее. Поэтому называется: Угрюм-река. Точь-в-точь как жизнь людская. Да.

Однажды, перед тем как пуститься в путь, Фарков сказал, кивнув за реку на лысую, стоявшую вблизи берега сопку:

— Извольте посмотреть... Вот мы от этой сопки, значит, поплывем, будем плыть весь день, а к ночи, ежели благополучно, опять к ней, только с другого бока.

— Зачем?

— А так уж, значит, матушка-река протекла, — поспешно стал пояснять Фарков. — На пути три огромадных загогулины делает она, по-нашему, три мега. Напетляла она тут верст семьдесят с гаком, а ежели прямо сухопутьем — полторы версты.

Ибрагим покрутил головой и плюнул.

Прохор высадился на противоположном берегу и, отпустив шитик, направился таежной целиной к сопке.

Вот он на плоской, как стол, безлесной вершине. Какая высь! Перед ним сразу открылись неоглядные просторы.

Был ранний час. Восток окрасился зарею, из-под земли, из таежных дебрей вздымался нежными лучами свет. Лицо тайги, приподнятое к небу, было темно-зеленое, угрюмое — ночные тени еще не сползли с него. Тихо. Воздух не шелохнется. Прохор слышит, как тикают его часы. На душе его неспокойно. Там, внизу, в обществе Ибрагима и Фаркова, он за последнее время все чаще и чаще стал замечать в себе тревогу; он ощущал ее смутно, неопределенно, будто невнятный предостерегающий чей-то шепот, но в работе всегда забывал о ней. А вот здесь, сейчас, наедине с собою, открытый всем четырем ветрам, Прохор вновь узнал эту назойливую гостью; она резко постучала в дверь его души, она замутила его сердце каким-то гнетущим предчувствием. Ему вспомнился отец, вспомнилась мать, плачущая горько и благословляющая его в опасный путь большим благословением: «Прошенька, голубчик мой... Да сохранит тебя господь». В то время Прохор — юное, неискушенное дитя — только улыбнулся. Теперь же был у него за плечами опыт: трудный пройденный путь сулил впереди бесконечные лишенья. Скоро они останутся вдвоем с черкесом среди безлюдной неизведанной реки, скоро пойдут по воде туманы, а там и снег, зима. Что делать? Может быть, назад? И вот лишь в этот миг юноша ясно и отчетливо уразумел кровную тревогу своей матери: «Прошенька... Да сохранит тебя господь».

Прохор это вспомнил, перечувствовал, не раз вздохнул. Так неужели впереди погибель? И пало в мысль желание усердно помолиться, попросить у бога милости: да пошлет ангела-покровителя, да сделает путь его счастливым. С благоговением опустился он на покрытые росой каменные плиты, припал лицом к земле. Он усиленно морщил лоб, вздыхал, стараясь вызвать слезы, но кто-то мешал ему сосредоточиться; он плохо слышал слова молитвы, которые шептали его губы. «Ангел мой святый,

хранителю души и тела моего...» Да, да... Это она, это они мешают обе — Таня и прекрасная шаманка. Греховно улыбаются, влекут его к себе... «Хранителю мой святый, вся ми прости, елико согреших словом, делом, помышлением...» Однако молитва не помогла: в душе хандра, развал.

Но вот в его глаза ударил новорожденный свет. И обманные призраки враз исчезли. Прохор быстро вскочил и закричал громко, торжественно, от всего сердца:

— Солнышко! Солнышко!

Свежими лучами брызнуло солнце в молодую душу, смятенья — как не бывало.

— Здравствуй, солнышко! — Прохор больше ничего не мог сказать, его губы прыгали. Он чувствовал в этих живительных лучах крепкого помощника, душа его наполнилась надеждой и уверенностью.

— Ты и черкес... Вас двое... Ничего не боюсь я... Солнышко!

Дыхание Прохора сделалось ровным, неторопливым, кровь в сердце успокоилась: он вытер слезы и долго любовался расстилавшимися пред ним далями.

Прохладным, еще не разогревшимся костром солнце медленно всплывало в бледном небе, пологие лучи его вяло блуждали по шапкам леса, покрывавшим склоны и вершины гор. И все, что никло в дреме головой, теперь раскрывало глаза, пробуждалось.

Проснулся воздух, свежие ветерки взвихрились над тайгой, шелковым шорохом прошумели хвои осанну лучезарному властителю земли и — вновь тишина. Только слышатся хорьканье игривой белки и гордый клекот орла. Белка беспечно скачет с сучка на сучок, распустив свой пушистый хвост; вот она облюбовала шишку с орехами,— господи благослови!— поест сейчас. Но орлиные когти до самого сердца вонзились в теплый ужаснувшийся комок, и бисерные глаза зверька навек закрылись.

Прохор вскинул ружье, и — бах! — орлиная голова слетела с легких плеч, и владыка птиц камнем

рухнул в пропасть. Рявкнул медведь в логу; он поднял оскаленную морду на прозвучавший выстрел и отхаркнулся кровью оленя, которого он только что задрал у холодного ключа. И началось, и началось... Кровь, трепет, смерть во славу жизни. Железный закон вступил в свои права.

А солнце движется своей чредой... Какое ему дело, что творится где-то там, в земном ничтожном мире. Равнодушное, без злой воли, радости и гнева, оно все жарче, все сильней разжигает свой костер.

Прохор медлил уходить. Для взора все теперь стало отчетливо и ярко. Сверкала Угрюм-река. Она казалась отсюда тихим извивным ручейком. «Что это чернеет на ней маленькой козявкой? Неужели шитик?»

Внизу, недалеко от подножья сопки, вьется тонкая струйка голубого дыма.

«Ага, тунгусское стойбище».

На ярко-зеленой, облитой солнцем поляне торчали тремя маленькими бурыми колпаками три остроконечных чума.

Прохор закурил папиросу и торопливо стал спускаться с сопки. Он много слышал от Фаркова об этих лесных людях — тунгусах, но ни разу не видал их вплотную. Прохору начали попадаться олени. Крепкие, красивые, с раскидистыми рогами, — шерсть лоснилась под солнцем, черные глаза блестели. А некоторые были облезлые, новая шерсть еще не отросла, они прихрамывали; на ногах, повыше копыт, гноились раны, в которых кишели белые черви.

— А-а, люча [1], прибежаль русак! Здраста, бойе.

Мелкими шажками, приминая белый кудрявый мох, подходил к нему старик тунгус.

— Здраста! — проговорил он гортанным голосом и потряс протянутую руку Прохора. — Как попаль, бойе? Торговый, нет? Огненный вода есть, нет? Порох, дробь, цакар, чай? А? — Старик прищурил

[1] Люча — русский.

раскосые узенькие глаза и улыбнулся всем своим безволосым, в мелких морщинах, лицом.

— Айда! — махнул рукой тунгус, и они пошли. Тонкие стройные ноги старика в замшевых длинных унтах четко отбивали быстрые шаги.

— Куда, бойе, низ бежишь на шитике? — спросил тунгус, когда вышли на берег.

— В Крайск, старик, в Крайск. Доплывем?

Тунгус удивленно посмотрел на него и потряс головой:

— Нет. Сдохнешь.

Прохор начал возражать, горячо заспорил, но тунгус стоял на своем:

— Совсем твоя дурак... Зима скоро... Шибко далеко, бойе. Боро-ни-и-и бог!

В стойбище жили три семьи. Пылал огромный костер — гуливун, — возле него суетились бабы, старые и молодые; они стряпали, варили в котлах мясо. Сухопарый тунгус в грязнейшей рубахе и с длинной черной, как у китайца, косой ссекал с мертвой оленьей головы рога. В стороне сидела жирная старуха с голой, неимоверно грязной грудью. Она скребла острым скребком растянутую оленью шкуру, выделывая из нее замшу — ровдугу. Возле нее стояло сплетенное из бересты и обмазанное глиной большое корыто, доверху наполненное прокисшей человеческой мочой, в которой дубилась кожа. Старуха все время что-то бурчала себе под нос толстым голосом и страшно потела от усилий.

— Э, бойе!.. Э!.. — Она не умела говорить по-русски, но Прохор понял, что она просит ружье. Глаза ее вспыхнули.

Старик тунгус, все время не покидавший Прохора, сказал ему:

— Это мой баба... Шибко хорошо стрелят... медведя бил, самого амикàна-батюшку... Шибко много... Борони-и-и бог!.. Вот слепился... Мало-мало кудой глаз стал...

Старуха вертела в руках ружье, прищелкивала языком, вскидывала на прицел: «бух-бу-х!» — и радовалась, как ребенок.

Над небольшим костром у чума суетилась в работе молодая женщина. Ей жарко — солнце припекало не на шутку — она по пояс нагая, только грудь кой-как прикрыта сизым халми[1], вышитым бисером и отороченным лисьим мехом.

В разговорах со стариком Прохор воровским взглядом ощупывал стройную фигуру женщины — от черных с синим отливом волос до маленьких босых, покрытых грязью ступней.

— Это мой дочка... — сказал старик. — Мужик сдох, околел маленько. Одна осталась. Больно худо... совсем худо. Мальчишку надо, а не рожает... — И голос старика стал грустным. — Я богатый: много олень, пушнина, да то, да се... Умру, кто хозяин? Ой, шибко мальчишку надо, внука. Вот останься, бойе, поживи мало-мало. Она шибко жарко обнимат, хе-хе-хе... Борони бог как! Рази кудой баба? А? Оставайся, любись. Родит мальчишку, уйдешь тогда...

Прохор сконфузился. Молодая вдова, видимо, понимала по-русски. Она кокетливо изогнула свой тонкий стан, отчего бисерный передник приподнялся, и украдкой улыбнулась Прохору.

— Какой тебе год? Двасать пьять будет? — спросил старик.

— Нет, семнадцать, — смутился Прохор.

— Ей-бог? Тогда не нужно... Семнасать — чего тут... Тьфу твоя дело! — запыхтел старик.

Прохор покраснел. Тунгуска выпрямилась, опустила глаза, что-то сказала тихо и вздохнула.

— Может, на шитике шибко большой мужик есть? А? — сюсюкал гортанным голосом старик. — Шибко надо...

Четыре девочки с любопытством разглядывали Прохора, шептались, тыча по направлению к нему пальцами, на которых белели серебряные кольца. Потом вдруг все засмеялись, словно защебетала веселая стая птиц, и кинулись навстречу высокой молодой девушке.

---

[1] Халми — кожаный нагрудник.

— Другой дочка, — сказал старик. — Шибко молодой... Шибко сладкой. Ну-ка, гляди-ка...

Прохор поклонился ей, сняв шляпу. Но девушка, направляясь с ведром к реке, прошла молча, даже не взглянула на него. Ее гордо поднятая голова была в ярко-зеленом тюрбане, оттенявшем смуглый румянец ее щек. Оранжево-огненный кафтан с красными широкими полосами по борту и подолу плотно облегал гибкую талию; позванивали и блестели серебряные украшения на груди и чеканные браслеты, охватившие запястья тонких рук. А ноги — в цветистых, слошь шитых бисером сапогах.

Двигалась девушка быстро, чуть подрагивая бедрами, и рдела под солнцем в своем оранжевом кафтане, как столб пламени.

У Прохора замерло сердце. Он прошептал: «Вот так красавица!..» Ему захотелось догнать ее.

Старик хлопнул Прохора по плечу, скрипуче засмеялся и прищелкнул языком:

— Скусна! Вот женись!.. Оставайся: тайгам гулять будешь, амикана-дедушку промышлять, белковать будешь... А? Все тебе отдам, всех оленей, на!

— Вот года через два приеду, женюсь, — улыбнулся Прохор.

Старик безнадежно засвистал.

— Сейчас женись! Чего ты... — И голос его стал серьезным. — Два года двасать местов будем, не найдешь... Мой сидеть не любит, тайгам гулял, все смотрел... Чего ты! А девка — самый скус!.. О-о, какой девка!.. Не дай бог. — Старик почмокал и сглотнул, потом потащил Прохора в тайгу. — Вот пойдем, оленей глядеть будем, козяйство... Женись, бойе, женись... Верно толкую, чего ты!

И крикнул:

— Эй, бабы!.. Жрать скорей работай! Гость угощать надо... Шибко скорей!..

Ночь надвигалась тихая, звездная. Прохор лежал возле костра на берегу, поджидал запоздавший шитик. От нечего делать он просматривал записи

в своей книжке. Старик тунгус сообщил ему много любопытных сведений. Он знает теперь, где кочуют тунгусы и куда выходят они зимой, чтоб обменять богатый зверовой улов на ничтожную подачку от русских торгашей-грабителей. Прохор приедет сюда и все устроит по-иному: пусть вздохнет свободно этот гостеприимный, ласковый народ. Или вот еще: та сопка, на вершине которой он был утром, оказывается, имеет в себе медь. В его руках кусок металла, найденного стариком в каменном обрыве сопки. Старик проговорился также и про золото; тунгусы знают, где оно родится, но не хотят сказать, а то придут, мол, русские и повыживут из тайги все их племя. Нет, лучше пусть лежит в земле!

Конечно, Прохор будет здесь работать, проложит широкие дороги, оживит этот мертвый край, разделает поля, а главное — схватит вот этими руками реку и выправит ее всю, как тугие кольца огромного удава. Обязательно, обязательно все будет так. Прохор Громов только начинает свою жизнь. О, погодите!

Лицо юноши в эту минуту казалось суровым, меж бровями легли глубокие складки, и старческие приблудыши морщины протянулись от углов губ.

А все-таки, как хороша эта девушка! Вдруг он женится на ней... Мать, наверное, согласилась бы, а вот отец... Во всяком разе — вернется домой — поговорит. Ну и чудак этот старик тунгус. Славный старик, хороший. Разыскал спирту, напился пьян, угостил Прохора и все уговаривал его остаться в тайге, с его дочкой. Хвалил ее на все лады, а подвыпив, строго приказал дочке раздеться: пусть бойе посмотрит, это ничего, надо показывать товар лицом. Пусть. Когда старик стал кричать на девушку и махать кулаками, та с хохотом выбежала вон и больше не возвращалась. А старуха ударила его в лоб замазанной тестом ложкой, — старик заплакал, лег возле костра и, свернувшись калачом, тотчас же уснул.

Лицо Прохора вновь стало юным. Он лежал, закрыв глаза, на губах улыбка. А думы безудержно уносили его все дальше, дальше.

Тишина. Всплескивают весла. «Должно быть, шитик». Нет это камыши шумят. Нет, соболь крадется к задремавшей птице.

— Бойе... Проснись, бойе...

Прохор открыл глаза. Склонившись над ним, сидела девушка. Маленькие яркие губы ее улыбались, а прекрасные глаза были полны слез.

— Значит, хочешь уйти, покинуть?

— Да, хочу... — сказал Прохор, и ему стало жаль девушки. — А может быть, останусь. Поплывем с нами.

— Нет, нельзя... Я в тайге лежу. Меня караулят.

— Что значит — лежу? Кто тебя караулит?

— Шайтаны, — сказала она и засмеялась печальным смехом. — Еще караулит отец. — Она совсем, совсем хорошо говорила по-русски, и голос ее был нежный, воркующий.

Прохору лень подниматься. Он взял ее маленькую руку и погладил.

— Как тебя звать?

— Синильга. Когда я родилась, отец вышел из чума и увидал снег. Так и назвали Синильга, значит снег... Такая у тунгусов вера...

Звезд на небе было много. Но самоцветных бусинок на костюме девушки еще больше. Прохор ласково провел рукой по нагруднику-халми. Грудь девушки всколыхнулась. Девушка откинула бисерный халми и прижала руку юноши к зыбкой своей груди:

— Слушай, как бьется птичка: тук-тук! — Она совсем близко заглянула в его глаза. Нашла его губы, поцеловала. — Бойе, милый мой, — в голосе ее укорчивая тоска, молящий стон.

Прохору стало холодно, словно метнуло на него ветром из мрачного ущелья.

— Вот лягу возле тебя... Обними... Крепче, бойе, крепче!.. Согрей меня... Сердце мое без тебя остынет, кровь остановится, глаза превратятся в лед. Не ветер сорвет с моих щек густоцвет шиповника, не ночь погасит огонь глаз моих. Ты, бойе, ты! Неужели не жаль меня?

Прохор в этот миг заметил сидевшую на обрывистом камне, над самой водой, молодую вдову-тунгуску. Грудь ее дрожала от глухих рыданий, и черные распущенные волосы свисали на глаза. Прохору вдруг захотелось причинить девушке страдание, и он сухо сказал:

— Нет, Синильга, не жаль тебя. Вот ту жаль...

Синильга молча встала и, побежав, столкнула вдову в реку, а сама возвратилась холодная.

— Неужели густые сливки хуже прокисшего молока? Эх, ты!..— сказала Синильга и легла возле него на золотом песке.— Не любишь, значит?

— Я другую люблю,— прошептал Прохор, не в силах оторваться от влекущего к себе лица Синильги.— Ты прекрасна, но та лучше тебя во сто раз.

— Ах, бойе!— вздохнула девушка и вся померкла.— Оставайся здесь, оставайся! Я научу тебя многому. Любишь ли ты сказки страшные-страшные? Я — сказка. Любишь ли ты песни грустные-грустные? Я — песня, а мое сердце — волшебный бубен. Встану, ударю в бубен, поведу тебя над лесом, по вольному бездорожному воздуху, а лес в куржаке, в снегу, а сугробы глубокие, а мороз лютый, и возле месяца круг. Ха-ха-ха!.. Ой, горько мне, душно!

И она заплакала и стала срывать с себя одежду, но не могла этого сделать: словно холодное железо пристыла одежда к ее телу. Плакала Синильга долго, ломала руки в последней тоске, и плач ее сливался с другим плачем: взобравшись на окатный белый камень, видимый среди ночи при свете звезд, навзрыд рыдала с того берега вдова.

Прохору все еще лень подняться; он только слушал, и ничто не удивляло его.

— Не верь вдове! Она притворщица: плачет о том, чего не было, ищет, чего не теряла.

Синильга все ближе придвигалась к нему,— он отодвигался:

— Ты холодна, как снег, Синильга.

— Я снег и есть.

— Синильга! Если б ты была она, я бы любил тебя.

— Бойе! Я и есть — она, она и есть — я... Разве не узнал?

— Я никогда не видал ее. Я только слышал про нее сказку... Та — мертвая... Но я возвращу ей жизнь.

— А я не мертвая? Я, по-твоему, живая? Бойе! Вот, поцелуй меня жарко, жарко. Брось меня в костер твоего сердца, утопи меня в горячей своей крови, тогда я оживу. Ох, тяжко мне в гробу лежать одной и хо-о-лодно...

Прохору стало жутко. Он придвинулся вплотную к костру и никак не мог оторваться взором от Синильги: столь прекрасна она была.

— Значит, ты шаманка? Та самая, что...

— Та самая.

Словно льдина прокатилась по спине его. Задрожав, он крикнул:

— Врешь!!!

— Прохор Громов! — вещим резким голосом произнесла Синильга.

— Откуда ты знаешь? Ты кто? — весь холодея, юноша вскочил.

Та же ночь была, тихая, звездная. Прохор перекрестился, вздохнул. Он хотел тотчас же записать этот странный сон, но отложил до завтра: голова была тяжелая, слипались утомленные глаза. Подживил костер и крепко, по-мертвому, заснул.

— Вставай, что же ты... Эй, Прошка!

Шитик круто взял к фарватеру. Солнце ударило Прохору в лицо. Он поднялся.

— Что за чертовщина такая! — От разбавленного водой спирта, что угощал его старик, у Прохора в голове и во рту до сих пор скверно.

На берегу стояла группа тунгусов — мужчин и женщин.

Они вышли взглянуть на шитик и пожелать счастливого пути.

Прохор подошел к старику, спросил его:

— А где Синильга?

— Какой Синильга? Нет такой... Может, мой девка, дочка? Он в чуме сидит, хворает.

Прохор дико смотрел на него и тер недоуменно лоб.

«Разве спросить вдову, может быть, это она приходила ко мне на ночное свиданье? Может, ее Синильгой звать?»

Но Ибрагим еще раз крикнул с шитика:

— Прошка, плывем!!!

11

В самом конце августа путники с большими лишениями, через упорную борьбу с рекой наконец прибыли в Ербохомохлю — последний населенный пункт.

— Жалко расставаться с вами... Ну и жалко! — искренним голосом сказал Фарков. — Дюже привык я к вам... Ей-богу!

Как ни упрашивал его Прохор с Ибрагимом, чтоб не оставлял их, Фарков не соглашался:

— У меня там сын, хозяйство. Как спокину? Ведь ежели плыть, дай бог к пасхе домой-то вертануться... Много тысяч верст надо обратно-то околесить. Баба подумает, что утонул. Нельзя, братцы.

Фарков попрощался сначала с Ибрагимом, потом подошел к Прохору и обнял его, как сына:

— Ну, Прохор Петрович, прощай, дружок!.. Много тобой довольны... Значит, через годик будем поджидать тебя. Так-то... — Он отвел Прохора в сторону. — Иди-ка, паря, на пару слов, — и, усадив его на завалинку возле избы, заговорил тихо, трогательно: — Вишь, что, Прошенька. Ты хорошенько обмозгуй дело-то, плыть ли. Поздно, смотри. Вдруг замерзнете, а? Ведь дальше ни души не встретишь.

— Я решил плыть.

— Смотри. Надо мужиков расспросить здешних, стариков. Может, бывал который. Ну, ладно, авось бог пронесет... А вот еще чего... — Он положил ему на плечо руку и совсем тихо зашептал: — Тунгуска-т, шаманка-т, мертвая-то... Ведь ее впрямь Синильгой звали. Вспомнил, ей-богу право... Синильга, как есть.

Прохор вопросительно, с внутренней дрожью взглянул на него:

— Ну и что же?

— А то, что не шибко-то накликай ее. Избави господи: прицепится — с ума сойдешь. Такие-то, сказывают, по ночам кровь сосут. Ежели будет манить тебя, ты больше молитвой. Бывало случаев разных много...

— Ерунда какая! — овладев собой, презрительно ухмыльнулся Прохор.

Фарков купил лошаденку и верхом уехал в тот же день.

Прохор с Ибрагимом осиротели.

Ербохомохля — маленькое, захудалое село. Есть деревянная церковь, но колокола ее давным-давно безмолвствуют: пятый год нету постоянного священника, лишь раз в год приедет благочинный, отпоет на погосте всех огулом, кого зарыли в землю, окрестит ребят, потом пойдут своим чередом веселые свадьбы: благочинный как следует дорвется до дарового угощенья и, весь опухший от вина, возвращается домой. А в народе — горький смех, глумленье, истинные слезы: верующий стал невером, маловерный на все рукой махнул: «Обман, мошенство».

Жители в селе Ербохомохле — старожилы. Предки их перекочевали сюда из Руси еще при царе Алексее Тишайшем, частью беглые от крепостного права, от солдатчины или осевшие тут казаки, что отвоевали когда-то земли сибирские. Теперь добрая половина жителей занималась звероловством, часть — допотопным способом ковыряла землю, что-то сеяли и были в полной кабале у суровой, обманчивой природы. Остальная же часть, не малая, — отъявленные жулики. Они обманывали соседей, друг друга, отца, брата и кого придется, по преимуществу же беспомощных, простодушных тунгусов, в большом числе ежегодно собиравшихся сюда с богатейшими дарами тайги на ярмарку в день зимнего Николы. Приезжали на эту ярмарку и тароватые купцы из ближнего городишка, торчавшего где-то за полторы тысячи никем не

меренных верст. Приезжал и сам господин становой пристав — око царево — и урядник, а то и пастырь: на случай духовных треб.

В сущности, это не ярмарка, а денной грабеж, разбой, разврат и пьянство. Почти никто не уходил отсюда цел душой и телом. Были изувеченные в драке, вновь испеченные покойники или приявшие лютую смерть от лютого мороза: оберет торгаш до нитки, даст в дорогу огненной воды — вина, обтрескается тунгус, замерзнет, — все следы скрыты. Были потерявшие от горя рассудок и на всю жизнь ставшие калеками, были награжденные дурной болезнью или чем-нибудь в том же роде.

Всяк уносил обратно в тайгу проклятия на русские порядки, на судьбу, на жизнь — эх, лучше б не родиться, будь прокляты мать с отцом!

Начальство же проявляет показную деловитость: кричат, распекают, пишут протоколы, грозят торгашам тюрьмой — актеры не без дарований, — в конце же концов, набив «в честь благодарности» торбы соболями, в веселых мыслях спешат домой.

Все это и многое другое Прохор узнал до тонкости от умных старожилов, его книжечка с записями пухла — подшивал листки.

Он зашел к братьям Сунгаловым — почтенным старикам. Старшему — Никите — древнему, как седые волны, было сто шесть лет, что не мешало ему владеть крепкой головой.

Он сказал Прохору:

— Поезжай. Ежели планида у тебя счастливая, — доплывешь. А нет, так и в лужине, браток, потонуть можно. Всякому свое указано.

Младший же, девяностолетний брат, которого Никита называл, по старой памяти, Спирькой, предостерегал Прохора:

— Скоро зима, мотри, ляжет. Вот-вот и мороз хватит. Здесь самый сивер живет, самый студеный край наш... Паря, не шути!

— Теперя быстрина пойдет, подхватит шитик-то во как! — возражал Никита, выпрямляя свою сутулую спину.

— Какая же, братец, быстрина? На перекатах еще туда-сюда, ну, а в плесах-то?

— Под-д-хватит, — стоял на своем Никита. — Ты. Спирька, трусу празднуешь.

Прохор спросил:

— А сколько считаете верст до устья?

— Тыщи полторы.

— Порогу, паря, берегись... — сказал девяностолетний Спирька. — Порог свирепый, живо вглыбь утянет, твой шитик в щепы расшибет.

— Река сама себя укажет, знай не зевай! На все воля божья, ничего. — И дед Никита пристально поглядел на Прохора побелевшими от старости глазами.

Ибрагим меж тем до поздней ночи ходил из избы в избу, искал проводника. Но ни один человек плыть не соглашался:

— Какая неволя? Лучше дома умереть, чем на прямую гибель ехать.

Ибрагим давал сто рублей, давал двести, но все упорно отвечали:

— Нет.

Ибрагим изрядно приуныл: ни он, ни Прохор к речному делу не больно-то способны.

Ночевали на земской, а шитик караулил нанятый за стакан вина пьющий мужик. На дворе по-осеннему холодно, ветер завывал в трубе, и стекла от кипящего самовара сразу запотели. Путникам приятно было сидеть в теплой избе, укрывшись от непогоды.

— Может, последнюю ночку так, — грустно сказал Прохор.

Ибрагим молча, сосредоточенно пил чай и вытирал потную лысину грязной тряпицей.

— Ты, Прошка, не захворал ли?

— Нет, — ответил Прохор, — а так чего-то.

Он вспомнил о доме, о родителях. Захотелось приласкаться к матери, — она так любит его, так бережет, угощает малиновым вареньем... С каким бы удовольствием съел он хорошую долю сладкого пирога с густыми-густыми сливками или тарелки три киселя из облепихи. Так наскучили эти сухари, эта рыба, это

оленье мясо, — все одно и то же, сегодня, завтра. Разве бросить все к чертям? Нет, взялся за дело — делай! Надо же ему на самом деле выведать: где на всем течении реки выходят с богатой пушниной тунгусы, где притаились русские торговцы? Таков наказ отца.

Ветер толкался в утлые рамы, плохо вмазанные стекла уныло дребезжали и попискивали, как издыхающие комары.

— Ты, Ибрагим, о чем думаешь?

— Ни о чем.

На самом же деле думы Ибрагима были мрачны. Его охватило сомнение. «Куда плыть, зачем? Ведь впереди ни одного жилого места, безлюдье, дичь. Кого же Прохор будет там расспрашивать? Это шайтан, а не отец! Зачем он послал сына на такую явную погибель?»

Лампа горела тускло. На печи сидел жирный кот; от безделья он умывался и посматривал на незнакомых желтыми, как осенние листья, глазами. Вошел, пошатываясь, босой мужик-хозяин. Черный, лохматый, растрепанный, словно после драки. Он рыгнул, поскреб поясницу, сел на пол и стал что-то говорить. Но во рту будто каша, — мямлил, и выговор он имел странный: скалы называл «школы», «сохатый шел» у него звучало: «шохатый сол». Гнусаво и тягуче рассказывал про медведей, про их повадки, как охотники запирают медведя в берлоге елками — срубят небольшую елку да в берложий лаз и всунут, а медведь сгребет елку да к себе, еще сунут — он опять к себе.

— Вшо к шобе, да вшо к шобе.

— Пошел вон! — желчно крикнул на него черкес.

Мужик поскреб с ожесточением обеими руками лохмы, раскачался, встал и, рыгнув на всю избу, вышел.

Ложась, Прохор сказал:

— Давай загадаем, Ибрагим! Если завтра солнышко будет — поплывем. А нет, назад вернемся.

Ибрагим согласился, но прибавил:

— Ежели назад, зима ждать надо.

Прохор знал, что они попались с Ибрагимом в ловушку, обратно отсюда нет иной дороги, кроме водного пути, а берегом не проедет даже всадник: многочисленные быстрые притоки Угрюм-реки не имели паромных переправ, да жители в них и не нуждались. Куда им ездить, что смотреть? Весь мир для них — своя собственная деревня, непроходимая тайга, болото. Кругом простор, и нет простора: ноги крепко вросли в землю, душа без крыл.

«Удивительно живут люди, камни какие-то, пни...» — размышлял Прохор, засыпая. Его юная душа вся в желанье жить, видеть, узнавать. Он вдоль и поперек изъездит всю Сибирь, всю Россию... А может, и весь свет. Но когда это, когда? Он потрогал пробивающиеся усы. «Черт его знает, только семнадцать лет еще... Мало как!..»

Однако мечтам нет дела, что он юн, — влекут его по волшебному пути, усыпают путь цветами: то он мчится на собственном автомобиле в Америку, то правит океанским пароходом, бьет китов, тюленей или — вот потеха! — он Дон-Кихот, Ибрагим — Санчо Панса, оба, закованные в латы, яро бьются с шайтанами, чертями, со всей таежной нечистью, они освободят красавицу Синильгу от мертвого дьявольского сна и повезут ее, живую, веселую, унизанную скатным бисером, в хрустальный свой чертог. А дальше, а дальше? Что же дальше?.. Спальня. Обои в спальне красные. Лампа-«молния» с красным стеклом. Огонь в лежанке красный. И Синильга — маков цвет — тоже во всем красном. Кровать широкая, двуспальная, под золотым парчовым красным пологом. Горы краснобархатных подушек, и одеяло красное... Прохору душно. Прохору жарко. Красная кровь захлестнула красными волнами душу, душа вспотела, распалилась. Хочется Прохору сорвать одежды с красавицы Синильги, скорей, скорей!.. А что же дальше? Свадьба. Шумный пир. Гости кричат: «Горько, горько!» Гости ждут. Вот грохнула в честь их пушка, потом трескучий барабанный бой.

Прохор проснулся и не мог сообразить, где он. Было темно, душно, и пахло дрянью. В ногах, к нему

мордой, сидел кот; глаза его полыхали. Ибрагим громко, заливчато храпел с каким-то злобным отчаянием.

А сон еще не кончился, сон бушевал в молодой крови, Синильга возле, тут, и полуоткрытые губы ее ждали поцелуя.

— Эй, вштавайте, шамовар вшкипел!

Путники враз вскочили.

— Солнышко! — вскричал Прохор. — Гляди-ка, Ибрагим!.. Значит, едем.

— Верно твоя, — грустно сказал черкес.

— Погодье шамо шладко, — прошепелявил лохматый, обросший мохом лесовик-хозяин, — жнай плыви да плыви.

Путники почаевали и — быстро к шитику. Небо безоблачно и тихо. Играл золотом крест на церкви, дрались два петуха — красный с белым, — бороды и гребни их расклеваны, капли крови горели под солнцем, как рубины. Через дорогу степенно шествовал, мечтательно похрюкивая, боров; он весь заляпан жидкой грязью и блестел, как крытый лаком. Навстречу шла за водой тетка. Жестяные ведра ее сияли и казались сделанными из стекла.

— Нажад, паря, нажад! — заорал провожавший путников хозяин. — Айда в проулок!

— Почему? — удивился Прохор.

— Ежели баба вштречь — пути ня будя.

Путники повиновались: пусть все благоприятствует их удаче. Хозяин объяснил им, что зловредней бабы никого на свете нет. Вот попробуй-ка встретить ее, когда идешь в тайгу на промысел. Ни с чем вернешься, а то и на зверя «натакашься». Но баба может и помочь. Пусть она станет в дверях и расшарашит ноги, а ты с ружьем промежду ног-то на карачках и ползи; очень пользительно таким же манером и главную собаку протащить.

Хозяин попробовал улыбнуться, но вместо того скривил кислую, шершавую, как старый веник, рожу и чихнул.

У шитика человек с десяток зевак. Пьющий мужик — караульный — в шубе, в пимах и шапке с

наушниками — терпеливо прел, и рыжая борода его на солнце пламенела.

Шитик круто взял к фарватеру, заскрипели весла, невольно забрюзжала сонная вода.

— Ну, Прошка... Куда едем? Знаешь куда?

— Нет.

— И я нэт. Очень хорошо!

Но река здесь глубока, раздольна, за селом их подхватила быстрина, вперед летели без запинки, а солнце напутствовало их ласковым теплом. Лицо Прохора вскоре прояснилось, глаза горели несокрушимой верой в себя, ему уже грезился радостный конец пути, хотя это всего лишь скрытое неизвестностью начало. Так легковерный пахарь, бросая в землю зерно, обманно чувствует пряный запах свежих караваев, он облизывается, поводит челюстями, глотает слюну, но вот слепая длань природы пошлет на его полоску град — и брюхо пахаря всю зиму пусто.

— Хорошо, Прошка. Ух, как прет!

Взглянув Ибрагиму в лицо, Прохор почуял нутром, что глаза черкеса говорят другое, и ничего ему не ответил.

Над водой крутился пар: солнце с утра сосало воду. К полудню солнце было самое горячее, летнее. Видно, сбилось оно со счету в днях, остановило на мгновенье бесконечность, попятило раком утлый шар земли, и все это ради них, ради этих двух плывущих.

Ибрагиму достаточно понятен этот полный жестокого коварства замысел.

— Ты помнишь, Прошка, как Фарков на большой муха... Как она? Слепень? Ну, ну... как он карасей ловил? А? Карась — знаешь кто?

— Не знаю.

— Мы. Один да другой.

— А слепень?

— Не знаешь, что ли? — И углы губ Ибрагима полезли вверх. — Во! — ткнул он веслом в солнце.

Прохор недоумевающе хлопал глазами.

— Ишак! — рассердился Ибрагим и фистулой внезапно закричал: — Камень, камень, камень!!

Шитик ударился о подводный валун, над которым чуть взмыривали волны, качнулся вбок и, слегка раненный, поплыл дальше.

— Правь верней, чего зеваешь! — крикнул Прохор.

Но дальше пошло спокойное плесо, зато шитик стал подвигаться медленно.

— Кто это?! Эй, Прошка? — шевельнулся в корме черкес и мотнул головой на дальний берег.

Настигая путников, мчался берегом белый всадник. Он взмахивал руками и что-то кричал. Прохор бросил весла.

— Стой, стой! Пожалуйста, погоди-и-и... — смутно доносился голос.

— Давай к берегу — сказал Прохор. — Может, что забыли мы. — Он ощупал карманы: бумажник, книжка тут.

Прохор в белом всаднике узнал столетнего Никиту Сунгалова. Древний старец кое-как скатился со взмыленной лошади и врастяжку пал на землю:

— Ой, свет из глаз!

Белые порты и рубаха насквозь пропотели и прилипли к телу, лицо красное, словно старик выскочил из жаркой бани; рот жевал, глаза уходили под лоб. Пока Прохор доставал из сундука спирт, старик поднялся. Глоток спирту оживил его.

— Соколик мой, человек хороший! — сказал он Прохору и вытащил из-за пазухи кожаную мошну. — Было совсем из ума выжил, ох ты, господи! Ведь мимо монастыря побежишь-то ты... Так, так... Ну, вот тебе десять рублев, дружок. Закажи там монахам сороковуст. Пусть поминают Микиту. Меня Микитой кликать-то. А фамиль не объясняй. Богородица и так знает, что за Микита за такой. Одначе, впрочем говоря, напиши, мол, раб божий старец Микита Сунгалов, из казацкого роду. На всяк случай чтобы... А то в Оськиной тоже Микита недавно помер, вроде меня — старый пень.

Путники с умильным удивлением смотрели на него.

— Да ведь ты живой! — воскликнул Прохор, улыбаясь.

— Горя мало... В покров умру, — спокойно сказал старик. — Матерь моя приходила за мной: «В покров, говорит, я тебя, сынок, покрою, приготовься». А просвирку-то купи, малый, самую большую, за пять алтын, либо за двугривенный. Теперича плывите с богом... Ну-ка, подсади меня.

— Что ты, дедушка Никита, — сказал Прохор, помогая ему взобраться на лошадь. — Еще встретимся с тобой.

— Это верно, что повстречаемся. Только не на земле, браток... Господь тебя благослови, господь тебя благослови. Плывите, не страшитесь, реку не кляните, она вас выведет. Река — что жизнь.

— Отдохнул бы...

— Я шажком теперича, тихохонько... Плывите, провожу я...

Белый дед долго виднелся на зеленой хвое и крестил широким крестом плывущую ладью.

12

Еще четыре дня подвигались путники вперед под манящими лучами солнца. Дни были безветренные, теплые, вечера с золотым закатом, а ночи — звездные, с крепким инеем; путники стали мерзнуть. Прохор ложился спать не раздеваясь. Ибрагим чаще подбрасывал в костер сухих смолистых пней.

День стал короток, вечер наступал быстро, почти сразу же после заката, и торопливый сумрак охватывал собою все кругом: плыть становилось невозможно, и путники, измученные беспрерывной работой, все-таки принуждены были урывать у сна часы. Они подымались задолго до солнца, по очереди досыпали в дороге, не пыльной, не тряской, единственной: все пути земные навек пригвождены к месту, только волшебный путь реки весь в вечном движенье, даже мертвецки спящего умчит он на своей груди: почивай, проснешься в океане.

Угрюм-река повернула от Ербохомохли на закат.

На пятые сутки седым глубоким утром путники враз, словно по уговору, оторвались от сна — и ахнули: была зима.

Густым ковром лежал повсюду снег, плешивые сопки нахлобучились белыми колпаками, и тихое плесо, где стоял шитик, в одну ночь сковало льдом. Над головами клубился холодный туман; он плыл неторопливо от таежных дебрей к бледному еще не закатившемуся месяцу.

— Прошка! Что же это? Цх!..

Прохор не сразу пришел в себя. Его ошеломил этот внезапный переход от солнечных, почти летних дней к зиме, и все, что видел он теперь перед собою, представилось ему большим погостом.

— Вот так уха! — присвистнув, протянул он, стряхивая со своей бурки, под которой спал, целые сугробы снега. Развешанная у потухшего костра, волглая от вечерней росы одежда была тверда, как кол.

— Есть хочу... Разводи костер, — спокойно сказал Прохор. — Не бойся! — Он зябко вздрогнул, схватил топор и со всех сил принялся рубить смолье. Кровь быстро потекла по жилам, и еще не окрепшая тревога схлынула.

— Как ехать? Лед кругом... — сказал черкес.

— Ерунда! Где наша не пропадала.

Черкес любовно посмотрел на него.

— Молодца, Прошка! Пойдем мордам умывать.

Прохор взмахнул колом, лед хрустнул, как стекло, стрелами во все стороны сигнули щели, даль отозвалась веселым эхом.

— Давай бороться! — неожиданно вскричал, улыбаясь, Прохор.

И оба, сильные, бодрые, отфыркиваясь и во все горло гогоча, барахтались в молодых сугробах, облаком вздымая снег.

— Смэрть или живот?! — кричал черкес, брякнув Прохора на обе лопатки.

— Жрать! Каши!

— Вари, а я пойду. — Ибрагим взял наметку и быстро зашагал вдоль берега.

Утро просыпалось. Туман исчез. Месяц истекал последним светом, побледнел. Подслеповато щурилась утренняя звезда над лесом, а белый колпак на высокой дальней сопке заалел.

— Эге, отлично! — сказал Прохор. — Солнце.

Бодрым треском трещал костер, весело клубился дым, куски сохатиного сала таяли в каше, шел сытный дух. Прохор то и дело бегал от костра на шитик, сгребал там снег, стряхивал брезенты, околачивал весла и багры.

Огромное, тихое, прикрытое ледяным стеклом плесо стало помаленьку облекаться в багряный цвет: лучи показавшегося солнца плавно скользили по глади льда, еще немного — пар пошел.

— Ерунда! — сам себе улыбаясь, сказал Прохор. Солнце играло в его черных молодых глазах.

Каша была вкусная. Жмыхало в ней сало. Круто солил и ел с наслаждением, запивая кирпичным чаем с леденцами.

— Дальше чисто! Быстерь! — размахивая наметкой, издали кричал бегущий к Прохору черкес.

— Быстро?

— У-у... Валом валит!..

С натугой ломая лед, шитик медленно прокладывал себе дорогу. Работа была тяжелая. Руки устали взмахивать грузными баграми, градом струился пот, мозоли на ладонях кровоточили.

Солнце ленилось, лед упорно противостоял его косым лучам. Лохматый мороз прятался в белых куржаках тайги. Мороз, как заговорщик, плутовато подмигивал солнцу и посмеивался в бороду, глядя на взмокших людей, готовых разразиться бешеным проклятием. День перевалил за половину, а половина плеса была еще далече.

Прохор с сердцем бросил багор, сел на скамью и закурил папиросу. От первой закурил вторую, от второй — третью. В глазах позеленело.

Ибрагим тоже бросил работу, подбоченился. По локоть голые мускулистые руки его дымились паром,

большой крючковатый нос печально повис, как у индюка, углы губ подтянулись к ушам, обнажив свирепо стиснутые зубы.

— Цх!

Обменялись взглядами, молчаливо поглядели назад, где чернела пробитая во льду траурная дорога, и, вздохнув, молча принялись за работу.

Приближался вечер. Страшно хотелось есть, все тело ныло от дьявольских усилий, но медлить некогда; надо заслужить отдых, надо на чистой быстрине праздновать победу.

Солнце уходило на покой, коснувшись остывшим краем темной бахромы лесов. Ибрагим погрозил солнцу кулаком и плюнул.

— Урра! — закричал что есть силы Прохор, когда шитик, порвав последнюю цепь ледяного плеса, быстрым ходом заскользил вперед.

Река шла все еще на запад, лучи солнца ударяли в глаза путникам, мешали верно править: шитик летел вслепую. Река была мелка, ложе усеяно булыгами и крупной галькой, которая с шумом перекатывалась течением. Дно шитика скорготало и потрескивало, ударяясь в камни. Путь быстр, податлив, но опасность грозила ежеминутно.

А вот и остров. Мрачной черной скалой, одетой в траур снеговых пятен, он выставил навстречу путникам свой острый злобный нос. Вправо открылась матерая протока, влево — едва виднелся узенький поросший кустарником рукав.

Ибрагим повел шитик в широкую протоку. Чрез добрый час, когда уже надвинулись сумерки, шитик с налету врезался в песок. Сгущавшийся осенний мрак кутал невидимкой все кругом. Пришлось на мели заночевать.

Ночи не было, был миг. Проснулись оба, удивились: да полно, спали ль? Как будто только что легли. Но нет, уже появилось солнце, и снег кругом предательски блестел, слепя глаза. Вода, как и вчера, быстро скользила мимо шитика, впереди играли беляки.

— Сначала найдем, Прошка, ход... Выплывем на глыбь и — к берегу. Тогда горячий чай напьемся... Холодно!

Посиневшие, голодные, оба спустились без штанов в ледяную воду и наметками стали щупать дно. Вода грызла ноги холодными зубами. Иззябшие, измученные неудачей, с проклятием вернулись обратно: впереди ходу нет, река замыкается сплошной песчаной мелью, чрез которую еле переливает тонкий слой воды! И так версты на две, на три. Что ж делать? Значит, брать в узенький рукав.

— Леший ее знал!.. Бэз чалвэка, Прошка, пропадем!..

— Пропадем. Дальше всё острова виднеются. Без плана трудно. Карты такие большие есть, где все срисовано, называются — планы.

— Понимаю, — сказал Ибрагим.

После торопливого, всухомятку, завтрака с большим трудом сняли шитик с мели и, со всех сил упираясь баграми, стали тихо подыматься вверх, назад. Только под вечер пришли они к носу острова, который так же злобно, как и в прошлый день, смотрел на них трауром черных и белых пятен.

— Черт знает, весь вчерашний труд пропал задаром, — закусил дрожавшие губы Прохор и с досадливой тоской взглянул на пробитую в плесе ледяную дорогу: ее вновь сковал мороз.

— Надо стрэлой лететь, тогда выйдем... А мы двадцать верстов вперед, пятнадцать назад... Тьфу! — плюнул Ибрагим, всматриваясь в устье маленькой проточки.

— Надо по двести верст в сутки проплывать. Надо день и ночь плыть, Ибрагим.

— Мало ль чего надо! — крикнул черкес. — Дома надо сидеть!.. Куда черт понес!.. Не шутка.

— Давай сделаем очаг на шитике, чтоб к берегу не приставать.

— Хоть бы какой шайтан встретить... Ни тунгус, ни черт нэту. Тьфу!!

Левая протока, куда направили шитик, стала постепенно расширяться; она быстра и глубока.

— Какой хитрый! — сказал Ибрагим, бросив весла: шитик самоплавом подавался вниз.

— Кто хитрый?

— Кто? Вода!.. Маленький вода, гляди, какой большущий стал; большой вода совсэм вчера дурак. Поди узнай...

— Гы, черт... Слышь, опять шумит!

Впереди раздался глухой рокот.

— Водопад в горах или порог! — тревожно прислушивался Прохор к нараставшему шуму.

Бессильное солнце садилось в тучу, сентябрьская зима все еще белела, куда ни взглянь. Где-то близко октавой промычал сохатый — лось.

— Гуси, Прошка, гуси!

Ибрагим схватил ружье и замер. С бодрым гоготаньем низко тянул вдоль реки табун гусей.

— Эх, срэзать бы, — шепнул Ибрагим, захлебываясь древней страстью, — кунак, голубчик!.. Сюда, сюда!

Ловкий выстрел срезал гуся. Встревоженный табун сделал шумный круг над павшим в воду товарищем и с печальным гоготом помчался дальше к югу.

— Он раненый! Догоняй! — кричал Прохор.

— Греби, греби!..

— Стреляй! Дай ружье!.. Дай сюда!!

— Греби, греби!!

Подбитый гусь уносился течением вниз, шитик настигал его, трещали весла, уключины скорготали, взвизгивали.

— К берегу, Прошка, к берегу!! — вдруг неистово завопил черкес. — Порог!.. Алла! Алла!!

Увлекшиеся путники, не слыша и не видя ничего кругом, неожиданно очутились среди бушующих валов, в преддверии грозного порога.

— К берегу!!

— Пропали... Ой!

— Наляг, наляг!!

С треском хрустнуло весло и — к черту.

— Пропали!

— Новое, где новое?!!

Прохор вскочил и, схватив багор, сильными толчками в камни опруживал нос к берегу. В корме, стиснув зубы и весь побелев от напряжения, пыхтел черкес. Волны хлестали в борт лодки — вот-вот опрокинут. Впереди, как сто зверей, люто ревел порог.

— Еще-еще-еще! Наддай!

Второе весло — хрясь! и — к черту. Но бой кончился: перед самым порогом шитик вошел в тихую заводь и, весь пропитанный духом борьбы, передавшейся ему от живых существ, победоносно пробивался к берегу.

— Фу-у-у!.. — протянул взмокший, дрожащий Прохор.

А Ибрагим только посвистал и крепко сплеча выругал и уплывшего гуся и порог.

В них обоих еще горел момент борьбы, момент прилива сил, глаза полыхали, быстрым бегом била во всем теле кровь. Но когда все внутри их стало затихать, Ибрагим и Прохор с трепетом подумали о только что минувшей схватке с Угрюм-рекой и ужаснулись.

— Прошка, а если бы перевернуло нас?.. Что бы? А?

— Выплыли бы.

— Это худо. Надо утонуть. Что жрать стали бы? Где сухари, где все? Ой-ой, Прошка.

— Да-а-а.. — протянул в тупом раздумье Прохор и после короткого роздыха сказал: — Обедать надо... Два дня не ели как следует.

— Никакой ни обэд... К свиньям обэд!.. Плыть надо... Тут сдохнешь... Пойдем порог смотреть.

Прохор умоляюще взглянул на Ибрагима; тот, сдвинув брови, зло сопел. Прохор понял, что надо подчиниться.

Огромные валуны на берегу покрыты снегом, скользки. Прохор провалился меж камнями, упал, едва не сломав ногу. А вот и начало порога. Река здесь сдвинула почти вплотную свои скалистые берега. В эти узкие ворота валила вся вода сверкающей, гладкой, без взмыров, массой. Образовав сажен-

ный водопад, она с грохотом мчалась дальше, сразу поседевшая, бешеная, яро набрасываясь на грозно торчавшие из воды камни. Вода кипела, злилась; грохот и рев стояли неописуемые. Прохор кричал Ибрагиму, Ибрагим Прохору, но ни тот, ни другой не могли расслышать даже своего собственного голоса.

— Вот тот камень самый страшный! На самом бою! Надо испытать! — кричал Прохор, показывая на зеленый камнище: разъяренная вода скатывалась с него седыми кольцами, как с огромной, приподнявшейся над бурлящим потоком башки чудовища.

— Прошка! Тот камень — смэрть!! — беззвучно кричал и Ибрагим, швыряя булыжником в тот же камень. — Не миновать его.

Он взял обрубок дерева и спустил в самый слив. Обрубок быстро заскользил по водяной горе, захлебнулся пеной и с наскоку долбанул торцом в лысый камень.

«Так нельзя, надо левее плыть», — подумал Ибрагим и спустил вторую чурку, полевее. Но и она в водовороте помчалась к камню. Прохор понял опыт Ибрагима и тоже стал пускать поплавки. Все струи бешеного течения били в камень: куда бы ни спустили чурку, она неизбежно неслась, как к магниту, к зеленой плеши чудовищной башки.

Обескураженные, печально поплелись к шитику.

— Что ж делать?

— Плыть! — сказал Ибрагим твердо. — Зимовать, что ли, тут?

Выбора не было, где плыть. Один путь: в широкое хайло смерти. Вопрос, когда совершить самоубийство: немедленно, на пустой желудок, или сначала наесться до отвала и в завершение пуститься в смертный бой. Пусть он будет последней чарой игривого вина, отравленного сильным ядом.

Но когда дух взвинчен и рвется к победе, к гибели, в неизбежный бой — плоть безмолвствует: у путников вдруг исчез алчный перед этим аппетит.

— Кончено! Едем!

Ибрагим поддерживал в Прохоре возбужденную предстоящей схваткой бодрость, называл его

джигитом, отрывочными, нескладными фразами рассказывал о тех опасностях, которым ежеминутно подвергается горный, на Кавказе, житель. А постоянные набеги, а стрельба, удар кинжалом в грудь? А знает ли Прошка месть, — кровную месть на Кавказе? О, штука страшная, не этому паршивому порогу чета. Из рода в род!

— Ничего, джигит, нэ робей! Нэ умрем... Целы будем!

— Я знаю, что не умрем, выплывем.

— Молодца, джигит!.. Всегда так... В бою чалвэк спеет... как пэрсик. В двадцать лет орлом будышь. Ничего, джигит... Молодца! Кынжал как закаляют — знаешь? В огонь да в воду — жжих!.. В огонь да в воду. Так и чалвэка надо... Крэпка будышь, сильна будышь!

Прохор глубоко, свободно дышал, глаза горели, и жег щеки молодой задор. Он внимательно, любовно слушал Ибрагима и проникался к нему уважением, как к отважному герою.

— Вот только продукты... Мало их у нас. Недели на две, на три, — сказал он. — Может, перенести их за порог? А то вдруг опрокинемся?

— Ерунда, — резко оборвал его черкес. — Нэ надо думать. Будышь думать — утонешь, не будышь думать — нэ утонешь. Цх!

Вечер угасал. Кругом неуютно, одиноко, холодно. Порог ревел седым древним ревом, и, казалось, ревела вместе с ним озябшая тайга.

От неумолчного шума и гуденья у Прохора кружилась голова, замирало сердце. Но опьяненная душа его — на крыльях.

Вместе с Ибрагимом подплывали к воротам в ад. Ад кипел и пенился. С шитика, все более и более увлекаемого течением, буруны волн казались огромными, страшными. Как могилы на заклятом погосте, они росли, проваливались, вырастали вновь. Заря была холодная, желтая. И кругом было жутко: холодный погост, холодные могилы, смерть. Шитик от страху закрыл глаза, незряче мчал вперед.

— Простимся, Ибрагим... На всякий случай... Прощай, Ибрагим!..

— Зачем прощай!.. Здравствуй!

— Прощай, Ибрагим! — со всех сил последний раз крикнул Прохор.

— Джигит!..

И все потонуло в грохоте. Ярко вспыхнула заря на небесах. Громыхающим огнем засверкали брызги, шипя и взвизгивая, закувыркалась, запрыгала тайга, небо упало в волны, и все клубилось в адском бешеном котле.

— Греби, греби!!

— Ух-хх!

— Молись богу!

— Право держи!!

Крики, грохот, гул. Конец.

18

«Кажется, время было бы Прохору и весточку о себе подать, ведь на санях уехал, чуть весна обозначаться в небе стала, а теперича белые мухи закружились, вот-вот покров придет. Время бы Прохору до Крайска-города добраться, а там, сказывают, по струне стафет во все концы сигает; стало быть, и в здешний городишко можно бы стафет прислать. Ездил в город за стафетом приказчик Илья Сохатых, — ни с чем вернулся: лишь красного сафьяна сапоги себе привез да маскарадных, к святкам, харь».

Так думала о судьбе своего сына робкая, забитая Марья Кирилловна, скучало ее материнское сердце, и сны она видела недобрые. Кусок не лезет в горло, похудела; вот все бы сидела да и думала о нем, о ненаглядном Прохоре: где-то он, где-то бедная его головушка; в этакую страсть поехать, да еще с каким-то черкесом неумытым.

«А отец, Петр Данилыч Громов, что ему?.. Гуленит себе во здоровье с Анфиской подлой, сорит деньгами. В открытую теперича пошел».

Две раны в сердце Марьи Кирилловны:

«И как тебе не стыдно, Петр Данилыч?.. До седых волос дожил, а сам... Обидно ведь...»

Но другая рана горше — день и ночь огнем горит: «Сын, Прошенька... Жив ли?»

— Ты вот сладкой наливкой меня чествуешь, а что в сердце моем — не примечаешь, — говорил Петр Данилыч темным сентябрьским вечером, попивая чаек внакладку у любезницы своей Анфисы Петровны Козыревой.

— Твое сердце с перцем, — играючи погрозила Анфиса своим мизинчиком и засмеялась. — Хитер ты больно, впустую хочешь со мной сыграть. Смотри, не из таковских я. Ни с чем отъедешь.

— Пригожа ты, а ум у тебя, как у кошки у слепой. Я про сына речь веду. Понимаешь, — нет?

— Как не понять, понимаю. Хи-хи-хи!.. — И вдруг изменилась, кольнуло ей что-то в сердце, помимо воли, так, налетело неведомо откуда, вдруг. — Ты про сына речь ведешь? Да уж сын ли он тебе? Да полно, не подкидыш ли?

— Чего такое?

— Неужто своего сына кровного послал бы на погибель? Ведь на погибель, а, Петруша?

— Молчи! — угрюмо сказал Петр Данилыч, глядя на ее губы, на ее беспечальные, внезапно загрустившие глаза.

И оба пили чай молча; наливку пили молча; ни слова больше, трудно говорить.

Домой ушел Петр Данилыч, не простившись. Ночь была. Под ногами, как тонкое стеклышко, колюче потрескивал новорожденный ледок на лужах, и сердцу отцовскому становилось больно.

Анфиса же долго мучилась бессонницей. Всю ночь сама себя спрашивала и не могла ясный ответ сыскать: почему вдруг заныло ее сердце, почему милый мальчик на мысли всплыл неведомо откуда, так вот, вдруг?

И запомнила она этот вечер, эту ночь странную, и не хотела бы запоминать, но, помимо ее воли, не спросясь ее, велел кто-то запомнить на всю ее, Анфисину, неспокойную жизнь-участь.

«Жив ли?»

Ночевал в эту глухую ночь в доме Громовых какой-то вшивый бродяга Иван Непомнящий. Пожалуй, и не пустила бы к себе за порог такого гостя Марья Кирилловна, да приказчик Илья Сохатых с купеческой кухаркой, краснощекой Варварушкой, упросили: пусти да пусти, может, он в самых тех краях слонялся.

Бродяга, что монах, сытно поесть на дармовщинку любит. Бражничал на дармовщинку бродяга бородатый за поздним ночным столом, чавкал жареную на бараньем сале картошку, мамонил пшеничный каравай и хриплым, пропитым голосом повествовал сидевшей на лавке, в грустной позе, Марье Кирилловне.

— Как же мне, барыня-сударыня, не знать? Я все знаю до тонкости. И тунгусишек знаю. Тунгус — что зверь... Орда, и больше никаких. Он смирный-смирный, а тут нападет на него блажной стих, — возьмет да и пристрелит.

Марья Кирилловна качает головой.

— Неужели ты в самых тех местах был, на Угрюм-реке?

— В тех не в тех, а около. Кха-кха!

— Не подавись, нажрешься... Куда спешишь? — засмеялся пришедший на беседу из своей маленькой комнатки веснушчатый Илья Сохатых.

— Кабы бражки чуток, — прохрипел бродяга, — рассказал бы я вам один случай... Кха!

Сходила Марья Кирилловна в свои покои, поставила пред бродягой стакан вина.

— Лет пять тому, — начал Иван Непомнящий, жадно проглотив огненную жижу, — вот, вроде как твой сын, поехал купец с товаром в тайгу и подручного прихватил с собой. Дело. Уехал, как в воду канул, и теперича все ездит. В третьем годе проходил я в тех местах, слышал — нашли быдто охотники

костер, а в костре два шкелета. Дело. Надо полагать, это торговые и есть. Вот тут как... Кха!

— Царство небесное, — перекрестилась набожная хозяйка. — Как же это их, за что же?

— За горло, мать, барыня-сударыня... За машинку! Сперва одного в костер башкой, а тут и другого тем же побытом...

Марья Кирилловна скорбно посмотрела с мольбой на потемневшую икону, а Илья Сохатых крикнул:

— Брехун ты, братец мой, бестия!.. Я сам из тайги. Поболе твоего тунгусов-то знаю. Только людей зря пугаешь, мохнорылый.

Бродяга в горячем споре клялся и божился, лез целовать икону и в такой азарт вошел, что начал явную нелепицу нести: чуть ли не сам он помогал тунгусам купцов в костер кидать.

Варварушка смеялась, Илья кричал:

— Вот ужо хозяин приедет, он те, бестия, накостыляет! Мистик какой, дьявол!..

Однако мохнорылому этому бестии Марья Кирилловна поверила нутром и всю ночь не могла отделаться от душевного беспокойства, охватившего ее: всю ночь стоял перед нею, в мыслях, Прохор, сын, и говорил ей: «Молись, матушка, молись, мне тяжко».

В своей спальне, невеликой комнатке, пропахшей ладаном, богородицыной травкой и водкой, — проспиртовавшийся Петр Данилыч, по случаю холодов, перекочевал с террасы на покой сюда, — Марья Кирилловна зажгла лампадку перед богатым, уставленным серебряными иконами кивотом и усердно, в больших слезах молилась богородице и апостолу Прохору — да сохранят во здравии страждущего и путешествующего.

— Эй, господи, помоги, услышь!

А в кухне троица: бродяга с Ильей Сохатых да стряпуха; лишь заперлась на всю ночь Марья Кирилловна, стали бражничать: чай да наливка, у Варвары в печке купецкий пирог стоит, сам-то вряд ли будет жрать, поди сам-то на карачках от своей крали приползет, тьфу, тьфу!

Показывает приказчик запретные карточки; хохочет бродяга, Варварушка голосисто заливается. Илья Сохатых анекдотец забористый расскажет, бродяга пуще загнет — уши вянут — шум, хохот, наливка к концу идет.

А через стену Марья Кирилловна шепчет, не переставая:

— Богородица, сохрани... Заступница, избавь... — И ноет-ноет ее сердце.

Утром в столовой ни с того ни с сего настенное зеркало пополам треснуло. Пила в это время Марья Кирилловна чай, самовар пары пускал. Но и вчера целый день самовар пары пускал на зеркало, а вот сегодня...

— Умер!! Батюшки мои!.. — побелела Марья Кирилловна да скорее на кухню: — Варварушка, матушка... Знать-то, с Прошенькой неладно... Зеркало треснуло напополам... Боже мой, боже!

У стряпухи с наливки голову разносит. Не разобрав в чем дело, завыла стряпуха в голос:

— Уж не стафет ли черный сиганул к тебе в окно... Ой-ти мнешеньки!..

— Зеркало напополам... Поди-ка взгляни скорей.

— Ой-ти мнешеньки!.. И чего же мне глядеться-то? Только по рюмочке и выпила... Я за компанство... Уж извините... Бродяжка все...

Посмотрела на нее в упор сквозь слезы Марья Кирилловна, принюхалась к винному угару и, махнув рукой, в печали вышла. Накинула турецкий полушалок да к отцу Ипату, священнику.

Отец Ипат вставал до свету: он уже позавтракал тертой редькой с квасом и теперь, рыгая и посвистывая на веселый лад, мастерил под навесом ульи. В работящих руках пила визжала, белая крупа опилок падала на валеные сапоги, на отвердевшую под утренником землю.

— Зело борзо, — кратко заключил отец Ипат тревожную речь купчихи. — Что ж, можно и обедню... Отчего ж нельзя? А панихиду ты брось. Ни к чему это... О здравии надо.

Потом, наклонясь к самому ее уху, хотя возле никого не было, отец Ипат, улыбаясь живыми глазами, тихо заговорил...

— Вьюнош вернется, не горюй. А вот сам-то твой... Неладно чего-то... Уж очень он яро принялся. Соблазн.

Марья Кирилловна вынула платок и засморкалась.

— Знаешь что? — продолжал отец Ипат. — Только ты ни гугу. С глазу на глаз с тобой мы. Жаль мне тебя, Кирилловна.

— А что же, батюшка?

— Ведь сам-то, — совсем тихо стал говорить отец Ипат, — сам-то разводиться с тобой хочет. Да ты не сморкайся, погоди... Не плачь, ради Христа... Ну, да это ему не удастся... Врет! Законы на этот счет у нас крутые: «Аще бог сочетал, человек да не разлучает». А все-таки упреждаю. Ухо востро держи.

Не старые, совсем еще не старые ноги Марьи Кирилловны, — ей всего тридцать шестая осень шла, — подгибались по-старушечьи, когда она брела домой от отца Ипата. В душе копилась злоба, но душа ее подобно решету: вся злоба иссякала тут же, вместе со слезами: лишь горе оседало на донышко, капелька по капельке росло, росло.

Подошла к дому, смотрит: два мужика ведут в крыльцо пьяного Петра Данилыча.

— Господи, ни свет ни заря! — всплеснула Марья Кирилловна руками.

— Это со вчерашнего, — улыбаясь рыжей бородищей, пробасил Силантий, растреклятой Анфисы соседшабёр.

— Эх, Петр Данилыч, Петр Данилыч! — укорчиво начала Марья Кирилловна, когда вдвоем осталась с мужем.

— Ну! Заныла, зубная боль...

— В доме зеркало треснуло, погляди-ка... Примета самая худая... Прошенька-то наш, господи...

— Молчать! — крикнул Петр Данилыч, покачиваясь среди комнаты. — Не в Прошеньке тут дело... Вот ты-то когда сдохнешь, зубная боль, ты-то?

— А что я тебе, поперек дороги?

— Да! Прочь с моей дороги! Ух, ты! — Он замахнулся грузным стулом под чехлом. Марья Кирилловна выбежала вон, и купец со всего маху пустил стул в зеркало:

— Нна!! Вот тебе твоя примета!

И под звон посыпавшихся осколков крикнул:

— Водки! Огурцов! Эй, Илюха!

Приказчик, как из-под земли, вынырнул из коридора и, услужливо лебезя пред хозяином, повел его.

— Ты куда меня, в спальню?

— Так точно. Потому вам надобен полный покой и отдых, как в благородных воспитанных домах.

— Хе-хе-хе!.. Ну, ладно, Илюха... Ты молодец у меня. Ты признаешь во мне полного коммерсанта? А?

— Господи, с такими-то капиталами?! Как же иначе может быть? Вы в нашем городу были бы без малого первым... Пардон...

Купец, самодовольно оглаживая бороду и прикрякивая, сел на кровать:

— Разувай!..

Приказчик подобрал манжеты и с брезгливой миной, которую он старался скрыть в масляной улыбке, стал стаскивать измазанные свежим навозом сапоги.

— Ишь ты, кудряш какой! Ты, Илюха, счастливый... Кудрявым, говорят, везет.

— Вполне ясно, Петр Данилыч... Ужасно мне везет. Пардон...

— Та-ак. С покрова еще прибавлю тебе пятерку в месяц. А ежели в мой антирес войдешь, сразу четвертную надбавлю. Министром станешь жить! Понял?

— Мирси. А в чем же ваш антирес будет состоять?

Хозяин поднял на него припухшие глаза и хрипло засмеялся:

— Так я тебе, дураку, и сказал... Не маленький поди. Можешь сам догадаться. Эх ты, раскудрявая твоя башка со вшами!

— Мирси, — ухмыльнулся Илья, вытирая о ковер испачканные руки. — Больше ничего не изволите приказать? — и пошел к двери.

— Стой, погоди! Вот что: слетай единым махом к Анфисе Петровне и выразись ученым манером, что так, мол, и так, что хозяин, мол, кутил всю ночь с немцем-мельником, что, мол, о сыне скучает... Нет, этого не надо... А что, мол, желает ей покойной ночи... Понял? Ну, как ты это все сопоставишь, а?

— А очень просто, — откашлялся Илья. — Его степенство, господин коммерсант такой-то, шлет...

— То есть как такой-то?.. Ах ты сволочь!..

— Дак это же, Петр Данилыч, только так говорится... Провозглашу, как архиерейский дьякон, полный почетный титул ваш. Ну, а почему же вы насчет времени изволили сбиться, осмеливаюсь доложить? Приказываете сказать госпоже Козыревой покойной ночи, а теперича у нас самое настоящее утро, и снежок идет... Пардон...

— То есть как утро? Что ты мелешь?

— Полный факт. Комментарии излишни...

— Давай в таком разе сапоги... Надо магазин отворять.

— Что вы!.. Ложитесь спать... Вам требуется освежить все мозги сонным положением. А я, как бог Саваоф, сейчас спущу шторы, и будет ночь.

— Хы, черт какой!.. Ну, действуй, коли так...

Только приказчик за дверь:

— Стой, вернись! — вскричал купец каким-то поглупевшим голосом. — А что, Илюха, тебе моя баба нравится?

Тот вспыхнул и наморщил лоб.

— То есть которая, Петр Данилыч?

— Дурак какой ты, Илюха! А? Ну, ступай теперя... И ежели аппетит есть, ничего, действуй... Соблюдешь мой антирес, озолочу. А каков этот самый антирес, кумекай сам.

Оставшись один, Петр Данилыч то вздыхал, то улыбался. Взгляд его скользнул по образу, где помигивал в белой полутьме огонек лампадки, и купец вдруг засопел:

— Прошка, голубь!.. Спаси тебя Христос.

Чрез все его лицо катились слезы.

14

В два ясных дня согнало с берегов весь снег, и Угрюм-река синела под солнцем холодным блеском.

Путники все еще не могли изжить того острого ощущения, что, словно ножом, полоснуло их при спуске чрез порог.

— Жжжи! — и нету, — улыбался Ибрагим.

Все еще в ушах мерещился рев диких волн, и неостывшие души путников были под обаяньем чуда.

— Напролом пойдешь — всегда цел будешь. Забоишься — пропал твоя... — поучал черкес.

Солнце и торопливая быстрина реки делали свое дело. Вера в успех была очевидна. Что ж, еще каких-нибудь недели три и — город Крайск. Черт возьми, как все-таки хорошо, как радостно жить на свете.

— Хватит ли нам припасов, Ибрагим? Пороху, дроби совсем пустяки.

— Хватит...

Тихим вечером закат был красный с желтыми закрайками.

— Ветер будет, — сказал Ибрагим. — Примечай.

Действительно, с полночи разыгрался ветер. Пришлось причалить шитик крепко-накрепко: волны с плеском ударяли в его борта, и тайга по берегам шумела.

Продрогшие путники пробудились рано. На песчаных отмелях крутил песок, словно зимней порой вьюга, и вся река — в свирепых беляках.

— Встречный!.. Вот это — дрянь, — сказал Прохор.

— Проплывем плесо, может, повернет река.

Небо было безоблачно. Угрюм-река мощна.

Шитик взял на самую середину. Ветер бил прямо в нос. Течение под ветром как будто остановилось, путники еле подавались вниз.

После сильной часовой работы Прохор взглянул назад: сизый дым от костра совсем близко. Черкес сошел с кормы и тоже сел в греби. Шитик пошел ходчее. Но вот миновали шиверу с торчавшими камнями,

и дальше началось тихое плесо. Шитик почти остановился. Ветер, бушуя, рвал с налету. Мачта дрожала, хлестал и трепался на ней красно-белый флаг. Было нестерпимо холодно, ветер с шумом врывался в рукава и хозяйничал под одеждой, охлаждая тело.

По прибрежным кустам путники заметили, что шитик гонит встреч течения.

— Взад идем. Налегай, Прошка! — Но не хватало сил, шитик настойчиво влекло обратно.

— Попробуем бечевой.

В лямку впрягся Ибрагим, и, падая на ветер, побуровил шитик.

Прохор пытался разжечь сделанный в носу очаг, чтобы согреть онемевшие руки, но тщетно: ветер задувал огонь.

С приплеска несло песок, больно стегало в лицо, ослепляя воспаленные глаза. Защурившись и низко опустив голову, Ибрагим напряг всю силу, дышал, как конь, но шитик подавался туго.

— Ну-ка ты, Прошка!.. Устал. — Он бросил лямку и, шатаясь от изнеможения, пошел к шитику. Его одежду полосовал ветер, и концы белого башлыка, как две седые косы, стлались по воздуху горизонтально.

До самого вечера без толку бились на одном и том же месте. На другой день то же: солнце, ураганный ветер, беляки. И тайга шумела угрожающе. В путь не выходили: напрасный труд.

На третий день то же.

Вместе с остатками сухарей, крупы и пороха уверенность в успехе пропадала, наяву стал сниться нехороший сон...

В пятом дне пробовали вывести шитик на середину. Трещали крепкие весла, скорготали, как нежить, холодные уключины. За шесты взялись, со всех сил упирались в дно, шесты гнулись в дугу, но вода была густа, как тесто, и упруга. У черкеса с треском обломился шест, и он плашмя упал в ледяную воду. Этим кончилась попытка. Снова костер на берегу, злоба в сердце и пробудившееся тайное отчаяние.

Подбадривали друг друга:

— Ничего... Вот кончится ветер, полетим стрелой.

— Нычего. Нэ робей!..

Но глаза откровенней языка. Прохор спрашивал черкеса глазами и получал немой ответ: «Плохо, Прошка!»

Мучительная неделя кончилась. И, как садиться солнцу, — ветер стих.

И, радость за радостью, — сон на веселое пошел: вдруг увидали оба: стоит у воды, возле залома, в меховой парке тунгус.

— Бойе, милый, здравствуй! — чуть не плача от радости, вскричал Прохор.

— Здраста, твоя-моя...

Тунгус пожилой, безусый, сзади болталась черная косичка, глаза удивленно-испуганно щурились на подошедших.

— Ты реку хорошо знаешь?

— Знай... Наскрозь знай... Да-алеко!.. Конец знай...

— Когда мы выплывем? — спросил Прохор и, затаив дыханье, ждал.

— Не выплывешь. Вот маленько, и все заморозится... Кирепко.

— Как же нам быть? — робкий задал Прохор вопрос.

— Вылазь... Перезимуешь. Пойдем тайгам... Эге...

— Мы плыть хотим! — крикнул Прохор.

— Сдохнешь, — спокойно сказал тунгус и стал усиленно раскуривать трубку.

— Ведь недалеко?

— Да-а-леко. Мороз ужо, синильга. Пурга... Эге... Самый смерть.

— Проводи нас до Крайска. Сколько хочешь дам.

— Нет... Моя не хочет... Мало-мало дожидай весна, тогда можно... Вода большой живет, бистерь... Пять дней допрет. Крайск — на другой реке стоит.

— Бойе, голубчик, ну, милый, — нежно заговорил Прохор, взял тунгуса за рукав, ласково, по-детски

смотрит в его узкие, прищуренные глаза. — Бойе, мать у меня там на родине... Отец... Мать умрет, подумает, что пропал я. Ради бога, бойе, проводи нас.

— Нет, моя не хочет.

— Зарр-эжу!! — вдруг гаркнул черкес и, схватив тунгуса за шиворот, взмахнул кинжалом.

Тунгус сразу на землю и, обороняясь, заслонился вскинутой рукой.

— Иди!

— Куда тащишь?

— Иди!

За ужином ничего не говорили, на душе у двоих был праздник, у третьего зачинался страшный сон. Тунгус не притронулся к пище.

— Нэ скучай, Прошка, — тихо ворчал Ибрагим, подталкивая юношу в бок. — Доведет... Реку знает. Приказать будэм.

Тунгус свирепо на них посматривал, озирался на утонувшую во мраке тайгу, посвистывал призывным посвистом и что-то зло бубнил. Прохор пробовал заговорить с ним, но тот тряс головой: «Моя не понимает», — и упорно молчал. Черкес уложил тунгуса спать, он крепко скрутил назад его руки веревками и привязал к стоявшему у самого костра дереву:

— Попробуй убеги теперича. — И вновь погрозил кинжалом: — Эва!.. Цх!..

Темно-бронзовое лицо тунгуса плаксиво морщилось, он пофыркивал носом и говорил сердито, отрывисто:

— Пошто злой?.. Кудо злой... Пошто мучишь! Эге...

— Эва! — грозил черкес кинжалом.

— Доплывем, бойе, до Крайска, всего тебе дам: чаю, сахару, пороху...

— Дурак!! — крикнул тунгус и весь ощетинился, как рысь. — Дурак!! Как моя назад попадиль будет?! Баба здесь, олени здесь, все здесь... Пожальста, отпускай, пошто крепко путал? Тьфу!

Он рвался, грыз зубами веревки и, в бессильной злобе, горько завыл на всю тайгу.

— А это видышь? — сказал Ибрагим плутоватым голосом и, прищелкивая языком, стал наливать спирт в синий пузатенький стаканчик.

Тунгус вдруг смолк, глаза заблестели, и — словно сбросил маску — заплаканное лицо его во всю ширь заулыбалось:

— Эге! Винка! Винка! Дай скорей! Дай твоя-моя... Само слядко. — Он весь, как горький пьяница, дрожал, пуская слюни.

— А поведешь нас?

— Поведешь! Как не поведешь. Твоя-моя... Само слядко. Давай еще скорей!..

Как не поведет, конечно, поведет... Вот только утром он сходит в свое стойбище, захватит с собой припас, захватит ружье, велит бабе одной кочевать, велит ей белку, сохатого бить... Поди он тоже человек, он понимает... Как это можно людей бросить наобум: тайга, борони бог! Неминучая смерть придет; никуда отсюда не выйдешь, смерть. А в Крайске ему все знакомо: купцы знакомы, чиновник знаком, еще самый главный начальник знаком, Степка Иваныч... у него пуговицы ясны, усищи во какие, сбоку ножик во, до самой земли!.. Очень хорошо знаком ему Степка Иваныч, главный, имал, хватал, пьяного за ноги в тюрьму волок, по мордам бил — пилицейской...

Ибрагим улыбался. Прохор хмурил лоб и, разглядывая болтливого тунгуса, был неспокоен. Ибрагим угощал тунгуса спиртом, сам пил; угощал его чаем, кашей, сам ел. Подвыпивший тунгус сюсюкал, хохотал: он очень богат, все это место — его, и еще двадцать дней иди во все стороны, — все его... Оленей у него больше, чем в горсти песчинок... Он князь, он в тайге — самый большущий человек...

Но все-таки на ночь еще крепче прикрутили его к дереву и завалились на берегу спать у пылавшего костра.

— Ну, теперь нам не страшно, Ибрагим. Трое... Тунгус знает реку. Да ежели и зазимуем где, ему известно тут все. Ибрагим, дорогой мой, милый!..

— Ничего, кунак, ничего. Теперича хорошо.

— Матушка... Эх, матушка!.. Как она обрадуется. Вот-то заживем, Ибрагим!..

— Заживем, джигит...

— Окрепну годами — буду богатый, знатный... Буду честно жить.

— Знаю, богатый будышь, знатный будышь... Честный — трудно, Прошка.

— Буду!.. А приедем в Крайск, пирожных купим... Сто штук, Ибрагим!.. Очень я люблю пирожные...

— Шашлык будым делать... Чурэк печь. Пилав любым. Чеснок класть будым, кышмышь.

Сон черкеса крепкий, непробудный. Прохор слышал во сне звуки: пели, спорили, бранились и вновь пели стройно безликие, звали куда-то Прохора, и сладко-сладко было слушать ему девьи голоса.

— Шайтан!!

Прохор вскочил и осмотрелся. День. Костер горит вовсю.

— Убежал, шайтан! — Зубы Ибрагима скрипели, рука яростно хваталась за кинжал.

Прохор взглянул на крепкие болтавшиеся на дереве веревки и вдруг невыносимую ощутил в сердце боль. Он больше ничего перед собой не видел. Он еще не знал, что зимний нешуточный мороз сковал в ночь реку, и шитик — единственная надежда путников — вмерз в толщу льда.

Прохор встал с земли и молча, нога за ногу, поплелся на утлый свой корабль. Он не почувствовал, как его, разогретого палящим теплом костра, вдруг охватил мороз. Юноша, словно лунатик или умирающая кошка, бессознательно залез под крышу, в самый угол шитика, уткнулся головой в мешок, где леденели жалкие остатки сухарей, и горько, взахлеб, заплакал.

15

Весь день Ибрагим рыскал по тайге. Никаких следов человеческих, ни остатков тунгусского стойбища: коварный тунгус — как в воду.

Тайга была безжизненна и молчалива, даже белок не видать. Мороз крепчал, щипало уши — Ибрагим туго завязал башлык. Как дикий олень, не зная отды-

ха, он перемахивал огромные валежины, продирался сквозь непролазные заросли — тайга пуста. Ибрагим пал духом. Ниоткуда не ждал он теперь спасения: пороху нет, спичек нет, пища на исходе. Как быть? Назад идти, в Ербохомохлю? — добрых полтыщи верст — дурак пойдет. Вперед? — неведомо куда. Сидеть на месте — дожидаться тунгусов? Но беглец со страху, наверное, увел их всех на край света.

Измученный, черкес вышел на берег. Желтели и краснели осенние кусты, с осин тихо сыпалось золото листьев, и, словно летом, зеленела кругом тайга. Но шумная Угрюм-река скована морозом, ледяной хрустальный гроб закрыл над ней крышку до весны.

Ибрагим с высокого яра кинул в реку грузный камень. Лед от ушиба побелел, но не сломался, и камень, крутясь, заскользил, как по маслу, по ледяной коре.

— Цх! Плохо...

Белки его глаз окрасились желтым, щеки втянулись, неестественный оскал зубов придавал лицу выражение крайней растерянности.

Да, пожалуй, все кончено. Но ни слова, ни намека Прохору. Черкес знает, что с ним делать. Сначала Прохора, потом и самого себя...

Ибрагим любовно и трепетно, с неколебимым религиозным чувством взглянул на рукоятку своего неизменного товарища — кинжала и быстрой, легкой походкой пошел лоснящимся льдом к шитику.

Весь вечер, всю ночь, весь следующий день валил хлопьями снег, и земля на аршин покрылась сплошным сугробом. Ночью где-то близко, не переставая, ухал филин; он бормотал студеную зимнюю сказку, наводя жуть на одиноких, ожидавших своей участи существ.

Прохор, с головой укутанный буркой Ибрагима, тихо дремал. Тот несчастный день, когда бросил их тунгус, не прошел для Прохора даром: его трепала лихорадка.

Черкес сердит и мрачен. Черт! Надо было бы ограбить тунгуса, отнять от него меховую парку. Если б попался он теперь, черкес вместе с паркой содрал бы с него живую кожу. Кровь? Пусть кровь. Вот он, Ибрагим-Оглы, сидит в одном легком бешмете среди снегов. У костра тепло, но как пойти за топливом? Коченеют руки, мороз насквозь режет ножами тело. О, если б встретить тунгуса, сотню тунгусов! Если тайге нужна жертва, всех их уложил бы вот этим кинжалом. Как шапки подсолнуха, полетели бы с плеч косматые головы, только б жив остался его молодой джигит.

Но джигит стонал, и час от часу ему становилось хуже...

— Ибрагим, голубчик... Дай еще хины!.. Укрой меня.

Так шли дни за днями, длинные, бесконечные. Сыпал, не переставая, упрямый снег, словно там, на небесах, бесповоротно решили завалить тайгу сугробами до самых до вершин. Ибрагим с ожесточением и тайным проклятием отгребал снег широкой лопатой. Вскоре возле их стойбища воздвигся высокий, как крепость, снежный вал. У черкеса — бешмет, более теплой одежды не было. Плотно укутанный башлыком, из-за которого торчал кончик побелевшего носа и левый глаз, черкес, изнемогая от труда, потел. Но крепкие кисти рук зябли, распухали от холода, когда же отогревал их у огня — болезненно ныли.

С большим трудом он оттаял над костром брезент и кое-как смастерил шалаш вроде чума. В этом игрушечном убежище с отверстием вверху костер давал много дыма. Ибрагим плакал и кашлял, Прохор задыхался. Когда же отпахивали полу брезента, чтоб освежить воздух, в чум вползал мороз. Ибрагиму мучительно хотелось есть. Но есть нечего. Остатки крупы он берег для Прохора, сам сгрызал в день по небольшому сухарю и пил бесконечное количество кирпичного чаю.

— На-ка, джигит, кушай... Каша первый сорт. Ашай больше, крепка будышь!

— А сам-то?

— Сыт... Ешь, нэ жалей... У нас всего много.

Ибрагим украдкой сглатывал слюну, когда же Прохор нырял под его бурку, черкес ляскал зубами, как оголодавший барсук.

А между тем время медленно ползло. Могильный снеговой курган возле палатки быстро рос. Границы между томительными днями стерлись — серая ночь неслышно сменяла серый снежный день.

Прохор поправлялся туго. Дух Ибрагима все гуще погрязал в унынии. Кругом чувствовалась смерть, и ее глухой неотвязный скрежет неуемно глодал живучую душу человека. В помутившихся отупелых глазах черкеса то застывала смертельная тоска, то вдруг рождалась непреклонная воля жить. Тогда весь он загорался нервным пламенем, суетливо надевал самодельные лыжи, выползал на божий свет и, изнемогая от холода, елозил изголодавшимися ногами по пуховому покрову зимы в надежде поймать нить жизни, которую авось подбросит ему судьба. Но темная тайна смерти бросала в его сердце лед: кругом мертво и пусто. Убитый, раздавленный, возвращался черкес домой, залезал под могильный холм и долго, бесконечно долго сидел угрюмый, неподвижный, тупо посматривая на бредившего во сне Прохора.

Когда вышли все припасы, черкес равнодушно сказал юноше:

— Ну, теперича давай, Прошка, умирать. Пропали мы, Прошка!

Прохор недоуменно уставился взглядом в костистое неузнаваемое лицо товарища, что-то хотел сказать — язык не повиновался, хотел заплакать — не было слез. Подбородок его запрыгал.

— Матушка... Милая моя матушка!..

Он залез под бурку, молча лежал там, скорчившись. Сморкался.

Вдруг черкес вскочил и, как ночная кошка, внезапно скрылся из палатки. Чуть-чуть хрустнуло и вздохнуло вдали. Черкес наострил душу. В небе

леденел мутный лунный круг. Была тишина. Темная, неясная тень виднелась у опушки леса.

С холодным кинжалом в крепко стиснутых зубах черкес кровожадно полз вперед, барахтаясь в сугробах. «Лось, сохатый», — играло в его мозгу. Задрав вверх большую голову с ветвистыми рогами, лось глодал кору молодых осин. Близко. Глаза черкеса налились кровью, стали остры, как кинжал. И по клинку отпотевшего зажатого в зубах кинжала текла слюна. Лось стоял боком к черкесу. Из ноздрей струйками вырывался пар. Слабый ветерок дул со стороны животного, и лось не мог унюхать подползавшего врага.

Черкес наметил место пониже левой лопатки и, ринувшись вперед, всадил кинжал по самую рукоятку в сердце оплошавшего зверя. Одурелый раскатистый крик на всю тайгу, саженный скачок черной тени вверх, удар копытом, чей-то дьявольский хохот, бубенцы — и все помутилось в глазах черкеса. Вместе с тяжким стоном он едва передохнул и потерял сознание.

Очнувшись, быстро ощупал руки, — они теплы. «Ага, недавно, значит». Кольнуло в правый бок. Черкес шевельнулся и вскричал: режущая боль полоснула ножом по нервам. Он засунул руку за обледенелую ткань бешмета, ощупал бок. Ребра целы, но рубаха взмокла в липкой крови. «Ага, копытом хватил, шайтан!.. Адна пустяк...»

Пахло снегом, схваткой, пахло смертью.

«Зверь! Где зверь?» — мгновенно проблеснуло в голове и сразу утолило боль. Луна так же мутна и улыбалась. Черкес поднялся, крепко сдавил ладонью правый бок и, согнувшись, пошел по следу. Сугроб глубоко взрыт, и вместе с мохом был расшвырян снег.

На прогалине, задрав вверх задние ноги, весь изогнувшись в корчах, валялся убитый лось.

— Якши! Якши!! — тихо, жутко, как помешанный захохотал черкес и поспешил назад, к палатке. Дорогой не раз останавливался и коротко стонал.

— Прошка! Живы будем! Пятнац пуд говядины есть!.. Шашлык есть, сало есть! Цх!

Прохор маятно поохивал под буркой, не отвечая.

Грязным полотенцем черкес туго забинтовал себе грудь и вновь ушел в тайгу. Перед утром вернулся с большим куском мяса и пушистой шкурой.

Весь день, не угасая, горел огонь, вкусным духом дымился котел с крепким мясным наваром. Прохор вяло глотал горячую пищу. Ибрагим же ел алчно, до одурения. Глаза его стали маслеными и, как у объевшегося зверя, сладко щурились; он громко рыгал. Опять настала ночь.

Сон черкеса крепок, непробуден: поднявшийся в ночи дикий вой и грызня были не в состоянии прервать его. Зато Прохор, выставив из-под бурки отуманенную бредовым сновидением голову, долго прислушивался к странным звукам: буря ли, черти ли на кулачки бились, — и никак не мог понять, что происходит там, в тайге.

Наутро Ибрагим, едва проснувшись, вновь принялся за еду. Изголодавшееся тело ненасытно требовало пищи. Железные челюсти черкеса работали мерно, сосредоточенно. Накормив Прохора крепким супом, он стал выделывать кожу зверя, мял, крутил ее и клинком кинжала скоблил грубую мездру. В боку была нестерпимая боль, от которой сыпались из глаз искры. Но черкес, скрипя зубами, сдерживал стон, чтобы не тревожить Прохора. Он говорил:

— Вот, кунак, будет тэбэ шуба... Нытки есть, игла есть. Якши... Теперича, кунак, холод нам — тьфу! Мясо есть. Поправляйся, кунак, да и в путь... Прямо пойдем, тунгус найдем... А нэ найдем — тьфу! — сами выйдем.

Прохору хотелось крепко-крепко обнять этого горбоносого, с большим лысым черепом и густыми лохматыми бровями человека.

— Никогда не расстанусь с тобой... Ежели б не ты, смерть бы мне... Теперь знаю, что такое верный друг.

Сегодня Прохору лучше. Побежденная молодой силой, болезнь уходила под гору. Прохор повеселел.

Вот окрепнет, наберет здоровья, и черт ему не брат. Смастерят с Ибрагимом нарты, нагрузят лосиным мясом и марш-марш вперед.

— Ура, Ибрагим!

Под вечер черкес кой-как кончил шубу.

— На-ка, получай бобра... Все равно — енот, все равно — лис... Давай бурка мне, ха-ха — теперича мороз тьфу! Разводи костер, сейчас мяса принесу: лосиный губа будэм варить, почка в сале жарить. — Черкес от удовольствия зажмурился и смачно сплюнул. — Пойду.

Прохор надел сшитый на живульку лосиный длинношерстный тулуп и, как матерый, вставший на дыбы, медведь, выполз из своей маленькой тюрьмы. Он давно не выходил на белый свет и сразу захлебнулся свежим морозным воздухом. Глаза юноши воспалены от дыма. Болезнь глубоко вдавила их в орбиты, отчего на лице его легла печать какой-то особой, выстраданной душевной чистоты.

Он шагнул за высокий снежный вал и огляделся. На земле и в небесах чужая, холодная зима. Деревья как нежить — белы, мохнаты, в инее. Они жались друг к другу и с тайным страхом смотрели из-под белых пуховых ветвей на человека; вот шевельнется человек, вот крикнет, и они распадутся в белый прах. Но человек стоял неподвижно, молча. Он никогда не видал белого, серебряного леса, и взор его застыл в благоговейном созерцании. Белый кудрявый лес, белая даль, белесое, чуть позеленевшее на западе небо. Белый месяц яснел и серебрился, словно неведомая рука торопливо счищала с него ржавчину. И кто-то стал швырять в небо бледные звезды, сначала скупо — по две, по три, потом целыми горстями, как пахарь новое зерно.

Когда обманные алмазы замерцали по всему простору и заискрилась снежная даль, Прохор очнулся, вздрогнул от бодрящего холода и вновь ушел в палатку к краснoязыкому костру.

— Экая благодать, тепло как в шубе-то! — сказал он, раздеваясь, и сердце его наполнилось нежной благодарностью к угрюмому черкесу. — Почему же

нет его? Не случилось ли что? — спросил он смолистую чурку и, не получив ответа, бросил ее в пламя.

Рука потянулась к записной книжке. Пальцы перевертывали исписанные страницы, взгляд рассеянно скользил по ним.

«1898 год. Кажется, конец октября. Число неизвестно», — низко наклонившись к огню, стал записывать Прохор. «Вот моя болезнь как будто прошла. Я снова помаленьку оживаю. Может быть, ты, матушка, помолилась обо мне? Не тоскуй, скоро свидимся. Так хочется поскорей обнять тебя. Хоть на бумаге поговорю с тобой, милая. Я так далеко от тебя, что грохай в царь-пушку, не услышишь. Жив я, жив, матушка! Отец, я жив!! Не скучайте. Вот напишу страницу, вырву и пошлю к вам с ветром. Или сам явлюсь во сне. Матушка, почему ты мне не снишься? Ибрагим, друг мой! Ты убил сохатого. Мы умерли бы от голода — я ведь знаю, что запасов нет. Что ты ни говори мне, Ибрагим, голубчик, я знаю, что крупа вся, сухари все. А теперь мы, слава богу, сыты. Мяса хватит нам на полгода. Матушка, ура! Кричи — ура! Твой мальчонка жив-живехонек. Вот приедем к тебе и будем пить чай со сдобными пирогами и вареньем. Покойной ночи, матушка! Кажется, идет мой избавитель, верный друг и слуга».

Действительно, за палаткой послышалось кряхтенье. Отпахнулась пола, вполз Ибрагим. Он сел к костру, обхватил руками колени, сгорбился. Прохор взглянул на него. Глаза черкеса были мутны, блуждали, и вся его сжавшаяся, пришибленная фигура сразу внушила Прохору тревогу.

— Что случилось? — тихо спросил он, пугаясь.

Черкес молчал. Размотал башлык, снял мохнатую папаху и сидел перед костром, втянув голову в плечи.

— А где же мясо-то?.. Ужинать бы.

Черкес все еще молчал, растерянно сплевывал в костер, наконец проговорил глухим, неверным голосом:

— Нэ нашел я лося.

— Как!

— Чего кричишь? Нэ нашел, говору... Нэт... Тэмно стало... Завтра.

Прохору очень хотелось есть.

— Свари, Ибрагим, каши.

— Нэт каша! — крикнул Ибрагим с желчью.

— Ну, дай сухарей... Чай скипяти.

— Нэт сухарь! Нэт чай. Ничего нэт. Вот две спички есть, спалим, чего станем делать?

Он говорил, словно ругался, отрывисто, резко и каждую фразу подчеркивал свирепым, сыскоса, взглядом в сторону Прохора. Нежное чувство, которое Прохор питал к нему, вдруг покоробилось, и Прохору стало до боли обидно.

— Почему ты сердишься? Ты болен? — тихо, но укорчиво спросил он.

— Нэ твое дело!

Костер уныло потрескивал, по стенкам палатки ползли бестелесные тени, куча обглоданных костей валялась возле опустошенных сум.

— Спи! — приказал черкес. — Завтра будэм на воле... Завтра все будэт... Сегодня — спи! Крепко спи... — Он вздохнул и, закрыв глаза, уперся лбом в колени.

Сердце Прохора захолонуло, охнуло. Мрачное предчувствие вгрызалось в душу. Он не решался выспрашивать Ибрагима до конца. Да и зачем? «Спи!..» Как уснуть в этот подлый час? Что будет завтра? Неужели тайга раздавит их?

Прохора стала бить зябкая дрожь. Сначала застучали зубы, потом судорога прокатилась от плеч через все тело, к ногам: он трясся весь и подпрыгивал, не в силах совладать с собой. Плотно, с головою он укрылся лосиной шубой, от которой несло кислятиной и перепрелым мхом. Но дрожь продолжала трепать его с той же силой.

«...Нет, не может быть, не может быть. На Ибрагима просто что-нибудь нашло. Завтра все разъяснится, завтра они бодро тронутся в путь. Вперед, на запад, к Крайску!.. Фу ты черт... Почему так меня всего кострячит? Горячего бы чаю кружку... С ромом. Ужасно хочется есть. Эй, Ибрагим!»

Под шубой тепло и глухо.

Плывут над тайгой минуты и часы, заглядывают минуты под шубу, и каждый миг вырастает в час. Бесконечно длинно тянется время. Что-то среднее между сном и бодрствованием, что-то тяжелое, нудное шевелится под шубой, гнетет юную голову, сосет испугавшееся сердце. Может быть, утро? Или еще ночь не кончилась?

«Волки».

Серые, тощие, изогнувшиеся в три погибели, сверкая голодными глазами, воют волки. Семь волков.

— Волки! — вскрикнул Прохор и очнулся. Он чуть приподнял шубу, замер. Заливчато заводил дикий, одинокий волчий голос, потом, отрывисто тявкнув, подхватывала вся свора. Где-то близко, совсем близко. «Они сожрут коня. Они сожрут всех коров, овец, телят. Что ж думает отец?.. Эй, вставайте!..»

— Волки! — опамятовался Прохор, сбрасывая шубу и озираясь на убогий холст намозолившей глаза палатки. — Ибрагим... Волки... Они сожрут нашего лося... Эй!

Ибрагим все так же сидел перед костром, скрючившись и уткнув лицо в ладони. Вот он приподнял голову и сказал, посмотрев юноше в лицо:

— Спи, кунак. Это нэ волки. Волк нэт в тайга... Это ветер. Спи.

— Что случилось, Ибрагим? Почему ты говоришь, как плачешь? И глаза у тебя такие... А?

— Мой нэ плачет. Врешь ты. Мой никогда нэ плачет.

Он засопел, засморкался и вышел наружу.

«Волки, — твердо решил юноша. — Вот оно что... В тот раз выли, теперь опять... Сожрали мясо. Вот почему такой убитый Ибрагим...»

Волчий вой то отдалялся поднявшимся ветром, то был слышен близко, визгливый, остервенелый. Прохору чудилось, что в звериное завыванье вплетается жуткий человеческий стон. Нет, это гудит в ушах, это болезнь в голове ходит; конечно же, Ибрагим не будет так стонать.

Палатку трепануло сильным ветром. Облако снега, крутясь, ворвалось в дымовое отверстие. Вдруг загудела тайга. Вошел Ибрагим, твердый, решительный. Две глубокие складки лежали меж разметавшихся бровей, губы плотно сжаты.

— Вьюга. Пурга идет, — отрывисто сказал он. — Ничего, крепись, джигит. — Он подсел на корточках к Прохору, положил руку на его плечо и с трогательной нежностью стал глядеть в глаза его.

— Что, Ибрагим, милый?.. Плохи наши дела?

— Якши...

— Яман?

— Якши, якши! Бок — яман... Больно... Кость мозжит, рэбро... — Ибрагим засопел, брови его поднялись выше, он устало закрыл глаза и ощупью, словно слепой, водил ладонью по голове и плечам юноши:

— Я люблю тебя, Прошка... Люблю... — Он выдохнул эти слова с мучительной скорбью, словно навек разлучаясь с Прохором. — Люблю...

От волнения Прохор прерывисто дышал. Он поцеловал морщинистый, мудрый лоб черкеса и, против воли, прислушался к себе: вот все в нем сотрясается, мятется. И как агнец пред занесенным ножом, Прохор доверчиво смотрит на властителя своей судьбы. Но его сердце замирает, сердце что-то угадывает — страшное, неотвратимое, — которое слышится и в доносившемся тявканье голодных зверей и в нарастающем злобном гуденье леса.

— Спи!.. — сказал черкес вновь отвердевшим решительным голосом. — Крепко спи, не просыпайся.

И от костра еще раз крикнул укладывающемуся Прохору:

— Прощай, Прошка!.. Прощай, джигит... Прощай!..

«Что значит — прощай? Почему — прощай?» — силился спросить Прохор и не мог.

С открытыми глазами Прохор лежал под шубой. Мысли мелькали мрачные, короткие, торопливые, как взмахи крыльев быстролетных птиц. В шуме, в говоре тайги родились эти пугающие мысли; в шуме,

в визге и в грохоте они докатывались до сердца, опустошали сердце, вырывали из сердца стон. Тоска была смертная. И все эти чувствования, все обрывки неясных полузвуков-полуслов кто-то собирал в крепкую горсть, как разрозненные вожжи взбесившейся шалой тройки, и больно осаживал, и разжигал, и требовал: «Есть». Неукротимый сосущий голод.

«Есть!»

Но есть нечего. И завтра нечем обрадовать, обмануть желудок. А послезавтра?

«Прощай, Прошка... Прощай, джигит».

Черкес точил кинжал.

В шуме, в нарастающем гуле и говоре тайги Прохор чутко слышал — черкес точил кинжал.

Дзикающий, знакомый звук. Блестящий, холодный, пламенный, красный — этот звук ползет змеей под шубу, прищуривается и смотрит на Прохора стеклянным, острым, как комариное жало, глазом.

«Дзик, дзик... Прощай, джигит».

«Черкес наточит кинжал, убьет лося... Притащит лося в палатку... Костер, огонь». Прохор улыбается, грезит сладко и под дзикающий железный звяк падает в сон, в ничто.

Сталь клинка, древняя, как человек, устала жить, устала жить и душа черкеса, такая же древняя, как сталь клинка.

Черкес точил кинжал.

Надо острей. Пробует на волосок: нет, туп кинжал. Надо острей, острей. Воспаленный взор, мозг, душа — все в скрытом пламени, как подземный пожар тайги. Сталь белая, с желто-синим отливом по краям, сталь живая, премудрая, сталь верная в могущественной, убивающей любя, руке. Резкий, режущий взмах клинка — и...

— Ой, джигит, джигит!..

Капли пота катятся по горбатому носу, в черную, густо запущенную бороду. И когда Ибрагим с надсадой переводит дух, тугая пружина его души раскручивается, шагнувшая за пределы мысль охладевает, возвращается на свое место, и душа отчетливо видит то, чему не миновать.

Губы шепчут:

— Тебе легко будет, Прошка... А мне как? Ой, ой, Ибрагим-Оглы!.. Где твой Кавказ, где вино, виноград, пахучий миндаль? Алла-алла!..

Он поводит кругом мутными глазами, хватается за обмотанный бок, где ноет-мозжит разбитое ребро.

— Кто наслал тайге волков? Будь проклят! Кто нас бросил тут околевать? Будь проклят! Да еще, да еще. Трижды проклят! Цх!

Он уставился многовидящими в этот час зоркими глазами на костер, на последний огонь в тайге, последнюю искру жизни. И вся его житейская судьба развернулась пред ним белым, захватанным сажей свитком. Нищий мальчишка — пастух чужих отар, там, у себя в горах Кавказа. Молодой, сильный джигит, первый из всех окрестных аулов наездник и стрелок. Бурная, как кипящая кровь, его любовь к черкешенке; он ее выкрал из-под двадцати замков и под свист разящих пуль примчал в свою нищую саклю, усыпанную цветами с гор.

Но вот белый свиток его жизни кружится, крутится, как на огне береста: черная сажа густо покрывает белизну, и жизнь черкеса становится холодной, как пепел остывшего костра. Священная месть, кинжал, кровь. И черкес, разлученный с родной женой, повенчался железным венцом — кандалами — с каторгой на целых десять лет. Голод, плети, кандалы, мрачные горы Акатуя. О, будь ты проклят, час рождения! За что? Где ты, жена? Где ты, старуха мать? Где ты, зеленый виноград, розы, горячее солнце, густые чинары, песни, пляски у костров при звоне кинжалов? Где ты, синяя лазурь, и молнии, и грохот грома в родных горах? Эх! Все прошло, как сон...

Грузная от дум голова черкеса никнет к сонному костру, трубка выпадает из разжавшихся зубов. Черкес хватается за сердце, стонет.

А за ледяной палаткой вторит ему лютым плачем ледяная вьюга, швыряет в костер острые снеговые иглы. Холодно. Костер потухает, спичек нет.

— Прощай, джигит!.. Прости меня, джигит... Спи крепко...

Черкес вскидывает голову, берет в зубы трубку, резким движением крутит кинжал над своей лысой головой и торчмя ударяет в воздух:

«Цх! Так, верно...»

Целует холодное лезвие и опускает в ножны. И вместе с кинжалом опускается в голые потемки вся душа его.

Спасенья нет. Тайге нет краю. Угрюм-река больше не подхватит их быстрый струг.

— Прощай, джигит!

Вдруг грозно и резко завыло все кругом: буря рванула с необычной силой. Убогую палатку, как мыльный пузырь, подхватило напором ветра и, яро хлопнув полотнищем, отшвырнуло прочь. Вихрь враз засыпал костер снегом, и стала тьма.

Лишь слышно было, как ревела пурга, как вырывала она с корнями деревья и с гулом валила наземь. Рявкали медведи, взлаивали лисицы, седобородый мороз кряхтел, выпрастывая красноrожую башку из-под корневища: «Ужо-ко... ужо... У-уууу...»

Могильный снеговой курган то ровняло с землей, то вновь нагромождало гору, нескончаемые бешеные вьюны крутились по всему миру, буря обламывала огромные ветви и птицей гнала их через пространство. Все смешалось в бесконечной кутерьме.

Черкес закашлялся, замотал головой — душила вьюга. Едва переводя дыхание, он нащупал кинжал и с отчаянной решимостью сбросил шубу с непробудно спящего джигита:

— А ну! — сверкнул кинжал...

Буря корежила деревья и, как траву сухую, с шумом, с воем мчала через реку их жалкие обломки. Бушующим ураганом пригибало к земле тайгу. Все кругом осатанело. Горе слабому, горе сильному, живому, кого застигла эта убийственная ночь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Красный, отекший, трясущимися толстыми пальцами, из концов которых, казалось, струился винный спирт, Петр Данилыч Громов вскрыл телеграмму и сдвинул со лба на глаза очки; Марья Кирилловна смотрела на него со страхом, вся тряслась.

— Вот так раз! — упавшим голосом сказал купец; щеки его дрогнули, теряли жизнь. — Пропал ведь Прошка-то наш!.. Вот так штука!.. От губернатора стафет...

Схватившись за голову, Марья Кирилловна с криком пала на колени, сунулась лицом в плюшевое кресло и заплакала надрывным плачем.

— Да стой ты! Стой! Выслушай, что пишет-то... Может, еще жив.

И громко стал читать прыгавший в руках — такой значительный и горький клочок исписанной бумаги:

По донесенью отдельного пристава чрез Монастырь и окрестности путники не проплывали, не проходили. К розыскам можно приступить лишь в январе, когда на озерах будет ярмарка, инородцы протопчут оленями дорогу. 13013. Вице-губернатор *Нольде*.

— Вот видишь? Да не вой ты, Марья!.. Ну тебя!.. Сказано: не проплывали, не проходили. Может, еще пройдут.

— Да где ж они? — подняла Марья Кирилловна скорбное, мокрое от слез лицо.

— Где же, где же?.. Бог его знает где... Может, назад вернулись. Вот Груздев не сообщит ли что... Либо Метелёв... На все воля божья... А вот что же означает цифра?

Он ушел в угловую комнату, где не так были слышны стоны Марьи Кирилловны, и, шагая взад-вперед, растерянно твердил:

— «13013»... «13013»... Что бы это такое значило? Протопчут олени дорогу «13013»... Ничего не понимаю... Ах ты боже мой!

Он достал из пиджачного кармана плоскую флягу с водкой, отвинтил металлический стаканчик, выпил.

— «13013»... Может, им надо столько денег — этим тунгусишкам-то?.. Ну, нет-с... Дальше отъезжай! Пускай на свой счет протаптывают, ежели хотят. Ах, Прошка, Прошка!.. Боже ты мой милостивый! Дурак я, дурак. С каким лысым дьяволом отпустил парня, — с поселенцем... «13013»... Надо позвать Илью.

На цыпочках, вывертывая пятки, низкорослый приказчик подошел к хозяину и несколько раз перечел телеграмму.

— Ну, как твое мненье, голова? — спросил Петр Данилыч.

— Мое мненье отличное, — встряхнул Илья кудрями.

— Например?

— Например, — живы и здоровы. Где-нито у тунгусов в юрте резиденцию имеют. И никаких известий подать нельзя. Ежели с вороной али, например, с галкой — не примет. Я ж вам говорил. А весна придет, возьмут да и приплывут вроде циркуляции. Комментарии излишни.

— Хм! Ну так. А что означает «13013»?

— «13013»? — Приказчик кашлял в горсть, морщил лоб, хмурил брови. — Представьте себе, не могу дать ясный ответ.

— А ежели неясный?

— То есть не могу сообразить... Опечатка тут.

— А не просит ли губернатор денег? Дескать, на розыски? Я не дам.

— Как это возможно! Такую финансовую сумму отвалить, — с ума сойдешь!

— Я не дам, — твердо сказал купец и выпил еще стаканчик.

Он долго, одиноко ходил, посматривая на полыхавшую красным огнем печь и елозя по полу длинными, выше колен, валенками.

— «13013»... «13013»... Надо сходить к попу.

Он быстро налил третий, перекрестился, выпил.

— Вот оно дело-то какое... Ах ты боже мой!

Из густо замерзших окон глядел снежно-пуховый, в трескучем морозе, день.

Петр Данилыч уехал в уездный город.

Анфиса осиротела. Ее сердцу безотрадно и тревожно. Зажалела она Прохора, крепко всплакнула о его лютой доле. Каждый вечер до глубокой полночи раскидывала Анфиса карты, пыталась далекую его судьбу узнать, и все плохая судьба выходит, винновая масть верх берет. Ой, ой, господи! Надо бы сходить к Марье Кирилловне: наверно, сердечная, извелась вся, да как пойдешь? А вдруг не допустит, вдруг скажет: «Вон!»

Так в душевной невзгоде проводила она время, а Петр Данилыч мчал без передыху на перекладных.

— Бубенцы, слышь, парень, к черту. Мне не до бубенцов, — приказывал он ямщикам и всю дорогу был молчалив и мрачен.

Тоскующими глазами оглядывал он серебряную даль, выплывавшие из холодных туманов леса, полную, замкнувшуюся в широкое кольцо луну, — и всюду ему чудился Прохор: вот он несется по кипучим волнам Угрюм-реки; вот, сгорбившись под тяжкой

ношей, скользит на лыжах по сугробам; вот изнемог, повалился, коченеет.

Петр Данилыч кряхтит, крестится:

«Святый апостол Прохоре! Не дай загинуть!..»

Но скрип полозьев говорит: «Прощай, отец... Проща-а-й...»

С такими гнетущими мыслями, в которых, как в море щепка, хлюпалась виноватая душа его, он свершил весь путь...

«Сибирские номера» — единственная в городишке гостиница, куда подкатили взмыленные в морозной ночи кони, помещалась в безобразном, как острог, сыром и холодном каменном здании. Нескладный, как ведерный самовар, керосиновый фонарь у входа, скрипучая с визгливым блоком дверь и гулкий сумрак в узком, пропахшем прелью коридоре.

— Эй! Кто тут есть живой? — крикнул Петр Данилыч и, не получив ответа, нарочно громыхая подшитыми кожей валенками, пошел по коридору. Тишина и мрак.

— Давай в номера грохать, — сказал он ямщику, и они оба с ожесточением начали тузить кулаками и ногами в каждый номер по очереди. Из одного номера грубый голос:

— Какого черта надо?!

— Где коридорный? — обрадовался Петр Данилыч.

— Я почем знаю!.. Дурак какой...

— Я спрашиваю, где коридорный!.. Не на улице же мне ночевать... Я приезжий купец, Громов...

— А вот я те выйду, так покажу купца Громова... Даже с каблуков слетишь! — сатанел за дверью голос. — Вот только дай мне штаны приспособить... Постой, постой!..

— Шляются по ночам разные, — неожиданно заверещала за той же дверью женщина. — Поспать не дают... Черти, дьяволы!..

Петр Данилыч обложил их по-русски и с проклятиями загрохотал в следующий номер. Но вот в глубине коридора заскрипела немазаная дверь, и пискливый голос позвал:

— Кто тут скандал производит? А?

— Мне надо коридорного, — двинулся на голос, с чемоданом в руке, купец.

— Кого? — вновь спросил выплывший из тьмы человек в накинутой овчинной шубе.

— Коридорного мне надо!

— Пошто?

— Номер мне требуется!

— Номер, что ли? То есть ночевать?

— Ну да.

— Ты один али с девочкой раз-навсегда-совсем?

— Конечно, один! Я приезжий.

— Так бы и сказал. Номера у нас есть всякие... Тебе в какую цену? Есть в тридцать копеек. Есть дороже... Самый лучший, на две половины, — рубль.

— Давай самый лучший!

— Шагай за мной, воспадин проезжающий! Да аккуратней, лбом не треснись... У нас тут балка обвалилась... Не можем никак плотника добыть. Тоже город!.. Это называется город... А сам-то хозяин в кутузку посаженный. Вторую неделю сидит. Потому как городскому старосте повредил в драке бороду и левый глаз. А ты откеда? Пошто приехал-то? Масло, что ли, привез? Али чиновник какой высокий? Может, лекарь? Не знаешь ли ты, чем золотуху выгонять? Один мне советовал калину, а бродяжка тут какой-то мыкался, тот велел яичное мыло с чаем пить. То есть напиться этак стаканов десятка полтора и — под шубу... Пропреешь, значит... Ну, я пробовал, душа не примает. С неделю блевал, никак. Думал, сдохну раз-навсегда-совсем...

Гундосо жужжа, как надоедный шмель, человечек влек за собой купца. Вот поднялись они по какой-то тайной, с кривыми ступенями, лестнице наверх, ощупью пошагали мертвым коридором, наконец человечек остановился, сунул в руки Петра Данилыча оплывший огарок, вытащил из кармана допотопный ключище, которым можно уложить на месте любого волка, вставил его в личину и со всех сил принялся крутить. Но дверь не подавалась. Человечек растопырил ноги, зажмурился, оскалил зубы,

отчего повязанное по ушам красным платком личико его приняло страдальческое выражение и, надсадисто пыхтя, тщетно выплясывал возле заклятой двери.

— Тьфу! — с остервенением плюнул он на правый сапог купца и пропищал: — А ну-ка ты... Ты поздоровше меня.

Купец засучил рукава, поплевал в пригоршни и, вцепившись в ключище, принялся на все лады крутить и трясти его, производя сильнейший грохот, словно телега скакала по камням.

— Ужо, воспадин проезжающий, я карасину притащу, либо масла. Смазать надобно. Тогда сподручней. Ох ты господи! Из ушей-то у меня текёт.

Пока он бегал, разъяренный купец свернул-таки ключу башку.

— Что ж нам делать?

Оба — человечек и купец — с недоумением, как два истукана, смотрели друг на друга.

— Придется в другой номер, — присоветовал ямщик-парнишка.

— А и верно! — оба — купец и человечек — весело вскричали враз. — Чего ж мы сдуру-то пыхтим?

— Можно и в другой, — сказал человечек. — У нас свободных номеров сколь хошь. Только те будут попроще. Цена восемьдесят копеек серебром и неудовольствие от клопов раз-навсегда-совсем...

— Много клопов-то? — спросил потерявший терпение купец.

— Да не так чтобы, а есть... До смерти не зажрут...

Кислый, промозглый воздух шибанул купца. Он покрутил носом и сказал:

— Ну и каземат!.. Вот что: затопляй живо лежанку, ставь самовар и тащи мне ужин. Вроде щей что-нибудь, баранины, каши... Ежели пельмени имеются — тащи пельменей.

Человечек растерянно смотрел на него, прищуривая то правый, то левый глаз, и убитым голосом прервал:

— То есть сделайте полное одолжение, ничего такого у нас нет... И куфарка очень выпитши...

— Живо подними!.. Я есть хочу, как волк...

— То есть она даже умерла... Раз-навсегда-совсем. Так что не может... От вина сгорела. Вчерась в полицию увезли. Потрошить.

Купец смерил человечка убийственным взглядом и коротко сказал:

— Дурак!

Из дальнейших объяснений оказалось, что в кухне — ни синь пороха и сам человечек вот уже вторые сутки сидит на хлебе, а теперь и тот доел. Раздосадованный Петр Данилыч порывисто нахлобучил шапку и ощупью выбрался на улицу, чтобы купить сообразно разыгравшемуся аппетиту по крайней мере охапку булок.

— Навряд ли, — уныло долетел до него гнилой голос человечка. — Теперича все спят... Поди уж девять часов скоро. Собаки горло перервут. Спущены.

Увязая в девственных сугробах — ночь была снежная, слепая, — купец, весь потный, донельзя раздраженный сосущим голодом, пошел вдоль улицы, проклиная себя, что не догадался запастись съестным в дороге. Ему вновь было вспомнился без вести пропавший Прохор, но власть естества быстро притоптала все, и единая мысль была — есть, есть, во что бы то ни стало — больше!

И хоть бы одна живая душа. Всех точно перерезали, в окнах тьма, даже собаки дрыхнут, а всего еще десятый час.

На минуту выплыла луна, в ее мутном свете замаячил белый двухэтажный дом.

«Ага! Казначейство... Самый центр, значит... Собор...»

У широких ворот сидела на лавке огромная копна. Над ней клубился пар, как над тунгусской юртой. Петр Данилыч смекнул, что это караульный. Действительно: по крайней мере в двух тулупах, вывороченных шерстью вверх и напяленных один на другой, в огромных валенках, засунутых в пимокатные калоши, в которых, как в ладье, смело можно переплы-

вать любую реку, ночной страж представлял собою неописуемое допотопное чудовище и, к довершению всего, мертвецки спал.

Когда Петру Данилычу наскучило по-человечески будить спящего, он сгреб его за покрытый инеем саженный, приподнятый кибиткой воротник и сбросил на землю. Пыхтя и переваливаясь с боку на бок, как на льду стельная корова, страж никак не мог подняться. Поглядывая на этого беспомощно барахтавшегося гиппопотама, на его нелепую шапку и рукавицы, сшитые из собачьих шкур, на болтавшуюся колотушку с камушком и оловянный, привязанный к шнурку свисток, Петр Данилыч от души громко рассмеялся:

— Ну и караульный!.. Вот так ловко!

— Ой, батюшка, подсоби-ка... Сделай милость.

Петр Данилыч твердо поставил его на землю.

— Да-кось палку-то... Не нагнуться мне, — словно попавшаяся в капкан старая лисица, жалобно заскулил старик.

Купец подал ему увесистую, с корневищем на конце, жердину.

— Ох, спасибо тебе, батюшка, отец родной! — И караульный, сбросив рукавицы, внезапно огрел изумленного купца жердью по голове.

— Что ты, старый черт?!

— Вот те что! Другой раз не будешь буянить по ночам. Варнак...

Насвистывая в свисток и стуча в колотушку, старик мутными узенькими глазками оглядывал прилично одетую фигуру стоявшего перед ним человека.

— Как ты, старый дьявол, смеешь?! Я завтра исправнику скажу... Я — купец!

— Купе-е-ц? — протянул старик; из его груди вырвался сокрушенный вздох. — В таком разе проходи вольготно... Без опаски... Это ничего. А ты чьих будешь?

— Громов. Мне бы поесть.

— Гро-о-мов? — изумился старик и, придвинувшись к Петру Данилычу, стал пристально всматриваться в его лицо. — Не из тайги ли ты?

— Оттуда. Из тайги.

— Вот так раз!.. Благодарю покорно. Ты, видать, Данилин сын? Что, дедка-то Данило жив?

— Помер.

Петр Данилыч хотел грубо оборвать разговор, но в нем шевельнулась надежда, что старик в конце концов накормит его.

— А ты знавал его, что ли?

— Дедку-то Данилу? Не только знавал, а на Страшном суде господнем рядом судиться будем... Во как я его знавал. Ямщиком я был у него, по тайге возил. — В голосе старика зазвучала желчная злоба, как шипенье гада, которому отдавили хвост. — Как жа! Одной кровью мы с ним мазаны.

— Как так?

— Ну, уж это не твоего ума дело... — Старик многозначимо крякнул, ударил палкой в снег и смолк.

— Слушай, дед, не накормишь ли меня? — взмолил Петр Данилыч и сплюнул накатившуюся голодную слюну. — Аж дурно мне. С утра не евши.

— Какая может быть в ночи кормежка? Ночь, спят все... А впрочем говоря, шагай в Грабиловку, сейчас за мостом, там баранки стряпают парни и подолгу не спят. Может, пофартит тебе.

Он снова бухнулся копной на лавку и забубнил, прислушиваясь к скрипу поспешно удалявшихся шагов:

— Накорми-и-ть? Хы! Тоже, выдумал... Так я тебя и накормлю... Поужинал колом по башке — и будь доволен... Варначье отродье. Тьфу!

И закрутились в старой голове воспоминания, чем дальше вглубь — тем ярче.

«Да, покойник был ухарь. Данило-то... Едем мы разбойной ночью с ним тайгой... Вдруг бубенцы чуть сбрякали — мы сейчас в трущобу... У меня в руке шкворень, у него — кистень... Ну, я-то на каторге отстрадал свой грех, а он, змей, золотищем откупился... Эхма!..»

2

Утром чуть свет Петр Данилыч пошел в трактир «Тычок». Ранняя пора, но все столики в трактире были заняты, в воздухе стоял терпкий дух кирпичного чая, смешанный с кислым запахом овчины и человеческого пота. Распаривали горячим пойлом промерзшие свои животы приехавшие издалека на базар крестьяне, составляли им компанию перекупщики, барышники, называемые «сальными пупами». Вот двое непомнящих родства «Иванов», грязные, всклоченные, в бабьих кацавейках и рваных опорках, продрогшие в ночлежке, во всю прыть прискакали сюда по морозу и теперь, тряхнув «настрелянными» пятаками, умильно потягивают чай. Под потолком и на стойке горели керосиновые лампы.

Петр Данилыч перекрестился на образа и подсел к публике почище — мясникам и рыбникам. За второй чашкой вся компания знала, зачем приехал Петр Данилыч, и всяк по-своему выражал сочувствие в постигшем его горе.

— Я только что из Крайска, — говорил бритый, кряжистый, с монгольскими глазами, рыбник. — В две недели докатил, день и ночь гнал без передыху.

— Ну как там, что? — нетерпеливо перебил Петр Данилыч. — Про моего мальчонку-то слуху никакого нету?

— Всех купцов, почитай, перевстречал, а будто ни один не сказывал. И как это вы могли такого юнца на прямую погибель отпустить?..

— Да уж именно, что страху подобно, — подхватил сидевший с краешка старик.

Петр Данилыч ответил не сразу. Обжигаясь, он чашку за чашкой, с азартом глотал чай. Одутловатое лицо его в большой, с сильной проседью бороде покрылось блаженным потом, но глаза, полные тревоги, бегали.

— Грех вышел, — уныло сказал он. — Просто дьявольское наущение. Втемяшилось в башку, вот и послал. Думал — вот торговлю расширить надо,

сына в люди надо выводить, пусть своим горбом да опытом жизнь свою начинает. Вот как, господа, было дело... Засим, не угодно ли... Вот стафет. Пожалуйте взглянуть.

Телеграмма обошла всех; даже старик, для формы, поднес ее вверх ногами к своим темным в грамоте глазам, понюхал и, сокрушенно вздохнув, вернул Петру Данилычу.

— Тринадцать тысяч тринадцать... Что бы это значило?

— А это вот что значит, — чуть прищуривая калмыцкие глаза, сказал рыбник. — Конечно, я не намерен вас стращать, а только что имейте в виду для своего наследника большую опасность. Даже за милую душу может погибнуть.

Все переглянулись, выжидали, что скажет приезжий. Изменившись в лице, Петр Данилыч огладил трясущимися руками бороду и протянул:

— Да ну-у? Да что-о-о вы говорите...

— Я не хочу вас запугивать понапрасну, но факт может произойтить очень даже огорчительный... Вы представьте себе, например, так, — рыбник, громыхая табуретом, придвинулся к растерянно мигавшему Громову, — первым делом, будем говорить, местоположение там вполне безлюдно; во-вторых, — снег вам по пазуху, стало быть никак не пройти, окромя собак. Да и кто туда пойдет? Ведь это надо очень даже счастливый случай, чтобы тунгус или, скажем, якут, идучи на ярмарку к озерам, в аккурат утрафил на то место, где, можно сказать, гибнет ваш сын... Уж не взыщите, я совершенно не хочу вас запугивать, а по-моему — вице-губернатор очень резонный дал ответ. Правильно ли я говорю, господа купцы?

Все утвердительно забубнили, а Петр Данилыч, хватаясь за голову, бормотал:

— Что же мне делать? Как быть-то мне? Присоветуйте, господа честные...

— Надо ждать, что бог даст. На крыльях туда не полетишь.

Петр Данилыч отчаянно крякнул и звучно ударил себя обеими ладонями по коленям:

— Что я наделал! Что я, леший, наделал!!

Все следующие три дня Петр Данилыч метался по городу как угорелый. С телеграфа — к исправнику, от исправника — к знакомым купцам, от купцов — на телеграф. На две срочные телеграммы в Крайск — купцу Еропкину и протоиерею Всесвятскому — пришел ответ лишь от священника.

«Навел подробные справки. Ваш сын в городе не обнаружен».

На четвертый день крепившийся Петр Данилыч сошел с рельсов и закрутил с утра. Пьяненький пришел вечером к себе в номер. В шапке, в шубе повалился на кровать и так горько заплакал, что прибежавший коридорный человечек с размаху отворил скрипучую дверь и таким же скрипучим голосом спросил:

— Извините... То есть вас не обокрали ль?

— Обокрали! — крикнул Петр Данилыч: он посмотрел сквозь слезы на одутловатого человечка с красной повязкой по ушам. — И кто обокрал? Сам себя обокрал. Самолично!

— То есть в каких смыслах?

— Эх, милый!.. Поди-ка сюда, садись-ко... Ты пьешь?

— Декохт я пью... Потому, течение из ушей у меня. На водке настойку пью из дорогой травы, сарсапарель то есть. Раз-навсегда-совсем.

— Тащи! Вот тебе деньги, тащи!.. У тебя из ушей, у меня из сердца течет и изо всех печенок... Горе у меня, друг ты мой, горе!..

К полночи они оба до бесчувствия надекохтились. Человечек спалил три охапки дров, — в номере как в бане. Купец, в одном белье, лежал на кровати, охал и крестился, а человечек, сбросив платок, отчего уши его оттопырились, как у лайки, сидел по-татарски на полу и, сквозь гнилые зубы, говорил:

— Есть у нас в монастыре знаменитый старец... Да, то есть настоящий... Он все наперед знает... Иди, купец, к нему, вот что... Как по пальцам, про сына твоего разберет... Иди, слышь... Не вой. И я пойду. Ватки попрошу я, от ушей... Обмакнет в лампадку и даст... Вот что...

— Чего ты бормочешь там?

— К старцу, мол, иди... Раз-навсегда-совсем. Святой жизни старец имеется...

— Убирайся ты к свиньям со старцем-то! До старца ли мне теперича... Дурак!

— Сам дурак, — загнусил человечек, раскачиваясь из стороны в сторону. — Еще ругается... Думаешь, богат, так и... Вот выгоню вон из номеров-то, тогда будешь знать. Меня хозяин замест себя оставил, если ты хочешь понимать... Мишка говорит, оставайся раз-навсегда-совсем... Поэтому убирайся, проезжающий, вон! Вон!.. Чтоб сию минуту!

— Угу, — промычал купец, сгреб пустую из-под декохта четверть и с силой грохнул ею в человечка.

Тот, как заяц, помчался вон и закричал отъявленно мерзким голосом, как ущемленная в двери кошка:

— Караул! Караул, убили!

Обратные бубенцы брякали печально, полозья выговаривали какие-то слова. Петр Данилыч устало дремал в своей крытой кошеве, и не хотелось ему слышать, что говорят полозья. Но они навязчиво, на один и тот же лад, без умолку твердили: «Неужели погиб? Погиб, погиб... Неужели погиб?» Это бесило и мучило Петра Данилыча, он ворочался с боку на бок, не размыкая глаз, слезливо крякал и сонной рукой вытаскивал из кармана красный носовой платок.

«Да. Верно, что... Напрасно я пустил Прошку... Еще под суд отдадут. Может, такой закон есть. Ах, ты!..»

Самое лучшее — взять ему дома денег и немедленно же отправиться в Крайск, а оттуда — на розыски. Впрочем, там видно будет.

Двое суток мысль его работала в этом направлении, двое суток были бессонны: ни баюкавшие нырки повозки, ни мягкий пуховик на станции не давали ему благодатного покоя. Как невольного преступника, свершившего злое дело в порыве безумия, его терзала совесть.

В полдороге к дому вдруг его осенила мысль: «Не свернуть ли на Угрюм-реку?»

— Ямщик, слушай-ка! Сколько вы считаете до деревни Подволочной?

Старый мужик, не торопясь, отвернул край высокого воротника и, всунув голову в кузов, прохрипел, простудно свистя всей грудью:

— Ась? Ты кликал, что ли?

Оказалось, до Угрюм-реки верст шестьсот-семьсот. Ежели взять доброго коня да на смену прихватить другого — суток в пять можно, пожалуй, и добраться.

На следующий день, в сопровождении бывалого зверолова Изотыча, Петр Данилыч катил верхом по тянигусам и волокам, сквозь непроходимую тайгу, в деревню Подволочную. Путь не легкий, через сугробы, с ночевкой у костра, но погода благоприятствовала: морозно, тихо, да и цель пути сулила дать ключ к томившей его разгадке.

Зверолов Изотыч, хмурый, неразговорчивый, сказал на ночевке:

— А тут неподалеку в Медвежьей пади, старцы есть. Двое. Вроде волхвов. Всю жизнь могут знать. У них — кошки.

Петр Данилыч сразу же решил в душе: «Надо свернуть. Может, что скажут дельное. Да надо бы и в городе к схимнику сходить. Тот дурак-то толковал про монастырь. Эки грехи какие!»

— Из бродяг, что ли?

— Из них.

Медвежья падь утопала в снегах. Кругом дремали вековые сосны и кедрач в белых пушистых шлемах. На обрыве, притулившись к серой, обдутой ветрами скале, стояла почерневшая лачуга. Она вся срублена всего лишь из трех венцов, бревна были неимоверной толщины. «Богатырям впору такие сутунки

ворочать. Вот так бревна!» — удивился Петр Данилыч, слезая с коня.

На самом князьке, уткнувшись лбами, сидели две черные кошки. Третья — царапалась в дверь и мяукала. Заходило солнце. Холодный, открывшийся взорам путников закат пламенел желтым негреющим огнем. Где-то перекликались два ворона, и голоса их четко звучали в тишине.

Петр Данилыч с верою перекрестился и вошел в лачугу. Кромешная тьма. Ледяное, вместо стекла, оконце было скупо на свет. Лишь тлеющие в камельке угли, похожие на живую груду золота, слегка колебали мрак.

Вошедших шибанул в нос мерзкий запах — кошками и промозглой дрянью.

— Здравствуйте-ка! — сказал во тьму Петр Данилыч и вновь стал креститься. — Есть тут кто живой-то? — Он с удивлением заметил, как внизу, во всех углах и где-то повыше мутно заблестели фосфорическим светом точки.

«Кошки это».

— Эй, дедушка Назарий! Жив ли? — позвал Изотыч.

Во тьме закряхтело, и грубый низкий голос сказал:

— Жив. Оба живы... и Ананий жив. Он в лесу, по дрова ушел... Вот ужо я огня вздую. Кто такие?

— Дальние.

— Знаю, что не ближние. Звероловы, что ли? Али городские?

Изотыч, многозначительно кашлянув, ткнул Петра Данилыча локтем и, захлебнувшись от охватившего его чувства, поспешно сказал:

— Как по писаному! Зверолов да купец. Из города. Двое нас. Ха!

— Знаю, что не четверо. Ну, разболока́йтесь. Тесно у нас, да и мусорно. Хвораем вот с братаном-то. И кысоньки голодные. Кыс-кыс-кыс!

Мутно-светлые точки погасли, вспыхнули вновь, зашмыгали, и жалобное мяуканье наполнило лачугу. При свете самодельной свечи Петр Данилыч разглядел рослую, под потолок, широкоплечую фигуру чернобородого старца.

— Садитесь не-то, вот тут, хошь. На скамейку-то. Поди замерзли? Поди чайку хотите? Чаю у нас нету. Снег таем да водичку пьем. Скудно у нас.

— Не хлопочи, старец праведный, — сказал Петр Данилыч, — у меня все есть.

— Какие мы праведники? Мы грешники. Великие грешники. Как бог-батюшка нас еще на земле носит? Свят-свят-свят. С чем пожаловал, с горем? Осиротел, что ли? Али жена ушла, али сам от нее откачнулся?

Петр Данилыч вздохнул и с волнением, смягчая голос, сказал:

— Да ни то ни се... А так как-то, середка наполовинку. Сын у меня пропал.

Он стоял против сидевшего на широком пне Назария, с надеждой и скрытым, безотчетно пробудившимся страхом смотрел на его желтое, со втянутыми щеками лицо, на черную длинную бороду, на черные пряди волос, прикрывавших высокий, изрытый морщинами лоб. Назарий сдвинул густые брови и молча, пристально смотрел в глаза купца.

— Ранней весной, еще по снегу в тайгу уехал. И, как в воду, прямо сгиб.

Старец все так же грозно продолжал в упор глядеть на него. Петру Данилычу стало неловко, жутко. Кошка вскочила к нему на плечо. Он погладил ее дрожащей чужой рукой; как будто скрутился он весь и онемел под безмолвным взглядом черных устремленных на него глаз.

— Может быть, знаешь что? Скажи... — наконец выговорил он.

— Откуда же я могу знать? Колдун я, что ли? Это мужик тебе наврал про нас. Грех тебе, мужик.

Изотыч, разжигая каменку, только крякнул и вновь толкнул локтем Петра Данилыча.

— Нет, вы предсказываете, — благоговейно сказал Изотыч.

Заскрипели шаги по снегу, вошел низенький старичок, большеголовый, с маленькой седой бородкой.

— Здорово, Ананий! — поприветствовал его Изотыч.

Старичок промолчал, истово перекрестился в передний угол, где за лампадкой темнели безликие, покрытые сажей доски.

— Каково живешь, Ананий? — вновь спросил Изотыч.

— Он — молчанка. Попусту спрашиваешь. С миром он не говорит теперича.

В лачуге сделалось жарко. Петр Данилыч разделся до рубахи. От духоты и жару заболела голова. Он раскаивался, что завернул к старцам, не давшим ему облегчения, и еще раз обратился к Назарию:

— Как же быть-то? С сыном-то? Научи-ка ты меня.

— Время укажет. Ничего я не знаю... Терпи.

Переночевав у старцев, купец уехал с неприятным чувством к ним и со злобой на болтливого Изотыча.

Через двое суток он прибыл в деревню Подволочную, до крыш засыпанную снегом, грустный и встревоженный.

3

Марья Кирилловна, по отъезде мужа, ежедневно заказывала обедни с коленопреклоненными молебнами о здравии страждущего и путешествующего отрока Прохора.

Отец Ипат с сугубым усердием и воздеванием рук справлял заказную требу — плата была приличная и, помимо того, каждый раз сдобный пирог с изрядной выпивкой. Марья Кирилловна не пожалела бы для отца духовного и бочки самолучшего вина, лишь бы праведный господь внял неусыпным ее мольбам, преклонил ухо стенаниям ее.

Заручившись через посредство отца Ипата божьим милосердием, Марья Кирилловна, подчиняясь своей женской слабости, а главное — по наущению стряпухи Варварушки и приказчика Ильи, решилась обратиться с ворожбою и к шаману, сиречь к услугам адских сил самого диавола. Не обмолвилась она об этом ни одним намеком отцу своему

духовному, хотя прекрасно знала, что от злостного запоя лечил отца Ипата шаман-тунгус.

И декабрьским вечером, наказав всем сказывать, что уехала в город к мужу, в сопровождении глухого дворника, белобрысого горбуна Луки, отправилась в темную тайгу за ворожбой.

«Господи, прости ты меня, грешную!» — всю дорогу вздыхала тайно душа ее, но уста безмолвствовали, нельзя имя божье поминать, раз решилась на такое дело, нельзя даже крест на груди иметь — Марья Кирилловна ехала без креста, как изуверка.

Резвый иноходец примчал их седой ночью к тунгусскому стойбищу. На круглой поляне, примкнувшей к проезжему зимнику, ярко пылал неугасимый костер-гуливун. Под его колеблющимся светом плавно колыхался истоптанный оленьими стадами снег, а стволы деревьев подпрыгивали и дрожали, будто им снился страшный сон. Несколько остроконечных чумов мирно почивали; лишь в том, что стоял посредине, слышались крик и рокот бубна.

— Ишь ты! — воскликнул тугой на ухо Лука. — Я и то слышу. Волхвует он. Оо! Эвот-эвот, как всхамкивает!..

Марья Кирилловна, робко озираясь, с жутким чувством подходила к чуму: ей мерещилось, что вся поляна кишит нечистой силой, что в темном дыме над костром крутятся шайтаны и шили́куны: вот они увидали ее, вот с гамом мчатся к ней.

— Ай, Лука! — И бескрестной, ради сына откачнувшейся от бога изуверкой, Марья Кирилловна вбежала в чум.

В пудовой шаманьей шубе, увешанной железными побрякушками, шаман Гирманча неистово бесновался по ту сторону костра, бил в огромный бубен, гикал. А перед костром, у входа, на оленьем коврике, выставив кверху непомерный свой живот, лежала вся иссохшая, полумертвая жена его и печальными, в слезах, глазами обреченно смотрела куда-то вдаль.

Шаман был нем и глух к вошедшим. Марья Кирилловна забилась в угол и ждала. Она видела, как шаман сглатывал-сжирал болезнь жены: «Хам-ам!

Агык!» — как с заклинаниями мазал жертвенной оленьей кровью и лоб, и грудь, и живот своей жены, как снова осатанело кружился у костра, вот бессильно упал наземь, тяжко застонав.

А когда очнулся, снял шаманью шубу и, выкурив подряд три трубки, сказал Марье Кирилловне:

— Здрово, Машка! Пошто прибежаль?

— Голубчик, Гирманча... — начала она. — Вот какое дело-то... — И все рассказала ему про сына, потом вынула из саквояжика дары. — Это тебе, а это жене твоей... Ради бога... Ой, тьфу, тьфу, тьфу! Погадай, пожалуйста... Места не найду. Того гляди — разума лишусь. Сердце мое в тоске.

— Ничего... Это ладна, — радостно сказал шаман, с жадностью набрасываясь на бутылку коньяку — подарок. — Ужо пойду самый главный шайтан кликать, самый сильный... Ехать шибко далеко надо, ой-ой, как... Туда, да туда, да туда... Где найдешь? Может, твой парень сдох, в ад надо ездить, в черный день ездить... Может, сдох, как знать.

— Что ты, что ты! — слезливо скривила рот Марья Кирилловна, подняла голову — Гирманчи в чуме не было.

Звал-призывал Гирманча в тайге главного шайтана, и гортанный голос его то взлетал над чумом, то спускался в преисподнюю, был глух, придавлен.

Один за другим стали собираться в чум заспанные тунгусы. Щурясь на яркий свет, садились они живой подковой вокруг костра, приветливо посматривали на гостью: авось поднесет по чашке огненной воды, от которой вдруг станет весело в руках, в ногах, вдруг сгинет зима, мороз, болезни, каждый будет богат и силен.

Гирманча вошел усталый, бледный; с прошлой ночи он ничего не ел: нельзя. Но движения его четки, быстры. Окинув возбужденным взглядом чум, он сел на олений коврик-кумола́н и потребовал костюм шамана. Ближний родственник Гирманчи подал сапоги, тяжелую шубу, шапку, рукавицы и стал над костром

греть бубен: кожа натянется сильней, бубен будет говорливей, гулче.

Настроение шамана стало нервным. Он беспеечь курил, заразительно позевывал — трещали скулы, — присвистывал, что-то невнятно бормотал. И вновь без конца зевал, раздирая скулы. Взволнованная Марья Кирилловна сидела по ту сторону костра, против шамана, с упованием смотрела на него.

Вдруг худощавый, с моложавым ласковым лицом Гирманча исчез — перед ней сидел теперь грозный, грузный, в колдовском облачении шаман.

— Бубен! — крикнул он и тихо ударил колотушкой в хорошо натянувшуюся кожу.

Глухо вздохнул оживший бубен раз, другой. Затянул шаман, запел, как во сне, тонким голосом, стал по-тунгусски, нараспев рассказывать, что пришла к нему богачиха Машка, ну что ж, он услужить ей рад, вот только, пожалуй, трудно будет сегодня летать ему; ну да ничего, он знает — как. Лишь бы подальше от свежих могил, от теней, карауливших еще не сгнившие свои тела, от коварных колдунов, от логова рожающей бабы. Дальше, дальше!

Удары в бубен стали постепенно учащаться, стали громче.

— Эй, духи, собирайтесь! — Он уткнулся головой внутрь бубна и поет, приветствуя каждого явившегося духа: — А, это ты, гагара? Вот, славно... Ты самая проворная... Эй, добро! Помнишь, как мы ныряли с тобой, едва дна достали?.. Карась тогда густо шел, не протолкнешься. О-о-о... А где твоя сестра, твой брат?

И чудится суеверной Марье: один за другим духи собираются, собираются, невидимкою садятся на край бубна, ждут. От дыры вверху, сквозь которую смотрят с неба звезды, и до последнего темного угла весь чум стал наполняться жутью, нежитью. И чудится всем одуревшим, всем потерявшим здравый рассудок: ночные волшебные силы шепчутся, колышут присмиревший, напитанный адским смрадом воздух, все прибывают-прибывают, тихим свистом приветствуя своего знакомца, который призвал их

к бытию. Добрые и злые, покорные и, как взбесившийся сохатый, буйные слетаются со всех семи небес, земли и преисподней.

И раздается сердитый, надтреснутый голос шамана:

— А! Это ты, проклятый змей? Это ты огадил мне в тот раз глаза, чтоб ослепить меня? Врешь, вижу! Вижу! Я сильней тебя!.. А ну, давай тягаться!..

Вот оглушительно ударил бубен — все в чуме затряслось, заколыхалось,— гикал, гукал шаман страшным голосом, и все железища на его шубе злобно встряхивались и звенели.

Марья Кирилловна окаменела, сердце замирало, металось в страхе. Пока не поздно, надо бы бежать... «Лука, Лука!.. Где он?»

— Все! — крикнул шаман и поднялся во весь рост. — Слетелись, съехались, примчались... Все! Та-та-та... Та-та-та... О, вас много!.. Бубен мой огруз... Эй, подсобляйте! Выше подымайте меня, выше!

Он крутнулся, ударил что есть сил бубном в левое колено и стал скакать вокруг костра на обеих ногах враз, как воробей. Гикал, каркал, пел на непонятном языке, и зрители, доселе равнодушные, начали подхватывать хором никому не ведомую песню.

— Выше, выше подымай!!

Голоса их дики, исступленны — словно медвежий зык; они рычали, взлаивали по-собачьи; вот кто-то подавился, кто-то пронзительно завыл. Действо началось. Все кругом взбесилось. Чум дрожал.

— Агык! Агык!! Та-та-та-та! — ревел шаман, крутясь и ударяя в бубен.

— Я уже высоко, — заговорил он теперь далеким, как чревовещатель, голосом, а неистовый рев кругом начал меркнуть, униматься. — Вот реку вижу на три оленьих перехода вверх, на три вниз... Вот чум... Эй, кто там? Эге, это старый Синтип сидит...

— Что он делает? — несмело выкрикнул из тьмы горбун Лука.

— Сеть чинит, крючки точит... Ага, тут возле озера — леший о семи глазах. Пусть торчит, как сгнивший пень... Там, внизу, не видать ни одного врага...

Важно... Эй, мошкара моя! Поднимай меня выше! Буду дальше смотреть.

И застонал и заметался. Звякали железища неистово, дрыгали на шапке совиные перья, — громко, пронзительно крикнул шаман:

— Вижу! Все вижу!.. На сто оленьих переходов... — и еще громче крикнул: — В гроб!! Назад, в гроб скорей!! Геть, шаманка, в гроб!!

Крепче молота бухнуло в сердце, в голову Марьи Кирилловны слово «гроб». С резким криком, словно жизнь вынимали из нее, опрокинулась навзничь, обмерла.

— Воды! Давай воды скорей, снегу! — засовался горбун Лука.

— Вижу, слышу... Жив... — хрипел шаман, и большущий бубен грохотал, как гром в горах.

Шаман крутился в своей пудовой шубе, как легкий вьюн, ветер бурей летал по чуму, швыряя пепел в рты, в глаза сидящим, и пламя костра, гудя, металось. Быстрей, еще быстрей!

Белая вспузырившаяся пена запечатала весь рот шамана, тяжко хрипит шаман. Сердце умирает, едва бьется.

— А-а!.. Вот ты где? Ну, здравствуй, — чуть слышен его шепот. Грохнулся на землю шаман.

— Держи бубен! Хватай!! — вскочил на ноги весь чум: сгорит, порвется бубен, тогда шаману смерть.

Шаман лежал ничком с закрытыми глазами. Он весь подергивался, весь дрожал, пена клубилась на губах. Бережно перевернули вверх лицом, отерли с губ белую густую пену, накрыли голову шелковым платком — подарком. Захрипел шаман.

Горбун Лука, раскорячившись, непрерывно поминая Христово имя, тер снегом лицо и шею обомлевшей Марьи Кирилловны. Вот шевельнулась, взглянула на Луку, и веки ее вновь закрылись.

Когда окончательно пришла она в себя, шаман Гирманча сидел на прежнем месте, улыбался ей. Он в красной рубахе, на груди большой серебряный

крест, как у попа. Длинные поповские волосы спутались и были влажны. На моложавом, со втянутыми щеками, лице Гирманчи ласково блестели живые, но полные страдания глаза.

— Эге, Машка, здравствуй! Чего случилось? — осведомился он и взял в рот трубку, раболепно поданную соседом: всяк норовил подать шаману свою трубку, наготовили, набили табаком — кури.

— Ну, Гирманча, — сказала Марья Кирилловна, оправляясь.— Век не забуду... Ой, и страх!..— И медлила спросить о главном — а вдруг? Приказывала языку, но язык немел.

— Живой, — беспечально прозвучал вдруг голос Гирманчи из едучего махорочного облака. — Как жа, совсем живой... Чай пьет, цахар трескат... Во.

— Где же, в тайге, в снегу? — придвинулась Марья Кирилловна.

— Да-а-леко... — Гирманча в медленном раздумье повернулся во все стороны и указал направо:

— Там!

— Живой? — усмехнулась, вынимая платок, Марья Кирилловна. Рот ее кривился.

— Живой, здоровый... Кра-а-сный... Шаманка спасла его, девка, из гроба встала... — врал Гирманча. — Борони бог, как... А черкесец поколел.

Марья Кирилловна и в горести и в радости заплакала и, замерев, повисла у Гирманчи на шее.

В мире с жизнью, в тихой надежде возвращалась обрадованная мать домой служить коленопреклоненный, благодарственный молебен.

4

Ярко топились расписные печи в дому Якова Назарыча Куприянова, именитого купца северного города Крайска. Ярко горела под потолком, в хрустальных висюльках, лампа. Серебряный самовар пускает клубы пара: семья пьет чай.

Яков Назарыч клетчатым платком отирает лоб, широкий ворот чесучовой рубахи расстегнут, видна

из-под рыжей бороды белая короткая шея. Грузный, краснощекий, он низок ростом, но широк в плечах и ядрен телом, несмотря на свои пятьдесят пять лет. Рыжие, седеющие волосы вьются крупными кольцами. Кисти рук толстые, в золотых перстнях.

— Пей-ка, гостенёк дорогой, пей, — говорит он не по фигуре тенористым, почти женским голосом, обращаясь к сидящему рядом с ним Прохору Громову. — Поди тайга-то не шибко тебя чествовала...

Прохор застенчиво улыбается, теребит над верхней губой ранние, едва проросшие усы и осторожно подвигает миловидной хозяйке, Домне Ивановне, огромную чашку с надписью: «*А ну еще...*»

Он живет здесь третий день.

А вчера приехала из губернского города на рождественские праздники гимназистка Нина. Она вся в радости: надолго отлетела зубрежка, казарменный пансион сменился родительским уютом, а тут еще такой гость. Как он красив, как интересен! Кажется, немножко диковат. Ну, не беда... Ах, смотрит, смотрит на нее!..

Нина тотчас потупила свои большие серые глаза под темными, слегка изогнутыми бровями, но тотчас же вновь взглянула на молодого гостя, улыбаясь уголками губ. Какой смешной!.. Надо ему сшить рубашку...

Прохор утопал в необъятной шерстяной фуфайке Якова Назарыча. Ему с дороги нездоровилось — горели впалые щеки, светились лихорадочно глаза. Его одежда, густо усыпанная вшами — этими назойливыми квартирантами всякого надолго погрязшего в тайге, — подвергалась жесточайшей парке, мойке, сушке.

— Вы прогостите у нас рождество? Не правда ли? — спросила Нина.

Всякий раз, когда раздавался ее порывистый голос, у Прохора замирало сердце, и все существо его вдруг пронизывалось каким-то сладким смущением.

— Не правда ли?

— Нет, Нина Яковлевна...

— Опять — Яковлевна?.. Это еще что? — кокетливо постучала она в стол чайной ложкой. — Не смейте!.. Просто — Нина, Ниночка...

— Хорошо. Я все забываю. Я одичал... Извините. Мы с Ибрагимом должны спешить домой. Матушка беспокоится, отец...

— Глупости! Мы вас не пустим!.. — вскричала Ниночка.

И родители:

— Гости, молодой человек. Успеешь еще домой-то, в берлогу-то.

— Нет, — настойчиво сказал Прохор. Все взглянули на него: голос властен, вопрос решен до точки.

— Вот и видать, что он покорный сын, — начала после паузы Домна Ивановна, оправляя бисерную на голове сетку. — Родительское-то сердце поди иссохло все, дожидаючись. Особливо Марья-то Кирилловна поди тоскует... Езжай, голубчик.

Прохор затянулся папиросой и нервно отбросил с высокого лба черный чуб. Он возмужал, окреп, казался двадцатилетним. Только иногда голос выдавал: вдруг с низких, зрелых нот — на петуха. Прохор тогда неловко прикрякивал и ерзал в кресле.

— Знаю я отца-то твоего, Петра-то Данилыча. Как же, — не находя нити разговора, в третий раз об этом же заговорил Яков Назарыч и крепко рыгнул после шестого стакана.

— Папочка!

— Ну, что такое — папочка! Брюхо рычет, пива хочет. Мамзель какая!.. С высшим образованием...

— Пока не с высшим... А буду с высшим...

— Дай бог, — сказала Домна Ивановна, ласково погладив дочку по спине.

— Да, оно, конечно, ничего... Что ж... Хотя при наших достатках — плевать в тетрадь и слов не знать, как говорится... Женихов и теперь хоть палкой отшибай. Эвот давеча приходит ко мне Павел Панкратыч, да и говорит: «Малина у тебя дочка-то... И пошто ты ее учишь? Замуж надо сготовлять...»

— Папочка!

— А у самого сын жених... Да найду-утся...— Яков Назарыч любовно посмотрел на Прохора.— Найдутся женишки подходящие. Ничего. А ведь я, молодчик Прошенька, и дедушку-то твоего знавал — Данилу-то. Ох, и Еруслан был,— в сажень ростом! Бойкий! Такой ли ухарь, страсть! Вижу, парень, и ты в него. По повадкам-то да по обличью. В него.— Яков Назарыч заулыбался самому себе, что-то припоминая.— Дак в капиталах, говоришь, батя-то твой? Ишь ты! Это Данило его пред смертью наградил. Только... Э-эх!..— Он прищурил левый глаз, улыбнулся по-хитрому и поскреб затылок.— Так мекаю, что не в коня корм. Не впрок будет...

— Ну, отец! Тебе какое дело? — с досадой оборвала его Домна Ивановна.

— Не впрок, не впрок,— потряхивая головой, твердил Яков Назарыч.— Не в обиду будь тебе сказано, молодчик Прошенька, не деловой он человек. Слабыня. Бабник. Вот торопись вырастать да бери все под себя. Дело будет... Дело.

— Про меня — услышите. Про меня все услышат! — гордо, с молодым задором откликнулся Прохор и покосился на девушку.— Ежели меня бог от смерти спас, я...

— Не хвались, едучи на рать. Молод еще,— предостерег его хозяин.— Услы-шут. Эк ты взлётываешь! Что ж, собственно, ты мекаешь делать-то со временем?

— Всё! — крепко сказал Прохор.

В беседе время перевалило за полночь, Нина пошла спать. Ласковый взгляд Прохора проводил ее до самых до дверей и словно увяз в темноте, где постепенно замирали ее четкие шаги.

«Ушла... Какая она красивая! — думал он, не понимая, о чем спрашивает его Яков Назарыч.— Покойной ночи, Ниночка! Покойной ночи...»

На следующий день, жирно позавтракав, Прохор пошел с Ниной по городу.

На занятые у Куприянова деньги он успел купить черный овчинный полушубок, пыжиковую шапку с длинными ушами и в этом наряде был строен и

красив. Он, осторожно и стыдясь, присматривался к Нине, скромно одетой в синюю шубу с белым воротником и белую шапочку. Ему нравился открытый взор ее больших умных глаз с оттенком задумчивости и грусти, нравились ее маленькие строгие губы, молочно-белое со здоровым румянцем лицо и вся ее крупная, расцветавшая фигура.

«Русская красавица. Вот бы...»

Он в это «вот бы» еще не мог влить значительного содержания, лишь чувствовал, что в его сердце намечается нечто, такое странное и новое. Ему хотелось без конца говорить с ней, без конца мечтать, выказать себя героем, чем-нибудь отличиться, ему просто хотелось ей понравиться. Но язык, мозг и даже все движения его были скованны, он все еще дичился ее общества, боялся показаться ей смешным. Он видел в ней образованную барышню, а себя считал недоучкой, мужиком и вспыхнул как искра, когда Нина спросила его:

— А как же вы с ученьем? Что ж, вы так-таки и забросите книги?

Подумав и потирая чуткие к морозу, ознобленные в тайге уши, он ответил:

— Учиться буду. Не знаю, — в школе или нет, но буду. По всей вероятности — дома. Куплю книг, программ...

— Ну, в это я не верю. Какое дома ученье? Учиться надо в городе, в людях, на обществе.

— Можно и дома. Было бы желание, — сказал Прохор. — А вам что ж, нравятся ученые?

— О да!

— А просто умные, сильные?

— Умному и сильному очень нетрудно сделаться и образованным. Да. — Она сжала губы и засмеялась в нос, обволакивая Прохора ласкающим взглядом.

— Постараюсь, — сказал тот и, заикаясь, добавил: — Чтоб вам понравиться...

— Ха-ха-ха!.. А вам так хочется понравиться мне? Смешной какой!

Прохор неловко поскользнулся и чуть не сшиб

Нину. Они шли посреди укатанной дороги. Улица безжизненна. Кое-где двигались закутанные неуклюжие фигуры.

— Вот дом золотопромышленника Фокина, — сказала Нина. — Он в больших миллионах, а настоящего размаху нет; торчит здесь и всем доволен. Задает пиры. Однажды пьяного пристава заколотил в сахарную бочку и спустил с откоса. Был целый скандал. Дело доходило до губернатора. И все, конечно, сошло с рук...

— Деньги — сила, — сказал, оживляясь, Прохор. — Ниночка, а как вы думаете, буду я богат?

— Вы и так богаты.

— Да разве это богатство?! Я буду богат по-настоящему. — Глаза Прохора загорелись, голос перестал срываться. — По-настоящему буду богат. Настоящие дела заведу. Я об этом хорошо подумал.

Девушка засмеялась и слегка ударила его муфтой.

— Сколько вам, Прохор, лет?

— Тридцать.

— Ха-ха-ха! Сбавьте!

— Двадцать пять. Я не верю ни отцу, ни матери. Они думают, что мне восемнадцать. Ошибаются, просчитались. — Он говорил возбужденно, шаги его стали тверды, широки. Нина едва успевала за ним.

— Какой захолустный ваш городок, нет кондитерских, — сказал он. — Ужасно хочется пирожного.

Девушка широко открыла глаза и заливисто, звонко рассмеялась.

— Ах вы деточка! Как это хорошо! Вот придем, давайте торт стряпать.

— Давайте, — сказал Прохор упавшим голосом и мысленно выругал себя: «Дурак».

— Вы любите танцы?

— Нет, не занимаюсь, — с напускной важностью сказал он. — Не признаю.

— Хм, скажите пожалуйста, — со скрытой усмешкой кольнула она. — Вы какой-то особенный.

— Особенный? — Прохор замедлил шаги. — А может, я особенный и есть. Я начну рано! Учитель

рассказывал нам о знаменитых художниках и музыкантах. Они уже в детстве были... как это?

— Призваны?

— Ну да, вот! Например, Бетховен, кажется. Есть такой? Ага! Он с четырех лет будто бы. Может, быть, такой и я. Только в своем роде музыкант. По промышленности, по коммерции.

— А вы в куклы не играете?

Огорошенный, он остановился:

— Какая вы заноза!

— Я? О да... — Нина снова рассмеялась и потянула за рукав надувшего губы Прохора. — Город кончился, пойдемте до леска.

— Пойдемте. Только почему вы все смеетесь надо мной? Я не люблю, когда надо мной смеются.

— Вы что, всерьез? Пожалуйста, Прохор, не хмурьте брови. К вам это не идет.

Она осторожно, как ручного медведя, взяла его под руку, Прохор сладко засопел и еще раз обозвал себя в мыслях дурнем: «С чего это я прикидываюсь таким бородатым. Дурак какой!»

По узкой извилистой дороге тянулся бесконечный обоз с окоченевшими тушами мяса. Оскал свиных клыкастых ртов выразителен и жалок: казалось, животные все еще безголосо визжат и стонут под ножом. Глубокие раны на их затылках широко зияли, сгустки крови красными гроздьями застыли на морозе.

Нине противно это зрелище: оно внушало ей омерзение к человеческой жестокости. А Прохор прищелкнул языком, сказал:

— Ух ты, какое богатство! Вот это я люблю! Когда я буду сам хозяин, я устрою консервный завод. Жирные куски мяса, жирные рыбы, рябчики в жестянках с надписью: *«Торговый дом — Прохор Громов»* — будут отправляться во все места, даже за границу. Я устрою скотобойню — какую-нибудь с фокусами. Сам обучусь в Америке, собственноручно буду резать быков... Я...

— Какой вы — мясник... Это нехорошо. Это гадко! А я решила сделаться вегетарианкой.

— Вегетарианкой? Это что за нация? — спросил Прохор.

— При чем тут нация? — с легким оттенком превосходства отозвалась Нина. — Вегетарианство — это безубойное питание. Без насилий над жизнью.

— Ах, да, — спохватился Прохор, и губы его задрожали от досады.— Ну, я это не признаю. Кровь — вещь хорошая. Я очень люблю студень из свинячьей крови, с салом, с уксусом.

— Какие мы все-таки с вами разные, — со вздохом сказала Нина.

5

Обед приготовлен очень вкусно. Прохор ел за троих и громко чавкал. Нина с выжидательным любопытством глядела на него. Выпивали, чокались. Не отставал и Прохор.

— Почему вы мне не расскажете подробно про свое путешествие? — спросила гостя Нина.

— А вот вечерком ужо. У меня даже есть дневник. Могу прочесть.

Яков Назарыч с аппетитом уничтожал струганину из мороженых стерлядок. Непривычный к вину Прохор чуть захмелел; он все время блаженно улыбался, в упор посматривал на оживленное лицо девушки.

— Ну, молодежь, выпьем! — поднял бокал хозяин. — За здоровье молодежи! Счастливо жить... нам на смену.

— Ура!! — крикнул Прохор. — Ниночка, за ваше здоровье! Ха-ха! Бескровное питание, а сама — поросенка с кашей.

Хозяин выпил, пободался — кудрявые с проседью волосы встряхнулись.

— Знавал, знавал деда-то твоего, вьюнош, как же. Твой дед да мой отец, царство ему небесное, компанию водили. Всегда, бывало, заезжал к нам, как с пушной ярмарки ехал. Да вот убили моих родителей-то, царствие им небесное... И отца и мать... Убили, разбойники убили... В ваших краях... Много лет тому... Эх, налей еще! Зубровочки. С травкой.

Прохор едва оторвался от пудинга. Яков же Назарыч, теребя золотую толстую цепь на синей плюшевой жилетке, тенористо говорил:

— Ниночка у меня богоданная. Не было, не было детей, а хотелось дочку страсть. Умолили владычицу, бог послал. Девять лет Домна-то не носила, понесла...

— Папочка!

— К отцу Ивану телеграмму в Кронштадт отбрякали... Тут, значит, она и понесла... Домна-то. И вышла Ниночка благословенная... Эвон, какая краля! А? Прохор? А?!

— Папочка! Перестань!

— Очень даже красивая собой... — сказал Прохор. — Даже на редкость!

— Вот, вот... Вырастай, брат... Хе-хе... — Яков Назарыч подмигнул Прохору и хлопнул дочь по спине ладонью. — Эх, добёр товарец!

Ибрагим торопил Прохора домой. Прохор медлил... Семья Куприяновых ему по нраву; вкусный стол, уют — после тайги пресветлый рай. А главное — Ниночка. Он с досадой сознавал ее превосходство над собой; ему казалось, что она много знала, много читала. Он пасовал перед ней всякий раз, когда она заводила серьезный разговор, и, сдаваясь, злился на себя. Он дал себе слово много знать, многому учиться; он видел, что неучем можно жить только в тайге. Да, он будет грамотен. И — хорошо грамотен!

Однажды в сумерках они сидели возле топившегося камина. На ее коленях, щурясь на огонь, мурлыкал кот.

— Да, Ниночка, — говорил Прохор; он широкой своей ладонью гладил кота, стараясь как бы нечаянно, но настойчиво и грубо прикасаться к ногам девушки.

— Я слушаю, — нахмурила брови Нина и сбросила кота на пол.

— Вот я и говорю. Верно вы подметили, что я не

по годам большой, серьезный. А все Угрюм-река с тайгой наделала. Ужасно было трудно! Под конец прямая гибель подошла, а умирать — тяжко. Потом уж махнул рукой, занемог, есть нечего, холод. Даже не хотелось ни о чем думать. А главное — холодно. Уж очень холодно. Бррр!..

Прохор весь вздрогнул и придвинул стул к огню.

— Бедный мальчик! Мне вас жаль.

— И странные сны мне снились. Голова, что ли, так устроена у меня. Очень странные. И страшные. В особенности последний.

— Какой же? Опять свою Синильгу видели?

— Да. Ее.

Нина задумалась, потом сказала:

— Повторите еще раз, как вы нашли ее гроб. И вообще про всю ту ночь. Я очень люблю страшное. Только не торопитесь.

Припоминая подробности, а то и просто выдумывая, чтоб постращать Нину, Прохор шаг за шагом снова пересказал ей о своем походе с Фарковым к могиле шаманки — лунная ночь, висячий гроб, черная коса, — о своем бегстве, о том, как вслед им слышался свист и шепот мертвой Синильги: «Бойе, поцелуй меня!»

Нина вздрогнула, перекрестилась:

— Какой ужас!..

— И в ту же ночь я видел сон. Все красное-красное, и — поцелуи... — Прохор говорил тихо, прислушиваясь к своим словам. — А потом другой сон, белый: девушку видел, одну знакомую крестьянку, Таню...

Нина в глубокой задумчивости глядела на огонь. Полумрак комнаты колыхался и что-то шептал вместе с пламенем. В темных углах неясная тишина стояла, и чудилось Нине, что там прячется душа Синильги, мрачная, неспокойная... Вот она, вот она идет... и Нина вскрикнула.

— Барышня, что вы? Ведь это я. — Кухарка неслышно, по-кошачьи мягко ступая, прошла мимо них с клюкой и стала ворошить жаркое золото углей.

— Какая вы пугливая, — сказал Прохор.

— Нервы у меня... У нас в гимназии девчонки озоруют по ночам. Спиритизмом занимаемся, духов вызываем... Вот и...

— А я хотел вам рассказать еще кое-что. Пострашнее!

Нина огляделась кругом, прислушалась — за окном высвистывала метель и лизала темные провалы стекол.

— Зажгите лампу. Я не могу в темноте быть.

Розовый абажур сильной лампы приблизил, вызвал из мрака темные углы. В углах спокойно, пусто.

— Подбросьте дров, озябла я. — Нина натянула на плечи шаль и плотней уселась в мягком кресле.— Это очень интересно. Ну, я слушаю, — проговорила она почти шепотом. Лицо ее побледнело.

Прохор смутился и беспечным голосом сказал:

— Нет, я лучше расскажу вам про одну молодую вдову-тунгуску... Очень смешной случай... Как-то старик тунгус завел меня к себе...

— Однако какой вы бабник! — слегка пристукнув каблуком, с брезгливой гримасой сказала Нина. — Вдова, Таня, еще про какую-то Анфису говорили...

— Это наша очень хорошая знакомая, очень красивая, в селе у нас. — Голос Прохора дрогнул. — Я о ней не думаю. Мне Синильга подсказала про нее в последнем сне. Я даже не знаю — это, может, и наяву было.

— Я еще раз хочу услышать: как вы спаслись?

— Извольте. — Прохор нервно вычиркнул спичку и закурил.— Я умирал. Помню, как шарахнула буря, сразу, вдруг. Нашу палатку отбросило. Вихрь срывал с меня шубу. Вихрь крутился белый, белый, холодный... Я высунул голову, и вдруг что-то сверкнуло перед самыми глазами, как огонь, как молния. Кто-то дыхнул на меня и с криком, ужасным таким, звериным, кто-то опрокинулся и закувыркался. Это Ибрагим закувыркался, в руке у него кинжал. Я знаю. Хотя он не сознается. И почему он закричал — не говорит. Вам тоже не скажет, лучше не сердите его, не спрашивайте... — Прохор порывисто

курил, жадно глотал дым и с шумом выдыхал его клубами. — Потом вдали затявкали собаки. Я думал, опять волки это. Нет, собаки, и представьте — ездовые: шли на ярмарку, к озерам, якуты. Взяли нас. Так мы спаслись от смерти. Впрочем, я вам говорил... И вот не могу сообразить, не могу вспомнить — очень болен был, расстроен — до этого или после, а может, и в это время я видел Синильгу. Помню, кружилась, пела, била в бубен свой. И много-много о чем-то говорила. Все забыл.

Оба долго сидели молча. Потрескивали дрова в печи, мурлыкал кот.

— Вот и все мои приключения, — вздохнув, сказал Прохор.

Нина поняла, что ему тяжелы воспоминанья. Ей захотелось ободрить его, но не знала как, какими словами. Она достала из сумочки карамельку.

— Нате, шоколадная. После горького — хорошо.

Прохор рассеянно положил карамельку в рот, сказал:

— Ерунда!

— Что?

— Синильга. Настоящая чушь. Первый раз — объелся. А под конец — хворал. Тоже разная чертовщина грезилась. Бред. Например, будто медведь отгрыз мне голову, а у меня новая выросла, львиная. Я задрал медведя и достал свою голову, только уж с бородой и всю в слезах. Когда проснулся, я действительно заплакал... Мать вспомнилась. А кругом был холод, безлюдье. И никакой надежды на спасение. Вот, Ниночка, хорошая моя... Вот... А мертвые никогда не ходят.

— Ходят. Не тела́, а души. Это называется метафизика. Нет, виновата, мистика. Да, кажется, мистика, а может, по-иному. Я читала Фламмариона «Пожизненные призраки» — там очень много разных случаев с покойниками. Еще у Крукса...

— Ерунда! — отрывисто сказал Прохор и резко швырнул окурок в камин. Нина показалась ему в этот миг маленькой. «Да, я мужчина, а ты баба», — самодовольно подумал он.

— Яков Назарыч, вы еще не спите, можно к вам? — постучался Прохор в дверь комнаты хозяина.

— Входи, братец, входи без церемоний. Ты как родной мне, все едино. — Он сидел в халате у огромного письменного стола, заваленного конторскими книгами, бланками, образчиками товаров, и брякал на счетах. Был поздний вечер.

— Я послезавтра уезжаю.

— Ну, что ты! Гости знай...

— Пора уж. Не отпустите ль вы мне, Яков Назарыч, товару в долг тысячи на полторы, на две?

— Куда тебе? — прищурился на него купец.

— Дорогой приторговывать стану.

— Хы!.. Вот пес, извини на ласковом слове. Это мне глянется. Хы! Ладно, ладно. — Он весь распустился в улыбке, подъехал на своем кресле к учтиво стоявшему юноше и дернул его за полу: — Садись-нито. Поговорим.

Прохор опустился на краешек стула и сидел почтительно, как проситель у человека власти.

— Так, правильно. Как же ты поедешь с товаром-то? Ведь будет задержка в пути?

— Я на двух парах, быстро. Вчера выехал на железную дорогу купец Болдырев, — в Москву едет. Я подговорил его ямщика, дал ему красненькую на чай да в трактире водкой угостил, селянку съели. Он оповестит по деревням, что я поеду с товарами. Места тут глухие. Сколько до железной дороги-то от вас? Тысяча верст? Думаю, что будет барыш.

— Вот дьявол! — вскричал купец, притворно раздражаясь. — Да ты у меня всю коммерцию отобьешь!.. Хы! Дам, дам, дам. Бери, брат, бери. Вот завтра утречком в лабаз и пойдем.

Прохора бросило от удачи в пот.

Покидал он город с болью в сердце. Ниночка обещала писать. Грустная-грустная вышла проводить его. Хозяин и хозяйка напутствовали гостя, крестили. Пусть он едет по дорогам с оглядкой: ночи

разбойные, народ лихой, пусть Ибрагим смотрит за Прохором, как за самим собой. Ну, в добрый час!

Долго размахивал Прохор своей ушастой пыжиковой шапкой, стоя дыбом в санях. Но вот на повороте шустрые кони взяли круто, и он свалился с ног.

6

Словно выходец с того свету, самый дорогой, нежданный гость — Прохор Громов подъезжал к селу Медведеву, где родимый дом.

В широкой кошевке сидели трое. Ибрагим, отец и сын. Отец за сто верст встречать выехал: давно пришел «стафет» от сына, а второй — от Куприянова:

«Встречайте. Едет».

Тройка каурых несется быстро, у Петра Данилыча не лошади — зверье. И по селу — с кнутом, с бубенцами, вихрем. Вот церковь — «благодарю тебя, господи, что спас!» — а вот и зеленая крыша — выше всех, их дом.

Яркое солнце слепило взор. У ворот нового своего домика стояла Анфиса; она заслонилась от солнца белой рукой, да так и впилась глазами в лицо Прохора.

Петр Данилыч помахал ей собольей шапкой.

— Это кто? — Прохор спросил. — Не Анфиса ли?

А вот и... Все у ворот на улице. Варвара-стряпка, Илья Сохатых в форсистом полушубке — шапка набекрень; старшина, горбун, разные барбосы с шавками, отец Ипат — священник и даже, казалось, душа самого дедушки Данилы.

Сбегался народ, — занятно, право. Жив и невредим!

— Гляди-ка, мать, какого орленка к тебе привез! Узнаёшь ли? — прокряхтел хозяин.

— Зело борзо! — возгласил отец Ипат и засвистал одобрительно.

Плакала мать, плакал Прохор.

Прохор с дороги спал до вечера. Чай пили своей семьей, но в чистой комнате. Прохор без умолку рассказывал, заглядывая в книжечку. Отец слушал молча, с большим вниманием, и лицо его выражало то восторг, то гнев, то ужас. Мать вздыхала, крестилась, улыбалась, и не ушами слышала она, — слова как-то летели мимо, — слышала своим сердцем.

— Вот я жив, здоров. Это Ибрагим спас меня.

Отец грузно встал и, чуть покачиваясь, вышел в кухню.

— Папаша опять, кажется, выпивши?

— Пьет... — ответила мать. Она вздохнула, губы ее задрожали. — Плохая жизнь у нас...

Отец вернулся. За ним шагал, чуть согнувшись, Ибрагим.

— Садись, — сказал отец.

— Наша постоит, — ответил Ибрагим.

— Садись! — крикнул отец. — Да не сюда, вот в кресло. — Он выдвинул обитое плюшем кресло на середину комнаты и усадил горца.

— Мать! — сказал отец. — Пускай все сюда придут. Позови поди.

Прохор предупредительно выбежал в кухню. И вскоре, по его зову, горбун, приказчик, стряпка и кучер стояли возле дверей.

— Вот, ребята, — и хозяин указал на Ибрагима, — этот самый человек сына мне от неминучей смерти спас. И я, как именитый купец, желаю возблагодарить его. Ибрагим! — обратился он к нему. — Ты, может статься, и злодей, это ничего, со всяким случается такой конфуз, но ты... значит, сердце у тебя из золота. Поэтому — спасибо тебе от всей русской души, благодарю покорно. — Он хотел опуститься пред ним на колени, но Ибрагим вскочил:

— Хозяйн! Не надо!..

— Сиди! Сиди!.. Эй, вы, все кланяйтесь, все! Варвара, Илюха! Благодарите все. Ибрагим! Жертвую тебе белого коня. Владей... Кучер! Коня передать черкесу с седлом, со всем. Илюха, отпусти Ибрагиму самого лучшего сукна, сапоги, шелку, — чего

пожелает. И вот еще, погоди, погоди, — он вынес из спальни заграничный штуцер. — Это вот особо.

Ибрагим встал на колени, поцеловал штуцер и сказал дрожащим голосом:

— Цх! Спасибо, батька... Ежели винтовку давал мне, ежели коня давал, знай, батька, умру за тебя, за Прошку, за хозяйку... Умру! Да хранит тебя аллах, батька... Спасибо, батька!

Поздно ночью, когда Прохор лег спать, Марья Кирилловна села возле и любовно глядела в лицо его. Какой красавец!

И Прохор всматривается во всю фигуру матери сыновним, нежно чувствующим взглядом. Почему так поблекла она? Вот и морщинки, и какая-то складочка между глаз легла, и чуть опустились углы милых, ласковых губ. Жалко стало.

— Ты все вздыхаешь, мамаша... Почему это?

Она пересела к его изголовью, откинула черную прядь кудрей с его высокого лба, поцеловала. Он обнял ее за шею и прижался к ее лицу.

— И рада бы не вздыхать, да вздыхается... Сыночек, Прошенька!

— Что ж, тебе плохо разве?

— Нет, ничего... — сказала она, глубоко вздохнув. — Да вот поживешь, узнаешь.

— Мамаша!.. — проговорил он и привстал. Широкая грудь его была раскрыта. Золотой крестик на цепочке поблескивал. — Милая моя мамашенька... Я вырос, я не дам тебя в обиду. Ты — дороже отца. Не дам.

— Трудно, Проша, не поможешь... Он слабый человек... Да и не в нем беда... Тут другое...

— А что?

— Другое, Проша... Даже язык не поворачивается. И бог, видно, отступился от меня. — Она вынула платок, заплакала.

— Мамаша! Мамашенька...

7

А вскоре масленица подкатила, настоящая, сибирская: с блинами, водкой, пельменями, жаренной в сметане рыбой, вся в бубенцах, в гривастых тройках, с кострами, песнями, разгулом.

Дня за три, за четыре целая орава ребятенок, на широкой площади, возле самой церкви «город» ладили. Это такой вал из снега, очень высокий, всадника с головой укроет. Он широким кольцом идет, по гребню елочки утыканы, а в середине, в самом городе, шест вбит, весь во флагах — Петр Данилыч не пожалел цветного ситцу. На верху шеста колесо плашмя надето, а на колесо в «прощеное» воскресенье Петр Данилыч бочонок водки выставит. Ох, и потеха будет! В «прощеное» воскресенье удальцы город будут брать: кто примчится на коне к шесту, того и водка. Но не так-то легко с маху в город заскочить.

«Прощеное» воскресенье началось честь-честью — православные к обедне повалили. Солнце поднималось яркое, того гляди к полудню капели будут, снег белел ослепительно, и воздух по-весеннему пахуч.

Даже трезвон колоколов точно веселый пляс: это одноногий солдат Ефимка — чтоб ему — вот как раскамаривает!

«Четверть блина, четверть блина!» — задорно подбоченивались, выплясывали маленькие колокола.

«Полблина, полблина, полблина!» — приставали медногорлые середняки.

И основательно, не торопясь, бухал трехсотпудовый дядя:

«Блин!»

А одноногий звонарь Ефимка — ноздри вверх, улыбка до ушей и глаза лукавят — только веревочки подергивает да живой ногой доску с приводом от главного колокола прижимает. Одно Ефимке утешенье, одна слава — первеющий звонарь. Посмотрите-ка! Он весь в звонах-перезвонах: локти ходят, голова кивает, деревяшка пляшет, живая нога в доску

бьет. Да прострели его насквозь из тридцати стволов — и не учувствует. И мертвый будет поливать в колокола:

Четверть блина, —
Полблина,
Четверть блина,
Полблина,
Блин, блин, блин!

И кажется Ефимке — все перед глазами пляшет: солнце, избы, лес. А вот и... ха-ха!.. Дедка Наум в новых собачьих рукавицах усердно в церковь шел, остановился против колокольни, сунул в сугроб палку да как начал трепака чесать. Потом вдруг — стоп! — задрал к звонарю седую бородищу, крикнул:

— Эй ты, ирод! Чтоб те немазаным блином подавиться... В грех до обедни ввел!..

А штукарь Ефимка знай хохочет да наяривает:

Четверть блина, —
Полблина,
Четверть блина,
Полблина,
Блин, блин, блин!

В церкви народу много. Лица старух и старцев сияли благочестием, — через недельку все свои грехи попу снесут, — а ядреные бабы с мужиками, те в гульбе, в блинах.

От голов кудластых, лысых, стриженых и всяких невидимо возносился хмель и крепкий винный перегар, из алтаря же укорчиво плыл сизый ладан. Старушонки по-святому морщились, оскаливали зубы. «Тьфу, как в кабаке!» — и на всю церковь подымали дружный чих. Ребятишки прыскали в шапки смехом и получали по затылкам от родителей раза̀.

Батюшка, отец Ипат, служил хотя и благолепно, но заливчато, как бы на веселый лад. Ведь и он не прочь погулеванить: блинки, икорка. От вчерашних блинов с превеликим возлиянием у священника вроде помрачение ума — кругом блины: по иконостасу, в алтаре, под куполом и вплоть до паперти — блины, блины.

— Слушай, — шепчет он подающему кадило, — принеси-ка снегу мне. Желаю слегка освежиться.

Весь правый клирос битком набит самыми горластыми мужиками и мальчишками. То есть с такой свирепостью орали, так кожилились, что у басистого дяди Митродора в глотке даже щелкнуло. А как стали рвать: «Яко до царя!» — сам отец Ипат не утерпел, замахал на них кадилом:

— Сбавьте, православные! Полегче.

Прохор Громов стоял с матерью впереди. Петр Данилыч тоже изъявил желание присутствовать: поставил свечку, поикал, поикал, да — с богом, вон. Анфиса Петровна на приступках возле левого клироса красуется, как маков на грядке цвет. Тысячи глаз на нее смотрят не насмотрятся — и по-злому и по-доброму. Ай, и модна же красавица, модна!

Прохор до крови губы искусал. Не желает на нее смотреть, не будет на нее смотреть! Но она тянет его взоры, как магнит иглу. Тварь!

А Илья Петрович Сохатых чуть позади Анфисы воздыхал. Крестился очень часто, руку нарочно заносил высоко: глядите — перстни, кольца, а вот и браслет висит.

Проповедь отца Ипата была строгая. Разругал всех в прах.

— Вы православные, аки неверы, — возглашал он, прижав аналой к священному тугому животу. — Како вы готовите себя к приятию великого поста господня? В диком плясе, в кривляньях, непристойных песнях и так далее и так далее до бесконечности. Горе земле Ханаанской, погибель возвещаю вам! «Не упивайтесь вином, в нем бо блуд есть!» — сказано древним. А вы что́? Вы погрязли в пьянстве, как некии индейские дикари, лишенные благодати божией. Опомнитесь! Ведь малые дети растут и видят все ваше непотребство. Пример грустнейший! Или задумали дьявольскую игру — «город брать». Это конное ристалище подобно языческим амфитеатрам, а вы мерзость сию допустили возле дома божия. Паки глаголю: опомнитесь, православные! Дни сии — дни молитв и воздыханий. Аминь!..

Когда солнце начало спускаться в дол, по селу загремели выстрелы. Мальчишки с оглушительными трещотками носились из конца в конец:

— Выходи! Выходи! Город брать!!

Возле города, иждивением Петра Данилыча, — высокий помост для почетных лиц. Тут все его семейство собралось и вся сельская знать. Только Прохор ушел на колокольню. Оттуда видней, да и с Анфисой он вовсе не желает быть.

— А где же отец Ипат? — осведомился пристав в николаевской шинели и с усищами.

— Домой ушедши, ваше высокоблагородие, — ответил старшина.

— Они очень ссылались на живот, — почтительно вставил Илья Сохатых и даже по-военному ручкой козырнул.

Высыпало полсела. Лица у всех улыбчивы, красны. Солнце не скупилось: горели кресты на церкви, и окна в доме отца Ипата, что напротив, пылали пламенем. На валу, возле ворот снегового города и от ворот, по обе стороны, кучами стояли с трещотками в руках ребятишки и подростки. Они острыми глазами настороженно посматривали вдоль дороги, пересвистывались, пересмеивались.

Вот вырвался из переулка всадник, ударил коня и прямо на потешный город. За ним другой, третий. Ближе, ближе. Мальчишки с ревом, свистом закрутили трещотками, во всадников полетели комья снега, льдинки, конский помет; бабы визжали и взмахивали платками перед самыми мордами взвивавшихся на дыбы лошадей. Всадники драли коняг плетью, пинали каблуками, нукали, тпрукали, кони храпели, крутились, плясали на дыбах и — боком-боком прочь под ядреный хохот веселого народа:

— Тю-тю-тю!..

— Ездоки! Наезднички!..

— Вкусно ли винцо досталось? Тю-тю-тю!..

Митька Дунькин с коня слетел. И пошли еще скакать все новые, из переулка, из ворот: кто на хорошем бегуне, кто на шершавой кляче.

— Гляди, гляди! Смерть на корове, смерть!

— Где?

Действительно, от одного посада улицы к другому металась ошалелая корова, ее нахлестывали в два кнута два коротконогих пьяных мужичонка. Они совались носами в снег, вскакивали, бросались наперерез корове, та взмыкивала, крутила высоко вскинутым хвостом: вот поддела на рога упавшего на карачки мужичонку, тот по-волчьи взвыл и уполз куда-то под сарай. На корове крепко сидела смерть в белом балахоне и с косой.

— Смерть! Смерть!.. — орал народ.

В это время заскрипели поповские ворота, и верхом на рыжем хохлатеньком коньке неспешно выехал сам отец Ипат.

Выражение его лица вялое, узенькие глазки щурились, он поклевывал носом, будто дремал. Шагом поехал по дороге прочь от города. Все удивленно смолкли. В синей шапочке-скуфейке, и голова у него острая — клином вверх, плечи узкие, а зад широк. Посмотришь в спину — как есть копна с остренькой верхушкой.

— Куда же это батя собрался?

— Куда, на заимку, надо быть... Не иначе, к кузнецу, — переговаривались в толпе.

Вдруг батя круто повернул сразу ожившего коня, взмахнул локтями, гикнул и, поправив скуфейку, внезапно ринулся на город.

Мгновенье была изумленная тишь кругом. Потом вмиг все заорало, загайкало, затрещало, засвистели свистульки, три гармошки грянули, все бросились город защищать.

— Врешь, батя! Тю-тю-тю!..

— Ты обманом? Ха-ха-ха!.. Вот те проповедь!..

— Ух! Ух! Гай-гай-гай!.. Вали его! Вали!!

Мужики на вал вскочили, полетели в батю комья снега, шапки, рукавицы, сапоги. Все надорвали глотки, выбились из сил. Батя три раза бросался на потешный город, три раза отступал. Его коняга озверел: крутится, вьется, морда в пене, весь — от копыт и до ушей — дрожит.

— Ну, христовый! Н-ну!! — вытянул его отец

Ипат кнутом. Конь всхрапнул, взвился. Еще прыжок и... город был бы взят.

Но в этот миг какой-то сопляк мальчишка как сунет коню под самый хвост горящей головней. Конь словно угорелый сшиб стенку подгулявших баб и во весь дух помчался по сугробам, без передыху, взлягивая задом и крутя хвостом. Отец Ипат весь переполз на шею и, уцепившись клещами рук и ног, впился в коня, как росомаха. Вдруг на всем скаку коняга такого дал козла, что отец Ипат стремительно вылетел торчмя головой и по самый пояс увяз в сугробе вверх ногами. И весь народ пестрым голосистым облаком хлынул к нему галдя. Ряса черным трауром разлеглась на снегу. Из нее торчали к небу две ноги в плисовых штанах, из кармана выпали берестяная табакерка и колода карт. Обе ноги медленно двигались, то расходясь, то смыкаясь, будто большие ножницы что-то с трудом перестригали.

Низкорослый пузатенький попик всем миром быстро был освобожден. Он сидел на сугробе смиренно. Все громыхало хохотом, визжало, айкало.

Батя, вытряхнув снег из бороды, протер глаза и осенил себя крестом.

— А я глядел, глядел в окошко, — сказал он, кашлянув, — эх, думаю, подлецы! Даже города взять не могут.

— Как ваше здоровье, батюшка? — любезно осведомился прибежавший пристав.

— Ни-и-што, — махнул рукой отец Ипат. — Вон какой я сдобный... И вся сдоба эта зело борзо вниз ползет.

— Геть, геть! — резко раздалось. Против города стоял на дороге белый конь. На нем в седле—черкес.

— Ребята! Ибрагим!

Все тучей понеслись к воротам. Ибрагим оскалил зубы, хлестнул коня нагайкой, конь бросился вперед и сквозь страшный рев, минуя ворота, разом, как птица, перемахнул вал.

— Ура! Ибрагим! Ура! Ура!! — отчаянно и радостно загалдела площадь.— Через вал! Братцы! Вот так язва!..

С колокольни бежал к Ибрагиму Прохор, вся знать тоже спешила от помоста к городу: ну и молодец черкес! А черкес улыбался всем приветливо, но ребятишки даже и этой его улыбки боялись, как кнута. Он сдвинул на затылок папаху, открыв огромный потный лоб, и сказал:

— Джигиту зачем ворота? Гора попалась — цх! к чертям!.. Гуляй, кунаки, пей мое вино!! — и шагом выехал из города под дружное «спасибо», под «ура».

— Где же вы, Прохор Петрович, скрывалися? — проворковала Анфиса.

Прохор только бровями повел и спросил мать громко, чтоб все слышали:

— Почему эта женщина стояла с вами, мамаша, на помосте?

— Я не знаю, Прошенька.

— А кто ж знает? — крепче, раздраженнее спросил он.

— Я, — ударил голосом отец, взял сына под руку и прочь от толпы отвел. — Вот что, милый вьюнош, — сказал он, — ты мне не перечь, не досматривай за мной и не мудри. Понял? А то я с тобой по-другому поговорю.

Прохор нервным движением высвободил руку и быстро пошел домой.

8

Вечером у Петра Данилыча званые блины. Конечно, присутствовала и Анфиса Петровна Козырева. Она всячески льстила Прохору, заглядывала в его глаза, но он, — хотя это стоило ему больших усилий, — почти не замечал ее или старался оборвать красавицу на полуслове, уязвить. И чем больше раздражался, тем сильней загоралось в его душе какое-то странное чувство: вот бы ударил ее, убил и с плачем бросился бы целовать ее мертвые обольстительные губы.

А его все наперебой:

— Прохор Петрович, расскажите: как вы?.. Будьте столь любезны.

И в десятый раз он начинал рассказывать все новое и новое, припоминая потешные, удивительные случаи из своих опасных странствий. Но как-то сбивчив, неплавен выходил рассказ, — злая сила колдующих глаз Анфисы крыла его мысли путаным угаром.

— Я, мамаша, освежиться пойду. — Он встал и вышел.

Было звездное, словно стеклянное с прозеленью небо, и серп месяца — зеленоватый. У церкви горели костры. Парни заставляли скакать чрез огонь молодиц и девок, скакали сами. Визготня, смех, крики. Огни высокие, пламя с пьяными хвостами. Гармошка, плясы, поцелуи.

Прохор стал среди толпы, высокий, статный. Молодухи с девками потащили его к костру. Как крылатый конь, перемахнул Прохор через пламя. Солдатка Дуня повисла у него на шее и обслюнявила его губы влажным своим ртом. От нее пахло водкой, луком. Он так ее стиснул, что треснули у бабы все завязки, она с визгом повалилась в снег, увлекая за собой Прохора. И сразу — мала куча. Прохор с кряхтеньем высвободился из груды навалившихся на него тел, и началась возня. Гам и крик стоял, как на войне.

Прохору стало жарко. Он расстегнул полушубок и, спасаясь от подгулявших баб, трусцой побежал чрез площадь к избам. То и дело попадались пьяные. Прохор направлялся прогоном за село. Взлаивали собаки. Вдали, весь в куржаке, мутно серебрился лес. Глухо-глухо доносился оттуда стон филина. Вспомнился шаманкин гроб в тайге, вспомнился последний страшный час, занесенный над ним кинжал черкеса, колдовской бубен и Синильга. Какой ужасный сон! Никто не узнает об этом сне: ни Ибрагим, ни мать. И как хорошо, что он жив, что он здесь, на родине, возле близких. И как он рад, что у него есть Ибрагим и мать! Но почему же так неспокойно бьется его сердце? Анфиса? Он готов принести клятву, вот тут, сейчас, перед этим полумесяцем — он разлучит ее с отцом.

— Мама-а! Что сделал с тобой отец...

И ему захотелось криком кричать, ругаться. Он отомстит ей за каждый седой волос матери, за каждую раннюю ее морщинку. Но как, как?

— Как?!

И засмеялось пред ним нежное лицо Анфисы и так соблазнительно открылись розовые губы ее.

— Ниночка! — крикнул Прохор, чтоб прогнать искушение. — Милая Ниночка... Невеста моя!..

Лунная ночь. Он возвращался из лесу.

Масленица еще не угомонилась. Костры так же горели: возле них с песнями кружилась молодежь, кой-где бродили по сугробам пьяные; из конца в конец перекликались петухи.

Вот вырвалась из лунной мути тройка, забулькали-затренькали бубенцы с колокольцами — мимо Прохора прокатил отец. Рядом с ним — Анфиса. На ее голове бледно-голубая шаль. Отец что-то выкрикивал пьяным голосом и крутил в воздухе шапкой. Она смеялась, и серебристый, тронутый грустью смех ее вплетался в звучный хохот бубенцов.

«Ага!» — про себя воскликнул Прохор и, незамеченный, бегом — домой.

Тройка уже стояла у купеческих ворот. Прохор спрятался в тень, напротив. Отец поцеловал Анфису, сказал: «Иди с богом», — и покарабкался на крыльцо. Она застонала протяжно так: «о-ох!» — и пошла к себе, сначала тихо, затем все ускоряя шаг.

Прохор подбежал к взмыленной тройке, повелительно шепнул ямщику: «Живо долой!» — и вскочил на облучок.

Высокая, скрестив на груди руки, красавица в раздумье шла, опустив голову. Прохор забрал в горсть вожжи, гикнул и понесся на нее.

Она быстро обернулась, хотела отскочить:

— Прохор! Жизнь... — но пристяжка смяла ее.

— Эй, стопчу! Не видишь?! — крикнул Прохор, и тройка помчалась дальше.

Вся в снегу, белая как снег, поднялась Анфиса, постояла минуту, поглядела вслед тройке и заплакала

неутешно. Тройка мчалась к лесу. Глаза Прохора сверкали. Сверкали звезды в ночи. Прохор закусил губы, голова его закружилась. Закружились звезды в ночи, и месяц скакнул на землю. Тоска, холодный огонь, мучительный стыд и жалость...

Петр Данилыч ругал жену, грозился, орал на весь дом, требовал Прохора.

Вошел Ибрагим, поворочал глазами страшно, сказал:

— Крычать нэ надо. Хозяйку обижать нэ надо. Пьяный — спи. А нэт — кынжал в брухо...

Петр Данилыч что-то пробурчал и быстро улегся спать.

Потрясучая ведьма, по прозвищу Клюка, растирала скипидаром крепкое белое тело Анфисы. Анфиса стонала, очень больно ногу в бедре. Клюка завтра поведет Анфису в баню, спрыснет с семи окатных камушков водой.

— Как ты это? Кто тебя?

— Сама. Сама.

И не спалось ей всю ночь. Всю ночь, до морозной зари, продумала она. Как сиротливо ее сердце, как оно горячо и жадно!

«Сокол, сокол!.. Кровью своей опою тебя. От всего отрекусь: от света, от царства небесного. А ты не уйдешь от меня... Сокол!»

Всю ночь напролет, до желтой холодной зари, строчил Прохор письмо Нине Куприяновой. И не хотелось писать, — забыл про Нину, — но стал писать. Напишет строчку, схватится за голову, зашагает по комнате, зачеркнет строчку и — снова. Самые нежнейшие слова старался подбирать, и все казалось ему, что слова эти лживые, придуманные, без сугрева. С письма, со строк глядели ему в сердце укорные глаза Анфисы.

— Милая, — шептал он, злясь, — милая... Ниночка...

Но Анфиса принимала это на свой счет и кивала ему ласково и вся влеклась к нему.

Прохор стукнул в стол, в клочья разорвал бумагу и, не раздеваясь, лег. Снилась рождественская елка

в городе, в общественном собрании. Он — маленький, с бантиком и в штанишках до колен. Какой-то незнакомый дядя в сюртуке подарил ему золотую лошадку.

9

Анфиса скоро оправилась. Она никому не сказала. Молчал и Прохор.

Была хорошая пороша. Прохор взял двух зайцев и возвращался домой. Нарочно дал крюку, чтоб пройти мимо Анфисиных ворот. Солнце было золотое. В воробьиных стайках зачинался весенний хмель. Анфиса сидела на завалинке в синем душегрее, на голове богатая шаль надета по-особому: открыты розовые уши и длинные концы назад. Рядом с ней Илья Сохатых: франтом.

— Здравствуйте, Прохор Петрович! — Она встала и стояла высокая, тугая, глядела ласково в его лицо.

— Здравствуйте! — Чуть-чуть взглянул — и дальше. «Какая, черт ее дери, красивая!» Потом оглянулся, и вдруг сердце его закипело:

— Илья! Домой! На, отнеси зайцев.

— Сегодня ведь, Прохор Петрович, по календарному табелю праздник.

— Поговори! — Губы его прыгали. Нет, он отвадит этого лопоухого мозгляка от Анфисы.

Как-то вечером он был дома один, с жадностью перечитывал Жюль Верна.

— Здорово, светик!

Он поднял голову. Пред ним, в черном шушуне — Клюка, голова трясется, мышиные глазки-буравчики сверлят, рот — сухая береста. Он продолжал читать. Она села рядом и стала гладить его по спине, по голове, поскрипывая смехом, как скрипучей дверью, и покряхтывая:

— Ох, и люб ты ей!

Прохор глядел в книгу, но уши его навострились, и полет по Жюль Верну на Луну сразу оборвался.

— Брал бы. Она не перестарок, двадцать второй годок идет.

Щеки Прохора покраснели, и онемевшие строки исчезли вдруг.

— А какая бы парочка была!.. По крайности — отца отвадишь, мать спасешь. — Голова ее тряслась, на глазах навернулись слезы, пахло от нее тленом, могильной землей, но слова ее шпарили, как кипяток.

— А у тебя, бабка, есть зубы? — спросил Прохор.

— Нету, светик, нету.

— Жаль... А то бы я тебе выбил их. Уходи!

— Дурак ты, светик, — сказала Клюка, схватилась за перешибленную годами спину и, заохав, поднялась. — Ососок ты поросячий, вот ты кто. Этакую кралю упускать! Сколь времени живу, такую королеву впервой вижу. Вся думка ее к тебе лежит... Эх ты, дурак паршивый!.. Хоть бы матку-то пожалел. Зачахла ведь. — И скрипучей дугой к двери, подпираясь батогом.

— Бабка, слушай, — вернул ее Прохор и сунул ей в руку рубль. — Скажи, бабка, только не болтай никому, слышишь? Она любит отца?

— Отца?! — вскричала бабка. — Христос воскресь... Помахивает им... Больно нужно...

— Врешь... Слушай, бабка! А Илюха, приказчик наш, часто ходит к ней? Слушай, бабка...

— Да ты чего дрожишь-то весь? Тебя любит, вот кого, тебя! А мало ли к ней ходют... Знамо дело, мухи к меду льнут. Вот поп как-то пришел, сожрал горшок сметаны — да и вон. Помахивает она.

— Врешь! Она отцова любовница... Она...

— Тьфу! Будет она со старым мужиком валандаться. Говорят тебе, — ты один... Эх, младен! Ты ее в баньке посмотри — растаешь... Сватай знай. Не спокаешься... А то городскую возьмешь с мошной толстой, загубишь красу свою, младен. Может, на морду-то ее и смотреть-то вредно...

— Скажи ей... Впрочем, ничего не говори... Иди... Ну, иди, иди. Убью я ее, так и скажи... Убью!

Он долго не мог успокоиться. Жюль Верн полетел под стол. Взял геометрию и бессмысленно читал,

переворачивал страницы с треском. Ведьма — эта Анфиса. Она раздевается пред ним среди цветов: «Здравствуйте, Прохор Петрович!» Она, не торопясь, входит в речку. Нет, это Таня... Милая Таня, где ты, нахальная, смешная Таня? Квадрат гипотенузы равен... К черту гипотенузу! Зачем ему гипотенузы? Ему надо деньги и работу.

И пляшет пред ним менуэт темнокудрая Ниночка, и в руках ее, над головой, гипотенуза, держит за кончики гипотенузу и плавно так, плавно поводит ею, улыбаясь: «Тир-ли-тар-ли; тир-ли-ля...» «Ниночка!» Он валится на диван и закрывает глаза. Он целует и раздевает Ниночку. Она смеется, сопротивляется. Он умоляет: «Разреши». Он никогда не видал, во что одеты барышни. Кружева, взбитый как сливки тюль, бантики.

Кровь приливает к голове, во рту сухо, ладони рук влажнеют.

— Вот «Ниву» привезли папаше с почты, из села, а тебе — письмо. Ты здоров ли? Красный какой... — сказала Варвара.— Ужо дай картинки поглядеть нам с Ибрагимом-то.

«Миленький Прохор Петрович, ну, не сердитесь, я буду звать вас Прохором, — писала Нина. — Это третье мое письмо, а вы не отвечаете. Грех вам. Уж не прельстила ли вас та вдова, как ее, Анфиса, кажется?.. Ну что ж, с глаз долой — из сердца вон. Видно, все мужчины таковы. А я стала очень умная, мы образовали литературный кружок, кой-чему учимся, пишем рефераты, руководит учитель словесности Долгов: такой, право, душка. Читаете ли вы что-нибудь? Надо читать, учиться. Иначе — дороги наши пойдут врозь... Когда же мы свидимся? Приезжайте, будет вам сидеть в глуши».

И еще многое писала Нина торопливо, неразборчиво, на целых шести страницах.

— Да, — сказал Прохор, — надо учиться.

Не дочитав письма, зашагал по комнате. Вообще отнесся как-то холодно к письму: образ Нины заслонялся неведомо чем, уплывал в туман, и чернильные строки не оживали.

— Да, надо учиться.

На ходу он оглядел себя в трюмо: красив, высок, широкоплеч. Пощипывал черные усики. Дочитал письмо, и в конце: «Доброжелательница ваша и л...... вас *Нина*».

Глаза Анфисы следили за ним неотступно, улыбчиво манили. Ведьма!.. Но последние чернильные строки загорелись, он снова перечитал письмо, внимательно и с теплым чувством. Конечно, Нина будет его женой. Надо к этому достойно приготовить себя.

Он пошел к ссыльному Шапошникову. Он нес в себе образ Нины, свою неясную мечту. Он глядел в землю, думал.

— Ах, сокол, идет и головушку клонит.

— Анфиса! — крикнул Прохор и не сразу понял, что с ним случилось. Красавица стояла перед ним с запрокинутой головой, в распахнутом душегрее. Сложив руки на груди, она обнимала его пламенным взглядом, она тянулась к нему вся:

— Сокол мой!..

Прохор быстро свернул в сторону и пошел дальше, сжимая кулаки.

— Как вы смеете подсылать ко мне старух?! — крикнул он. И сквозь зубы: — Шлюха!

А как хотелось обернуться, посмотреть: она, должно быть, пристально глядела ему в спину. Нет, дальше, прочь! Раздражение кипело в нем. Навстречу — Марья Кирилловна.

— Мамочка, милая!..

— Что ты с ней говорил?

— Я ее назвал шлюхой. Ты домой?

— Домой. У попадьи была. Ты, Прошенька, подальше от нее. Нехорошая эта женщина — Анфиса. Крученая она.

— Мамочка, что вы! Милая моя!.. — Он обнял ее, поцеловал и посмотрел ей вслед. Прохору очень жалко стало мать. Он подходил к крайней избушке, где жил Шапошников.

Марья Кирилловна повстречала меж тем Анфису, хотела свернуть — не вышло.

— Не трогайте моего мальчика, Анфиса Петровна... Неужели на вас креста нет?

— С чего это вы взяли?.. Господи!.. Язык-то без костей у вас.

Женщины прошли друг мимо друга, как порох и огонь.

Шапошников бородат, броваст, лыс, но волосы длинные, а говорит тенористо, заикаясь. И когда говорит, в трудных местах крепко щурится, словно стараясь выжать слова из глаз.

— Я слышал, вы кончили университет?

— Да, кончил... По юридическому. Садитесь. Чем могу служить?

Прохор знал, что Шапошников революционер, покушался убить генерала, кажется губернатора, отбыл в Акатуе каторгу, теперь на поселении.

— Я хотел бы учиться, а здесь... Вы знаете, например, немецкий язык?

— Нет, — сказал Шапошников и надел пенсне. — Или, верней, знаю, но очень плохо. — Он сел и закинул ногу на ногу. Сапоги его дырявы и грязны, штаны рваные, руки грубые, под ногтями черно, — совсем мужик.

Прохор огляделся. Подслеповатое оконце скупо пускало свет; на полках чучела птиц и зверюшек; в углу — волк рвет зайца. На столе распластанная белка, ланцеты, пакля, проволока. Пахло лаком и травами.

— Чучело набиваете?

— Препарирую.

— Значит, вы меня будете учить всему, что знаете, — говорил Прохор; он старался глядеть в сторону, в голосе звучала напускная заносчивость. — Я буду хорошо платить. Не беспокойтесь. Я вообще хочу... Я должен быть человеком.

— Это родители вас заставляют? — спросил Шапошников, выставив бороду вперед.

— Сам. Сам хочу.

— Похвально! Конечно, вашему папаше не до вас.

— С чего начнем? — оборвал его Прохор.

— Давайте займемтесь историей, географией. Кстати, у меня есть Ключевский и Реклю. После пасхи, что ли?

Прохор поискал басовые солидные нотки и сказал:

— Нет... Если вы свободны, то сейчас.

Шапошников снял пенсне, сощурился и, посмотрев на Прохора, подумал: «Типус!»

10

Поздний вечер. Марья Кирилловна улеглась спать. В комнате Ильи Сохатых весело. Ибрагим лежит на кровати, закинув руки за голову, и что-то врет про баб. Илья Сохатых, то и дело отбрасывая назад рыжие кудряшки, хихикает, мусолит карандаш и записывает в альбом:

— Как, как, как?

— Пыши, — говорит Ибрагим и несет соромщину.

Карандаш работает вовсю. Илюха давится, перхает и хохочет. Он не желает остаться в долгу. Заглядывает в альбом, фыркает, утирает слюнявый рот и начинает:

— А вот, к примеру, как кухарка барина узнала... Очень интересно. Жила-была кухарка, икряная такая, жирная, вроде тебя, Варварушка...

— Ха-ха-ха-ха-ха-ха!

— Ну, значит, завязали ей глаза и ну целовать по очереди: два дворника, кучер, лакей да три солдата, а она узнавать должна, кто целует.

Ибрагим пускает смех через усы и зубы: шипит, присвистывает, цокает, ляская зубами. У кухарки хохот нутряной: обхватит живот, зайдется вся и молча взад-вперед качается, сама кровяная, мясистая, вот-вот лопнет изнутри, а тут как порснет, как взвизгнет, аж в ушах гулы, и опять зашлась вся, закачалась — сдохнет.

Илья Сохатых понюхал воздух, брезгливо сморщил нос, сказал:

— Сообразуясь с народной темнотой, вы не понимаете, что значит поэзия... Вот, например, акростик.

Слушайте! — Он выпил водки, кухарку с черкесом угостил, порылся в альбоме и стал декламировать каким-то чужим, завойным козлетонцем:

Ангел ты изящный,
Недоступны мне ваши красы,
Форменно я стал несчастный,
Илья Сохатых сын.
Сойду с ума или добьюся.
Адью, мой друг, к тебе стремлюся!..

Две последние строчки он заорал неистово, слезливо и страстно пал к ногам подвыпившей кухарки.

— Адью, мой друг, к тебе стремлюся!.. — Он ткнулся рыжей головой ей в колени — кудри разлетелись — и заплакал. Он был пьян.

Варвара вдруг вся обмякла, словно теплая вода потекла из ее тела: кряхтя, согнулась, обняла его за шею и почему-то завыла в голос толсто и страшно:

— Херувим ты мой... Илю-у-у-шенька-а-а!.. Не плачь.

Илья Сохатых вынырнул из ее рук, вскочил:

— Дура! Неужели могла представить, что я интересуюсь твоей утробой или сердцем?.. Дура!

Черкес привстал с кровати и сердито сверкнул глазами на Илью.

— Это называется акростик, — сказал Илья, утирая слезы шелковым платком, и еще выпил рюмку. — В нем сказан предмет любви в заглавных буквах, но вам никогда не вообразить, кого я люблю. Эх, миленькие вы мои... Варвара! Ибрагим!.. Не знаете вы, кого я страстно люблю и страдаю.

— Да зна-а-а-ем, — протянула кухарка, почесывая под мышками. — Кого боле-то?.. Она всем башки-то вертит. Анфиса подлая...

— Верно! — вскричал Илья и ударил ладонь в ладонь. — Верно. Но только она не подлая! И за такие слова бьют в зубы.

В комнате ходили зеленые вавилоны; все как-то покачивалось, все зыбко гудело. И не понять было, что делал Ибрагим: ругался или мурлыкал под нос кавказскую; неизвестно, что делала Варвара: плакала

или тряслась нутром в угарном смехе. Лилось вино. Сквозь угарный туман проплывало:

— Женюсь... Вот подохнуть — женюсь!.. Бракосочетанье то есть...

— Женись... Попляшем!

— Варварушке — супир... Ибрагимушке — золотые часы... Ломается она... Закадычные враги у меня есть... Враги!..

— Рэзать будем!.. Врагам...

— Марья Кирилловна, бедняжка, толковала, — похныкала кухарка. — Женить бы, мол, его... Тебя, то есть. Плачет, бедняжка, из-за ирода-то своего...

— Мне жалко хозяйку, — сказал Ибрагим. — Цены нэт Марье, вот какой женщин... Жаль!..

— Больно ведьма красива уж. Анфиска-то! — сказала Варвара. — На ее телеса-то, ежели бабе, и той смотреть вредно, не говоря о мужике. Этаких и свет редко родит.

— Анфиса-то? Ой! Не хочет она меня предвидеть! — вскричал Илья и затеребил кудри. — Братцы, жените вы меня!.. Обсоюзьте!.. А мы с ней... Купчиха будет. В город. Каменный дом. У меня кой-что припасено. Только, чур, молчок... Анфиса! Ангел поэтичный! Тюльпан!

Он скакал козлом и посылал ей воздушные поцелуи.

В комнате беззвучно вырос Прохор. Лицо Ильи вдруг стало маленьким и острым. Он схватил альбом и спрятал под подушку.

— Это что?

— Да это, Прохор Петрович, так... Безделица!

— Покажи!..

— А я не желаю... Что на самом деле? Это моя вещь.

— Покажи! — глухо сказал Прохор, швырнул подушку на пол и взял альбом.

— У меня тут всякая ерунда. Неприлично юноше такому прекрасному читать... Поэтическая похабщина... — Илюха егозил, масленые глазки его сонно щурились, а рука опасливо тянулась к альбому: — Не стоит, Прохор Петрович, разглядывать. Пардон, пожалуйста.

Прохор, не торопясь, снял с переплета газетную обложку. Илюха съежился и растерянно разинул безусый рот. По красному сафьяну переплета было вытиснено золотом:

«ЕГО ВЫСОКОБЛАГОРОДИЮ
ИЛЬЕ ПЕТРОВИЧУ СОХАТЫХ
ОТ ВСЕЙ МОЕЙ ЛЮБВИ
ДАРИТ АНФИСА ПЕТРОВНА КОЗЫРЕВА
НА ПАМЯТЬ»

А наверху — корона.

— Та-а-ак, — ядовито протянул юноша, сел и налил рюмку водки. — Давно тебе подарила? — спросил он.

— Да как вам сказать?.. Недавно. На поверку ежели, это недоразумение одно, суприз.

Прохор, не торопясь, проглотил вино, задумался.

— А мы тут неожиданно выпили в обществе, среди компании. И здоровьишко мое не тово... И в первых строках — скука.

— Скука? — переспросил, словно в бреду, Прохор и оживился, глаза зажглись. — А вот я тебя сейчас, Илюша, развеселю. Анфиса-то Петровна любит тебя? Скажи, как другу, Илюша? А?

— Да как вам сказать порциональнее? — отер приказчик слюнявый рот.

— Погоди... — Прохор вышел и тотчас же вернулся с графином водки на лимонных корках. — Хлопни! — сказал он, протягивая приказчику полную чашку вина.

— Не много ли будет?

Прохор тоже выпил.

— Давай, Илюша, ляжем на кровать.

— Очень даже приятно, — сказал Илья. Он осовел совсем, язык едва работал. Сердце Прохора колотилось, уши, как омут, жадно глотали Илюхины слова. Лежали рядом: Прохор ленивым медведем, — Илюха сусликом, подобострастно — и лапки к грудке.

— Я тоже несчастлив, Илюша...

— Знаю, знаю... Через папашу все... Ах, мамашенька ваша, мамашенька!.. Такая неприятность

в доме. Да я это поправлю окончательно, не сомневайтесь... Я своего добьюсь...

— Что ж? Целовались с ней?

— То есть удивительно целовались.

— Совсем?

— То есть так совсем, что невозможно. С полной комментарией. После пасхи предлог ей сделаю. Благодаря бога — поженимся. Мирси.

Прохор крякнул и спросил:

— А хорошо, Илюша, целовать красавицу?

— Ой, — захлебнулся тот, закрывая узенькие глазки. — Даже уму непостижимо...

— Расскажи как... Ну, Илюша, миленький... — Прохор ласково обнял его. Тот стал молоть всякую мерзость, сюсюкая, хихикая, облизывая пьяный рот.

В голове и сердце Прохора взрывались вспышки острой любви к Анфисе и ревнивой ненависти к ней. Щекам было жарко, ныло тупой болью простуженное в тайге колено, рот пересыхал.

— А ты читал Достоевского «Преступление и наказание»? — резко перебил он Илью. — Там есть Раскольников, студент. Я очень люблю этого студента... Смелый!

— Я тоже студентов уважаю, — сказал Илья, — например, Алехин, политический...

— Он старуху убил...

— Нет, убивства хотя и не было, а рыбу ловил удой.

— Я про Раскольникова! — с внезапным гневом крикнул Прохор. — Про Раскольникова! Дурак! — Он ткнул приказчика в подбородок кулаком и вышел, захлопнув дверь.

— Черт! — шипел Прохор, крупно шагая. — Я ему покажу, как на Анфисе женятся! — Он дрожал. Луна светила в окна. Хотелось ударить стулом в пол, кого-нибудь прибить, обидеть. Сел на подоконник, припал горячим лбом к стеклу. Лысая луна издевательски смеялась.

«Анфиса!»

Анфиса зовет его. Сердце затихает, меняет струны; манит его на снеговой простор, к тому роковому

дому, что охально, как голая русалка, голубеет под луной.

— Проклятая!

Заглянул к матери. Горели две лампадки. Кровать отца пуста. Марья Кирилловна стонала во сне. Где отец? Он же вечером видел его. Где ж он? Ага, так...

Осторожно, чрез парадное — на улицу, к Анфисину дому. Луна потешно закурносилась, высунула Прохору язык. Плевать! Вот — дом. Шагнул на цоколь, уцепился за узорные наличники, припал к ведьмину окну горящим ухом. Тихо. Отец, наверно, там. Постучал слегка. Сейчас скажет ему, что матери нехорошо.

Занавеска не шевельнулась. На окне вязанье, кажется начатый черный чулок, — торчали спицы. Постучал покрепче. Спят. Закричали петухи. Прохор со всех сил хватил кулаком в переплет — дзинькнули, посыпались стекла — и, пригнувшись к земле, бросился в проулок.

11

Утром приехал Петр Данилыч. В кошевке стояли мешки муки, и сам весь был выпачкан мукой.

— Ты, отец, где был? На мельнице? И ночевал там?

Пахнуло винным духом, облаком взнялась мука от брошенной на пол шапки:

— Где же еще?

Прохор мысленно упрекнул себя, — сделалось очень стыдно, — и пошел на улицу. Церковный сторож, примостившись, вставлял выбитые вчера стекла. Прохору стало еще стыдней. Шел медленно, вложив руки в рукава и опустив голову, словно раздумывая о чем, а сам зорко косил глазом на заветные окошки. Из крыльца выскочила с ведрами девочка. Хотел спросить, здорова ли Анфиса Петровна, вместо этого подумал: «Как бы желал я воду ей носить!» И замелькали мысли, горячие и едкие, как перец. На мгновенье всплыл образ матери, на мгновенье больно

стало, но Анфисин сердечный шепот звучал любовно, и нет сил бороться с ним.

— Врешь... врешь! — зашипел, ежась, Прохор, встряхнулся и быстро — в край села. Что же ему делать с собой? Надо работать, надо учиться, время идет. В город, что ли? Но как бросить мать, отца? Отец пьянствует, мать страдает. И эта... эта, дьявол! Заняться торговлей, пашню развести и торчать всю молодость в этой дыре с отцом, матерью, Анфисой? Но ведь он решил связать свою судьбу с судьбою Нины Куприяновой? Да, да, совершенно верно. И это очень хорошо. Она умна, красива, она спасет его и сделает настоящим человеком. Ниночка! Невеста!..

А вот и кончилось село. Белый простор. Под мартовским солнцем горят снега. И все как-то в душе забылось. «Весна!» — Прохор громко захохотал и бегом, вприскочку, к тайге: «Го-гой!» — Он заорал песню, да на каблуках, волчком, вприсядку, с присвистом. И плясало, присвистывало поле, кружилась бородатая тайга, а солнце кидало в него золотом и смехом: «Го-гой!..»

От церкви, как медные вздохи, колокольный звон. Прохор сразу — стоп — снял шапку и перекрестился: он говел.

— Черт, дурак! — сказал он, оглядывая сугробы. — Десятину истоптал, плясавши.

Кровь била в его жилах: хотелось действовать, кипеть. По дороге — старичонко.

— Здорово, Прохор Петрович!

Тот схватил старичонку за ноги, перекувырнул, только борода взглянула, и вязанка дров, что за плечами, вся рассыпалась.

— Сдурел ты! Жеребец стоялый...

— Ха-ха-ха!.. Поднимайся, дед, весна! — Взвалил Прохор на себя вязанку, пошагал к селу: — Ну, дедка, поспевай! А то садись на закукры. Ты, колдун, никак?

— Тьфу, прорва!..

Дома выхватил у черкеса лопату, до трех потов разгребал желтоватый липкий снег.

— Не смей дрова колоть... Я сам! — крикнул он косоротому чалдону. И действительно, после исповеди, после ужина натяпал при луне целую сажень. Кровь гуляет, скорей бы весна пришла: схватит ружье, брызнет в летучее стадо порохом, гусиную кровь на болото выльет, своя уймется. Крови!.. Да, хорошо бы кровь взять, хорошо бы убить кого!..

Поповский кот на трубе сидел, рыжий, толстый, как сам поп: март, кот Машку ждал; Прохор приложился, грохнул, — кот башкой в трубу. Прохор улыбался. Захотелось пробегающей собаке бекасинником влепить.

— Шалишь! — крикнул черкес. — Довольно матку свої пугать!..

И многое ему хотелось сказать, но не говорилось. Эпитрахиль пахла ладаном и горелым воском, поповский живот — постным маслом, толокном.

— Аз, иерей, властию, мне данною... — Но задержался голос иерейский, отец Ипат по-земному загундил: — Нет ли еще грехов? Не становился ли на пути отцу? Нет? Не соблазнялся ли пригожей вдовицей какой? Не ври, нас слышит сам бог. Значит, нет? Блюди себя, ибо юн ты и слаб мудростью, вдовица же вся в когтях нечистого и опричь того — у нее дурная болезнь... Как раз стропила в носу рухнут.

Прохора в стыд, в жар бросило, в груди как костер горит: «Ох, врет, кутья, стращает!»

— Аз, иерей, властию, мне данною... прощаю и разрешаю ти, чадо.

Праведником выходил из церкви Прохор, на душе ангелы поют, но дьявол крутил хвостом пред его ногами, плыла поземка, вихрились снежные вьюнки.

— Завтра приобщусь. Великая вещь — вера. Как легко!

И шел за хвостатым чертовым вьюнком мимо Анфисиного дома, мимо магнитных ее окон; видит — огонек мелькает, видит — Илюха под окном стоит.

— Илья!

Как не бывало. Белая поземка замела за Илюхой след. И шепчет у покосившейся избушки Прохор, а сам золотую монетку двум парням сует:

— Видели? — мотнул он головой в проулок.

— Знаем, не учи...

Был на селе Вахрамеюшка, ни стар ни млад, без году сто лет. Нога у Вахрамеюшки деревянная, еще при покойнике Нахимове в Крымскую войну шрапнелью отхватило, семнадцатую березовую ногу донашивает, — вот какой он молодой!

Удумал Прохор народ о пасхе удивить, стал откапывать с Вахрамеюшкой пушку тайно, ночью; валялась та пушка в церковной ограде и от древности в земляные хляби въелась. Казацкий отряд при царе Борисе, что ли, проходил, бросил пушку, тут ей и гроб.

— Только ты ни гугу, смотри...

— Чаво такое?

— Молчи, мол...

— А? Реви громче! Реви мне в рот!.. В уши не доносит. — Старик разинул, как сом, свой голый рот. Прохор сделал губы трубкой и громко прокричал в седую пасть.

— Ага! Есть! — радостно ответил Вахрамеюшка и подмигнул: — До времю никому не надо знать... Тайно чтоб... А уж грохнем, — чихать смешаются... Во!..

Шел домой Прохор улыбаючись: как станет богат и знатен, настоящую пушку заведет.

— Мы, бывало, с Нахимовым, превечный покой его головушке...

Скрип-скрип деревяшка по пороше; скрипит, играет в воровской ночи Анфисина калитка, и сердце Прохора скрипит. Эх!

«Ниночка, невеста моя!.. Скоро пасха. А у нас холод еще. Ниночка, пасха. Когда же мы, Ниночка?.. Я расцелую тебя всю, всю... Три раза, тыщу раз. Я получил твое письмо и не ответил тебе. Свинья и олух».

Тут карандаш его сломался, он спрятал свой потайной дневник под ключ. Глупо как и... по-мальчишески. Разувался громко. Подшитый кожей валенок ударил в пол. Крякнул Прохор и, не перекрестившись, лег:

— Покойной ночи!

«Как хороши после двенадцати евангелий, после страстей господних огоньки: плывут, плывут...» — думает богомольная Анфиса.

Темно и тихо. От церкви тихо плыли огоньки, перешептывались, мигали. Много огоньков. Каждый огонек живой — рука и сердце. Рука Анфисы белая, теплая; сердце Анфисы непонятное — магнит. А свечка — как у Прохора, как у матери его, Марьи Кирилловны, — толстая с золотыми завитками. Печальная Марья Кирилловна направилась в свой дом.

Погасил Прохор свою свечу, укрылся тьмой и, сквозь тьму, за Анфисой тайно. Шарит по лицу Анфисы огонек, шевелит ее губами: полные, красивые, яд на губах и сладость. И такое нежное девичье лицо.

Шепчет Анфиса огоньку:

— Помолись, покланяйся, огонек, за милого... Сокол ясный!.. Молодешенек!

Шепчет Прохор тьме:

— Потаскуха!.. Ишь ты!.. Богомольная!.. — И не может Прохор понять, любит или ненавидит он Анфису.

А дома — чай. Петр Данилыч красный, за стаканом стакан глотает, жжется. Веником пахнет от него и баней.

— Фу!.. Вот так, елёха воха, нахвостался. Аж веник от жару затрещал. Фу!.. Эй, Ибрагим?

Ибрагим в кухне белки сбивал, к пасхе желает пирожное устроить, совсем по-городскому, называется — безе. Ого! Он еще не то умеет... Он...

— Не могу напиться. Поддень-ка на тарелку снежку мне к чаю. В стакан уважаю класть.

Черкес, как свекла, красный: лицо, глаза, а к горячей лысине от веника лист прилип.

Великий четверг — всем четвергам четверг. Марья Кирилловна с Варварой в кухне при фартуках, рукава за локоть, обе с надсадой тесто бьют, трясутся груди. Куличи будут печь две ночи, гостей соберется много, «святая» велика, а крупчатки со сдобой — хоть засыпься. Илюха Сохатых, Илья Петрович господин, четвергову соль толчет.

— Ужасно уважаю весь этот предрассудок, — деликатно говорит он, покачивая головой вправо-влево при каждом ударе медного песта.

— А ты, Ибрагимушка, пойдешь в церковь-то? — спрашивает хозяйка.

— Пойду, Марья. Кулыч святить тащил. Нада.

Кухарка хихикнула в пазуху и вильнула глазом на черкеса:

— Да ты ж — татарская лопатка, нехристь.

— Сэ рамно... Наплэвать... Капказ езжал — Мухамет будэм верить, здэсь езжал — Исса. Сэ рамно... Наплэвать. Христос воскресь...

— А ты, Ибрагимушка, нешто на Кавказ мекаешь ехать? — спросила хозяйка.

— Нэт, что ты, — кидком сунул он на стол тарелку с белками и облизал пальцы. — Черкес — как собак — верный.

— Не бросай нас, Ибрагимушка.

Как можно бросить? Пусть и не думает хозяйка. Разве плохо ему здесь, разве не доверили ему Прошку? О, черкес это хорошо понимает, дорого ценит. Прошка ему роднее сына. Да храни его аллах! Вот! Это сказал черкес, человек с гор. Здесь берегут черкеса, как родного, чего ему еще? Пусть только не выгоняют его, умрет у ног, как собака. Ибрагишка правду говорит, Ибрагишка не любит хвостом вертеть. Цх!

— Живи с богом, — сказала Марья Кирилловна растроганно. — Да ты уж очень смирный, не просишь ничего. Ужо я тебе на пасху часы подарю.

Черкес запыхтел и заворочал глазами свирепо.

— На мельнице был, мельнику зубы крошил... Нэ воруй хозяйску муку!.. Цволачь. Я те дам воровать!

— Да не ори ты! Бешеный, — замахала руками кухарка.

— Цво-лачь! Хозяин пьяна, дурак. Дэнгу жалеть нэ панмает... Цволачь! Прошку нада растить скорей... Хороший джигит будет... Цволачь! Женить нада... Ох, и девка хорошь, Куприян в Крайском... Цволачь!

— Да что ты заладил... Не лайся... Окстись! — выпучила глаза кухарка.

— Мельник нада другой менять... Муку таскал. Прикащик другой нада. Товар ворует. Вот тебе, цволачь, дрянь! — выхватил он кинжал и погрозил Илюхе. — Кишкам пущу!..

Илюха захохотал конфузно, а веснушки на его остром личике потемнели.

— Я ужасно интересуюсь обозревать, когда он бесится, — сказал Илюха, просеивая соль. — Дозвольте, Марья Кирилловна, я стану яйца красить, — сказал он. — Варвара, где у нас пакетик с пунцовой краской?

— Если в твой сакля змэя вполз, коран велел башку каблуком топтать. В твой, Марья, сакля змэя ползет. Баба. Знаю. Вижу. Не горюй. Цх!

Марья Кирилловна вздохнула тихо, опустилась на скамейку и заплакала, утирая глаза заляпанной тестом рукой.

— Эх, погоди!.. — вздохнул черкес. — Жаль как... Во!

И вся кухня вздохнула: от потемневшего потолка до последнего угля в печи.

12

Пасхальная ночь темная, как сон весной. Зато смольевые костры в церковной ограде так ярко завихаривали, клубясь огнем, что белая церковка вся розовела, вся улыбчиво подпрыгивала. Подъезжал, подходил народ. Вот выплюнула тьма к костру трех всадников на одном коне: впереди, у конской шеи — сам; ему грудью в спину баба; за ней, вцепившись в мамкин полушубок, — парнишка.

Тьма мутнела дремотными огоньками изб, поскрипывала воротами, перебрасывалась слепыми голосами.

Скрипучий, грузный шаг: это черкес в большущих новых сапогах, — запахло дегтем и чем-то вкусным — черкес кулич несет. Четко и звонко в подстывшую землю каблучками невидимка: «чок-скрип, чок-скрип», резеда-черемуха и что-то белое плывет. Это в белой шали, должно быть, Анфиса с куличом. Глаза у Прохора, как у тигренка: она, Анфиса, цветами пахнет. Эй, погляди сюда!

Скупо падали чахлые весенние снежинки. Вот полночь жадно проглотила первый удар колокола и где-то отрыгнула за тайгой. Спешат мальчишки, тетки, девки, мужики.

— Эй, бабка, копайся!.. Вдарили...

Анфиса поставила кулич вправо от окна. Ибрагим поставил рядом. Анфиса улыбнулась — и «чок-скрип, чок-скрип» — вперед, к иконостасу, сняла пальто. Белое кашемировое платье плотно облегало тонкий, стройный, с высокой грудью, стан.

Прохор постучал Вахрамеюшку в плечо. Вахрамеюшка разинул рот, словно прожорливый галчонок. Прохор крикнул ему в рот:

— Мы ее на паперть, чтоб громче! Слышишь?

— Есть! — ответил Вахрамеюшка, закашлялся. — Мы ее, матушку, мокрой тряпицей запыжим, портянок с десяток хороших вбухаем. Грохнет — страсть! Чихать смешаются...

— Опасно, разорвет?

— Учи! Мы, бывало, с Нахимовым...

Пели гудучие колокола вовсю, пели люди, а ночь замолкла вдруг от земли до неба. Кресты, иконы, хоругви, свечи... Загрохотали ружья, затрещали трещотки, вздыбились, рванули лошади. А огромный чудовищный змей все выползал из церковных ворот, как из хайла пещеры, вот змей обхватил живым кольцом весь храм, и чешуя его блистала тысячью переливных огоньков.

Когда затихла колокольня и только главный колокол все еще отдувался от усталости, гудя во тьме,

Прохор с Вахрамеюшкой и еще два мужика втащили пушку тайным образом на паперть.

— Валяй к дверям, — бурчал Вахрамеюшка.

Всыпали пороховой заряд. Запыжил Вахрамеюшка как следует и ну со всем усердием мокрые тряпицы в дуло загонять: выудит из ведра с водой портянку аршина в три, выжмет натуго, да и — в хайло, а сам командует мальчишкам:

— Давай еще! Здоровше дернет.

Прохор испугался, помаячил деду пальцами: опасно, разорвет.

— С нами бог! — прошамкал Вахрамеюшка. — Не учи!.. Мы, бывало...

А в церкви тесно, душно и торжественно. Отец Ипат бодр и свеж, бесперечь кадит. Старушонки бредят. Возле правого клироса — вся знать. Возле левого — Анфиса. Становой сияет плешью, усами, эполетами. Приземистая, плотная жена его зорко следит за мужем, а так хочется приставу на Анфису глянуть. Петр Данилыч в сюртуке, раздумчиво сложил под животом руки, благочестиво смотрит воскресшему Христу в глаза. Ибрагим в новой голубой, с патронами, черкеске; блестят серебряный пояс и рукоять кавказского кинжала; усердно крестится некрещеный черкес у куличей, вспотел. Потели, отекая, свечи, плавал сизый над головами дым.

Писарь, любитель церковных песнопений, правил хором. Ударил камертоном по руке: до-ля-фа, — махнул, и пятнадцать глоток стриженных в скобку мужиков взревели:

«Сей нареченный и свя...»

Как дробалызнет грохот, церковь дрогнула, с визгом посыпались стекла из дверей, народ ткнулся носом, а те, что ближе к выходу, ухнув, пали на карачки, священник же прыгнул и попятился, выронив кадило. Все на мгновенье замерло, весь храм ополоумел. Запахло порохом, с паперти послышался пугающий звериный стон.

— Пушка... это пушка пальнула! — с криком вбежал в церковь белолицый мальчишонка. — Пушку разорвало!

Все завздыхали, закрестились. Ибрагим быстро вышел из церкви. За ним продирался становой. От паперти до алтаря зашелестело: «Прохор из пушки стрелял. Прохор». Анфиса внезапно побелела, схватилась за подсвечник, и ноги ее ослабли. Писарь взмахнул рукой, мужики хватили врозь «Христос воскрес». Отец Ипат так перепугался, что двадцать раз подряд кадил все в одно и то же место и в чувство пришел только в алтаре, изрядно хлебнув по совету старосты церковного вина.

Анфиса взглянула вправо: Прохор! Прохор Петрович в светло-зеленой тугой венгерке, хмуря брови и как бы оправдываясь, что-то говорил отцу. Мать чутко вслушивалась и качала головой. Анфиса немощно закрыла глаза — «жив!» — и благодарная улыбка охватила все лицо ее: «Матушка богородица!» И так больно, так радостно сделалось сердцу вдруг. «Он, он единственный!» Так вот кого и впрямь искала душа ее, искала долго, нашла и не отдаст. О, лучше позор и смерть! Но боже, боже... разве она соблюла для него свою душу, тело? «Матушка богородица, ты знаешь, ты видишь сердце мое. Помоги!» Повалилась Анфиса Петровна на колени, припала головой к крашеным доскам, заплакала:

«Боже, боже, прости, помилуй! Помоги быть чистой, помоги быть верной ему до конца». И не слышала, что делалось в церкви.

А в церкви отец Ипат кончил читать слово Иоанна Златоуста, православные стали христосоваться. Уж, кажется, все перецеловались, у отца Ипата губы вспухли, дьячок четвертое лукошко красных яиц потащил в алтарь. Ибрагим от куличей через всю церковь продирался христосоваться с хозяевами и всех по пути с налету азартно целовал: «Здрасти... Празнык... воскресь!» Мужики от неожиданности таращили глаза и всхрапывали, как кони, старушонки сплевывали: «А, штэб тя...» — и брезгливо мотали головой.

Вот Анфиса Петровна выпрямилась, сложила руки на груди и на всем народе, не спеша и гордо,

будто несла на блюде всю красоту свою, двинулась к Прохору, как королева.

— Прохор Петрович, Христос воскрес!.. — обняла слегка и просто, от души, поцеловала. И тыща грудей в церкви выдохнула: «Ах!..» Прохор зарделся весь, застыл. Она взглянула на Петра Данилыча с насмешкой, повернулась и пошла из церкви вон.

Петр Данилыч сверкнул глазами, кулак сжался и разжался, текли тучи по лицу. Прохор облизнул украдкой губы — какая сладость! — и весь горел от обиды, стыда и счастья. И вся обедня проплыла над ним, как сон.

В задах же шипели, перешептывались. И этот шепот проползал вперед: «Убили Вахрамеюшку... Толста мошна-то... Откупятся». Петра Данилыча коробило, бросало в пот. Крякал и с такой злобой ударял, крестясь, в лоб, в плечи, что стало больно. Руки Марьи Кирилловны тряслись: не пасхальная служба, — панихида.

«К худу, — шелестело в церкви. — К худу, к худу».

Не помнит Прохор, как очутился на дороге. Шли с отцом рядом, но по-черному. Заря была желтая, как в сентябре, и свежая пороша покрывала пухом землю.

— Народятся же такие дураки!.. Ужо умрет, возись тогда... Болван!.. Лупить надо. — Отец говорил жестко.

— Я его предупреждал — не послушался, — сказал Прохор; голос его стал тонким, детским.

— Мальчишка! Болван!

— Я догадываюсь, на что ты злишься.

— На что? — спросил отец и засопел.

— Я не виноват, что она похристосовалась со мной, а не с тобой, — сказал Прохор дрожащим голосом.

— Не виноват... петух виноват! — прохрипел Петр Данилыч.

— Отец, не будем говорить.

Верхушки берез были в инее. Розовели. С утренним хлопотливым криком веселые галки пронеслись.

Разговевшись, спали до полден. Ибрагим сидел в своей каморке, икал. Он объелся пасхой с куличом. Творожная пасха была его собственного изобретения. Чего-чего он только в нее не вбухал: черкеса мутило.

Когда в людскую вошел Прохор, Илья Сохатых охорашивался перед кривым зеркалом.

— К ней? — ядовито спросил Прохор.

— Так точно, Прохор Петрович, к ним-с. — Он захихикал по-козлиному, надел плюшевую шляпу. — До приятного! Визави-с! — и, пристукивая тросточкой, удалился.

— Ибрагим, — нерешительно сказал Прохор и сел, глубоко вздохнув.

— Знаю, — мрачно ответил Ибрагим.

— Ей-богу, я не виноват... Но только, Ибрагим, люблю... Понимаешь ли...

— Дурак, Прошка!

— Борюсь... Понимаю, что нехорошо.

— Тэбе Куприян брать нада, Нина... Дело делать... А эта — тьфу!

— Просто голова мутится, грязь. И противно и сладко, понимаешь. И мамашу жаль...

— Думал, джигит Прошка... О! К свиньям... Баба вэртит туда-сюда... Ишак, мальчишка! Боле ничего нэ скажу. Цх!

Прохор ушел огорченный.

«К черту! Что же это на самом деле?.. К черту!» — говорил он сам себе, но за словами была пустота и красный в голове туман.

Избушка Вахрамеюшки как собачья конура; он валялся на соломе, охал.

В углу плакала старуха.

— Ну как? — спросил Прохор и, поискав — куда сесть, опустился на опрокинутую кадушку.

— Для праздничка... похристосовалась ловко, окаянная... пущенка-то... — шамкал дед. — Умру...

Вскоре пришел фельдшер, осмотрел.

— Поставьте на ноги старика, — сказал Прохор, — сотни рублей не пожалею.

— Трудно, — ответил тот. — Два ребра сломаны.

— Ой, умру, умру!..

Старуха завыла пуще, у Прохора затрясся подбородок, он ухватил бабку за плечи, нагнулся к уху.

— Бабушка, — и голос его задрожал, — ведь я и сам не виноват. Ну что ж, несчастье стряслось... Вот на, бабушка, пока. — Он положил ей в колени горсть серебра и вышел.

13

День был ясен, праздничен.

Прохор с Шапошниковым пошли к тайге. Выбрали обдутый ветром мшистый взлобок, развели костер, варили чай.

— Что же вы, Прохор, от сладости из дому ушли? Наверно, у вас — море разливанное...

— Так, тяжело стало... Я очень природу люблю... Весна.

Весна шла с неба. Солнце сбросило с себя ледяную кору и зажгло на своих гранях пламенные костры. Земля раскинулась во весь свой рост, подставила грудь солнцу и недвижимо ожидала часа своего, как под саваном заживо погребенный. Восстань, земля, проснись! Все жарче, все горячее костры; вот уж истлел кой-где белый саван, и солнце, как золотым плугом, не спеша, но упорно, роет лучами снег. Еще немного — и потекут ручьи, еще-еще немного — пройдут реки, примчатся с крылатого юга птицы, последние клочья зимних косм схоронятся в глубокие овраги и там подохнут от солнцевых зорких глаз.

— Весна — вещь хорошая, — сказал Шапошников, закуривая от огонька трубку.

Весь простор заголубел. Нарядное село куталось в весенних испарениях, как в бане молодица, только крест над туманами сиял, а поверх туманов легко и весело летал во все концы праздничный трезвон.

— Ваша жизнь — как весна, — сказал Шапошников.

— Я совсем не знаю жизни... Я ничего не знаю, а надо начинать. Научите.

Прохор стоял, скрестив на груди руки и обратив к селу задумчивое, грустное лицо.

Шапошников раскуделил бороду и покрутил в воздухе рукой, как бы раскачиваясь к длинной речи.

— Жизнь, — начал он, — то есть весь комплекс видимой и невидимой природы, явлений, свойств...

— Вот вы всегда мудро очень, мне и не понять...

В комнату вошла Анфиса, поискала глазами кого надо сердцу, не нашла и в нерешительности остановилась у дверей. Разговор враз смолк. «Про меня», — подумала Анфиса.

Марья Кирилловна протянула от самовара мужу налитый стакан. Пристав с женой переглянулись, отец Ипат уткнулся носом в тарелку с ветчиной.

— С светлым праздником, — сказала в пустоту Анфиса и собиралась незаметно ускользнуть, но в это время, глотнув двенадцатую рюмку коньяку, быстро поднялся Петр Данилыч и, улыбаясь и потирая руки, на цыпочках благопристойно — к ней.

— Не удалось нам в храме-то... Анфиса Петровна... Ну, Христос воскрес... — Он сразу скривил рот и звонко ударил Анфису в щеку.

Все ахнули, Анфиса молча выбежала вон.

— Я тебе покажу, как мальчишку с толков сбивать! — гремело вслед.

Марья Кирилловна крестилась, радостные слезы потекли.

— Я не желаю бедняком быть... Это ерунда! Я буду богатым. Я хочу быть богатым. И вы мне не говорите ерунды, — с жаром возразил Прохор. — Вот, ешьте сыр...

Шапошников немножко подумал, ухмыльнулся в бороду.

— А что ж, — сказал он, прихлебывая сладкий чай. — Есть и среди купцов люди. Но редко. Это феномен. Теленок о двух головах. Например, Гончаров под Калугой, фабрикант. Его многие уважают. Рабочие у него в прибыли участвуют, и вообще...

— Гончаров под Калугой? — Прохор записал.

— Или, например, Шахов... Тоже оригинал, типус. Закатится в Монте-Карло, в рулетку сорвет добрый куш. Ну, дает. Нашим организациям помогал... Впрочем, потом оказался шулером.

— Я не знаю, каким я буду; думаю, что не худым буду человеком я... Без вашего социализма, а просто так.

— Ну что ж, — вздохнув, сказал Шапошников и с интересом поглядел в горящие глаза юноши. — Значит, выходит, мы с вами идейные враги. Идейные. Но это не значит, что мы вообще враги. Мы можем быть самыми близкими друзьями.

Прохор швырнул в белку шишкой и сказал улыбаясь:

— Я, Шапошников, люблю с врагами жить. Веселей как-то... Кровь лучше полируется. — Он схватил Шапошникова за плечи и с хохотом положил его на лопатки. — Давайте бороться. Ну!

— Не умею, — сказал Шапошников. — Фу! — встал и отряхнулся. — Вы — юноша, а говорите, как зрелый человек... Эх, при других обстоятельствах из вас бы толк был.

Белка опять заскакала по сучкам. От прогретого солнцем сосняка шел смолистый дух. Солнце снижалось.

— Обстоятельства — плевок! — крикнул Прохор, с разбегу перепрыгивая через костер. — Ежели есть сила, — обстоятельства покорятся.

— В жизни все надо преодолеть, — подумав и крепко зажмурившись, проговорил Шапошников, — а прежде всего — себя.

— Что значит — преодолеть себя?

— ...Отходит, — сказал отец Ипат, по-праздничному пьяненький, нагнулся над умирающим и, упираясь лбом в стену, а рукой в плечо Вахрамеюшки, дал ему глухую исповедь. Потом благословил плачущую старуху, сказал ей: — Мужайся, брат, — икнул и по стенке покарабкался домой.

...Анфиса истуканом сидела на диване и, как мертвая, стеклянно уставилась на цветисто разрисованную печь. Дышит или нет? Перед ней увивался Илья Сохатых. Гнала, грозила, — нет, не уходил.

Вечерело. Солнце сильно поубавило свои костры, задернулось зеленой пеленой, и все небо сделалось зеленоватым. Вставал из туманов холод.

— Пора, — сказал Прохор своему учителю.

Далекая Таня водила хороводы. Синильга спала в своем гробу. Эй, Таня, эй, Синильга! Но ничего не было перед его телесными глазами, кроме зеленоватой пелены небес и вечерней, робко глянувшей звезды.

— И где ты шляешься? — встретила его у ворот заплаканная кухарка. — Ведь прибил зверь мамашу-то твою.

— За что?

— Поди знай за что. За всяко просто. Сначала Анфиску по морде съездил. А тут...

Прохор снял венгерку и, нарочно громко ступая, прошел к матери мимо сидевшего в столовой отца. Мать на кровати, в сереньком новом платье; рукав разорван, на белом плече кровоподтек.

— Мамаша, милая!..

Голова ее обмотана мокрым полотенцем. Пахнет уксусом. Лампадка. Апостол Прохор в серебре. Верба торчит. Мать взглянула на сына отчужденно. Он смутился. Мгновенье — и он бросился перед нею на колени. Ее глаза вдруг улыбнулись и тотчас же утонули в слезах. Она обхватила его голову и, как ни старалась, не могла сдержать слез и стонов. Захлебываясь плачем, шептала ему в уши, крестила и крепко стискивала его:

— Как нам жить? Как жить?.. Чрез ту змею погибаю. Господи, возьми меня к себе!

— Родная моя, бесценная!.. Сейчас объяснюсь с отцом.

Она схватила его за руку:

— Ради бога! Он убьет тебя...

— Мамаша! Надо кончить...

Она вскочила:

— Прошенька! Прохор!

Но он уже входил к отцу. Тот за столом один угощался, пьяно пел бабьим голосом, брызгая слюной, раскачиваясь:

Все меня оставили,
Скоро я умру,
Мне клистир поставили...
. . . .

— Ай да батя — детям! — захохотала Варвара. Она зажигала висевшую лампу-«молнию». — Голова сивеет, а ты соромщину орешь... Тьфу!

— Хых! — хыкнул он. — Меня Илюха научил... Дурочка — кобыле курочка.

— Варвара, в кухню! — И Прохор захлопнул за нею дверь.

— А-а, красавчик, сокол, — прослюнявил Петр Данилыч.

— Отец... — начал Прохор и стал против него, держась за край стола. — Ты мне отец или нет? Ты моей матери муж или...

— А ты кто такой?

— Я — человек.

— Ты? Чело-век? — Он заерзал на диване, плотный, корявый весь, и, выкатив на Прохора глаза, раскрыл рот, как бы в крайнем удивлении. — Пащёнок ты! — взвизгнул он. — Лягушонок!.. Тьфу, вот ты кто!

— Если ты будешь мою мать бить, я пожалуюсь в суд. В город поеду, прокурору подам...

— Ой! Ой, Прохор Петрович, батюшка! — издевательски засюсюкал тоненько отец, и маска на его лице: испуг с мольбой. — К прокурору?.. Голубчик, Прохор Петрович, пощади!.. — И он захихикал, наливая глаза лютостью.

Прохору издевка как шило в бок.

— Я не позволю злодейства!.. Это разбой!.. Погляди на мамашу, избил всю. За что?! — выкрикивал он вновь осекшимся детским голосом, руки изломились в локтях и взлетели к глазам, пальцы прыгали, и весь он содрогался. — За что, отец?.. За что? Ведь

она мать мне, женщина... — Болью трепетал каждый мускул на его лице, и каждой волосинке было больно.

Отец медведем вздыбил и треснул в стол обоими кулаками враз:

— А-а-а?! Заступник?! — Он грузно перегнулся через стол и захрипел: — А-а-а!..

Разинутая черная пасть изрыгала на Прохора дым и смрад. В испуге откачнулся сын, но вдруг, сверкнув глазами, тоже резко грохнул по столешнице:

— Да, заступник!

Они жарко дышали друг на друга и тряслись.

— А знаешь ты, отчего это выходит, отчего такая разнотычка в доме, ералаш?

— Знаю! — крикнул Прохор. — Из-за Анфисы!

— Ага? Догадлив.

— Стыдно тебе, отец...

— Мне? Ах ты мразь, мокрица!.. Кого она мусолила в церкви: тебя али меня?

— Брось ее! Иначе сожгу ее вместе с гнездом...

— Что?! Ты отца учить?!

— Я никого не боюсь... Застрелю ее!..

— А-а-а!.. — Петр Данилыч сгреб сына за грудь — посыпались пуговицы. Прохор куснул мохнатый кулак, сильно ударил по руке, рванулся с криком:

— Убью! — Побежал вон. — Убью эту развратницу!

Прохор видел, не глазами, духом, как, застонав, упала мать.

Коридор был темен. Купец схватил за ножку венский стул. Прохор бежал коридором.

— Куда? Стос... скрес... — Это пробирался в гости по стенке поп.

Стул, кувыркаясь, полетел вдогонку сыну, в тьму. Священник от удара стулом сразу слетел с ног.

Прохор — дикий, страшный — ворвался к Ибрагиму. Ибрагим храпел, как двадцать барабанов. Прохор схватил его кинжал и через кухню — вон.

Скорей, скорей, пока кровь — как кинжал, и кинжал — как пламя.

— Убью.

Отскакивала от ног дорога, небо касалось головы, и тьма, как коридор, нет Прохору иной судьбы — в трубе. Некуда свернуть, не надо!..

Крыльцо, крылечко, домик, занавеска, огонек. Огнище. Резкий удар каблуком, плечом, головою в дверь:

— Эй, пустите! Пустите! У нас беда...

— Прошенька, ты? Сокол...

Вот поднялась щеколда, заскрипела дверь. Кинжал блеснул:

— А-а-а...

— Геть, шайтан! — И Прохор кувырнулся. — Я те покажу кынжал!..

Ненавистный и милый плыл чей-то голос: то ли тьма ворковала весенними устами, то ли снежная выюга, крутясь, заливалась. Это плакал взахлеб на груди Ибрагима Прохор. Непослушный язык, бревна руки... Ой, алла, алла!.. Не умеет Ибрагим утешить своего джигита.

— Прохор, ты есть джигит. И мы тэбя любым... О!.. Завсэм любым... Сдохнэм... О!

Прохор неутешно плакал, как кровно оскорбленный, обманутый ребенок. И так шли они сквозь тьму, обнявшись и прижимаясь друг к другу. Черкес сморкался и сопел.

14

Илюху здорово избили парни; недели две прихрамывал и втирал в левый бок скипидар с собачьим салом. Парни получили обещанную награду, впрочем с большим от Прохора упреком. «Какие в самом деле дураки! Пришел человек на вечерку к девкам, подвыпил, придрались и намяли бока. Да разве так? Ведь надо было подкараулить у Анфисы. Дурачье!»

Отец Ипат тоже две недели не служил и не ходил по требам, пока не прошел на лбу синяк. Петр Данилыч подарил ему на рясу замечательной материи: по красному чуть синенькая травка. Ибрагим великолепно сшил. Что и за черкес, прямо золотые руки! Правда, ряса очень походила на кавказский бешмет, но отец Ипат был вполне доволен и рясой и черкесом.

Долго с превеликим чувством тряс руку Петра Данилыча, восклицая:

— Зело борзо! Благодарю.

Да, как ни говори: у пушки край вырвало, у старухи все-таки умер Вахрамеюшка.

За эти две недели случилось вот что: пришла весна.

Петр Данилыч после скандала на некоторое время присмирел: часто ездил на мельницу, — там ремонтировали мужики плотину, — и домой являлся по большей части трезв. К Прохору относился то сугубо ласково, то вовсе не замечал его. Но черкес-то отлично понимал, чтó у купца на сердце, и говорил Прохору:

— Прошка, ухо держи... как это? востер.

С весной у Прохора усишки стали темные и голос окреп больше. Ходил к Шапошникову, говорил, учился, спорил, приглашал его к себе. Отец косился:

— Только вшей натрясет.

Ибрагим же думал по-иному.

— Дэржись за Шапкина, Прошка. Хоть выпить любит, а башка у него свэтлый, все равно... все равно — пэрсик!

Прохору без физической работы не сидеть, хотелось топором махать: взял плотника и вдвоем начали делать на таежном озере помост для купанья и большую ладью. Это верстах в трех от села Медведева. Дремучая такая, лохматая тайга кругом. И тут же, на берегу озера, из красноствольных сосен промысловая охотничья избушка — зимовьё. Петр Данилыч никогда не заглядывал сюда — охоты не любил, Прохору же эта избушка дороже каменных палат: частенько с ружьем ночевал один, а поутру кружил тайгой, добывая лисиц и белок.

На душе Прохора как будто бы поулеглось. Но весна брала свое, хмелем сладким исподтиха опьяняла кровь. Мечталось о женщине, о Ниночке, и мечталось как-то угарно, дико. А Анфиса? Об Анфисе все молчало в нем. Иногда, впрочем, подымалось острое желание обладать ею и, стиснув зубы, так мучить ее, чтоб она кричала криком, чтоб из ее сердца выплес-

нулась кровь. Тот поцелуй в церкви, как можно его забыть? Но и обиду матери и весь ад в доме из-за ведьмы он никогда забыть не сможет. Однако нет такого человека, который бы знал себя до дна. Даже вещий ворон не чует, где сложит свои кости.

Отец опять стал пить. Пил подряд четыре дня. Прохор и Марья Кирилловна боялись попадаться на глаза ему. Он лежал, как колода, тучный, горел, хрипел, просил обложить снегом, но снегу не было. Прохор и с жалостью и с болью смотрел на него, думал: «Может быть, умрет. Хорошо это или худо?»

Вечером Прохор зашел к Ибрагиму — не застал. На кровати сидел Илья и задумчиво перебирал струны гитары.

— Я завтра буду лавку подсчитывать. С утра, — сказал Прохор.

— Чего же ее подсчитывать, — ответил Илья, улыбаясь. — И товару-то в ней — кот наплакал, пустяки. Впрочем, что же, — обиженно вздохнул он.

— Раз мало товару, то тебя гнать надо. Зачем ты нужен нам?

Илья как-то сжался весь, потом, осклабясь, сказал:

— А я, Прохор Петрович, хочу все-таки мадам Козыревой обручальный предлог сделать. Откровенно верно говорю вам, как другу. Господину приставу имею наличную возможность поклониться, вроде свата, а ваш папашенька — посаженый отец.

В глазах Прохора метнулись искрометные огни.

— Она согласна?

— Да, ежели, как говорится, проконстянтировать, то вполне склоняется. Завтра думаю окончательный переговор произвести с Анфисой Петровной. Венчальные свечи уже в пути, почтой. И цветы.

— А ежели она упрется? — сердито покрутил Прохор свой чуб.

— Господи, тогда свечи и цветы продам. Да нет, я уверен.

— Женись, женись, черт тебя дери! — сквозь зубы пробурчал Прохор и пошел. — Так завтра?

— Так точно, вечерком-с, благословляете?

...Петр Данилыч наконец поднялся. Прохор сказал ему:

— Я полагаю, отец, Илью Сохатых рассчитать надо. Я сам сяду в лавку. Ибрагим будет помогать.

— Не твое дело. Я знаю, кто нужен мне, кто не нужен, — сурово сказал отец.

Вечером уехал на мельницу.

— Дня три-четыре пробуду. Работа. Не дожидайте.

На другой день Прохор с утра проверял лавку. В кумаче оказалась нехватка трех кусков.

— А где ж остаток шелковой материи бордо? А где синий креп?

Илья замялся. Прохор схватил кусок ситцу и ударил Илью плашмя по голове: «Жулик!» Котелок налез приказчику по самый рот.

Илюха окрысился, забрызгал слюнями.

— Это еще неизвестно, кто жулик-то! — крикнул он. — Вы папашу спросите! Он без счету крале-то своей таскал... Обидно-с!

— Какой крале?

— Всяк знает какой. Анфисе!

— Ах! Твоей будущей жене?

— Может быть-с. — Он прыгавшими пальцами выпрямлял свой котелок. — Такой замечательный фасон испортить!.. Не разобравши сути, я чуть язык не прикусил. Эх вы, купец! Вы еще и не видывали настоящих-то коммерсантов...

Он долго бубнил, подергивая носиком, но Прохор не слушал. Кто ей подарил ту кофточку бордо? Отец или Илюха? А впрочем...

— Запирай! — сказал он. — Бакалею перевесим завтра.

Шесть часов вечера, а он еще ничего не ел... Лавка была в крепком амбаре, дома за четыре от них, на другом углу. Выходя, он видел, как простоволосая, в накинутой на плечи шали, легким бегом пробежала в их дом Анфиса.

— О, черт! — выругался он. Ему не хотелось с ней встречаться, пошел к Шапошникову. «И что ей надо? К Илюхе? К жениху? Черт!..»

— Эй, Павлуха! — крикнул он игравшему в рюхи парню. — Сегодня вечером того... клюнет... Понял?

— Угу, — ответил, подмигнув, Павлуха и так треснул городок, что рюхи, хрюкнув, взвились, как утки.

Шапошников, весь потный, пыхтел над работой: распяливал на палочках свежую шкурку бурундука.

— А, ваше степенство!..

— Нет ли у вас чего пожевать, кроме бурундука, конечно?..

— Гусятина есть... Вчера на засидке хорошего дядю срезал. Из Египта прилетел... Желваки, понимаете, намахал под крыльями.

— А у меня вот, — сказал Прохор и достал бутылку рябиновки, прихваченную на подсчете лавки.

— Ого! Да вы прогрессируете, товарищ, — от лысины до пят засиял ссыльный, и борода его вылезла из печи вместе с гусем. — Кушайте.

— Тяжело мне, выпить хочу...

— Хи-хи-хи!.. — по-хитрому захихикал Шапошников и сбросил пенсне. — Если вам тяжело, то как же прочим-то?

— Вы все о бедноте? А мне по-своему тяжело. Тоскливо... По-своему.

— Ага! Мировая скорбь? Хвалю... Кушайте... Берите со спинки. Да-да. Выпить? Отлично. Я рябиновку люблю. А не хотите ли водки? Я и водку уважаю. У меня имеется. Вот чашки. Рюмок нет. Ну, будьте здоровеньки. Растите большой да толстый. Что? Вы вторую чашку? Сразу?.. Ого-го! — Рябиновка воодушевила его, стал очень разговорчив, даже заикался мало.

— Да тебе не уксусу надо, ты не за уксусом пришла, — говорила Варвара Анфисе, неодобрительно потряхивая головой. — Нету его, уехал.

— Кто? — подняла Анфиса брови.

— Кто-кто... Сам! А тебе кого надо? Эх, девка! Зачем ты мальцу-то нашему, Прохору-то, голову му-

тишь? Хоть бы уехала, что ли, с красотой-то со своей. В городе пышно бы жила. Княгиней была бы, может. Право слово. А тут... Эка, в деревне жить, в лесу. Илюха и тот избегался весь, как кот, глядя на тебя. Эх, девка!.. Красивая ты, право слово.

— Виновата, что ли, я?..

— Эта женщина зачем здесь? — нахмурившись и шумно задышав, спросила кухарку вошедшая Марья Кирилловна.

— Да за уксусом, — двусмысленно проговорила кухарка.

— Анфиска, — сказала Марья Кирилловна, — мало тебе хозяин-то плюх надавал?!

— О-о, мы сквитаемся, — задорно-весело и в то же время злобно протянула Анфиса и пальчиком погрозила чуть. — Я его не так ударю. От моей затрещины рад будет в прорубь башкой нырнуть... Сквитаемся!

— Иди вон!

— Эх, Марья Кирилловна!.. Вон, — насмешливо проговорила та, вздыхая. — Тоже — вон. Да захочу, — вашей ноги здесь в три дня не будет... Курица вы, а не жена...

— Вон! Вон!! — вне себя закричала хозяйка, схватилась за косяк, и лицо ее сделалось бессильно-плачущим.

— А вот возьму да и сяду, — захлебываясь своей силой и вызывающе вскидывая голову, улыбчиво пропела Анфиса и опустилась на край скамьи.

— Нахалка! Потаскуха!! Господи, и заступиться некому. — Круто повернулась Марья Кирилловна, а ей вдогонку закричала Анфиса надрывно:

— Грешно вам, грешно!.. Сроду не была потаскухой! Весело живу, а себя блюду. Бог свидетель...

— ...Вот, допустим, белки, — говорил Шапошников, заплетаясь языком и ногами. — Это животное стадное, то есть опять вы видите здесь принцип социальных отношений... Общественность в муравьином царстве тоже известна.

— Ваши муравьи — плевок. Чего они понимают, чего они видят, ползуны ничтожные?

— Ого! — воскликнул ссыльный и неуклюже повернулся на каблуках. — Да они побольше нас с вами видят, или, например, пчелы, трутни: у них в каждом глазу двадцать шесть тысяч глазков сидит, они, может быть, ультрафиолетовые лучи видят...

— Наплевать мне на лучи-то ихние.

— Или белка... Ведь когда переселяется белка стадами, она срывает грибы и нанизывает их на сучья, а сама дальше, дальше, за тыщу верст. Видали на деревьях черненькие такие грибы, высохшие, великолепные грибы, маслята? А кому они предназначаются? А? Да тем белкам, которые сзади пойдут, может быть, через год... Ешь! Это, по-вашему, не общественность?

— Дуры ваши белки.

— А кто же не дурак, позвольте вас спросить?

— Орел.

— Орел? А какая же от орла польза?

— Да черт с ней, с пользой-то, — сказал Прохор, сияя от рябиновки и от прилива сил. — Орел в облаках. Орел все видит. Куда хочет — летит, что хочет — делает. Орел — свобода!

— Ого!

— Захочет орел жрать, камнем вниз — и из вашей дуры белки кишки вывалятся. Захочет — муравьиную кучу крылом сметет. Орел — сила.

— Ого! Да вы, я вижу, индивидуалист.

— Я? Я просто — Прохор Громов.

15

Дома доужинывал в кухне: гусь Шапошникова оказался сух, как беличий годовалый гриб.

— Отчего это мамаша такая встревоженная?

Кухарка стала сплетничать ему шепотом.

— Так и сказала: «В три дня не будет»? — спросил он. — И мамашу назвала курицей? Обижала ее?

— Говорю — да.

Он кончил ужин хмуро, молоко выпил на ходу: спешил.

— Куда ты? — спросила Варвара, тревожно глядя в его решившиеся на что-то глаза.

Он взял ружье, патронташ и вышел.

— Если мамаша спросит, — предупреди, что я с ночевой в избушку. Гуси летят.

— Не убейся ты! — крикнула вдогонку. — Все с ружьем да с ружьем. Ох, чего-то сердце у меня... — Вздохнула, разбросала карты по столу и стала гадать на трефового короля, на Прохора.

А Прохор твердо шел к Анфисе, и каждый шаг его объяснял дороге: «Иду мстить». Ощупал револьвер, нож — все тут. Но пусть не боится Анфиса, это для гусей, для белок, а может, где и медведь на дыбы всплывет. С Анфисой же Петровной он поговорит похорошему, нельзя же обращаться так с его матерью: ведь мать! Понимает ли Анфиса: мать! Ну, как с хорошим человеком, как с сестрой поговорит, а может, выругает ведьму, а может, схватит за длинные косы да об пол, а может... И взволнованный Прохор пощупал револьвер.

Чем поспешней становились его шаги, тем быстрей сменялись настроения и нарастала обида за мать, за себя, за обиженную родную кровь свою.

А ее поцелуй в церкви? Сладок, да-да, сладок, смел. Но он не двух по третьему, он понимает, для чего подпущена эта бабья штучка. Ревность? Петр Данилыч ей в морду дал?.. Да она рада, стерва, рада.

— Я ей скажу, кто она... С отцом путалась, с Илюхой, с кем придется. Подстилка. Грязная дрянь...

Двумя прыжками Прохор вбежал на крыльцо, стучит. Но дверь не заперта, шагнул в сенцы — и лицо в лицо с ней, с этой... Анфиса вскрикнула, горящая свеча упала из ее руки. Быстро оба наклонились и зашарили во тьме, отыскивая свечку.

— Совсем и не дожидала вас...

Прохор весь — в молчаливой, опасной дрожи. Руки их елозят по полу, сталкиваются. Горячие какие руки!

— Ой, и не одета я совсем!

Входят в комнату. Анфиса, тяжело дыша, на крюк запирает дверь, торопливо, рывком — скорей, скорей — спускает занавески. Прохор следит за нею глазами:

— Вот что... Я пришел...

— Сейчас, минутку... Ах, и не одета я совсем!..

Она опять к двери, сбрасывает крюк, выбегает в тьму, и слышно: один за другим закрываются с улицы глухие ставни и железные болты лезут, как застывшие гадюки, сквозь косяки в комнату. «Что она затевает?»

— Что это вы? — строго, надменно спросил он, когда она вошла и снова заперла за собою дверь. — Я пришел с вами ругаться.

Она стояла в переднем углу:

— Со мной? Ругаться?

— Да! — ударил он ладонью в стол. — Ругаться.

И не успел рта закрыть, Анфиса вихрем к нему на грудь:

— Сокол мой!.. Сокол...

Губы ее духмяны, влажны, как в горячем меду цветы, руки ее — погибель, и вся она — ураган огня. Но он с силой отстранил ее:

— Что это вы затеваете?..

И снова заволокло все кровавым туманом, и снова глаза, и руки, и эти проклятые губы жадно ищут его губ.

— Чего же это ты хочешь?! — трусливо крикнул он и, отбросив ее прочь, большую, сильную, сам покачнулся, упал на широкую лавку, в угол, и, выставил вперед руки, как бы защищаясь: — Нахалка!

— Жизнь моя!.. — опустилась Анфиса перед ним на колени и крепко обняла его. — Ругай, бей, застрели меня. Не жить мне без тебя... Мой!..

— Сумасшедшая! — Весь дрожа, рванулся Прохор — и сразу обессилел. Он уперся ладонями в ее крутые плечи, она вся тянулась к его губам, широкие рукава капота высоко загнулись, голые розово-белые руки были знойны, пагубны.

— Иди прочь, Анфиса. Не приставай! — хлипко, томно молил он, проклиная себя. Вдруг, через силу,

он приказал правой руке своей: рука оторвалась от теплого ее плеча и больно ударила Анфису в щеку: — Прочь! Уйди!..

Анфиса поднялась с колен и, вся надломившись как-то, мучительно застонала. Прохор дрожал, все пред глазами его мутилось. Она близко от него, к нему спиной, косы ее растрепались и упали до поясницы. Она стояла, заломив вскинутые над головой руки, и от глухих рыданий вся тряслась. Прохор не знал, что делать, Прохор не мог ничего делать, Прохор был в оцепенении.

От рыдания ее, от заломленных рук и вздрагивавших плеч родились в нем разом и ненависть и жалость к ней. И общей волной — прямо к его сердцу, и смутилось сердце, и не знало сердце, какою кровью ударить в душу ей, в какой плен отдать свой дух. Жалость и ненависть. «Притворяется она или любит?.. Я ненавижу ее...»

— Анфиса! — позвал он тихо и не знал, что скажет дальше. Она рыдала так же беззвучно, и так же плескались волной ее косы.

«Притворяется».

— Ты хочешь погубить меня, Анфиса.

Тогда она застонала громко и, хватаясь за дверной косяк, бессильно опустилась до самого пола, потом привстала на колени и, приникнув головой к косяку, продолжала стонать.

— Я не могу этого вынести, — сказал Прохор и поднялся. — Я уйду.

«Любит», — решил он.

И пошел было к выходу, медленно, раздумчиво, закрыв рукой глаза. Остановился. Взглянул на нее через плечо. И так же, как она, вскинув, заломил над головой руки, как бы ища умом: где настоящий путь? Но сердце — враг уму. Какой-то общей пронизавшей весь дом бурей оба сорвались внезапно с мест, жарко сплелись руками и что-то говорили друг другу непонятное, целовались. Были поцелуи те сладки и солоны от слез.

— Ты останешься здесь, — говорит она. — Будем тихо ворковать и тихонечко любоваться друг другом.

— Здесь опасно, — говорит он.

— Отец уехал. Просидит там дня три, — отвечает она. По лицу его пробегает тень. Она говорит: — Ты ничего не думай. Я чиста. Я открою тебе всю душу.

— Знаю, — говорит Прохор, и тон его голоса занозой входит в ее сердце.

— А то еще приказчик ваш, — говорит она, боязливо улыбаясь. — Мне он мил, как обсни́манная собака. А так... жить нечем... Пусто.

Прохор молчит. Молчание его кипуче. Потом говорит, сдерживая гнев:

— А альбомчик? Ты не дарила ему альбомчика на память, с золотом?

Анфиса широко открывает глаза:

— Я? Илюхе?

— Ну ладно, — уже спокойно отвечает он. — Значит, нахвастывал, подлец!

Сердце его замирает сладостно, нервы напряжены. Прохор вздыхает. «Уйду... Самое лучшее — немедленно уйти...» Анфиса ставит самовар. «До свиданья!» — хочет крикнуть он, но голоса нет и тело все в чужом плену. Она за перегородкой, в другой комнате, бренчит посудой, открывает шкаф, с места на место переходит. Но непрерывная цепь звуков тех вдруг рвется, и комната немеет. Только слышатся всхлипывания Анфисы. Прохор с гордостью думает, что плачет она от счастья. Конечно же, от счастья. «Пожалуйста, пусть не воображает много-то». И вот вышла лучистая и радостная.

— Давай пить наливочку... Сладкая-сладкая! Сама варила.

Наливка была густа, как кровь, вкусна. Прохор быстро пьянел. Пьянела Анфиса.

— Останься, милый. Я не пущу тебя.

Это сон. Нет, не сон, обманная дрема. Сквозь сладкую, как мед, дрему отвечает вяло:

— Так и быть, я останусь. Эту ночь я проведу с тобой. Если хочешь... Только не здесь, а в лесу, в избушке. Согласна? — спрашивает он, и голос его взволнованно вздрагивает.

— Согласна... Милый! А ружье оставь здесь. Мы захватим с собой только два сердца: твое да мое. Ведь так?

— Лишь эту ночь одну... И больше ни-ко-гда!.. Слышишь? Не воображай...

— Милый! Эта ночь будет мне слаще жизни...

В эту теплую темную ночь в весеннем воскресшем мире все купалось в любви. Любовь распускала почки деревьев, сеяла по лугам цветы, одевала травами землю. Теплые, плодоносные ветры укрывали весь простор любовной тьмой — целуйтесь, любите! — и сами целовали мир нежно и тихо от былинки, от тли до кедра, до каменных скал... Целуйтесь, любите, славьте природу! Безглазые черви прозрели во тьме — прозрейте, любите! Змеи, шипя и мигая жалом, свивались в узлы, холодная кровь их еще более холодела от любовной неги — змеи и те любили друг друга в эту темную ночь. Вот медведь с ревом ошарашил дубиной по черепу другого медведя, а там схватились в смертном бое еще пяток. Гнется, стонет тайга, трещит буревом, и уж на версту взворочена земля; рявкают, ломают когти, и почва от крови — густая грязь. А медведица, поджав уши, лежит в стороне, прислушивается и тяжко дышит, высунув язык. По языку течет слюна. Вот волки воют и грызутся на три круга, всаживая в глотку бешеные клыки. Грызитесь, — любовь слаще смерти! Любовь, начало всего! А утром грелась медведица на солнце, насыщенная новой жизнью, как горячий, сухой песок дождем.

И так — из жизни в жизнь, от наследия гробов, чрез смерть, чрез тьму, из солнца в солнце, чрез океан времен — передается бытие по безначальному кругу вечности.

В эту темную теплую ночь и звезды светили ярче, чуткий слух мог уловить их любовный шепот, звезды дрожали от страсти: вот сорвалась одна и, мчась и сгорая, падала из простора в простор.

Людие! Славьте природу, любите землю, любите жизнь!!

Прохор Петрович, крепко запомни ты эту ночь, запомни, как любил ты Анфису!..

Хороша, сказочна избушка! Она выросла средь тайги, что гриб. Сам лесной хозяин, медведь, стережет ее, чу — рявкает, чу — грохнул где-то дубиной по сосне. Плещется озеро, крякают утки в камышах, и звезды глядятся в воду. Темно и призрачно. Но ночь жива. Зеленые хвойные ветки густо набросаны по земляному полу.

— Милый, милый! — говорит Анфиса.

Ложе из досок покрыто цветистым мхом, мягким и пышным. Анфиса затопила огнистый камелек: Дрова — смолье — горят, как порох. Тепло, и красноватый, дурманный полусумрак.

— Анфиса, — говорит Прохор. — Я опьянел. — Он лежит на теплом мху. В изголовье — сено пахучее, от разомлевших хвой курится тонкий аромат, и Анфиса в пламени как сказка.

— Мне душно, — говорит Анфиса. — Маленько приоткрою дверь. В лесу никого нет, никто нас не услышит, разве медведь какой.

Она открывает дверь. Ночная тьма топчется у двери, налегает брюхом, хочет вплыть в избушку, но огонь ярок и свет его упруг.

— Мне жарко, — млеет, потягивается Анфиса и снимает с себя платье. Рубашка ее бела, стан гибок, а нежная грудь тихо колышется под тонким полотном.

— Какая ты красивая!.. Но не могу двинуться с места. Я пьян. Поди сюда, Анфиса!

Та тихо засмеялась в ответ, привстала на цыпочки и, взмахнув волною волос, как дымом, крутнулась пред огнем и страстно простонала: «А-ах!»

— Эта ночь моя, мил-дружок Прошенька, — сказала она и подошла к нему. Но лишь рванулся к ней Прохор, — отпрыгнула прочь, всплеснула белой, под рубашкой, грудью, и погрозила пальцем смеясь:

— Нет, милый, нет. Зачем так скоро? Еще филин не кричал. Я выпью эту ночь по капельке. Как сладко и пьяно вино с тобой.

И разметалась, упала она на хвои, на пол возле пламени, закинула кверху руки, истомно закрыла глаза. Прохор дрожал; он приподнялся и жадно глядел на нее, черные пряди волос его нависли на лоб.

— Дай мне пить, — прошептал он пересохшими губами. — Я изнемог.

— Погоди минутку. Как мне хорошо сейчас и больно. Эх, сердце мое!.. Погоди, выпьешь всю меня до дна. И будешь пить во веки веков, не уйдешь от меня...

— Прекрасная ведьма ты, волшебница, — вздохнул он. — Никогда не видал я таких красивых баб. Сгинь!

— А что ж ты видел, Прошенька, сокол? Таню али грязную тунгуску-то свою? Младешенек ты, сокол. Ты и Анфисы не видал. Это не Анфиса, это канифас, твой отец рубаху подарил. Увидишь Анфису, навеки сердце в сердце войдет, друг с другом до смерти сцепимся. Голубь сизый!

И тянулась рука к вину, и дрема липко садилась на уставшие его веки. Сном или явью еще раз сказал Прохор:

— Ведьма!

— Да, я ведьма. Может быть, — ведьма.

— Ты нехорошая, — еле шептали во сне его губы. — Ты захороводила отца, ты мою мать мучаешь и обижаешь... Мать!.. Ты!.. И не воображай, что я тебя люблю... А так побаловаться... Бабы всегда вкусные и... нахальные...

— Говори, говори, сокол мой, что ж замолк? — пролепетало пламя. — Спишь?

— У меня есть невеста! — вскрикнул, встрепенулся Прохор. — И я ее люблю... Разве я могу жениться на тебе? Не смей, пожалуйста, воображать... Она чиста. А ты — дрянь... Не надо мне тебя. Уходи отсюда, уходи... — Ему стало обидно, горько. Однако лесная избушка молчала. Где ж Анфиса? И пламя искало Анфису, Анфисы нет нигде.

— Ниночка! Ниночка...

И еще крепче, до боли стиснула его Анфиса горячими руками, зацеловала его глаза, лоб, губы: «Сокол, свет мой!»

И провалилось куда-то все... Хлопьями снег летел, стонала вьюга.

— Анфиса, Анфиса...

Но Анфиса сидела у костра, вся в красном, и тихонько напевала песенку. Потом сказала ему тихо, грустно:

— Ниночку никогда не вспоминай. Ниночку забудь! Слышишь, Прохор? Неужели думаешь, что отдам тебя? Никому не отдам. Запомни!

— Отец убьет меня, убьет. Как могу быть твоим мужем? Подумай ты.

— Ты сам убьешь себя... И меня убьешь... Ой! Ой!

— Это ты, Анфиса, говоришь? — сонным голосом кто-то спросил сквозь вьюгу.

— Да, это говорит Анфиса, судьба твоя...

— Нет, нет, я знаю, кто говорит со мной!.. Это ты, Синильга?.. Закрой дверь... Меня засыплет снегом. Я боюсь. Умираю я... Ибрагим... Ибрагим!..

Прохор открыл дремотные глаза и вскрикнул: нет Синильги, это Анфиса стояла перед ним нагая. Огонь сразу ослеп от прекрасной наготы ее и померкнул, как пред солнцем. Лучезарная Анфиса сверкала неизъяснимой красотой своей, простирая к Прохору трепетные руки.

— Только ты первый!.. Только для тебя цвету розовым кустом, мил-дружок. Единственный!

Прохор, как в громе, как в молнии, весь оцепенел и с сладостным криком бросился целовать ее обольстительные ноги:

— Анфиса! Анфиса!.. Судьба моя...

Мох пушист и мягок, хвои пахучи, и филин где-то близко ухал до утра...

— Эге ж! Дрыхнешь ловко, — сказал черкес, дымя трубкой. — Гусь бил, нет? Кого убил?

Он сидел в его ногах.

Прохор дико, порывисто ошарил глазами все углы избушки.

— А где ружье? Винчехор?

— Я не брал его... Кажется, не брал...

— Эге ж. Цх!

— Давно ли ты здесь? — спросил Прохор, виляя голосом.

Ибрагим молчал. Прохор хотел спросить про Анфису, — не застал ли он ее здесь? Но было стыдно: вдруг — сон, вдруг Анфисы не было здесь вовсе... Да и вообще стыдно как-то и тоскливо на душе, словно он в запальчивости убил человека. Черт возьми, должно быть — сон... Однако бутылка была пуста. Ибрагим все еще молчит, но что-то знает; прищелкивает языком, подмаргивает. Лукавый этот Ибрагим. Черт возьми! Почему он молчит?

— Давай лодка смолить, — сказал черкес.

— Нет.

И они пошли домой. Пели птицы, зеленела трава. Горело солнце.

— Фу, жара! Вот так весна нынче! — сказал Прохор.

Ему не хватало воздуха, кружилась голова, было душно.

Шли звериной тропой. Он чуть приотстал от Ибрагима, вынул голубую Анфисину подвязку с простенькими застежками и, крадучись, поцеловал.

— Худо, Прошка, — сказал черкес, поравнявшись с ним. — Твой ружье Илья отцу принес. «Где брал?» — «У Анфис».

Прохор, как врытый, враз остановился.

— Когда отец приехал?

— Ночь. Ты, Прошка, с отцом потише. Не шуми. Чистый зверь. Убьет.

16

Однако все как-то замялось. И, удивительное дело, — отец ни слова. Мать, видимо, ничего не знала. Только Илья ходил с обмотанной головой, как муфтий в чалме, и грозил в пространство:

— Я кой-кого на свежую водичку выведу. Я знаю, по чьей милости аргументы-то под глаза мне наставили. Ответ шарады — Прохор...

Да еще поверенная по делам Анфисы, старушонка Клюка, шепнула в лавке Прохору:

— У него свой ключ, слышь, у Илюхи-то, от Анфисиных дверей. Вот ружье-то и выкрал да к отцу. Что, батька-то бил тебя?

Прохор послал с ней записку:

«Что за сладость, эта наливка твоя. День и ночь только о тебе думаю. И злюсь. Как вспомню про отца, и про тебя, и про себя также, — свет не мил. Проклятие, а не жизнь! Слушай, была ли ты в избушке? Кто был в избушке? Я потом расскажу тебе. Отец следит. Где бы нам встретиться? Голова в огне. Прощай, моя Анфиса».

В воскресенье, после обедни, Анфиса нагнала купчиху Громову; обе из церкви шли.

— С праздником вас, Марья Кирилловна, — сказала она и застенчиво так заулыбалась. — Простите вы меня, Марья Кирилловна, дуру, за худой мой бабий язык.

Марья Кирилловна смотрела на нее по-сердитому, ускоряла шаг.

— Клянусь я, богом клянусь, святым евангелием, — не виновата я перед вами!

— А дом за что ж он выстроил тебе?

— А спросите его. Да, чур, пусть не врет. Поглянулась, пожалел, может быть. Конечно, я покрутить люблю, впустую этак, уж сердце у меня такое, уж такая родилась. Другой пьяницей родится али злодеем. Я — вот крученой такой. А Петру Данилычу я не была никем.

— Не тебе бы говорить, не мне бы слушать...

— Пусть ангел-хранитель проклянет меня... Господи! — Анфиса заплакала или, может быть, сделала вид такой. У Марьи Кирилловны тоже задрожали губы.

— Ну, ладно. Только сына моего не обижайте, Анфиса Петровна, голубушка. Ради богородицы. У него невеста есть...

— Невеста не жена еще, — сказала Анфиса резонно. — Невесту человек выбирает, жену бог дает.

— Заходите как-нибудь.

— Я теперь вижу, сколь виновата перед вами. С Петром Данилычем буду как крапива. Отскочит.

Марья Кирилловна упала в своей спальне перед образом и долго обрадованно молилась, а когда вошел Прохор, крепко обняла его:

— А ведь Анфиса-то хорошая.

И улыбнулся и задумался вдруг Прохор. Ласково и нежно целуя мать в пробор темных с ранней проседью волос, сказал:

— Да, да. Очень хорошая она, мамашенька. Зря плетут на нее.

— Только, говорят, водку хлещет, как мужик.

— Наливочку, мамашенька, наливочку.

— Надо ее за Илюху выдать... Чего он башку-то обмотал?..

— Что?! За этого дурака-то?.. Да такая красота, как Анфиса Петровна, за князя выйдет, если в столице где...

— Ангельская красота, верно, — сказала мать. — Глаз не оторвешь, — и спохватилась: — Эх, Прошенька! Не годится она женой быть никому. Красива крушина-ягода, а поди-ка съешь — подохнешь.

Пошел Прохор, и закрестила ему спину большим крестом Марья Кирилловна:

— Упаси его, господи, от женских прелестей лукавых... Апостол Прохоре, батюшка!

...Илюха палил в огороде из револьвера в лопату, полкоробки патронов расстрелял, злился очень:

«Так дак так, а не так дак... Я ж ей, дурище, большую честь делаю своей рукой и сердцем... А вот посмотрим. Каторга так каторга. Мне все едино без нее не жить. Застрелю ее! А может быть, случайно и себя».

Прохор незаметно подошел к нему:

— Ты что?

— Да вот в лопату испражняюсь, Прохор Петрович... А попасть не могу. Курсив мой...

— Ну-ка. — Прохор отступил подальше и одну за другой три пули всадил в цель. Бросив на землю револьвер, пошел, сказав: — Дак это Анфиса Петровна тебе альбом-то подарила?

— Хы-хы-хы!.. Вроде этого-с.

— А не сам себе?

— Хых-хы-хы!.. Вот страдаю за нее всещадно, — показал он на чалму, — парни били. Не по вашей ли рекомендации, пардон?

Прохор все возле ее дома кружился. Раза три к своей лавке подходил, якобы попробовать, хорошо ли замки висят. И никак не мог увидать Анфисы. Где она? Неужели ее не тянет к нему, что она делает, что думает, с кем она? Покажись, покажись, Анфиса, хоть на короткую минутку... А тот дьявол, Илюха, по пятам, как тень. Вон из-за плетня выглядывает белая его чалма. Эх, в иное время хватил бы его Прохор камнем в лоб.

Дома, после обеда, когда запивали молоком пирог с изюмом, отец сказал:

— Пускай-ка Ибрагим сходит гостей покличет. В картишки, что ли. Скука чего-то, да и праздник...

Отец все эти дни очень ласков, только по две рюмочки за обедом пил и на сына посматривал любящими глазами. Прохор не знал, как и понять. Ему и стыдно пред отцом и чего-то страшно очень. Конечно, отец знает все. Да, страшно.

— Я бы, Петенька, Анфису Петровну позвала, — робко сказала хозяйка. — Можно?

— Позови, Маша, позови... — отозвался тот. — Только пожелает ли после оплеухи-то? В ней форсу больше, чем в барбоске блох. Хе-хе...

Марья Кирилловна неустанно читала молитвы в мыслях, улыбалась самой себе и всему миру, думала: «Не сглазить бы. Этакая перемена! Не поймешь». Но сердце ее постукивало вопросительно.

Прохор долго ходил по огороду, грыз ногти, ерошил волосы и без конца курил. «Что с ним? Что с Прохором Петровичем?» Он и сам не знал. «Эх, взять бы котомку и прочь, дальше отсюда, куда глаза глядят, без дум, с одним лишь чистым сердцем. Где ты, чистое сердце?»

Все плывет и колеблется, сменяется одно другим. Когда плачет Нина — Анфиса в улыбке, но вот за-

смеялась Нина — Анфису закрыла тьма. И налегает на Прохора из тьмы стон ее укорчивый, мстящий. Как больно это и мучительно... «Анфиса, Анфиса...»

Молодым жеребчиком гикал скворец на березе и свистал, и тренькал, и показывал горлом, как скрипит у колодца в соседнем огороде блок.

Прохор третий раз перечитал письмо Нины, подумал, вздохнул. Потом достал из бумажника ее фотографическую карточку, сложил вместе с письмом, изорвал на мелкие куски и втоптал каблуками у бани в грязь. Да, в грязь.

Запомни, Прохор Петрович, и это!

Надрывались от любви лягушки — «ква-ква-ква» — где-то там, в болоте, у реки. Еще скворец пел, должно, про любовь, и другие скворцы откликались ему той же любовной песнью. Хороша эта песнь, эта осанна вечной жизни! Хороша ли? Прохор не думал о ней. Прохор достал голубую подвязку — ту самую, с простенькими такими застежками, приложил ее к щеке, к другой щеке, к глазам и целовал, целовал ее.

Посмотрел на баню, на изрытую каблуком грязь с письмом, пошел домой.

Во дворе трепыхали, взлетывали десяток безголовых уток, кур; из перерубленных шей, как из бутылки сусло, хлестала кровь. Кровь! Кухарка, нагнувшись и кряхтя от полноты, вытирала о траву огромный кровавый нож. Лужа крови, и лицо ее — кровь.

В хлеву дурью визжали поросята — звенело в ушах: это черкес резал свиной приплод. Будет ужин.

Прохор кровожадно оскалил зубы — слюною наполнился весь рот. Ему вдруг неудержимо захотелось резать, рвать, лить кровь. В закрытую дверь хлева с ревом ломилась старая свинья — спасать ососков. Прохор сгреб ее за уши. Она ударила ему в руку клыком. Прохор двинул свинью ногой и, ворвавшись в хлев, сладострастно выхватил у черкеса нож. «Взик, взик!..»

А скворцы все еще пели про любовь, еще громче квакали лягушки, всходила луна. Весенний вечер кончался.

Да! Ужин был в полном разгаре.

— А, Прохор Петрович!.. Вот и он. Этакий Еруслан Лазарич какой!

Он сидел рядом с Анфисой — с Анфисой! — потому что сам отец сказал ему:

— Подсаживайся к Анфисе Петровне, а то тесно тут.

Отец пил мало.

— Не могу, не могу, приятели... Увольте.

— Эх, изурóчили тебя. С худого глазу.

— Надо молебен отслужить, — сказал тоненько старшина.

— Что ж, — весело подмигнул священник. — Ежели усердно помолебствовать коленопреклоненно, может, и запьешь опять, — сказал он и почему-то лизнул ладонь широким, как лопата, языком. Все засмеялись.

— Типун вам на язык, батюшка, — засмеялась хозяйка, поглядывая на Петра Данилыча нежно, по-весеннему.

А Петр Данилыч говорил о делах, о мельнице, — там теперь мельник новый, латыш какой-то, поселенец, на скрипке хорошо засмаливает, — сам подливал гостям в стаканы и незаметно высматривал тех двоих. А те увлеклись уж чересчур. Им самим-то думалось, что лица их спокойны, но ежели попристальней со стороны...

— Ой! — вырвалось у Анфисы; она болезненно моргнула тонкими бровями, засмеялась и вся вспыхнула. Прохор отдернул свой сапожище с маленькой туфельки ее.

— Вспомнила я случай один. Ну до чего смешной!..

— Ах, расскажите, Анфиса Петровна, расскажите, пожалуйста, — заулыбался и пристав-усач, благо не было жены.

— Так, просто пустячок... Так... Прохор Петрович, пододвиньте мне горчицу.

Прохор исполнил.

— А вы любите?.. — спросил он и вновь прижал сапогом туфельку. — Любите горчицу?

— Люблю, люблю. — И туфелька, вырвавшись, впрыгнула на сапожище. — Жизнь не мила без горчицы! — «Люблю, люблю» — плясала туфелька.

«Эге!» — коварно подумал влюбленный в Анфису пристав и, крутнув усы, нарочно уронил на пол портсигар, потом быстро нагнулся, чтоб поднять, и заглянул под стол.

Но сапог и туфелька спокойны.

— Эге-ге, — мрачно произнес пристав Федор Степанович Амбреев и, присвистнув чуть, ткнул вилкой в соленый гриб.

— Вот парочка-то! — шепнул старшина отцу Ипату. — Даже не поймешь, который же краше-то?..

— Оба — зело борзо, — пробурчал отец Ипат. — Давай-ка выпьем ерша с тобой, друже.

Прохор выводил по тарелке вензель «А», туфелька ответила «понимаю», потом вензель «П». Прохору хотелось от счастья целовать всех.

Булькало вино, звякали рюмки. Гости смеялись, улыбалась и Марья Кирилловна.

— Я недавно видел в избушке сон, — тихо сказал в тарелку с киселем Прохор. — Сон ли это? Не знаю.

— Конечно, сон... Беспременно.

— Мне снилась нагая, красивая очень...

— И на ее правой груди родинка, как у меня?..

— Как у тебя? — поднял брови Прохор.

— А филин кричал? — Глаза Анфисы вонзились Прохору в губы.

— Дак это не сон? Не сон? Скажи мне... — тихо прошептал Прохор, дрожа, и все в нем пело от любви. — Не сон?

— Давайте выпьемте! — сказала она громко.

И вдруг... вдруг...

— Дак вот, значит, милый мой Проша, сын...

«Это отец сказал?» Прохор поднял голову. «Да, отец». Прохор затаил дыхание. И сделалось совсем тихо за столом. Петр Данилыч, оглаживая левой рукой бороду, а правой пристукивая по столу, твердо говорил для всех:

— Через недельку, значит, отправляйся ты, Прохор, с Ибрагимом на Угрюм-реку. Возьмешь товару, денег, обоснуешься где-нито и... торгуй...

Под Прохором разверзся пол.

— А через годик женим... Хм, — еще отчетливей и как-то злобно прикрякнув, добавил отец, сверля волчьим взглядом Анфису.

Мать вскочила, что-то вскрикнула, выбрасывая к мужу руки, зашумели, закашляли гости, но золотой перстень резко застучал в стол, как в сердце:

— Сказано — сделано. Шабаш!

17

Начались приготовления. От неприятности Марья Кирилловна слегла. Отец торопил: скорей, а то уйдет вода.

— Не жалеешь ты меня, отец... Гонишь...

— Жалею, — глухо ответил Петр Данилыч. — Оттого и гоню... Пойми толком.

Прохор чувствовал, что силы в отце много больше, чем в нем, и, как молодой тигренок, втихомолку рычал, поджимая хвост. В сущности, наружно он был спокоен: те отцовские слова за ужином разом все сожгли в нем, но в душе была надежда: вот все каким-то чудом перевернется вдруг и выйдет по-другому.

— Нэ горюй, Прошка, ладна!.. Якши дело! — успокаивал его черкес. — Я зна-аю... Знаю, джигит, — загадочно грозил он пальцем и подмигивал. — Так лучше. Якши совсэм.

Тяжко только, что нельзя Анфису повидать никак: отец караулил и за ним и за Анфисиным крыльцом. Отец был трезв, как лед.

Из города пришли почтой книги. Это хорошо. Прохор отправился с ними к Шапошникову. Тот в одних подштанниках: «Ах, извините!» — чинил штаны, которые лежали на столе, прижатые сундуком. Нитка в версту: ткнет иглой и пятится к дверям.

— Семь заплат насчитал и три прорехи, хочу всё подряд зачинить. А то нитку вдевать очень трудно, да и непрактично.

— Вот я получил историю культуры, Липерта, кажется... Да, Липерта, — заглянул Прохор в книгу.

— Прочли?

— Нет. Я ее возьму в тайгу.

— Разве вы едете в тайгу? Зачем? Надолго?

— Батька гонит... — вздохнул Прохор и обиженно защипнул усы.

— Жаль, жаль. Это на Угрюм-реку на вашу? Жаль, молодой человек. А вы не ездите, плюньте.

— Не так-то просто это.

— Женщина? Ага, понимаю. Слышал, слышал, извините. Без сплетен в деревне нельзя. Вы должны прежде всего выработать в себе отношение к вещам. И, встав на точку высшей морали, — понимаете, высшей! — должны резко решить вопрос. Я люблю женщину, взаимно люблю, понимаете? Взаимно. Отлично. Но тут некоторое «но», весьма значительное «но», так сказать «но», превалирующее надо всем. Я тогда говорю: «Или так, или этак». Или рву с ней раз навсегда, или беру ее себе. Надо быть твердым и решительным. Вот, например, я...

Он все еще бегал с иголкой от штанов да к двери, низенький, бородатый, и речь его длинна, как нитка.

— Не так-то просто, — почему-то раздражаясь на него, опять сказал Прохор, — тут целый клубок смотался, — вздохнул он.

— А? Не так-то просто? — сердито ткнул Шапошников в заплату и уколол себе палец. — А вы разрубите клубок. Рраз! Наконец порвите с отцом! Рраз!

— Шапошников, милый!.. Мне так скучно!.. У меня такая пустота в середке... Поедемте со мной. Милый!

Тот почесал пятерней в своей гриве:

— С вами? Пп-поехать сс-сс вами? Нну... Эт-то... не так-то просто, — ужасно заикаясь, сказал он. — Мне нельзя. Я поселенец. Пристав не пустит.

Глаза Прохора заиграли:

— А вы встаньте на точку и порвите с приставом... Рр-аз!

— Ну, знаете ли... — протянул Шапошников и вдруг смущенно захохотал, поддергивая подштанники. — Ах, какой вы злой...

Отец жестоко страдал. Его сосал червяк. Да не тот, не утробный житель, — скулила по вину душа. Испивал ревностно святую воду по утрам, вкушал просвирки, но за два дня до отъезда сына лопнул терпеж, и Петр Данилыч закрутил.

Сидел один в потайной душной комнатенке и жаловался графину:

— Эх, Прошка, Прошка!.. Сын... Разве не моя ты кровь? В душу мне, Прошка, загляни... Сын!.. Прошка!.. В д-д-ушу, — и, отделив от кулака большой палец, тыкал себя в грудь.

Вечером вошел к нему Ибрагим:

— Хозяин!.. Мы с Прошком на озеро риба таскать поедем в ночь. Коптить будэм... Дорога дальный, Угрюм-рэка нужна.

— С богом, — сказал хозяин. — Покличь Илью... Да, слышь, кунак, не говори никому, что пью я... Скажи: в книжку смотрю... Покличь Илюху!

Ибрагим седлал двух коней: для Прохора и для себя своего Казбека.

— Вот что, — сказал Петр Данилыч изогнувшемуся пред ним Илье: — У тебя башка-то еще не прошла?

— Так точно, нет еще... — малодушно хихикнул тот гнилью зубов.

— Ну, так я тебе, сукину сыну, и ноги все повыдергаю...

— Очень просто, Петр Данилыч, — вновь ухмыльнулся Илья и потер себе переносицу.

— Вот что... Иди сегодня ночью дрыхнуть к Анфисе на крыльцо. Возле дому чтобы... Всю ночь лай... Понял?.. Собакой лай.

— Очень беспременно, — с готовностью проговорил Илья. — Да как же, помилуйте, Петр Данилыч!.. Вдруг, например, в их доме — ружье... И чье же? По какому поводу?

— Пошел вон, сукин сын!

Анфисе совсем не спится в эту ночь. Да и вчера не смыкались очи. Тяжко! Эх, коротка душа у ней, коротка душа у Прохора! Млад еще сокол, робок. Сокол, сокол, неужели улетишь, не поплачешь вместе? Нет, будь что будет, вот уснут все покрепче, пойдет к нему, ударит в окошко створчато: милый, выходи!

Лежит Илья Сохатых снаружи на Анфисином крыльце, он вложил свой ключ к скважину, чтоб Анфиса изнутри не отперла, лежит, мечтает, только бы Прохор укатил, упадет тогда Илья в ноги хозяину, заплачет: хозяин дорогой... так и так... желает он с Анфисой законным браком чтоб... Ох, и взъерепенится хозяин: «Мерзавец, стерва!» — может, в морду даст, потом скажет: «Женись, тварь!» У порядочных купцов завсегда бывает так.

Вдруг половицы заскрипели — у Илюхи ушки вверх — за дверью возня с ключом и голос:

— Кто ж это озорует?.. Заперли...

— Доброй ночи, Анфиса Петровна, бывшая мадам Козырева, а будущая — знаю чья... — сказал Илья Сохатых, полеживая в шубе у дверей. — Это, извините, мы... так сказать, — и вежливенько все-таки шапкой помахал.

За дверью смолкло все, как умерло.

На берегу озера полыхал большой костер. Рыба ловилась плохо. Луна серебрила тропинку на воде, избушка стояла под луной вся голубая. Милая избушка! Как тихо, грустно! Какой мрак висит в тайге.

Черкес плюнул и заругался вдруг:

— Кручок другой нада... Большой... Этим шайтан ловить... Цволачь! Трубка забыл...

Прохор едва поднял отяжелевшую голову свою, как черкес уже в седле.

— Дожидай! — крикнул он. — Трубка привезу. Кручок хороший привезу. Айда, айда! — гикнул и вытянул Казбека плетью.

«Вот это сила, — подумал про Ибрагима Прохор. — Да. Еще завтрашний день, а послезавтра в путь. Прощай, озеро, избушка; прощай, милая Анфиса! Мамашенька, прощай, прощай!» Какая все-таки тоска в душе! Припомнилась Угрюм-река и ночь та страшная, предсмертная. Зачем он едет? Погибать? Плыли смутные мечты, плыл над тайгою месяц. И сколько времени Прохор промечтал, не знает, — может, минуту, может, час.

Но филин еще не прокричал в тайге, как вырос перед ним черкес:

— Нá трубка, кури... Нá кручок... — И сел возле него.

В стороне храпели лошади и взмахивали хвостами, отбиваясь от ночных комаров.

— Давай, Прошка, спать. Мой здесь ляжет, твой избам.

— Я с тобой лягу, у костра... Там комары...

— Избам! — заорал черкес. — Мой комар выкурил избам... Дверь затворяй крепче... Айда! — и вдогонку крикнул: — Выбрасывай бурку мне. Избам... Пожалста!

Через минуту из избушки выскочил как сумасшедший Прохор с буркой и в радостном хохоте навалился на черкеса.

— Ибрагим! Ибрагимушка! Ибрагимушка! — катал его по земле и целовал в плешь, в лоб, в горбатый нос.

— Стой, ишак! Табак сыпал вон. Ишак!..

Бубукнул, загоготал вдруг филин. Спасибо тебе, ночная птица, пугач лесной. Прохор целовал свою Анфису, как ветер целует цветущий мак. Сидели рядом, очи в очи гляделись неотрывно. И оба, словно дети, плакали. От Анфисы пахло цветами и ночной росой:

— Черкес мчал меня на коне шибче ветра.

О чем же говорили они? Неизвестно. Ведь это ж юность с младостью, ведь это последняя хмельная ночь в лесу. Пусть хвои расскажут, как пили любовь до дна и не могли досыта упиться; пусть камыши запомнят и перешепчут ветру шепот их, пусть канюка-птица переймет их прощальный разговор.

— Вот и кончились быстрые деньки наши, мой сокол. Боюсь, боюсь...

— Да, Анфиса, душа моя... Кончились.

Дом Анфисы на пригорке, и заколоченная из-под сахара бочка скатилась прямо в крапиву, к кабаку. Ранним утром стояли возле бочки бабы, — тащились бабы за водой, а пьющий мужичонка вышибал из бочки дно.

— Хах! Господи Суси! — закрестились бабы, попятились.

— Сохатых! Ты?! — раскорячился пьяница-мужик и от изумления упал в крапиву.

— Пардон... Мирси... — хрипел Илья Петрович, лупоглазо вылезая из бочки, как филин из дупла. — Фу-у!.. Чуть не подох. Скажите пожалуйста, какое недоразумение... Черт! Схватил это меня неизвестной наружности человек, морда тряпкой замотана, да и запхал сюда... А я в сонном виде... Ночь.

Илья Сохатых выкупался в речке и, как встрепанный, — домой.

— Представь себе, Ибрагим... Какой-то стервец вдруг меня головой в бочку, понимаешь? — ночью...

— Цволачь, — сочувственно обругался Ибрагим.

На другой день Прохор с Ибрагимом уехали на Угрюм-реку.

Прощай, Прохор Петрович! Счастливый тебе путь!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Земля несется возле солнца, как над горящей тайгой комар. Нет в пространстве ни столетий, ни тысячелетий. Но земля заключена сама в себя, как пленник; по ее поверхности из конца в начало плывет Угрюм-река, и каждый шаг земли по спирали времен вкруг солнца и вместе с солнцем знаменует для человека год.

Прошло три длинных человечьих года, прошло ничто. В конце третьего года примчалась от Прохора Петровича в село Медведево телеграмма. Петр Данилыч и Марья Кирилловна! Радостная это телеграмма или роковая? Человеческим незрячим сердцем оба в один голос: радостная, да.

Но за эти три года Угрюм-река трижды сбрасывала с себя ледяную кору, за это время случилось вот что.

Прохор обосновал свой стан в среднем течении Угрюм-реки, чтоб ближе к людям. Но и для орлиных крыльев людское оседлое жилье отсюда не ближний свет.

Высокий правый берег. Кругом густые заросли тайги. Но вот зеленая долина, вся в цветах, в розовом шиповнике. У самой реки круглый холм, как опрокинутая чаша. Здесь будет стан.

— На вершине холма я построю высокую башню, — сказал Прохор. — Буду каждый день любоваться рекой, встречать свои пароходы. Гляди, какой красивый вид!

— Якши! — подтвердил Ибрагим.

Жили в палатке по-походному. Рыба, птица, ягоды с грибами. К осени шестеро плотников, среди них — Константин Фарков, выстроили небольшой, в пять окон, домик, игрушечную баню, склад для товаров и конюшню на два стойла. Возле дома на высоком столбе вывеска:

РЕЗИДЕНЦИЯ «ГРОМОВО» владелец — коммерсант ПРОХОР ГРОМОВ

Черкес сделал себе из плетня род сакли, обмазал глиной, побелил и тоже на шесте:

гасподынъ ЫБРАГЫМЪ ОГЪЛЫЪ ЦРУЛНАЪ

За работами досматривал Ибрагим; он стал слегка покрываться благополучным жиром. Прохор же худел. Деловитость разрывала его на части. В ней позабылись Анфиса, Нина, мать с отцом. Он неделями шатался с Константином Фарковым по тайге, осматривал речушки, ключи, встречные горы.

— Здесь должно быть золото.

— Да, — сказал Фарков. — Тунгусишки знают где, да не говорят. Руси боятся: Русь нагрянет, загадит все и их выгонит.

Как-то набрели они на столбленное место: возле безыменной речушки — глубокий, с обвалившимися стенками, шурф, заросший кустами и травой.

— Вот тут какой-то барин с артелью золото искал! — воскликнул Фарков, указывая на сгнившие столбы. — Давно это было, старики сказывали. Золота — страсть. Ну, захворал он, артели жрать нечего и обратно куда идти не знали, а тут стужа под-

наперла, снег... Ну конечно, убили его, съели, и сами пропали все. Царство небесное!

Прохор записал и зарисовал план.

— Ты это место запомнишь? От стану найдешь? Мы дела тут ахнем. Ужо, погоди, Константин.

Осень была ранняя, в сентябре настойчиво стал сыпать дождь и снег. Вместе с тучами на Прохора навалилась тоска. Плотники рассчитались. Фарков хотя и согласился остаться, но тоже уехал домой. По первопутку он вновь вернется со своей старухой, с сыном. Отправился с народом за почтой и черкес на своем Казбеке. Он везет до Подволочной письма Прохора: Нине, домой, Шапошникову и, конечно, ей, Анфисе. Почтарь из деревни Подволочной — родины Тани — в два месяца раз отвозил почту в волость и привозил оттуда. Пусть черкес не забудет захватить все, что пришло: может быть, книги, может — посылки, а главное — письмо, ее письмо, Анфисы. Ну, Ибрагим, конечно, понимает. О чем тут толковать.

— Слушай, привези Татьяну, — полушутя сказал Прохор, и глаза его улыбчиво завиляли.

— Какой тебе Татьян?! — крикнул черкес. — Я сам Татьян!

Прохор остался один. Он, тайга, сизые тучи и дрожавшая от стужи Угрюм-река.

Читал книги, думал. Да, он проживет здесь год, а может быть, и два, он не поедет к отцу. Это не отец, это жестокий, непроспавшийся пьяница, который выгнал сына. Отлично! Прохор, слава богу, на своих ногах. Вот придут тунгусы, накупят товаров — он будет ласков, бескорыстен — и разнесут по всей тайге добрую славу о нем. Это для начала. Потом Прохор засучит рукава, и пусть посмотрит народ, что он сделает с этим краем, пусть почувствуют люди, тот же Шапошников, на что способен настоящий большого размаха человек.

Но как же работать, жить? Ведь надо же какую-то опору в жизни, костыль. Мать? Не то. Да, может

быть, и не пожелает она бросить хозяйство: женщины, как кошки,— умрет под своим шестком. Любовница? Нет, это не годится. С Анфисой тоже ему не жить, Анфиса — сила; его стальная коса может сломаться о ее камень. Анфиса — камень. А для услады он найдет.

Жена! Вот кто. Ему нужна жена. И, конечно, Нина Куприянова... Нина!.. Решено! Он будущей весной поедет к ней.

Ярко и весело топится печь, Прохор шагает из угла в угол, поет. Надо собак завести. Еще кота и кур. Он варит уху, готовит чай в котелке. Над крышей пролетает метельный ветер, но в избе тепло. Как хорошо жить в тепле! И какая милая у него избушка: просторная и светлая. Анфиса, друг, приходи помечтать хоть во сне!

Достает записные книжки своего первого путешествия и начинает приводить их в систему. Его стан, резиденция «Громово» в пятистах верстах от Подволочной. Да, так. Вот изгибень, а вот протока и красная скала. Так. До Ербохомохли, последнего населенного пункта, — триста верст. Живы ли те два старика, как их... Сейчас, сейчас... Сунгаловы? Жив ли столетний Никита Сунгалов, который целый день скакал за ними только для того, чтоб дать на свечку богу? Нет, наверное, умер; вот тут записаны его слова: «В покров умру».

За окном со свистом запоздалые пронеслися утки. Прохор схватил ружье, но в раздумье повесил и вновь углубился в записные книжки свои. Сколько воспоминаний! Вот если бы уметь писать!

Вечерело. Прохор зажег светлую лампу и допоздна занимался. Полночь. Утомительная тишина. Прохор устал от тишины и дум. А за окном гудит. Он вышел на воздух. Тьма. Сквозь вьюжную мокрую дрянь ощупью шел к холму. Тайга шумела, и где-то близко пенилась река. Но ничего не видно. Это живая тьма гудит, клокочет, и нет ей края. Как страшно одному во тьме под напором ветра. Подхватит злобная пугающая сила, взвеет вверх, унесет, как нежить. Нет, под его ногами твердая лысина холма. Дудки!

Прохор взмахнул шляпой, заорал:

— Угрюм-река! Здравствуй!.. Я — твой хозяин! Погоди, пароходы будут толочь твою воду. Я запрягу тебя, и ты начнешь крутить колеса моих машин. А захочу, прикажу тебе течь не здесь, а там. Потому, что Прохор Громов сильней тебя! — Он закашлялся от ветра, но с хохотом замахал шляпой и неистово крикнул: — Уррра!

Угрюм-река, поплевывая, пофыркивая, слепо катилась к океану.

Лишь на тринадцатые сутки плотники приползли в Подволочную. Ибрагим остановился у Фаркова. Грязно, все покосилось, и бычий пузырь вместо стекла. Зато кушай на доброе здоровье, угощайся, и есть винцо.

Утром Ибрагим направился к почтарю, на сборню. Пришло пять писем, одно от Анфисы «Прохору Петровичу в собственные руки». А вот газеты, а вот посылки с книгами. «Это от Шапкина». И три больших тюка. — «Это товар».

Он вытащил из-под бурки два письма и потряс ими перед красным носом почтаря:

— Ежели это потеряешь да вот это, пожалста, башкам рубить будэм!

Одно письмо с адресом неуклюжими каракулями с припиской: «Хазяин страпъка Варвар».

Почтарь поводил раскосыми глазами, сказал:

— Наварачкано, как корова брюхом.

Другое письмо в город Крайск, Нине Яковлевне Куприяновой. Черкес поцеловал его и закричал, ворочая белками:

— Сам буду класть! Давай сумка, где сумка? Тэряишь — кынжал брухо!..

А письмо с красной печатью, на имя Анфисы Козыревой, он оставил при себе и пошел домой, к Фаркову. Наверно, Прохор икнул сейчас. Наверно, у Анфисы заныло сердце.

Ибрагим хлебал кислое молоко, пил с морошкой чай и по складам читал Анфисино, вскрытое им, письмо:

«Ненаглядный мальчик, Прошенька мил-дружок. Уехал ты, и сердечушко мое затрепыхало как птичка, когда птичку ястреб закогтит. Господи! Хоть бы весточку какую, хоть бы удариться белой грудью о сыру землю, вспорхнуть бы лебедушкой да к тебе, сокол, сокол мой!»

— Цволачь!.. — пробубнил черкес, похрустывая белыми зубами луковицу, и перестал читать.

А вот и красная печать — трах, трах! — раскрыл письмо:

«Милая моя, ненаглядная Анфисочка! Вот мы с Ибрагимом и приехали. А тебя с нами нет. И мне мерещится избушка, и та хмельная ночь, и та другая ночь, когда верный мой рычарда примчал тебя на своем коне... Анфиса! Я скоро...»

— Цволачь! — прошипел черкес.

— Ну, что пишут-то? — спросил Фарков.

— Пышут? Пышут — якши... Карошь пышут...

— Ну, слава богу, — сказал Фарков и перекрестился. — На-ка, пей.

Черкес выпил, сплюнул и, с мудростью библейского Соломона, оба письма любовных бросил в топившуюся печь.

2

Сердце Анфисы Петровны пусто, как брошенное птицей в голом лесу гнездо. После разлуки с Прохором очень тяжко было, все ждала от него письма: вот протрясся к дому Петра Данилыча почтарь, все получили! — ей нет письма. Как оплеванная пошла домой: стыд в душе, и горечь, и охальные стариковские глаза: Петр Данилыч даже присвистнул ей вдогонку.

«Так-то, Прохор Петрович, залетный сокол, так. Какая же змея улестила его там? Подайте сюда змею, подайте!..» И стакан за стаканом пьет Анфиса наливку, не хмелеет. А может статься, его письмо просто затерялось, она опять напишет ему ласково, кровью и слезами, припечатает то письмо смолою с полуночного лесного пня, а не придет ответ, — бросит

все, убежит к нему босиком по снегу, мороз — не мороз, уйдет.

Пишется письмо надрывное.

А время летит, и Петр Данилыч неотступно ходит к ней. Но его мольба для Анфисы — что об стену горох.

Как-то явился выпивши метельным вечером, весь в снегу. И ружье через плечо.

— Ну, Анфиса, берегись! — В глазах его отчаянная решимость и еще что-то злодейское.

— Пришел бить меня?— бесстрашно, весело спросила она.

Петр Данилыч затаенно молчал; провалившиеся, в черных кругах, злые глаза его резко прыгали, описывая четырехугольники возле Анфисина лица.

Она попятилась — никак, рехнулся? — и ноздри ее чуть дрогнули. Ей показалось в сумерках, что Петр примеряется выстрелить в нее из ружья. Виски ее похолодели.

— Что скажешь, Петруша?

— Ну, приласкай. Хоть... Прижми к себе... Ну!.. — И Петр шагнул к Анфисе.

— Отстань, не лезь, — с боязнью проговорила Анфиса. — Я *его* люблю.

— Прошку?

— Да.

Петр пьяно откачнулся и стукнул ружьем в пол. Анфиса сдвинула брови, напряглась, словно ожидая смерти. Глаза Петра завиляли. Сжимая и разжимая пудовый кулак, он хрипло сказал:

— Значит... Значит, ты отца на сына, сына на отца, как двух медведей?.. Ты?! Стравить хочешь?

Она засмеялась таким холодным, нутряным, словно не своим смехом. Петр Данилыч сразу перестал дышать, она же, склонив набок голову и грозя трепетным пальцем, сквозь самый тот смешок проговорила:

— А пощечину-то помнишь, Петя?

Тот чужими губами сказал:

— Убью я его... Ежели меня не полюбишь, убью... И тебя убью.

Та еще хитрей захохотала, еще певучей полились из ее прекрасных губ слова:

— Значит, охота тебе, дураку старому, по каторге гулять? От богатства-то? Петя, а? Где тебе убить! Бык ты холощеный.

— Анфиса, не замай! — хватаясь за ружье, затрясся как в припадке Петр.

Анфиса взметнулась, ударила себя в грудь, от ее визга звякнуло в лампе стекло:

— Стреляй! Стреляй, черт ненавистный. Ну!..

Вначале, как уехал черкес с Прохором на постылую Угрюм-реку, купецкая стряпка Варвара, укладываясь на ночь, молилась со слезами:

— Спаси, помилуй, господи, татарву неприкаянную... Ибрагима... И ангела-то хранителя у него нет, у дурака... Не знай, кого и просить-то. Святителя Абрама поди.

Но постепенно, месяц за месяцем, все позабылось, и как высушил мороз землю, не стало и у кухарки слез.

Однако каким-то чудом доползло Ибрагимово письмо, только жаль вот, хоть бы одно слово разобрали — ни поп, ни пристав, ни политики.

Отец Ипат сказал:

— Зело борзо, — присвистнул и захохотал.

— Ах, до чего обидно, право! — Варвара от полноты сердца хотела любезное письмо то с кашей съесть, все-таки хоть мыслечки его узнает. Но Илья Сохатых отсоветовал:

— Кто ж письмо с кашей жрет?! Тоже, жрица какая, подумаешь, нашлась! Ведь надо допустить, что каша-то не в башку тебе полезет; сама удивительно прекрасно понимаешь куда. Эх ты, толстая!..

— Да как же, Илюшенька!.. Ох-ти-хти!

— Пускай у меня в альбоме сохраняется. Это письмо сам писатель прочитать должен, то есть черкес... И утрите ваши слезы... И позвольте скорей щей... Фють!

Илюха повеселел: сам большой — сам маленький теперь в лавке, хозяин пьет, хозяйка, хоть и забирает помаленьку все бразды, но женщина так женщина и есть. А главное, потому повеселел Сохатых, что Прохор в письме к матери поклон ему прислал и вроде как намек: а не худо бы, дескать, его с Анфисой-то Петровной окрутить.

Когда он свои домыслы высказал Анфисе, Анфиса взбеленилась. Ничего, пусть недельки две пройдет, а у него на этот счет политика найдется.

Как-то подвыпивший Шапошников пришел к Анфисе за куделью. Кудель?! Да, да, кудель, зверушек набивать. Ну там — чаек, разговоры, пряники.

— Скажите, ради бога, вы такой звездой, такой этуалью слетели к нам, что... — и, заикаясь, заканителил языком.

— Ничего я не понимаю от ваших умных речей. Вы образованные какие. Давайте попроще как.

— Кто вы, откуда? Лицо у вас очень оригинальное, не простое, а образ жизни...

Он замялся. Он, в сущности, пришел совсем не за куделью: он знал, зачем пришел. «Поприсмотритесь к Анфисе, как она насчет отца и вообще... Вы человек опытный, — писал ему Прохор, — и сообщите мне».

Анфиса выжидательно уставилась на гостя. Он говорил с какой-то подковыркой, раздраженно и — Анфиса чуяла — хотел ее обидеть.

— Кто я такая, спрашиваете? Я — Анфиса, женщина.

— Ясно!

— Прохор Петрович ведьмой как-то обозвал. Что ж я, ведьма? Как по-вашему?

— Оставьте, пожалуйста.

— А откуда, я и сама не знаю. А вам зачем?

Ну, как это зачем, ну просто интересно: одни люди наблюдают зверей, другие — ход небесных звезд, третьи изучают камни, горы, пласты земли. Шапошников же интересуется просто жизнью, отношением людей друг к другу.

От молчавшей Анфисы шла на него невидимая сила, пронизывающая его и завладевающая им. Он

говорил теперь плавно, не заикаясь, и строгие, в пенсне, глаза его стали смягчаться, а щеки алеть.

— Многие сердца сохнут от вашей действительно красивой наружности. Ваша внешность, то есть фигура и все, эффектна, можно сказать, без всяких «но». Понимаете? То есть прекрасна. И, конечно, вы могли бы составить счастье любому из... из... Но вот — ваша душа...

— Моя душа, — перебила Анфиса, — полюбит кого захочет. И уж так-то ли крепко полюбит... что...

— Прекрасно! Но вы понимаете? В вас много романтики. То есть как это... Вы в своих чувствах порхаете за облаками, ваша душа — песня, и какая-то этакая разбойничья песня, цыганская. А ведь надо жить, жить на земле и попросту.

— Попросту? Да как же это попросту, Шапошников, миленький мой? — И Анфиса ласково положила ему руку на плечо.

— А очень просто, — сказал он и, краснея, осторожно снял с плеча теплую ее руку. — Не всегда надо сердцу доверять. А надо и умом. Вот, допустим, например, вы страстно полюбили юношу...

— Вот, допустим, я страстно полюбила юношу, Прохора Петровича. — Анфиса улыбнулась и положила обе руки ему на плечи.

— Прохора Петровича? — спросил он, растерявшись.

— Да, сокола моего, Прохора Петровича.

Шапошников, набычившись и смущенно подергивая носом, видел, как глаза ее наполнились слезами.

— Оставьте, Анфиса Петровна, и мечтать об этом, — дрогнул он голосом. — Погибнете.

— Шапошников, миленький Шапошников, хороший! Я люблю его, до смерточки люблю. Дайте вас поцелую в лысинку вашу. Сердце у вас большое, а не отогретое; один как сыч живешь. А годочки твои уходят, как дым едучий. Женился хоть бы... Да и взять-то тут некого в дыре такой. Эх, горемыка!

Шапошников сначала вытаращил глаза: точно мать воскресла перед ним; потом засвербило в носу, и в груди что-то перевернулось.

— Да, да, да... Это верно, верно... Да-да-да... Золотое ваше сердце. — Он встал, отошел в глубь комнаты и, украдкой сморкаясь в грязный платок, кряхтел.

8

Свежее солнечное утро. Зима только погрозилась, теплый ветер за ночь съел весь снег: под ногами влажно, зелено. Далеко от стана Прохор боится отойти: пропадешь. Белка теперь выкунилась, стала пушистой. У него за поясом шесть белок, пора домой. Ага, олени. Много оленей. Тунгусы пришли. Против дома, под курганом раскинут чум.

— Кажи, бойе, товары, — сказал кривоногий старик.

— Вот, давай, — сказал молодой сын его. — Белка, лисица, соболь есть. Борони бог, много... Давай менять!

Привалившись плечом к сосне, стояла молоденькая девушка, Джагда, внучка старика. Она красиво изогнулась и неотрывно смотрела на Прохора радостными глазами.

Пушнины действительно много Прохор обменял на товар. Тунгусы довольны.

— Ты правильный друг. Ты не обманщик, не плут.

Молодой отец Джагды вскочил на оленя и скрылся в тайгу, сказав:

— Ужо, дожидай, бойе!

Джагде подарил Прохор серебряные сережки с каменьями. Матери ее — трубку и табак. Джагда улыбалась, что-то шептала, и рдели щеки ее. Убежала в тайгу. Голос ее звенел в тайге до вечера.

Когда над тайгой встал месяц, Прохор пошел на курган. Тайга мутно голубела, серебрилась Угрюм-река. Прохор чувствовал: следят за ним глаза Джагды, и спустился к реке. У берега, на приколе, три больших дремлют шитика — торговый его флот. Прохор снял с крыши шитика легонькую лодку-берестянку и переправился за реку. В лунную ночь хоте-

лось бродить, мечтать. Как хорошо, что пришли люди и эта маленькая Джагда. Какие яркие и влажные у нее губы и как должна быть нежна под бисерным халми ее грудь.

Прохор пошел в глубь леса. Все гуще, непролазнее становилась тайга. Но вот поляна. Что-то промелькнуло перед глазами. Прохор схватился за ружье. Треснул сучок, и — ай! — Прохор метнулся к Джагде. Та испуганно мчалась через поляну. Прохор за ней, как стрела за птицей.

— Джагда, Джагда!

Вот зашуршали хвои, он почти настиг ее, он ловит ее дыханье.

— Ай! — И, опираясь на конец длинной палки, она взвеяла вверх свои бисерные ноги — и легким лётом перемахнула чрез огромную валежину. Прохор задыхался, сатанел: — Стой! — Он сбросил ружье и, раздувая ноздри, мчал за девушкой. Кровь бурлила в нем черным валом: «Уйдет, бесенок!» И вновь дрожащая — темная с белым — будто исполосованная кнутом поляна, и сердце его в кровавых кнутах: скачут сосны, тысячи лун дробятся в плясе, и секут глаза тысячи мелькающих быстрых ног. Вдруг — тьма и огонь, и нет ничего, кроме упавшей Джагды.

— Ага, бесенок!

Джагда испугалась, заплакала, закрыла лицо рукой, ладонью кверху. И меж дрожащих пальцев поздний какой-то цветок зажат, он пахнет мятой.

Домой возвращались сквозь оглохшую, призрачную ночь. В груди Прохора ярился, искал воли неуемный зверь; ему там тесно. Прохор, вздрагивая, шумно дышал: ему хотелось разорвать грудь свою, втиснуть туда эту взволнованно робкую Джагду и мучительно терзать ее. С продрогшей земли густо и плотно подымался туман; вот он Прохору по пояс, ей по грудь, оба плывут над белой гладью, как в ладье, она легонько всхлипывает, он раздувает ноздри.

— Я искала оленей. Что ты сделал со мной? Зачем?

Его рука молча нырнула под туман, Джагда качнулась, покорно упала на мягкий мох, на дно.

За рекой взлаивали собаки, призывно кричала мать Джагды. Вся ночь вскоре обволоклась туманом, они оба пробирались чрез туман к реке.

— Как ты попала сюда? По воде, что ли, перешла?

— Твою лодку прибила волна ко мне. Зачем же ты меня обидел?

Голос ее в слезах, и, пока переезжали, Джагда плакала подавленно и тихо. Вдруг Прохору захотелось ударить девушку веслом, сбросить в воду и смотреть, как она станет барахтаться, кричать, молить, как ее захлестнет волна.

— О чем ты плачешь?

Она молчала.

— О чем ты плачешь? — крикнул он, и лодка их уперлась в прикрытый туманом берег.

— Не скажу, не скажу тебе, — стыдливо и страстно протянула Джагда, быстро обняла его и поцеловала в губы.

Прохор дома записал в дневник:

«17 сентября, ночь. Джагда. Джагда — значит — сосна. Но она похожа на белочку. И почему я не магометанин? Вместе с Ниной жила бы у меня и Джагда».

«И, конечно, Анфиса... Ну конечно... — подумал он. — Что-то она делает теперь? Спит, наверно». Он тоже ляжет сейчас, устал, промок. Скоро ли вернется Ибрагим, скоро ли привезет письмо от Анфисы?

— Покойной ночи, Анфисочка!

Утром, когда еще спал, набилась целая изба тунгусов. Сели на пол, закурили. Никогда не мывшиеся — они пахли скверно, а тут еще махорочный дым. Прохор чихнул, открыл глаза.

— Вот, бойе, два стойбища привел, — сказал молодой отец Джагды. — Дожидай, весь тунгус у тебя покручаться будет. Другой купец, три купец врал,

грабил, расписка путал, мошенник. Вот ты — настоящий друг.

У Прохора товар быстро пошел на убыль, весь склад был завален только что вымененной пушниной — целый капитал. Тунгусы очень довольны, рады. Пусть новый друг подаст им винца. Прохор угостил их на славу; все, мужики и бабы, были пьяны вповалячку. Молодые тунгуски то ярко красивы, то безобразны, старухи же дряблы, как топкая глина — грязь. Прохор был тоже пьян. Поутру его замутило, пошел купаться в Угрюм-реку. Холод и ледяные стеклянные закрайки на воде. Брр!

«А почему ж вчера не было Джагды? Где она?» Джагда, забравшись на высокий кедр, незаметно провожала его к реке печальным взглядом.

Прохор переплыл в лодке на ту сторону и направился в лес искать ружье. Поздно вечером, усталый и расстроенный, прибрел домой. Заглянул в чум Джагды — чум пуст. Возле дома барахталась куча пьяных тунгусов. Они таскали друг друга за длинные косы, плевались, плакали, орали песни. Из разбитых носов текла кровь. Увидали Прохора, закричали:

— Вот тебе сукно, бери обратно, вот сахар, чай, мука, свинец, порох. Все бери назад. Только вина давай.

Прохор гнал их прочь. Они валялись у него в ногах, целовали сапоги, ползли за ним на коленях, на четвереньках, плакали, молили:

— Давай, друг, вина! Сдохнем! Друг!

Прохору стало гадко. Он сказал старику:

— Хочешь, выткну тебе глаз вот этим кинжалом? Тогда дам.

— Который? Левый? — спросил старик.

— Да. — И Прохор вытащил кинжал.

Старик подумал и сказал:

— Можна. Один глаз довольно: белку бить — правый. А левый можна.

Прохор не шутя шагнул к нему и поднял кинжал. Старик взмахнул рукой, засюсюкал:

— Ты невзначай выколи, скрадом, чтоб я не знал... А то шибко страшно... Борони бог как... Ой!..

В груди Прохора омерзение и жалость. Он вбежал в избу, заперся и лег спать. Видел во сне Джагду. Она склонилась к нему, целовала в глаза и губы. Он проснулся и, полуслепой от сна, схватил ее за руку:

— Джагда! Ты?!

Она рванулась:

— Нельзя, бойе... Прощай! — и убежала. Прохор вскочил, распахнул окно. За окном стоял туман, и там, в реке, взмыривала вода на камне. Прохор долго, ласково звал:

— Джагда, Джагда!

Но туман молчал.

4

Так протекали недели. Вернулся Ибрагим с рабочими. Что? Анфиса не прислала ему письма? Но почему, почему?!

Протекали месяцы. Наступал иссиня-белый трескучий декабрь, пушистый и легкий. Приходили, уходили тунгусы, с ними Джагда, печальная, покорная. Но маленькая Джагда не укрепилась в сердце Прохора; оно отравлено иным чувством — чувством гордой злобы на Анфису. Он много раз то сурово, то умоляюще допрашивал черкеса:

— Может быть, ты нечаянно потерял то мое письмо к Анфисе? С красной печатью которое... Скажи.

— Нэт... Как можно... Сам сумка клал.

Воздух душист, бел, звонок. Каждый день с утра до ночи курились над крышами два дыма: в избе Прохора с черкесом и в избе Фаркова. Сын Фаркова — двадцатилетний Тимоха — здоров, как бык, и огромен ростом, шея толстая, лоб широкий, любит громко хохотать и на работу сердит ужасно: почти один срубил отцу избу.

Потом залез в тайгу, стал деревья валить.

— Дорогу проводить желаю.

— Куда?

— А пес ее ведает... Куда-нибудь упрусь. Без дела мне тоскливо, Прохор Петров...

Тогда Прохор велел ему строить на берегу пристань. Лицом Тимоха коряв, ходит враскорячку, локти врозь и силищу имеет медвежью. Тимоха для Прохора — клад. Начал Прохор учить его грамоте, пожелали учиться черкес и старики Фарковы — муж с женой.

Жизнь Прохора стала заполняться. Часто ходили с Константином Фарковым на охоту, иногда следом за ними ломился тайгой и Тимоха. Он говорил мало и все больше матерно, просто уж родился таким, будто и ничего не скажет, а раскудрявит фразу ужасно, не замечая того сам. Если надо: «Я хочу медведя взять», у него звучит:

— Я, так твою так, Прохор Петров, хочу, растуды его туды, ведмедя ухайдакать, распротак его протак, сек твою век...

Прохор сначала хохотал, потом стал сердиться, потом рукой махнул.

Ибрагим на охоту не ходил, шил вместе с Маврой Фарковой на продажу тунгусам кафтаны.

Письма отца и матери были бессодержательны, Нина сообщала, что на лето домой не приедет, а будет гостить в именье у своей подруги. Он получил от нее уже три письма, ласковые и нежные, пересыпанные словесными колючками, смешками, но это последнее ее письмо подействовало на Прохора удручающе: он долго-долго не увидит ее. Значит, ему незачем плыть по весне в Крайск, к Куприяновым. Ну что же, — он продаст пушнину на ярмарке в Ербохомохле. И домой ему незачем ехать: с Анфисой — конец, а мать пишет каракулями: «Теперича, слава богу, тихо».

Решено. Еще год проживет здесь, благо имеются книги и через Шапошникова новых книг можно выписать из города.

Мороз переломился. Пошли метели. Мохнатая шубища тайги то зеленела, то седела. Прохор убил за зиму трех медведей, много лисиц и без счету белок.

На полке и на столе свернутые в трубку чертежи. Они почти по-детски разукрашены красным, синим, желтым. Вот набросок его бревенчатого дворца в русском духе: башни, петухи, кругом сад и, конечно, фонтан с беседкой. Вот часовня. Вот план местности — тут дорога, там дорога, здесь завод, здесь лесопилка; вот план приисков, тех самых, надо послать в город заявку. Прохор совещается с Константином, с черкесом. Подсчитывают. Черкес крутит головой, причмокивает. Тимоха весело матерится, и рожа у него, как луна сквозь дым.

Перед весной Прохор отправил отцу с Ибрагимом двадцать тысяч денег, вырученных на ярмарке, — пусть отец пришлет побольше товару. Прохор не приедет домой — дела.

В середине лета пришли товары. Приплавил их сам Петр Данилыч с Ибрагимом.

У Прохора большое хозяйство. Распахана десятина земли. Рожь и ячмень тучно колосятся. Огород, пасека. На пасеке властвует Константин Фарков. Тимоха ведет войну с тайгой: как зверь корчует пни, сжигает валежник; надо поляну расширить и на будущий год кругом запахать. Коровы, лошади, куры. Три новые избы. В двух — приехавшие по весне семейные мужики-рабочие, третья — для покупателей-тунгусов, вроде харчевки. Целое село. На холме — сам хозяин — Прохор Петрович Громов. Нынешним летом у него стала пробиваться мягкая бородка. По-орлиному он смотрит кругом, на тайгу, на бегающих чумазых ребятишек. Шумно: собаки лают, мычит корова, горланят петухи, голопузик бесштанно брякнется в крапиву и орет. Жизнь! А ведь был нуль на этом месте, как и все кругом — нуль.

Прохор Петрович гордо говорит отцу:

— Все это начато с нуля.

Отец похвалил, попьянствовал с неделю и уехал. Об Анфисе — ни звука.

Прошла новая осень, настала новая зима.

Прохор с хлебом, с медом. От тунгусов нет отбоя. Лабаз ломится пушниной, есть деньги. Старые торгашеские гнезда затрещали. Зимой, на ярмарке в Ербохомохле, торгашами был пущен слух, что, если Прохор не уберется восвояси, спалят всю его берлогу, а его убьют.

Перед весной таежная жизнь стала Прохора томить. Ему нужны новые впечатления, люди, общество. Тайга связывала ему руки. Пять изб, пашня, ну что ж еще? А его душа тосковала по большому делу, и в обильной таким простором и воздухом тайге он задыхался.

Шапошников писал ему:

«Что же вы, молодой друг, теряете зря свои годы? Смотрите, как бы не загрызли вашу душу комары. Отчего вы не приедете сюда, в Медведево? Тут развертывается некий сюжет, касающийся вашего семейства. Но мне не хотелось бы погрязать в сплетнях. Да и вы сами, по всей вероятности, догадываетесь, в чем суть. Советую вам приехать».

«Это об Анфисе, наверно», — подумал Прохор, но остался равнодушным. Его манили иные дали, и образ Нины Куприяновой, как бы пробудившийся в хвойном запахе весны, неотступно влек его к себе. А тут как раз ее письмо, розовое, пахучее. Приглашает его Нина быть обязательно этой весной у них в Крайске, он погостит там с месяц и поедет вместе с ними, чрез Урал, по Каме, по Волге, в Нижний, в Москву. Пусть он посмотрит людей, Россию, ему надо знать Россию и сердце страны — Москву. Итак, обязательно. Иначе он — не друг ей.

Кровь заиграла в нем; он стал легкомысленный и шалый. Все сразу отошло на задний план: хозяйство, избы, тунгусы.

— Прохор Петрович, две телушки родились!

— К черту телушек, к черту выводки цыплят! Эй, Тимоха!

Тимоха знает свое дело, тотчас опружил вверх дном оба шитика, день и ночь конопатит, заливает варом, — пожалуйте, Прохор Петрович, плывите хоть в море-океан.

Большие воды отшумели, и торговые флаги зацветились на шитиках Прохора. Сам Прохор — атаман, Константин Фарков — есаул, Тимоха — простой разбойник. Да еще крепкого мужика взяли. Хозяйство оставили на руках жены Фаркова и семейного рабочего Петра.

Прохор отправил Ибрагима домой, дал ему двадцать три тыщи для отца.

Отвал. Выстрелы. Полные слез глаза верного черкеса. Гордый, уверенный голос Прохора:

— Мочи весла! Айда!

— Ну, в час добрый! Господи, благослови! — закрестился набожно Фарков.

— Ух, тудыт твою туды, ну и попрет жа! — загоготал Тимоха, играючи стал крестить красную свою рожу. — Наляг! — И его весло сразу пополам.

Собираясь в путь в село Медведево, Ибрагим отпарил на чайнике последнее письмо Прохора к Анфисе и, пыхтя и потея, прочел:

«Анфиса Петровна! Вы теперь для меня ничто. Но знайте, что, если вы осмелитесь обижать мамашу мою, я посчитаюсь с вами по-настоящему. А на вашу притворную любовь ко мне я плюю. Вы действительно, должно быть, ведьма. Я имею кой-какие сведения. Советую вам убраться из нашего села».

— Цх! Молодца, джигит! — Ибрагим прищелкнул пальцами и тщательно зашил это письмо в шапку.

5

Прохору сегодня грустно. В Ербохомохле сказали ему, что белый старик Никита Сунгалов приказал долго жить. Когда? Позалонись. Когда? В самый что ни на есть покров.

— Неужели в покров?! — Прохор долго отупело мигал, его душа была удивлена вся и встревожена.

Сходил на могилу старца. Вот там-то пробудилась в нем щемящая тревога, большой вопрос самому себе. Он стоял без шапки, с поникшей головой. Темная елка накрыла лохматой лапой кучу земли с крестом. На кресте — две стрекозы сцепились, трепещут

крылышками. Вверху — ворона каркнула и оплевала могилу белым. Прохору опять вспомнился свой первый путь, безвестность, страхи, та гибельная ночь в снегах... Вот у него уже борода растет, бездумная юность откатилась, истоки пройдены, впереди — темная Угрюм-река с убойными камнями, впереди — вся жизнь. Но ему ли бояться Угрюм-реки? Нет! Он пройдет жизнь играючи, тяжелой каменной ногой, он оживит весь край, облагодетельствует тысячи народу. Он... А что ж — в конце концов? Вот такой же на погосте бугор с крестом? Нет, не в этот песок он ляжет, только надо бороться, работать, надо верить в себя. Но как все-таки трудна, как опасна дорога жизни! Тьма — и ничего не видно впереди. И вот он один, среди старых и свежих могил. Зачем он пришел сюда? И кто же ему поможет в жизни, кто благословит на дальний путь?

Стало на душе вдруг холодно и смутно. Он вздохнул и крепко подумал: «Дедушка Никита, благослови на жизнь!» И подумалось ответно из могилы: «Плыви, сударик... Посматрива-а-ай!»

Бушевал падучий порог, весь в беляках и пене. Угрюм-река хлесталась о камни грудью, Угрюм-река была грозна...

— Здравствуйте, Ниночка! Дорогая моя, хорошая Ниночка...

— Прохор, вы?! И борода? Сейчас же отправляйтесь бриться.

Миловидная Домна Ивановна навстречу пухлую свою ручку протянула:

— Здрасте, здрасте, гостенек наш дорогой...

Ну конечно, «охи», «ахи» и первым делом — чай. К чаю, как и в тот далекий зимний вечер, пожаловал после бани и сам Яков Назарыч Куприянов.

— Ух ты, мать распречестная! Прохор!! — весело закричал он женским — не по фигуре — голосом, крепко облапил Прохора и крепко три раза поцеловал: — Ну и дядя! Ну и лешева дубина вырос... Никак больше сажени ты?..

— Что вы, Яков Назарыч,— басил Прохор, стоя фонарным столбом.— Какой же рост во мне?.. Карапузик.

Все захохотали.

— Хе-хе... В таком разе и я, по-твоему, щепка? — И хозяин похлопал ладонями по своему гладкому тугому животу.— Ну, а как отец, мать? Давно писали? А черкесец тот, как его? Ну, а деньжищ-то много в тайге нажил? Ого, отлично!.. Ба-а-льшой из тебя будет толк. Мать, угощай!

Прохор чувствовал себя великолепно,— чисто вымытый, в свежем белье, новой венгерке со шнурами и козловых сапогах.

— Как вы удивительно похорошели, Ниночка,— сказал он.

— А разве я была не хороша?

— Нет, я... в сущности... я хотел сказать...

— Ничего, ничего, сыпь!.. Бабы это любят,— захехекал хозяин.— А ну-ка коньячку. Да, да, весь в дедушку. А батя твой непутевый, слабыня, бабник. Так и скажи ему. Есть, есть слушок такой... Да-да.

Прохор покраснел, по затылку прокатился холодок. Нина, склонившись над чашкой, урывками посматривала на него, весело подмурлыкивала что-то, улыбалась. «Строгая и насмешливая»,— подумал Прохор и сказал, обращаясь к Якову Назарычу:

— Вот Нина Яковлевна писала, что вы собираетесь путешествовать. Правда это?

— Ах, вот как!— притворно сдвинув брови, закричала Нина.— Мне, мне не доверять?!

— Правда, правда, поедем,— закашлялся сам.

— Сейчас же просите прощения! На колени!..

— Да будет тебе, Нинка, представляться-то.

— Ничего, дочка, представляйся! Крути парню голову, хе-хе-хе!

— Папочка!

Нет, хорошо! Все как и в тот вечер. Лампа с висюльками, пузатый, купеческой породы, самовар, пироги, варенье. Те же рыжеватые, с проседью, борода и кудри Якова Назарыча, даже пиджак чесучовый

тот же. Все как в тот вечер, все хорошо. Только в тот вечер не было еще у него в груди Анфисы. Почему же она теперь вдруг выплыла непрошеною тенью, где-то там, за Ниной, и так укорно смотрит на него?

— Я шибко-то не тороплюсь. Лишь бы нам на Нижегородскую ярмарку попасть,—говорил на другой день Яков Назарыч Прохору.

Они шли по городу, в лавку. Жарко, солнечно. Яков Назарыч обливался потом, был под зонтиком и обмахивался платком.

— Я товар давно отправил, еще по весне. С собой только чернобурых захватим, да полярочка одна есть, как снег, что и за лиса! Ей-богу, право!

Лавка, в каменных новых рядах, большая, в три раствора. Хозяин лавку очень запустил, все по ярмаркам ездил да по селам, ведь у него во многих селеньях лавки. А здесь надо бы произвести учет. Прохор предложил свои услуги. Яков Назарыч рад. Уходили вдвоем с раннего утра и пропадали до вечера, обед им приносила горничная в сопровождении Нины. Иногда Нина подолгу оставалась в лавке, както даже стала с Прохором перебирать ленты, но у них дело не клеилось, путали сорта, цены, болтали. Яков Назарыч сметил и сказал, подняв на лоб круглые очки:

— Иди-ка ты, коза, с своей помощью домой. Не помощь это, а немощь.

— Папочка,—проговорила Нина и встряхнула шкуркой соболя,—ты знаешь, что в древней Руси шкура называлась—скора?

— Сама-то ты «скора».

— Нет, верно. Отсюда—скорняк. Я же читала. Или вот перчатки, они назывались перстаты, от слова—перст.

Яков Назарыч все приглядывался к Прохору. Вот золотой человек, неужто Нинка оплошает?

В лавке четыре велосипеда.

— Выбери-ка себе самый лучший,—сказал Яков Назарыч,—и владей! За труды, дескать.

Прохор подарком был очень растроган, поблагодарил и в тот же вечер своротил себе нос, но дня через два кой-как привык держаться на колесах.

Приближалось время отъезда. Домна Ивановна вся в заботе: надо же на дорогу наготовить припасов.

— Как жаль, Ниночка, что вы не велосипедистка, — сказал Прохор прохладным вечером.

— С чего вы взяли? Только с вами ездить стыдно: вы опять дьякона сшибете.

Однако они покатили за город. Ровная, убитая дорога несла их легко. Широкий цветистый луг.

— Давайте собирать цветы, — сказала Нина и, нарвав букет незабудок, протянула Прохору: — Вот вам... Не забывайте.

В этот миг там, далече, черкес подал Анфисе последнее письмо.

— Ниночка! — воскликнул Прохор. — И как вам не грех так думать? Вас забыть?

... — Спасибо, Ибрагимушка, — прочла письмо Анфиса; губы ее кривились. — Спасибо и Прохору твоему... Прохору Петровичу.

Прохор поцеловал букет и прижал его к сердцу.

— Вот если б... Только боюсь сказать, — проговорил он, сдерживая улыбку.

— К чему говорить? Я же и так понимаю вас, — засмеялась, загрозила пальчиком Нина. Прохор поймал ее руку.

— Нина... Ниночка!..

...И письмо из рук Анфисы упало. Широко раскрытые глаза ее глядели в пол.

— Ты чего? — спросил черкес.

— Так, Ибрагимушка... Зачем же ты одного-то его бросил?

— Прошка жениться хочет. Невеста выбирать поплыл.

— Невесту?.. — И ничего не сказала больше.

... — Нина! — начал Прохор, смущенно потупив глаза и перебирая поля шляпы. — Ах, если б вы только... если бы...

— Ужасно ненавижу эти «ахи». Вы хотите сказать, что любите меня? Да?

...*«А на вашу притворную любовь я плюю»*. Прохор ли это пишет? Анфиса дробно-дробно затопала, как в плясе, ударила кулаками в стол и замотала головой.

...У Прохора гудела радостью душа. Золото заката ослепляюще растеклось в его глазах. Нина сидела рядом, на лугу, пахучая, как цветы после дождя и соблазнительно улыбалась. Прохор грубо схватил ее в охапку, опрокинул на спину и поцеловал в губы.

— Негодный мальчишка! Как вы смели?! — Вся взбешенная, она вскочила. — Нахал! — Выбежала с велосипедом на дорогу и быстро поехала домой.

Ошеломленный, Прохор едва залез на своего «дукса». Он, чуть не плача, ругал себя идиотом, подлецом, выписывал по дороге ужасные крендели, пред самым городом двинул какую-то старуху в зад и брякнулся с велосипеда.

6

— Здравствуй, Красная шапочка, — сказала Анфиса горестным голосом. — Поговорить с тобой пришла.

После первого давнишнего свидания с Анфисой Шапошников так обработал себя, что и не узнать:

вместо дикой бородищи — аккуратная бородка, длинные, но реденькие волосы подрублены в скобку, по-кержацки, умыт, опрятен, даже под ногтями чисто. Очень обрадовался он Анфисе и, несмотря на жару, накинул новый каламянковый пиджак. Лысина его торжественно сияла.

— Вот письмо, прочти, поразмысли, грамотей.

Он надел пенсне, сел и задрал вверх ноздри. Анфиса нервно дышала, наблюдая за его лицом. По углам стояли волк, и зайцы, и зверушки.

— Н-да!.. — протянул он, перекинул ногу на ногу и заюлил носком начищенного сапога. Он вспомнил про свой письменный донос Прохору, ему стало обидно за себя и стыдно.

Анфиса вопросительно подняла брови.

— В порядке вещей, — неискренне сказал он.

— Как это в порядке?! Какой же это порядок?

— Н-да-а... — загадочно вновь протянул Шапошников.

— Господь с ним! — махнула она рукой и опустила голову.

Он потрогал свой нос и искоса поглядел на высокую, под голубой кофточкой, грудь Анфисы. Ему хотелось и помучить Анфису, окатить ее холодным словом, и сказать ей самое заветное. Но почему он так всегда теряется перед этой простой женщиной? Неужели власть красоты так сильна, так обаятельна? Он провел ладонью по большой лысине своей и, вздохнув, проговорил:

— А как вы смотрите на жизнь? — и тут же выругал себя за глупый вопрос свой.

Не раздумывая, ответила:

— Да очень просто, Шапкин. Ни жемчугов, ни парчей мне не надо. А вот посидеть бы с милым на ветке, как птицы сидят, да попеть бы песен... И так — всю жизнь. И ничего мне, Шапочка, мил-дружок, не надо больше. Так бы и сидеть все рядком, пока голова не закрутится. А тут упасть оземь и... смерть.

Шапошников чуть прищурил глаза и придвинул свой стул к ней вплотную.

— Это романтика, наивная фантазия, мечта,— сказал он.

Анфиса резко отодвинула свой стул.

— А я и другая, ежели хочешь. — И она загадочно, как-то пугающе заулыбалась. — Во мне и другой человек сидит, Шапочка. Ух, тот шершавый такой! Тот человек с ножом.

— С ножом? — нервно замычал Шапошников.

— Денег ему давай, сладкого вина ему давай, золота! Жадный очень, зверь. Иной раз он чрез мои глаза глядит... Боюсь. — Анфиса шептала сквозь стиснутые зубы и зябко передергивала плечами.

Шапошников взглянул на нее, вздрогнул, съежился: глаза ее были мертвы, пусты.

— Анфиса Петровна!

— Боюсь, боюсь... — еще тише прошептала она, откачнувшись вбок и как бы отстраняясь от кого-то руками. И вдруг, вскочив, топнула: — Эх, жизнь копейка!.. Шапочка, давай вина!

Шапошников тоже вскочил:

— Анфиса Петровна!

— Давай вина! Нету? Прощай!

— Постойте, дорогая моя! Минутку... —Он схватил ее за руки и дружески участливо спросил: — Так в чем же дело?

У Анфисы слезы полились.

— Дело не во многом, Шапочка. Дело в сердце моем бабьем... Эх! Ну, прощай, дружок... Вижу, ничего ты мне не присоветуешь. Тут не умом надо... Эх!.. Уж как-нибудь одна. Прощай!

Анфиса на голову выше Шапошникова, и когда обняла его, он уткнулся лицом ей в грудь. Ей приятно было ощущать, как этот премудрый книжный человек дрожит и трепещет весь. Выбивая зубами дробь и заикаясь, он сказал:

— Вы... вы мне, Анфиса, присоветуйте... Вот скоро кончится срок ссылки, а чувствую — не уйти мне... Анфиса... Анфиса Петровна... Не уйти.

— Да, верно... Не уйти, — сказала она. — Ты уж по пазуху влип в нашу тину. Женишься ты на толстой

бабище, а то и на двух зараз. Сопьешься, да где-нибудь под забором и умрешь...

— Нет, не то, Нет, нет! Мне стыдно показаться смешным... но я...

— Вижу жизнь твою насквозь, Шапочка... Так и будет.

— И откуда у вас вещий такой тон?

— Господи, да я же ведьма!

Комнату мало-помалу заволакивали сумерки. Волк, и зайцы, и зверушки слились, утонули в сером. Шапошников чиркнул спичку и зажег самодельную свечу. Когда оглянулся — Анфисы не было. Был Шапошников — удивленный, оробевший чуть, были волк, и зайцы, и зверушки. Еще на столе, в бумажке, деньги — тридцать три рубля. В записке сказано:

«Возьми себе, помоги товарищам на бедность. Деньги эти черные».

Петр Данилыч объявил черкесу:

— Ты останешься у нас. Прохор уехал надолго.

Ибрагиму без дела не сидится: стал с Варварой на продажу конфеты делать — хозяину барыш, — а над воротами укрепил неизменную вывеску:

СТОЙ! ЦРУЛНАЪ ЫБРАГЫМЪ ОГЪЛЫ

Но хозяин как-то по пьяному делу сшиб ее колом: «Весь дом обезобразил!.. Тоже, нашел где...» Тогда Ибрагим прибил вывеску на вытяжной трубе отхожего места: видать хорошо, а не достанешь.

Хозяин часто ездил по заимкам к богатым мужикам попить медового забористого пива, поволочиться за девицами, за бабами; однажды здорово его отдубасил за свою жену зверолов мужик. Петр Данилыч лежал целую неделю, мужик пришел навестить его и гнусаво извинялся:

— Ежели бы знать, что ты, неужели стал бы этак лупцовать... А то — темень... Да пропади она пропа-

дом и Матрена-то моя, думаешь — жаль для такого человека?

Заглядывал к Анфисе, но та все дальше, все упрямее отстранялась от него. Это его бесило. Грозил выгнать Анфису вон из дома. Ну что ж, пусть гонит, неужели свет клином сошелся? Анфиса при нем же начинала укладывать в сундуки добро. Куда же это она собирается? К нему. К кому это — к нему? А вот он узнает, к кому уйдет Анфиса. Тогда он принимался упрекать ее, потом всячески ругать, она молчала — он выходил из себя и набрасывался с кулаками, она спокойно говорила: «Иди домой, не поминай потаскуху Анфису лихом. Прощай!» Он с плачем валился ей в ноги: «Прости, оставайся, владей всем». И, придя домой, бил жену свою смертным боем. Марья Кирилловна из синяков не выходила, денно и нощно думала: «Вот женится Прохор, сдам все дело с рук, уйду в монастырь».

Петр Данилыч о хозяйстве не заботился, а хозяйство плохо-плохо, но приумножалось: хлопоты Марьи Кирилловны неусыпны, Илья Сохатых тоже усердно помогал, хотя и небескорыстно: пообещалась хозяйка женить его на Анфисе Петровне.

— Когда же, Анфисочка, осмелюсь настоятельно, без юридических отговорок, вас спросить? — приставал к красавице Илья. — Ведь надо ж в конце всего прочего и в гегиену с медициной верить... Просто измучился я весь от ваших пышностей в отсутствии женитьбы.

— Скоро, Илюшенька!.. Скоро женю тебя... Да многих женю, дружок...

— Ах оставьте ваш характер!.. Это смешки одни с вашей стороны... И вследствие наружного пыла вы толкаете меня к гибели. — Илья ерошил рыжие свои кудри; с его тонких губ вместе с витиеватыми словами летела слюна. — Вы вскружили всем головы, даже один человек, — я молился на него, вот какой курьезный человек, — и тот из-за вашей красоты весь остригся и стал, как едиот... Ага, смеетесь?! А каково это видеть мне, вашему, позволю себе уронить, нареченному, а?!

Отец Ипат отчаянно сморщился, зажал толстые щеки картами, сизый большой нос выставил вперед, уголками припухших глаз зорко и со страхом следил за правой рукой Петра Данилыча.

— Рр-раз! — хлестко щелкнул тот по самому кончику поповского носа десятком туго сжатых карт. — Два!

Отец Ипат бодал головой и хрюкал:

— Полегче!.. Зело борзо.

— Три! А ведь я, батя, со старухой-то своей разводиться хочу... Четыре!

— Не одобряю. Ой!!

— Пять!..

— Ну, слава богу, всё... Сдавай, — сказал отец Ипат, утирая градом катившиеся слезы.

— Поздно.

— Ишь злодей, игемон, эфиоп. А реванш? Не желаешь?

— Поздно. Пойду.

— Куда это, к ней? К Меликтрисе Кирбитьевне? Зело зазорно. Право, ну.

— Батя, помоги... Тыщу.

— Больно ты дешев! А молодица хороша, сливки с малиной!.. Право, ну... Зело пригожа. — Он сдал карты, вздохнул, перекрестился:

— Ох, господи!

Петр Данилыч нарочно поддался. Отец Ипат тузил его сизый нос с остервенением, точно мужик конокрада.

— Ну, дак как, ваше преподобие? — сказал Петр Данилыч и сморкнулся в платок кровью.

— Нет, нет, меня, брат, не подкупишь... Дешево даешь! Право, ну. Дело кляузное, прямо скажу, грязное... Хотя в консистории у меня связишки кой-какие есть.

От священника — час был поздний — Петр Данилыч направился к Анфисе. Но завернул домой, чтоб взять коробку конфет и новые модные туфли, купленные в городе, по его поручению, приставом.

Пристав же в это время, сказавшись толстой, сварливой жене своей, что идет навести ревизию полити-

ческим ссыльным, направился к отцу Ипату. Тот собрался спать, сидел пред маленьким зеркалом в одном белье и растирал вазелином вспухший нос.

Анфиса тоже сидела у себя пред зеркалом, кушала шоколадки и красовалась, примеряя соломенную шляпу с лентами.

— Это кто ж тебе шляпу? И конфеты! Эге, точь-в-точь, как у меня. Пристав? — поздоровавшись, спросил Петр Данилыч.

— Да, пристав.

Петр Данилыч сел и забарабанил в стол пальцами.

...— А я вас, отец Ипат, осмелился побеспокоить по важному делу, — сказал пристав, здороваясь со священником, и прокрутил молодецкие усы. — Дело у меня сердечное...

— Да я фельдшер, что ли? Валерьянки у меня, Федор Степаныч, нету. Хе-хе-хе... Извини, что я в подштанниках.

— Я человек военный, — сказал пристав, ласково оглаживая эфес шашки, — и хочу начистоту. Помогите мне развод провести.

— Развод? Какой развод? Кто?! — изумился отец Ипат и уронил банку с вазелином.

— Я. С своей женой.

Отец Ипат выпучил на пристава свои узенькие глазки и застыл.

— Дак, пристав? — спросил мрачно Петр Данилыч.

— Да, да, да, — задакала Анфиса.

Он сорвал с Анфисы шляпу и бросил на пол.

— Это что ж такое?.. Петр Данилыч... Значит, я не вольна себе?

...— Ты?! С своей женой? — наконец протянул отец Ипат.

— Да, да, да, — задакал и пристав, виляя взглядом и выпячивая свою наваченную грудь. —

Представьте, схожу с ума, представьте, Анфиса Петровна — вопрос жизни и смерти для меня...

Отец Ипат вскочил, ударил себя по ляжкам и захохотал:

— Ах вы, оглашенные! Ах вы, куролесы!.. Эпитимию, строжайшую эпитимию на вас на всех! — Нося жирный свой живот, он стал бегать босиком по комнате. — То один, то другой, то третий. Ха-ха-ха! Ну, допустим, разведу вас... Извини, что я в подштанниках... Вас два десятка, а она одна... Ведь вы перестреляетесь... Дураки вы этакие, извини, Федор Степаныч... Право, ну...

— Кто же еще?

— Кто, кто?.. Да скоро из столицы будут приезжать. Вот кто... А вот я гляжу-гляжу, да и сам расстригусь и тоже — к Меликтрисе: полюби!..—Отец Ипат опять ударил себя по широким ляжкам и захохотал.

Потом началась попойка.

...— Я все для тебя сделаю, хозяйкой будешь в доме, — говорил размякший Петр Данилыч. — Поп обещался развод в консистории обмозговать. А нет, — доведу жену до того, что в монастырь уйдет.

Пили они наливку из облепихи-ягоды. Жарко! У Анфисы кофточка расстегнута. Петр Данилыч блаженно жмурится, как кот, целует Анфису в лен густых волос, в обнаженное плечо. Но Анфиса холодна, и сердце ее неприступно.

— Я бы всем отдала на посмотрение красоту свою. Пусть всяк любуется. Меня нешто убывает от этого. А душа рада. Вот приласкаю какого-нибудь последнего горемыку, что заживо в петлю лез, — глядишь, и ожил. Значит, и греха в этом нету. Был бы грех, душу червяк тогда грыз бы. У меня же на душе спокой. Ничьей полюбовницей, Петя, не была я, а твоей и подавно не буду.

— Я женой предлагаю... Дурочка!..

— Какая я жена для тебя? Ты крепок, да уж стар. Если женишься, я и тогда красоту свою буду другим раздавать, как царица нищим — золото. Заскучает

черкес твой, приласкаю, сопьется с панталыку сопливый мужик — и его своей красотой покорю...

— Ты пьяная совсем.

— Тот — мой муж, кто всю меня в полон заберет, чтоб ни кровиночки больше не осталось никому, вся чтобы его была. И такой сокол есть. Хоть и навострил крылья в сторону, а чую, на мое гнездо вернется... А не захочет, прикажу!

— Анфиска! Кому ты говоришь это?!

— Тебе, Петенька, тебе...

Он злобно сорвался с места, ударом ноги отбросил табурет, кинулся к Анфисе.

— Бревно я или человек?! Убью!! — Он задыхался, хрипел, был страшен.

Анфиса быстро в сторону, по-холодному засмеялась, погрозила пальцем.

— А кинжальчик-то мой помнишь, Петя? Моли бога, что тогда остался жив. Спасибо китайскому доктору, знатный яд, чуть ткну — и не вздохнешь. Вот он, кинжальчик-то. — И в ее вертучей руке заиграл-заблестел кривой клинок.

...Пристав вылез от священника — хоть выжми и, пошатываясь, долго тыкался в темной улице. Под ним колыхалось и подскакивало сто дорог, а чертовы ноги перепрыгивали с одной на другую. Крайняя дорога вдруг вздыбилась верстой и хлестнула его в лоб. Лбу стало холодно и больно.

— А, голубчик!.. Вот где ты валяешься?! — прозвучал над ним голос.

«Это супруга», — подумал пристав.

...А к отцу Ипату вошел Ибрагим. Он держал под мышкой зарезанного гуся и крестился на широкий с образами кивот, где теплилась большая лампада. Отец Ипат сидя спал, уткнувшись лбом в столешницу.

— Кха! — кашлянул черкес. Отец Ипат почмокал губами, захрапел. Черкес кашлянул погромче. Храп. Черкес крикнул:

— Эй! — и топнул.

Отец Ипат приподнял охмелевшую голову, открыл рот. Ибрагим усердно закрестился опять и сказал, протягивая гуся:

— Вот, батька, отец поп, на. Макаться хочу, вера хочу крестить... Варвара хочу свадьбу править.

— Развод?! — подпрыгнул вместе с креслом поп и вновь сел. — Развод?! К черту, к дьяволу!.. Не хочу развод...

— Мой вода мырять, вера святой... Крести дэлай. Мухаметан я... Мусульман.

Отец Ипат схватил за шею гуся и, крутя им, гнал черкеса вон:

— Ступай, ступай! Какие по ночам разводы. Соблазн. Архиерею донесу...

— Ишак, батька, больше ничего! — кричал черкес, спускаясь с высокой лестницы.

Пьяный отец Ипат по-собачьи обнюхал гуся, сказал:

— Зело борзо, — бросил его в угол и рядом с ним улегся спать.

Крутым серпом стоял в высоком небе месяц. Он был виден отовсюду. Прохор с Ниной тоже любовались им, врезаясь в горы Урала. Гремучие колеса скороговоркой тараторят в ночной тиши; медная глотка по-озорному перекликается с горами. Поезд в беге виснет, как лунатик, над мрачными обрывами, по карнизу скал, вот-вот сорвется. Нине жутко — ушла в вагон.

Прохор взглянул на месяц: «А что-то там, у нас, в Медведеве?»

В Медведеве в этот самый миг хлестала пристава по щекам жена, Шапошникову снилась красавица Анфиса.

7

Размолвка между Ниной и Прохором уладилась лишь на Урале. Прохор осунулся, был мрачен. Яков Назарыч терял в догадках голову, выпытывал Нину, та молчала.

«Да, да», — рассуждал сам с собой Яков Назарыч и в Екатеринбурге так с горя набуфетился, что в вагон самостоятельно идти не мог — втащили на руках.

— Ну вот, Прохор, глядите, глядите скорей — столб: Азия — Европа, — возбужденно заговорила Нина. — Мы теперь в Европе, поэтому азиатчину долой, будьте европейцем. Ну, мировая! Целуйте руку!

— Ниночка! — вскричал Прохор. — Как я рад!

Они стояли на площадке. Вагоны тараторили: «Так и надо, так и надо, так и надо».

— Я ж тогда пошутил, Ниночка...

— Шутка? — поджала она губы. — А зачем же вы куснули мне шею? Вот. — И она отвернула высокий воротник кофточки. — Что вы, лошадь, что ли? До сих пор горит.

Прохор смеялся, как ребенок. «Гора-гора-гора», — буксовали под уклон колеса.

Наутро проснувшийся Яков Назарыч взглянул на молодежь и сразу сметил.

— Эй, кондуктор! — крикнул он. — Какая станция сейчас?

— Нижний Тагил. Большие заводы тут и вроде как городок.

— Вот молодчина! Получай целковый, выбрасывай в окошко багаж. Эй, ребятишки, вылазь — отдых!

— Как? Что? Зачем? — Нина запротестовала. Прохор рад. Раз завод, то как же не остановиться? Резон.

— Завод мне — тьфу! — сказал, протирая глаза, Яков Назарыч. — Главная же суть в том, — пришла фантазия как следует кутнуть мне с вами. Эх, ребятишки вы мои, ребятишки!..

Остановились в единственной, довольно плохой, гостинице. Отец устроил обед с шампанским, произнес тост, что, мол, до чего это хорошо на свете жить, раз попадаются всякие заводы на пути и распрекрасный Урал-гора, и вот два юных сердца, то есть молодой человек и образованная барышня, — ах, как мило.

Тут Яков Назарыч заплакал, засмеялся, закричал «ура», стал целовать и Нину и Прохора, потом приказал и им поцеловаться, — это ничего, раз при родителях; другое дело — за углом. Потом грузно сел и моментально уснул — как умер.

Была жара и духота, но Прохор с Ниной самоотверженно ходили по окрестностям завода. Яков же Назарыч с утра до ночи ел ботвинью и окрошку со льдом и едва не доелся до холеры.

Прохор под конец стал раздражать Нину своей деловитой суетливостью. Он запасся разрешением администрации на подробный осмотр всех цехов завода и, кажется, многое успел вынюхать за эти дни.

Старший инженер, в седых бакенах, в ермолке на бритой голове, спросил:

— Почему так интересуют вас заводы?

— Я был в вашем музее, — сказал Прохор, смело глядя ему в глаза, — и видел отлитую из меди благодарственную грамоту Петра Великого на имя Демидова, который начал здесь это дело. Думаю, что и я буду удостоен невзадолге такой грамотой. Я — сибиряк, есть капиталишка, правда небольшой. Но это — плевок; я умею делать деньги.

Инженер откачнулся чуть и поправил очки.

— Вы не подумайте, что я фальшивомонетчик, — поспешно успокоил его Прохор, — нет, но я энергичный и имею голову. Я мечтаю возродить у себя промышленность.

Инженер с интересом рассматривал стоявшего перед ним саженного богатыря с сильным, загорелым лицом, — он был бельгиец, любил выражаться коротко и точно, поэтому переспросил:

— Возродить? Значит, там, у вас, промышленность существовала?

— Нет, — сказал Прохор, — не возродить, а как это?.. ну... родить! И я очень хотел бы видеть вас у себя, на Угрюм-реке. Позвольте записать ваше имя-отчество.

— Альберт Петрович Мартенс, — сказал, улыб-

нувшись, инженер. — Но я прошу не сманивать от меня инженеров и вообще людей. До свиданья.

Прохор по-своему оценил последнюю фразу инженера:

— А ведь он испугался меня, Ниночка. Значит, в моей фигуре есть что-то такое, а? Ниночка?

Девушка в конце концов от него отстала: не может же она лазить с ним по вышкам, по доменным печам, она предпочитает ознакомиться с бытом рабочих и обойдет несколько их домишек. А это открытый рудник? Да. А почему же такая красная земля, глина, что ли? Да, это, в сущности говоря, разрушенный диорит, а глубже — бурый железняк, переходящий в глубоких слоях в магнитный.

— А что значит — диорит?

Ну, она не может же ему читать тут лекций, — он должен учиться сам; если интересуется горным делом, пусть вызубрит геологию, петрографию, да и вообще...

Да, да, Прохор так и сделает. Но до чего образованна эта Нина, даже становится неловко. «Эх, ученая!» — с досадой подумал он и внутренне поморщился. И вновь колыхнулся пред ним образ Анфисы, такой понятный, простой, влекущий, колыхнулся и сразу исчез в грохоте кипящей заводской суеты.

Прохор осматривал печи Сименса, старинный деревянный гидравлический молот, прокатные машины, турбины, сначала пробовал все зарисовать, но убедился, что это не под силу ему. Однако книжечки его пестрели заметками, кроками, эскизами, или вдруг такая густо подчеркнутая фраза: *«В первую голову это ввести у себя»*. Он записал фамилии нескольких мастеров и рабочих: он скоро пригласит их на службу к себе. Сколько они здесь получают? Пустяки, он будет платить значительно дороже, кормить хорошо, их жилища будут теплы и светлы. Ну, что ж, они с удовольствием, хоть на край света, — здесь не жизнь, а каторга. «А когда же, господин барин?» — «Скоро».

Он подбирал рабочих по фигуре и по голосу: крупных и басистых, среди них — знаменитый фигурой и неимоверным басом кузнец Ферапонт, «Пискачей»

не любил, не доверял им: эта черта сохранилась в нем на всю жизнь.

На другой же день по заводу разнеслась молва, что с Угрюм-реки приехал богатый заводчик, фабрикант, сквозь землю видит, в двух Америках обучался, набирает народ и за деньгами не стоит. А при нем — вроде как жена, ну эта чисто ангел — ходит по хибаркам, утешает, к Марухе Колченоговой сейчас же доктора привезла, кому ситцем, кому хлебом. Этакая, говорит, грязь у вас, вы же люди-человеки, надо, мол, по-божьи жить, а вы пьянствуете и бьете жен; Ивану Плетневу на всю семью обувь притащила, все заплакали, она тоже пролила слезу. Ангел!..

Вечером у гостиницы толпа рабочих, с паспортами: пусть барин, пожалуйста, запишет. Даже инженер приехал. Он приказал рабочим немедленно разойтись и быстро вбежал по лестнице. Плотный, среднего роста, лет тридцати двух, однако черные, короткие и густые волосы его чуть серебрились сединой. Лицом смугл, приятен, чисто выбрит, черные монгольские глаза и широкий лоб. С военной выправкой, щелкнув каблуками, поцеловал руку Нины:

— Инженер Протасов! — Он чуть грассировал, и голос его был теплый, тенористый.

Он пришел с ними познакомиться из практических соображений. Он молод, сведущ, энергичен и желал бы попасть на новое крупное дело, а здесь, где всё на колесах и все сто лет тому назад предрешено, ему не место: для творчества нет размаха, мысль спит, голова ушла в бумажки, в циркуляры, в хлам.

— Мы, Андрей Андреевич, люди простые, но верные... Кадило раздуем, — подмигивая Прохору, сказал Яков Назарыч. Он благодушно смотрел на затеи Прохора, как на спектакль, и вдруг сам почувствовал себя актером. — А ну-ка, доченька, шампанского!

Просидели до темной ночи. Андрей Андреевич очаровал Нину знанием рабочей жизни, либеральными своими взглядами и вообще умом, даже его грассированье находила она прелестным. Прохор вытащил из чемодана образцы пород со своих владений. Инженер Протасов внимательно рассматривал. Это

медный колчедан, это, кажется, метис-лазурь, чудесно, это янтарь — ого-го! А это золотоносный песок. Из какого количества по объему? Процентное содержание? Прохор не знает. Жаль. Во всяком случае — это богатство. Ага, золотой самородок! Великолепно. У, да у Прохора Петровича масса образцов!..

— Я их исследую, — сказал инженер. — Минералог своим глазам не должен доверять. Микроскоп, пробирка, ступа, реактивы. Это — аксиома.

После его ухода и молодежь и Яков Назарыч почувствовали, что под их, в сущности, ничем взаимно не связанную жизнь подплыл твердый, как камень, остров, и этот остров — инженер Протасов, сразу давший им веру в себя, и в него, и в общий успех дела. И вся затея Прохора стала теперь не на шутку близка Якову Назарычу, а через него — и Нине.

— Этот человек дорогого стоит, сразу видать, — сказал Яков Назарыч.

— Не думаю, — протянул Прохор и кивком головы откинул черный со лба вихор. — Зачем голос у него не бас...

— Прелестный, прелестный! — перебила его Нина.

Утром Прохор с Яковом Назарычем отправились в чугуноплавильный завод. Домна изрыгала из своей приплюснутой глотки смрад и пламя. Густое темно-желтое облако дыма висело над заводом. Игрушечный паровозик-«кукушка», весело посвистывая, тащил маленькие вагонетки по узкому рельсовому пути. На площади, возле собора, у памятника Демидову, в грязной луже лежали на боку и похрюкивали свиньи. Прошли двое рабочих в больницу, испитые и чахлые, с обмотанными тряпкой головами. Маленькие домишки за прудом, небо, люди, площадь — все серо, как пыль, однообразно.

Здание, куда они вошли, высокое, со стеклянной крышей. Десятка два рабочих рыли лопатами в земляном полу узенькие желобки. Эти желобки шли от доменной печи, ветвились. По ним потечет расплавленный чугун. Чрез слюдяной глазок Андрей Анд-

реевич заглянул в пламенное брюхо печи, посоветовался с мастером и скомандовал рабочим:

— Фартуки!

Все облеклись в кожаные фартуки и рукавицы, надели большие синие очки.

— Давай!

Удар железными жезлами — и хлынул из домны бело-огненный чугун; он пылал, плевался искрами, растекаясь в желобках. Воздух быстро нагревался. Рабочие бросались к ослепительным потокам, ловко втыкали на пути ручейков железные лопаты, отбегали прочь, а ручейки смертоносно текли по другим канавкам, куда надо. Воздух раскалился. Бороды у рабочих трещали. Пот лил градом. Огненные ручейки, слепя глаза, катились под уклон. Домна гудела, ухала, извергая пламенную массу, рабочие стали скакать козлами, как черти, был ад и раскаленность, еще немного и — всему конец.

Яков Назарыч загнул на голову пальто и бросился вон, крича:

— Прохор, изжаришься, беги!

Вскоре, после поливки чугуна водой из примитивных леек, вышли и Прохор с Протасовым.

— Да, это работа дьявольская! — говорил инженер Протасов. — Но на все привычка. Пойдемте-ка в железоделательное, есть интересные прокатные машины для листового железа. У нас лучшие сорта, применяется древесный уголь. Наше листовое железо может стоять без окраски сто лет и не ржавеет. Пойдемте!

— А ну вас, — отмахнулся Яков Назарыч. — И так чуть глаза не лопнули. Я лучше пивка попью.

Он так в казенных синих очках и ушел домой, пошатываясь и что-то бормоча.

Прохор с инженером вошли в соседний цех. Мелькали огне-золотые ленты раскаленного железа, крутился вал, рабочие ловко подхватывали клещами концы лент и на бегу вставляли их в следующую прокатную машину. А огненные ленты ползут в воздухе и гнутся, десять, двадцать — по всем направлениям, во всех концах. Эй, не плошай, лови, лови! И все кру-

тилось, двигалось, металось, полосовало пространство огнем. Прохор с интересом наблюдал за рабочими: как точно рассчитан их каждый шаг, каждое движенье руки, будто у опытных гимнастов-циркачей.

А вот и склады, вот результат этого изнурительного труда: сотни тысяч пудов разных сортов железа, стали, чугуна. Да как они не продавят землю! У Прохора будет точь-в-точь так же. Нет, — больше, лучше, грандиозней.

— А есть у вас пушка? — спросил он Протасова.

— Пушка? Зачем?

— А так... Для торжества. У меня будет! Я люблю.

Протасов улыбнулся.

Завтра утром путники должны двинуться дальше. Но Прохору необходимо побывать на платиновых приисках, ведь тут же недалеко. И потом он, в сущности, ничего не изучил.

— Ну нет, брат, молодчик, — запротестовал Яков Назарыч. — Этак с тобой на ярмарку-то к рождеству только прикатишь.

Хорошо. Тогда он приедет сюда после ярмарки и проживет месяц-два.

— Мы с вами, Прохор Петрович, со временем в Бельгию поедем, в Аргентину, в Трансвааль, — сказал на прощанье Протасов.

8

Кама не широка, но многоводна, высокие берега в кудрявых увалах: села, перелески, ковры волнистых нив.

— Ах, какая церковка! Прохор, Прохор! — указывала биноклем Нина. — Новгородский стиль. Век пятнадцатый, шестнадцатый.

Прохор сидел возле штурвальной рубки, уткнувшись в записную книжку с рисунками, схемами, заметками. Голова его вспухла от новых впечатлений, и душа была там, на Урале, среди лязга машин.

— Да, да, замечательная церковь... Я люблю, —

на минуту с досадой оторвался он и добавил: — У нас в Сибири лучше.

Яков Назарыч смотрел в газету и, пуская слюни, клевал носом.

— Восемь, девять с половино-о-ой, — доносилось снизу. — Одна вода!

Отрывочный свисток: — довольно мерить — глубоко.

Возле Богородского Кама слилась с Волгой.

— И это называется Волга? — насмешливо сощурившись, присвистнул Прохор.

— Да, Волга, — отозвалась Нина. — А вам не нравится?

— Вы бы поглядели Угрюм-реку.

— Прохор! Разве можно сравнить? Смотрите, какое оживление здесь, это действительно великий путь. Села, города... Вон — элеватор. А что ж на вашей глухой реке?

Когда же стали все чаще и чаще попадаться беляны, баржи, пароходы, катера, Прохор настроился по-иному.

— Вот это любо! — вскрикнул он. — Глядите, один, два, три. А вот там еще дымок. Позвольте-ка бинокль. Ого, какой дядя прется!

— А какие сады, какой воздух! — восторгалась Нина.

— Да, воздух очень приятный, — в мягких туфлях и щегольской панаме неслышно подошел к ним Яков Назарыч. — Эй, человек, парочку пивца! Ну, что, ребятишки, хорошо?

Прохору весело.

— Яков Назарыч, а ведь все это надо и на Угрюм-реке завести.

— А капиталы где? — из-под ладони посмотрел на него купец.

— У отца возьму. Для первости... Да и в земле, в приисках много у меня. Вырою!

Купец непонятно как-то, но ласково захехекал и потрепал Прохора по плечу.

Нина грустила, что так мало в Прохоре поэзии: влюблен, а сидит, словно делец-старик, с своей записной книжкой или заулыбается вдруг, и бог знает где в этот миг душа его. И как будто все уже переговорено, нет общих мыслей, любовь завершена, пропета. Нет, она не хочет такого серого конца, в сущности, еще не начавшейся по-настоящему любви. Так чем же ее прельщает Прохор? И почему бы над всем этим, пока не поздно, ей не поставить точку?

Прохор думал про Нину кратко: уж не такая она красавица, но ему надоела мимолетная любовь с кем попало, без страданий, без сопротивления, любовь однобокая и пресная... Даже Анфиса... Что ж Анфиса?.. Конечно, Анфиса — таких и на свете нет. Но разве можно ему связать себя с нею? Он, Прохор Громов, и — Анфиса! Невыгодно и страшно. Значит, остается Нина. Он груб, силен, он коренастый кедр, а Нина чиста, нежна, как ландыш. Но своевольна и строга. Так что же тянет его к ней? Может быть, капитал ее отца? Не следует ли в таком случае и ему поставить точку? Нет, вся душа дрожит в нем и жаждет Нины. Она в долине, он на горе и неудержимо влечется к ней, как пущенный вниз по откосу камень.

Ночь была прохладная, спокойная и звездная. Какой богатый бог! Столько золотой пыли натряс он из широких рукавов своих на небо. Дорога золотая, Путь Млечный, куда ведешь? И что за твоим кольцом, и есть ли что? Вот Нина устремила ввысь глаза и ищет ангелов на твоих златых путях. Но глаза ее смертны, видят вершок, не боле, — и вдаль и вглубь. Несчастные глаза, несчастный человек! Глаза ее в слезах, а мысль в восторге. Да, ангелы есть! Вот они, вот они в мыслях, тут, возле нее. И среди них, конечно, — Прохор!

Прохор тоже смотрит на небесный золотой песок, но взор его корыстен, жаден. Ему не надо ангелов. Он, как тать, обокрал бы все ночное небо, все звезды ссыпал бы к себе в карман. А вот самородки, один, другой, вот семь блистающих самородков сразу. Огни

Большой Медведицы... О, богатый бог! Если б хоть одну золотую звезду залучить на землю...

— Большая Медведица и маленький, маленький спутник. Не знаю, видите ли вы? — говорит Нина.

— Ваш спутник — я. — И Прохор, бок в бок прижимаясь к ней, садится на скамейку. Нина чуть отодвигается, но ею овладевают любопытство и робкая истома.

— Нина... — говорит он и берет ее за руку.

С земли наносит ароматом зреющих садов. Синяя ночь вся в брызгах золота, в стуке колес, в бегучих изжелта-белых валах за пароходом. Чу, как вздыхает, как трудится заключенная в сталь мысль человека; она ведет пароход навстречу воде, побеждая стихию. Судно спешит на всех парах, торопится к сроку, стрелка манометра предостерегающе указывает предел, корпус дрожит, и вздрагивает под ногами палуба. Но если б они сидели и на гранитном монолите, все равно — камень колыхался бы под их ногами. Нина гладит его руку и что-то шепчет. Белая в синей ночи, и белые ноги в белых туфлях. Прохор, отстранив губами золотой медальон, поцеловал ей грудь в треугольный вырез, она прижала его голову и поцеловала в висок. И так сидели молча, сдерживая дыхание. Из рубки доносились нелепые звуки вальса, там горели огни. Ах, если б затушить огни и прихлопнуть звуки! Что может быть слаще тишины, синих небес и звезд.

— Ниночка!..

— Ничего не говори, пожалуйста... Молчи...

Еще крепче они прижались друг к дружке. Млечный Путь, весь в самородках, лег под их ногами.

— Папочка! — заглянула Нина утром в каюту отца. — Я желаю выпить с Прохором на брудершафт. Можно?

— Это еще что за новости?.. Портвейн, что ли?

— Нет, папочка, нет! — засмеялась она, но в это время вошел в каюту рыжебородый, с черными глазами мужчина.

— А, Лука Лукич! Ниночка, покличь-ка Прошу. Ну, как дела?

— Все в порядке, Яков Назарыч. Товар дошел благополучно. Лавка открыта. Цены на пушнину крепкие, сделки идут хорошо, да мне, признаться, хочется попридержать товар, на повышение должно пойти. Думаю, при больших барышах закончим.

— Вот, Прохор Петрович, — сказал Яков Назарыч вошедшему в вышитой чесучовой рубахе Прохору. — Это Лука Лукич, мой главный доверенный. Оказывает, значит, мне почет и для уваженья выехал с Нижнего встретить меня как своего патрона. Ты где вскочил-то к нам?

— В Исадах, с лодки.

— Ну, как дела, Лука Лукич? Ну-ка расскажи еще разок. Прохору любопытно. Это Петра Данилыча Громова сынок, большой коммерсант будет.

— Да-с, видать-с, — одобрительно протянул доверенный, окидывая взглядом молодого верзилу, и вновь в подробностях рассказал про коммерческие дела.

— Документы при тебе? — спросил хозяин, степенно и самодовольно оглаживая бороду.

— Фактуры, накладные, счета в конторе, в Нижнем, а вот дубликат главной книги захватил.

— Ну-ка, давай-ка... Да ты садись...

Доверенный продолжал стоять, отираясь клетчатым платком, и стоял, вытянувшись, Прохор. Хозяин долго рассматривал книгу, то вскидывал на лоб, то опуская на нос золотые свои очки.

— Сколько сделано белок?

— Восемьдесят пять тысяч.

— А скобяной товар куплен? Где заприходовано?

— Будьте добры на букву эс... позвольте-с...

Но вот пришла Нина, смуглая, темноволосая, в белом, с васильками на груди.

— Папочка, пойдемте завтракать. Я заказала стерлядь.

— Сейчас, сейчас... Слушай-ка, Прохор... Это какую вы с ней выдумали наливку пить? Нинка, какую?

— Брудершафт, — улыбнулась Нина, показывая блестящий, свежий ряд зубов.

— Не слыхивал. Заграничная, что ли?

— Нет, здешняя, — серьезно сказал Прохор. — Собственного разлива.

— Сейчас, сейчас... Надо телеграммы написать. Ну-ка, Проша, садись, ты попроворней... Пиши, я буду сказывать.

9

Нижний Прохора не поразил — город как город, — но ярмарочная суетня и деловитость захватили его. Нина сбегала в Исторический музей, что в кремлевской башне, в книжные магазины, накупила книг о нижегородской старине и зарылась в них. А Прохор рыскал по ярмарке, заходил в магазины, склады, ко всему приценялся, заносил в книжечку цены, адреса фирм, набрал целый ворох прейскурантов и в конце концов растерялся: что ж ему купить, а купить необходимо для будущей работы в своей тайге, у него двадцать пять тысяч денег, да тысяч на пятьдесят он сдал пушнины Якову Назарычу, он — богач, он должен купить все. Но как жаль, что он ничего не смыслит в технике, что ему не с кем посоветоваться.

Он начал с того, что приобрел себе трость с серебряной ручкой в виде нагой соблазнительно изогнувшейся женщины, а Нине красный зонт с малахитовым наконечником. И уж шел по скверу, беспечно помахивая тросточкой и держал под мышкой зонт, как вдруг подумал: «А ведь Нине-то, пожалуй, тросточка-то того...» Сел на скамейку, отломал срамную завитушку и спрятал в карман, а палку забросил в кусты. Потом раскрыл зонт. «Дрянь, безвкусица! Красный... Что за дурак такой!» И тут же за бесценок сплавил его татарину, впрочем — торгуясь с ним жестоко и спуская по гривеннику.

— Надо что-нибудь солидное.

Он поехал на трамвае в главный корпус, купил себе золотые часы Мозера, Нине кольцо с жемчугом и двумя алмазами, Якову Назарычу желтый китайский халат с райскими птицами. И с покупками направился пешком к себе в гостиницу.

Зной спадал. Был вечерний час. Красные и белые,

на Волге зажигались бакены. На зеленые склоны берега ложился мягкий отблеск заката. Белые стены кремля розовели, и в легкой пелене сизых сумерек, отдаляясь, меркнул ярмарочный шум. Прохор шел бульваром.

— Мужчина, позвольте прикурить, — и к нему, поднявшись со скамьи, подошла высокая блондинка в белом платье и черной широкополой шляпе.

Прохор сдунул пепел и щелкнул каблуком в каблук:

— Честь имею...

Что-то Анфисино было в ней: брови, фигура, волосы, чуть раздвоившийся подбородок, только глаза не те.

— Мужчина, знаете, я вас очень попрошу, — переливным ясным голосом и полузакрыв голубые глаза, улыбчиво проговорила она. — Угостите меня мороженым...

— До свиданья, — приподнял он фуражку и непринужденно, хотя и задерживая шаг, пошел вперед.

— Мужчина, стойте! — зазвенело вдогонку.

К повернувшемуся Прохору быстро несла себя роскошная дама.

— Вы такой великолепный! Я сама угощу вас мороженым. Сама угощу вином. Пойдемте кутить... Милый! — Она энергично подхватила его под руку, и ее лакированные туфли замелькали по песку бульвара.

— Позвольте, позвольте... Я ведь... — слабо сопротивлялся он. Из-под темно-синей поддевки вяло и жалко белела чесучовая рубаха, но глаза загорались.

— Милый, я вас видела... Я вас давно люблю.

— Где вы могли меня видеть? Вздор какой! Позвольте! Я не свободен... Я связан.

— Связан? Ах, как чудесно это! — вильнула она голосом и, заглядывая ему в глаза, тихо захохотала в нос. — Вы — рыцарь мой. И знаете, где я вас видела? Я вас видела во сне. Да, да, да... Милый, великолепный мой, рыцарь мой! — Она стала говорить торопливо, нервно, — да, да, да — ей надо голосом зачаровать его, опутать страстью, он упирается, вот-вот уйдет.

— Вы сибиряк, купец? Я ж знаю! Да, да, да... О милый, милый. — И голос ее звучал точь-в-точь, как у Анфисы.

— Нет, нет, я никак не могу, сударыня... У меня ж невеста, — проговорил он, все более и более распаляясь.

— Да вы, милостивый государь, очевидно, за проститутку принимаете меня? Стыдно, стыдно вам! — возмущенно произнесла она, опустив веки.

— Нет, что вы, сударыня! — подхватил он. — Ничего подобного.

— А знаете, кто я? Я графиня Замойская. Да, да, да... Но ни слова, ни звука; муж ревнив. Я умчу вас в свой замок, впрочем, нет, мой замок в Кракове, и там старый-старый муж... А здесь так... ну, так... моя скромная келия... Милый, он согласен... Да, да, да?

Прохор смутился.

— Но поймите, госпожа графиня, — с отчаянием произнес он, — у меня действительно невеста здесь... Я бы с полным удовольствием... И вот, например, халат... для Якова Назарыча... — Он потряс свертком, покраснел весь: ведь перед ним не тунгуска в тайге, перед ним — графиня, сама графиня Замойская... Вот идиот, дурак!..

— Халат? Якову Назарычу? Как это очаровательно! — потряхивая головой, хохотала она.

Прохор взглянул на ее перламутровые зубы, на ее пунцовый рот.

— Я, госпожа графиня, согласен, — сказал он басом и мужественно кашлянул.

— Шалун, ах, какой шалун! — крутилась, колыхалась, таяла графиня. И сам он крутился, извивался, таял. «А что за беда, — решительно подумал он, — черт с ней!» И про кого это подумалось: «черт с ней», — про графиню ли, про Нину ли, или про Анфису, может, — Прохора не интересовало. «Черт с ней».

Долго, до третьего часу ночи, щелкал на счетах, выхеривал и вносил в книгу Яков Назарыч, и до третьего часу ночи сидела с ним Нина. «Что ж это

с Прохором?» Синим и красным отмечала она в книжках о нижегородской старине, рассматривала план города, ярмарки, и вот — в ее глазах зарябило.

— Папочка, я лягу спать.

— Где же это мыкается Прохор-то наш?

Яков Назарыч потел, кряхтел, пил московский квас — на деле он трезв и строг: ни капли водки. Ах, паршивый оболтус, где же он?

Окна открыты, чуть колыхались занавески, их потряхивал налетавший с Волги ветерок. Было темно на улицах и тихо, только нет-нет да и засвистит городаш, заорет пьяный, а вот гуляки идут с песней, и словно бы — голос Прохора. Яков Назарыч нырнул под занавеску и воткнулся головой во тьму. Гуляки нескладно, как-то слюняво хлюпая горлом, пели в два голоса, а третий только подрявкивал и ухал:

Нас на бабу пр-роменял!..
Над-дну ночь с ней пр-р-равазил-си, сам на у-у-у...

— Это что за безобразие! Напился и проходи! — строго раздалось внизу.

— Мы не будем, господин городовой, папаша!.. Это Мишка все... Мишка, молчи, черт! А то — под шары...

Мишка взревел дурью:

— Сам на у-у-у-у-у...

Резко на всю тьму задребезжала горошинка в свистке, дробный топот гулящих ног враз взорвался и, смолкая, исчез вдали. Яков Назарыч закрыл окно:

— Нет, не он.

От другого окна стрельнула за ширму — в одной рубашке, босая — Нина.

Прохор явился солнечным утром без покупок. Его чуб свисал на хмурый лоб, глаза и губы были обворованы, неспокойны, жалки.

— А, Прошенька... Где, соколик, побывал? — язвительно-ласково запел Яков Назарыч, умываясь. Он послюнил указательный перст, ткнул им в солонку на столе и принялся тереть солью и без того белые зубы.

— А я, можете себе представить, такой неожиданный случай... — начал Прохор подавленно, — встретил вчера товарища по школе...

— Так, так, так... — подмигнул ему Яков Назарыч, наигрывая пальцем на зубах... — Товарища? Хе-хе-хе...

— Ну, зазвал меня к себе, пообедали, поужинали, — вытягивал из себя Прохор и краснел. — А тут дождик пошел. Я и остался ночевать.

— Дождик?! — в два голоса — отец и дочь — спросили и с хохотом и с грустью. — Это у тебя, может, дождь, в нашей губернии не было... Так, так, так...

«Этакий я подлец, этакий негодяй! Зачем я так вру?..» — с брезгливостью подумал Прохор, опускаясь на стул.

Из-за ширмы вышла Нина. Яков Назарыч прополаскивал рот: задрав вверх бороду, захлебывался, булькал, словно утопающий.

— Ниночка! — Прохор подошел к ней, опустил голову. — Доброе утро, Ниночка! — И прошептал: — Я негодяй... Негодяй!..

— Здравствуй, Прохор, — проговорила она, вопросительно подымая на него большие серые глаза. — Кто ж это твой товарищ? Познакомь меня... — и, таясь от отца, прошептала: — В чем дело?

Но Яков Назарыч, кой-как перекрестившись, усаживался за стол. Самовар давно пофыркивал паром. Чай пили молча.

— Иди-ка, Нинка, снеси телеграмму поскорей... Вот, — сказал отец.

Когда она ушла, Прохор сделал беспокойное, озабоченное лицо.

— Яков Назарыч! — Он взглянул на крупный нос старика, отвел глаза, опять взглянул. — У меня украли в трамвае двадцать пять тысяч.

— С чем вас и поздравляю, — громко сморкнулся в платок Яков Назарыч.

— Одолжите мне, пожалуйста, денег.

— Сколько же?

— Да немного... Тысяч пять...

Яков Назарыч вновь высморкался и, размахнувшись, хлестнул платком по севшей на стол осе. Потом достал бумажник и бросил к носу Прохора сторублевку.

— Что это, — насмешка, Яков Назарыч? — раздражаясь, сказал Прохор; брови его сдвинулись. — Наконец у вас мой товар... Я свои прошу...

— Эта песенка долгая, когда еще продадим, — ответил тот и поднялся, круглый, как надутый шар.

— Значит, вы не верите Прохору Громову? — поднялся и Прохор, большой, но обескураженный.

— Прохору Громову мы верим, — спокойно сказал Яков Назарыч, — а Прошке — нет. Тебе следует, сукину сыну, штаны спустить да куда надо всыпать: вот так, вот так, вот этак!.. — Улыбаясь одними красными щеками, — глаза были злые, — он взмахивал правой рукой, крутился. — Вот так, вот так! — летели слюни. Потом схватил шляпу и в одной жилетке выскочил вон, но тотчас же вернулся за пиджаком, надевал его на ходу, злясь и фыркая.

— Вот черт! — выругался Прохор и подошел к трюмо. Изжелта-бледное лицо, ввалившиеся одичалые глаза. Очень болела голова, тошнило, дрожали ноги. Чем же она отравила его, эта высокопоставленная дама, графиня Замойская, пышная блондинка? Ха! Графиня Замойская! Утопить бы ее, стерву, в вонючей луже. «Ниночка, Ниночка, какой грязный и подлый я!» Он лег на диван и ничего не мог выжать из памяти. Кружились и подпрыгивали красные апельсины, электрические лампочки, цветы, он помнит — выпивал, пил, жрал; помнит: плясали, вертелись морды, плечи, бедра, кто-то из всех сил барабанил по клавишам рояля или, быть может, ему по голове, шумело, хрюкало, грохотало! — то смолкнет, то нахлынет, — все покрывалось туманом, и в тумане, в облаке — она, соблазнительная и легкая, как облако: милый, милый! — и вот в облаке плывут куда-то. Комната, кружева, волна волос, одуряющие духи, — милый, милый, пей! — два-три глотка, вздох, молния — и все пропало.

— Да, — подтвердил Прохор, — тут тебе не тайга!

Потом где-то на откосе его разбудил городовой, потом заблаговестили к заутрене, он ощупал карманы: ни часов, ни денег — чисто.

Целый день, до обеда, больной и понурый, он осматривал вместе с Ниной Художественный музей и Преображенский собор в кремле. Нина обстоятельно объясняла ему достойные внимания предметы, молилась возле каждого старинного образа, возле каждой гробницы, а пред могилой великого сына земли русской — Минина опустилась на колени. Прохор рассеянно помахивал рукой, но когда Нина, кланяясь, искоса взглядывала на него, он со всем усердием осенял себя крестом и бил поклон. Ему так стыдно Нины, она же, как назло, мучительно молчит.

Усталые, купили винограду и пошли на Гребешок отдыхать. Заволжье и Заокская сторона, с ярмаркой, селами, церквами седых монастырей, лесами и полями, были как на блюде. Солнечно и недвижимо. Недвижимы Волга и Ока. Но все живет, все движется, течет во времени, рождается и умирает.

— Как хорошо и как грустно!.. — вздохнула она.

— Нина... — решительно начал Прохор, взял ее за руку и все, все пересказал ей. Нина горько улыбнулась. — Ты презираешь меня? — спросил он.

— Ничуть.

— Почему?

— Потому что люблю тебя.

У Прохора задрожали губы; он уже не мог больше говорить. Он глядел на нее, как на чудотворную икону раскаявшийся грешник.

— Я только одного боюсь, одного боюсь, — с силой сказала она, — как бы в тебе это не укрепилось.

— О! — вскричал Прохор и лишь открыл рот, чтоб поклясться, как возле них раздалось: «Боже, вот счастливая встреча!» — и, словно из-под земли, встал перед ними Андрей Андреевич Протасов.

Он — в белом форменном кителе с ученым значком, белой инженерской фуражке и с тугим портфе-

лем. Он приехал сюда дня на три, на четыре по коммерческим делам. Он страшно рад встрече, а как здоровье Якова Назарыча? Были ль они на Сибирской пристани? Нет? Тогда, может быть, прогуляются вместе с ним? Отлично. И на могиле Кулибина не были?

— А кто такой Кулибин? — спросил Прохор.

— О, вам это необходимо знать, — сказал инженер. — Это ж изобретатель, гений-самоучка, и по свойству темной русской гениальности он частенько ломал голову над тем, что всеми Европами не только забраковано, но и давно забыто. Хотя кое-что им изобретено и настоящее, например: яйцеобразные часы; в них и Христос воскресает, и мироносицы являются, и ангелы поют. После этих часов Екатерина Вторая к белым ручкам своим прибрала его... Как же! В Питер выписала, место, награды, пенсии. У правительниц шлейфы всегда длинны, и кто же может с благоговением поддерживать их, кроме придворных лизоблюдов, льстецов и гениев...

— Какой вы злой! — сказала Нина.

— Ничуть! И я Кулибина вовсе не желаю опорочить. Он великолепный арочный мост изобрел, по своему собственному расчету. И я думаю, математической базой для этого расчета было — русское авось. Да!.. И в этих русских самоучках-гениях — вся наша русская несчастная судьба: либо ломиться в открытую дверь, либо тяпать головой об скалу. А поэты и кликуши сейчас же начинают вопить осанну, оды, дифирамбы и гениям и всему русскому народу: великий народ, избранный народ! В глазах же кичливой Европы, конечно, наше мессианство, якобы исключительная гениальность — гиль и чепуха!

От жарких слов инженера Прохор оживал и загорался.

— А видите, Прохор Петрович, дымок?.. Вон, вон... Знаете, что это? Это — Сормовские заводы. Нам необходимо с вами посетить их... Там пароходы делают, землечерпалки и...

— Пароходы?! — воскликнул Прохор. — Обязательно! Да и вообще, Андрей Андреич, мне бы хотелось с вами как следует поговорить...

— Рад.

— Андрей Андреич, — ласково поглядывая в его живые глаза, сказала Нина. — А вы интересуетесь старинными иконами и вообще стариной?

— А как же. Да я ж самый заправский иконограф, икономан, как хотите. У меня, на Урале, целая коллекция: фряжские, строгановские, даже одна иконка Андрея Рублева есть.

— Ах, какой вы счастливый! — вздохнув, сказала Нина.

— А вы женаты? — вдруг спросил Прохор, насупясь.

— Нет.

И два взгляда — Нины и Прохора — встретились. Третий — быстро рассек их:

— И не женюсь.

10

Ярмарка близилась к концу. Яков Назарыч легкомысленно заострил бороду, подстригся, купил серый щегольской костюм, пальто, сиреневый галстук, перчатки, тросточку, словом — весь преобразился, помолодел, даже излишки брюха сумел подтянуть, вобрать в себя. И гулял, как-то извивно выгибаясь, весело посвистывая и крутя в воздухе сверкающей тросточкой.

Прохор — весь в деловой лихорадке — изо всех сил помогал Андрею Андреевичу, а тот помогал ему. Ездили вместе на Сормовские заводы. Прохор решил заказать себе, по совету Протасова, небольшой, в двадцать индикаторных сил, пароходик, две помпы, паровой двигатель, части для небольшой лесопилки. Впрочем, на первоначальное оборудование золотых приисков инженер Протасов составит ему смету, и, вероятно, мало-бедно придется Прохору затратить тысяч тридцать — сорок.

Ни слова не говоря, Яков Назарыч вручил Прохору чек на пятьдесят тысяч и похлопал по плечу: «Валяй!»

Прохор разъезжал на извозчиках: ему надо купить кирки, ломы, мотыги — приценялся в двадцати

местах, — ему надо самые лучшие, но подешевле, купил две палатки, походные кровати, даже брезентовую лодку.

Нина не могла побороть в себе соблазн: Андрей Андреевич такой знаток искусства. Иногда, урывками, вдвоем посещали они церкви, пригородные монастыри, он попутно читал ей лекции по иконописи и русскому зодчеству. Даже собирались съездить в Ярославль. Милый, милый Андрей Андреевич!

Прохор сперва относился к этому совершенно равнодушно, потом стал раздражаться, наконец, побросав лопаты с кирками и мотыгами, старался быть при Нине.

— Если ты, Нина, поедешь с Протасовым в Ярославль, это неприятно будет мне.

— Почему?

— Потому что неприятно. — Брови Прохора дрогнули, и дрогнул голос.

— Нина не из таких, — сказала она двусмысленно и вдруг поцеловала его.

— Ниночка, значит, любишь?!

— А как ты думаешь? Я ведь не графиня Замойская.

Под вечер Прохор возвращался на лошади в номер. Пролетка до того нагружена ящиками, тюками, лопатами, что он задрал ноги чуть ли не на плечи извозчику.

— Пра-авей!..

Навстречу шикарный лихач. В экипаже — шляпа на ухо — Яков Назарыч. Он молодецки подбоченился левой рукой, а правой обнимал красотку, нежно привалившись к ней плечом, как медведь к сосне. «Ах!» Прохор быстро отвернулся. Яков Назарыч выхватил у красотки зонтик и моментально прикрылся им.

— Эге!.. — протянул Прохор. — Графиня Замойская, никак?.. — И хихикнул.

— А ведь, кажись, узнал, дьяволенок, — промямлил Яков Назарыч и, вручая зонт, вновь прильнул к красотке. — Господи Христе, до чего пышны вы.

мадам. Кажись, без корсетов, а ни единого ребрышка прощупать не удается. Клянусь честью!

Номер сибиряков был большой, трехоконный. За перегородкой помещался Прохор. Беседовали втроем: Андрей Андреевич забежал проститься: он завтра — на Урал. В душе Нины что-то двоилось, и сама не знает что: ее думы, как странник на распутье двух дорог. Потянет одну ниточку, потянет другую. Ниточка к сердцу инженера — золотая струнка, певучая и тонкая. Ниточка к сердцу Прохора — канат.

А те двое говорят, говорят. О чем? И к чему эти разговоры, когда при разлуке надо грустно, торжественно молчать?

— Итак, еще раз повторяю, ваш пароход будет готов к весне. В разобранном виде доставите его до Сибирского бассейна, там соберете и — прямо на Угрюм-реку. Ну-с. — Андрей Андреевич взял фуражку и подошел к поднявшейся Нине.

— Нина Яковлевна! Вы столько доставили мне чудесных минут, что... Позвольте поцеловать ваши ручки...

— До свиданья, до свиданья... Мы так все привыкли к вам, Андрей Андреич... Тоскливо будет без вас. Оставайтесь!

Он развел руками, сокрушенно потряс головой, вздохнул.

— Долг... дела, — и быстро повернулся к Прохору. — А с вами мы еще поработаем!

— Значит, решено. Ко мне.

Прохор пошел проводить его, Нина приникла к окну. Пробелел и скрылся во тьме инженер Протасов. Надолго ли? Может — навсегда.

Нина сидела грустная, в глубоком кресле, в полутемном углу. И костюм у нее темный. Серыми, немигающими глазами сосредоточенно всматривалась в будущее, ничего не видела в нем, ничего не могла понять.

Прохор крупно, твердо ходил от стены к стене, покручивая бородку; он то хмурил брови, то улыбался. Он видел будущее ясно, четко. Еще не

заглохли в его ушах речи Протасова, и жажда деятельности напрягалась в нем, как пружина. Только бы для начала побольше денег, и тогда сразу Прохор размахнется на всю округу. Отец вряд ли много даст: сам не дурак пожить. Но, во всяком разе, Прохор Анфису турнет: дудки, Анфиса Петровна, наживай сама! Дудки-с!

— Как долго нет Якова Назарыча. Почему это?..

Нина не ответила. Может быть, не слыхала этого вопроса.

Крепкие Прохора шаги, как молот в наковальню, в молчаливое Нинино раздумье: Андрей и Прохор. Так как же быть? Конечно, Прохор упрям, но он привязчив, из него любовью, лаской Нина может сделать все. Ах, к чему еще мечтать? Недаром же она, помолясь со слезами богу, вынула сегодня утром из-за образа богоматери бумажку: «Прохор».

— Ниночка, — шаги застучали в сердце. — Давай поговорим. Садись на диван. — Прохор обнял ее за талию. Нина осторожно сняла его руку, отодвинулась. — Ниночка, милая! — Он перегнулся и, глядя в пол, сцепил в замок кисти рук. — Ведь это ж не секрет, что я должен жениться на тебе?

— Не знаю, — равнодушно и холодно, как осенний сквознячок, протянула она.

Прохор повернул к ней голову.

— Вот как? Почему же? Ниночка?!

— Ты недостаточно любишь меня. Даже, может быть, совсем не любишь...

— Я?! — Прохор выпрямил спину и уперся ладонями в колени. — Кто, я?

— Да, ты, — полузакрыла она глаза. — И, кроме того... — Она отвернулась в сторону, к посиневшему ночному окну. — И, кроме того... У тебя было много женщин: Таня какая-то, Анфиса и... вот здесь... эта... У меня тоже был один... Может, и не захочешь взять меня... такую...

— Ты врешь?! — Прохор вскочил, брезгливо оскалил зубы и сжал кулаки.

А как же Нинин капитал? И его гордые деловые планы сразу лопнули, как таракан под каблуком.

— Врешь, врешь! — подавленно шипел он, едва сдерживаясь, чтобы не ударить, не оскорбить ее. — Не верю... Врешь...

Нина повернулась к нему и спокойно сказала:

— Ничуть не вру. Иди спать, подумай, помолись и завтра скажешь...

— Помолись?.. Ха-ха!.. Богомолка!

Он топнул и два раза с силой ударил кулак в кулак, нервно выкрикнув: «А! А!» — вытащил платок, угловато взмахнув им, и, с угрожающим стоном, пошел к себе, горбатый, с поднявшимися плечами, несчастный, маленький.

В коридоре пьяные голоса:

— Чаэк!.. Где мой номер?.. Пой, громче! Флаг по-о-днят, ярмар... Эй, Лукич, подхватывай!..

Прохор стоял среди тьмы, уткнувшись лицом в платок. Дрожащие руки Нины обвили его сзади, она с крепким чувством поцеловала его в затылок. Но как ветром смахнуло все: в комнате гремел, заливался на солдатский лад Яков Назарыч:

Флаг поднят, ярмарка от-кры-ы-та!..
Народом площ...

— Эй, Нинка! А Прохор гуляет?.. Здрасте, здрасте...

Флаг по-о-о...

И, держась за печку, что-то бубнил еще Лука Лукич, доверенный.

11

Анфиса стала дородней, краше. Петр Данилыч без ума от нее. Но Анфиса — камень: не тронь, не шевельни, — Петр Данилыч поседел. Покончить с ней, с проклятой, или на себя руку наложить? Пил Петр Данилыч крепко.

Как-то позвали Громовых на заимку кушать пельмени, сам отказался — болен, — Марья Кирилловна уехала одна.

Анфиса погляделась в зеркало, надела цыганские серьги пребольшие, на голову — голубую шаль с длинной бахромой, перекрестилась и пошла.

«Эх, была не была!.. Видно, приковала меня судьба к дорожке темной».

— Здравствуй, Петя, — сказала она, входя.

Петр Данилыч вплотную водку пил.

— Уйди! — закричал он. — Крест на мне, уйди!..

Анфиса села. Петр Данилыч, расслабленно покачиваясь, щурился на нее.

— Ах, вот кто... Ты?! Иди сюда. Здравствуй... А я все чертей вижу. Тебя за черта принял, несмотря, что ведьма ты...

Анфиса помолчала, потом проговорила распевно и укорчиво:

— Ах, Петр, Петр... Ничего ты не бережешь себя, пьешь все.

Она подошла к нему и, жалеючи, поцеловала его в седой висок. Он вдруг заплакал, взахлеб, визгливо, мотая головой.

— А хочешь — одним словечком человека из тебя сделаю?.. Хочешь, Петя?

Петр Данилыч замолк и, отирая слезы, слушал.

А в соседней комнате тайно, скрытно слушал «черт».

— Я скоро умру, Анфиса, — проглатывая слова, сказал Петр. — Через тебя умру.

— Брось, плюнь!.. Належишься еще в могиле-то...

— Нет, умру, умру, сердце чует... — Петр Данилыч выпрямился, вздохнул и стал есть соленый огурец... — Теперь уж и к тебе не тянет меня. Все перегорело внутри. Так, угольки одни... — Глаза его пусты, бездумны, красны от вина, от слез.

Анфиса проскрипела к печке полусапожками и издали, раскачиваясь плечами, сказала:

— А хочешь, женой твоей буду, Петя? А?

Петр воззрился на нее и воззрился на ту комнату, где «черт».

— Путаешь. Петли вяжешь. Знаю, не обманешь. Ты — черт, — вяло сказал он и выпил водки. — Черт ты, черт...

— На, гляди. Черт я? — И Анфиса перекрестилась.

— Ты страшней черта. Ты, пожалуй, научишь меня жену убить?

— Нет! — быстро проскрипела к Петру полусапожками Анфиса. — Я не из таковских, чтоб душу свою в грязи топить. Это ты, Петя, убивец жены своей. Разведись, пусти ее на волю: и тебе и ей легче будет. Ведь ты ж сам в уши мне твердишь: развод, развод. Вот и разведись по-хорошему... Думай поскорей. А крадучись хороводиться с тобой не стану. Так-то, старичок.

«Черт» в соседней комнате крякнул, крикнул, двинул стулом.

А как шла Анфиса поздней ночью к себе домой, встал перед ней черт-черкес, загородил дорогу. Месяц дозорил в небе, сверкнул под месяцем кинжал.

— Это видышь? — И твердый железный ноготь Ибрагима застучал в холодную предостерегающую сталь. — Видышь, говору?! Это тэбэ — развод.

Утром Ибрагима вызвал пристав.

Допрос был краток, но внушителен. При слове «Анфиса» пристав вздохнул и закатил глаза.

— Это такое... это такое существо... И ты, мерзавец... Да я тебе... Эй! Сотский! Арестовать его!..

А два часа спустя, когда непроспавшийся Петр Данилыч узнал об этом, пристав получил от него цидулку — Илья принес. Пьяные буквы скакали вприсядку, строки сгибались в бараний рог, буквы говорили: «Ты что это, черт паршивый. Сейчас же освободить татарина, а нет — я сам приеду за ним на тройке. И сейчас же приходи пьянствовать: коньяк, грибы и все такое. Скажу секрет, черт паршивый. Приходи».

Через два дня вернулась Марья Кирилловна. Вслед за ней нарочный привез из города телеграмму.

«Нина согласна стать моей женой. Родители благословляют. Если ты с мамашей не против — телеграфируй Москва Метрополь номер тридцать семь. Зиму проведу здесь».

И Петр Данилыч и Марья Кирилловна обрадовались, каждый своей радостью. Сам — что Прохор, поженившись, наверное, будет жить не здесь, а в городе и не станет мешать отцу. Сама — что уедет к сыну, поступит к нему хоть в няньки, лишь бы не здесь, лишь бы не о бок с подколодной змеею жить, а нет — так в монастырь...

Седлает Ибрагим своего Казбека, едет в город, за сотни верст, везет ответный стафет в Москву.

Стояла цветистая золотая осень. Тайга задумалась, грустила о прошедшем лете, по хвоям шелестящий шепот шел. Нивы сжаты, грачи на отлете, в избах пахнет нынешним духмяным хлебом. Едет Ибрагим, мечтает, — свободно на душе. И вся дума его — о Прохоре. Хорошо надумал Прошка, что «девку Купрыян» берет, девка ничего, клад девка. А вернется Ибрагим, и сам на кухарке женится. Цх, ловко! Только бы Анфисе укорот дать, только бы хозяйку защитить, ладно жить было бы тогда. Совсем ладно...

Подает чиновнику хозяйскую телеграмму, четко переписанную Ильей Сохатых. Смотрит чиновник — внизу под текстом каракули:

«Прошка приезжайъ дома непорадъку коя ково надоъ убират зместа. Пышет Ибрагым Оглы. Болна нужен».

— Так нельзя, — сказал телеграфист, — хозяин может обидеться...

— Моя не обиделся... Зачем?

— Тогда пиши на отдельной.

Ибрагим целый час потел, сопел, но все-таки переписал и подал.

— Кого это убрать рекомендуется? — спросил чиновник.

— Какое тебе дело?.. — блеснул черкес белками глаз и белыми зубами. Потом спокойно: — Кого, кого?.. Ну, дом надо перестроить, лавку убрать другой места...

Он уехал обратно, радуясь, что, вместе с хозяйским, Прохор получит и его стафет. Однако потешные каракули остались здесь, в паршивом городишке; их смысл не пересек пространства до Москвы. Чиновник — большой любитель всяких «монстров»; у него, например, есть книга, куда вписывали «на память» свои фамилии замечательные люди: исправники, духовенство, учитель Филимонов, казначей, проститутка Хеся из Варшавы и другие. Телеграмму Ибрагима чиновник тоже приобщил как редкий документ. Подшивая, чиновник улыбался беззубым усатым ртом, улыбался беспечально, весело. Не знал чиновник того, что скрыто во времени, не знал — пройдет предел судьбы, и вот эти самые каракули всплывут на белый свет, заговорят, замолкнут и умрут, закончив свой тайный круг предначертанья.

...И сердце Анфисы вдруг заныло. Ну, вот ноет и ноет, как болючий зуб. Не оттого ли ноет сердце, что вступила Анфиса на вихлястую лживую тропу и стоит на этой темной тропе тихая Марья Кирилловна, а сзади слышится мстительный голос Прохора, а с боков совесть укорчивые речи шепчет. Совесть, совесть, люди тебя выдумали или бог, — и замолчишь ли ты когда-нибудь?! А если и вправду существуешь, то зачем ты дана человеку на мученье, и чьим веленьем встаешь ты прежде дел людских: нет ничего, спокой и тишина — и вдруг защемит сердце? Заныло сердце у Анфисы, неотступно ноет и день и ночь.

И, как назло, пришла сутулая Клюка-старуха, покрутила носиком, подморгнула остеклелым белым глазом.

— Слышала, девка? Прохор купецку дочерь высватал, стафет по проволоке прилетел. Свадьба скоро.

— Ну что ж, — спокойно ответила Анфиса. — На то он и жених. — Спокойно Анфиса говорила, а сердце так забилось, что прыгали глаза ее и все в глазах скакало.

Нет, врет Клюка, не может быть! Пошла, заглянула Анфиса в хоромы Громовых, и вот — Марья

Кирилловна сама вынесла ей тот страшный, убойный, гибельный стафет. Заплакала Анфиса, и Марья Кирилловна заплакала, обнялись обе и поцеловались. Поцелуй матери — радость и спасение, поцелуй Анфисиных горячих губ — гроб и ладан. И если б Марья Кирилловна имела дар сверхжизненного чувства, услыхала бы Анфисин сотрясающий душу скрытый стон.

Так вот почему ныло ее глупое бабье сердце, так вот каким обухом оглушила Анфису ее жестокая судьба. «Ну ладно!.. Еще посмотрим, потягаемся!» И прямо — к Шапошникову.

У царского преступника сильно живот болел, — не в меру наелся он хваченной инеем калины, — лежал он животом на горячей печке, и сердце его тоже ныло. Ну, вот ноет и ноет сердце. Что же это — предчувствие, что ли, какое темное или совесть свой голос подает, жуткую судьбу пророчит? Совесть, совесть, и зачем ты... Чушь, враки!

А вот что, надо хорошую порцию касторки проглотить да как следует винишка выпить...

— Здравствуй, Красная моя шапочка, а я к тебе... Слыхал про телеграмму, про стафет? Утешь.

Поглядел он с печки на истомившееся Анфисино лицо, на ее трепетные, опечаленные руки.

— Как же утешить вас, Анфиса Петровна?.. Чтоб утешить, надо сначала ваши нервы укрепить.

Чуть ухмыльнулась Анфиса, посмотрела с жалостной тоской в глаза, в наморщенный многодумный лоб его, проговорила:

— Обнадежь, скажи, что еще не все пропало, что свадьбы не будет... А то... Слышишь, Шапкин? К старику уйду, погублю душу. Уж я решила.

Покарабкался проворно с печки политик; на его лице, в глазах едва переносимая боль — Анфиса возрадовалась душой: ангел божий, а не человек этот самый Шапкин, сostраждет горю ее. Еще больше исказилось лицо политика: ну, прямо невтерпеж.

И, взявшись за скобку двери и весь съежившись, он убитым голосом сказал:

— Не ходите к старику. Зачем вам старик? Царствуйте одна.

— Как царствовать? Чем жить?! Когда сердце пусто...

— Трудом, — подавленно проговорил политик, вобрав под ребра заурчавший свой живот.

— Эх, трудом!.. Я тебе говорила, Шапка, помнишь — вечером? — что зверь во мне. Жадный зверь, проклятый зверь. Ему все подавай как есть. Нет, Красная шапочка, конченый я человек... Шабаш!

— Извините, я сейчас...— И политик стремительно выбежал за дверь.

— А не бывать Прохору женатым! — вдогонку крикнула, топнула Анфиса.

А Петр Данилыч пьет и пьет: червяк в брюхе завелся, этакий большущий червячище с пунцовой мордой: давай вина!

Прохор в Москве в театры, в музеи ходит. И когда, по настоянию Нины, прикладывался он к мощам угодников Христовых в Успенском древнем соборе, вдруг ему Анфиса вспомнилась; ну вот вспомнилась и вспомнилась, неожиданно как-то, вдруг. И весь день стояла перед его глазами, а спать лег, во сне явилась, нахальная. Ничего не сказал Прохор Нине, только его думы немножко вперебой пошли: покачнулась в нем, в Прохоре, любовь к невесте, и захотелось ему отправить дражайшей Анфисе Петровне любовное письмо.

Письмо — письмом, а сердце — сердцем. Потянуло сердце туда, к ней, в темную тайгу. Зачем? — не знает. Может, убить Анфису, может, слиться с ней во едину жизнь, надолго, навсегда.

И недаром, не зря, не «здорово живешь» всколыхнулись его думы: Анфиса дни и ночи думала о нем. Сидела Анфиса на берегу своей судьбы, бросала в океан участи своей алые, кровавые куски обворованного сердца и, круг за кругом, за волной волна,

быстро-быстро — миг, в Москве, по скрытым неузнанным законам мчались ее мысли туда, к нему, к тому берегу московскому — и прямо в его сердце, там, в Москве. Как хлестнет волна в Прохорово сердце — взбаламутится, снова затоскует сердце, и неотступно потянет Прохора туда, в тайгу, к ней, к Анфисе, — зачем? Не знает: — может — убить Анфису, может — слиться с ней навеки, навсегда.

Умудренными глазами замечая все это, Яков Назарыч крепче натягивает вожжи и, подняв кнут, грозит сбившемуся в ходе рысаку.

И, как рысак, проносится быстротечно время — пух, пыль, снеговые комья брызжут из-под копыт зимы, — сторонись, мороз! — с юга белоносые грачи летят...

— Вот, значит, такое дело... Только ты не ори, не вой.

Марья Кирилловна насторожила душу, слух.

— Значит, так... Я кой с кем сговорился в городе — аблакаты такие есть, пьяницы. Меня, значит, накроют, скажем, в номере с женщиной или, скажем, с девкой... Отец Ипат так учил. А там развод, вину на себя принимаю, тебе вольная. За кого желаешь, за того и выходи. Можешь за Илюху, мадам Сохатых будешь.

Марья Кирилловна сплюнула, потом сказала:

— Делай что хочешь, раз спился, раз образ божий потерял. Никаких мужьев мне не надо, к сыну я уйду.

Через неделю — кувыркаются по снегу обезглавленные куры, визжит свинья. И сотня за сотней варятся званые пельмени — созвал Петр Данилыч всю сельскую знать, вплоть до Илюхи. А зачем созвал, об этом ни гугу, должно быть, на какую-то тайную затею. И, конечно, Анфиса Петровна за столом. Все здесь, всех приютил гостеприимный купецкий кров. Марьи Кирилловны не видно: овдовела при живом супруге, в своей комнате сидит, никого видеть не желает. Да и здоровье ее надорвалось не на шутку: сильнейшие перебои сердца начались.

Поздно вечером, когда изрядно все навеселе, торжественно, шумно встал Петр Данилыч — и все гости встали: поднял Петр Данилыч вина бокал:

— А званые пельмени эти вот по какому случаю, дорогие гостеньки. Как мы, в видах неприятности, с своей женой, Марьей Кирилловной, будучи намерены развестись честь по чести... И как в наших помыслах довольно укрепившись красоточка одна... — купец взглянул на Анфису, та стояла бледная, смотрела унылыми глазами через гостей в окно.

Гости кашлянули, смущенно засопели, чей-то стул сам собой упал, у пристава заныла селезенка, в глазах — круги, Илья Сохатых вытаращил поросячьи очи, сел, опять вскочил.

Купец обвел всех счастливым помолодевшим взглядом и вдруг наморщил брови, топнул на Илюху: «Вон!» Показалось ему, что Илюха — черт, у Илюхи рога торчат, Илюха чертячьим хвостом по столу колотит. «Вон!!»

Нырнул Илья Сохатых за плотную спину пристава — от спины той дым валил, испарина.

Сказал хозяин:

— Итак, подводя общие итоги, объявляю...

Анфиса тихо перебила:

— Нет.

Спина пристава погасла, дым исчез, селезенка успокоилась, Илья Сохатых вынырнул и проржал-прохихикал жеребенком. У купца открылся рот, бокал выскользнул из ослабевших пальцев, звякнул в пол, и звякнули по-озорному шпоры пристава.

— Нет, нет, нет, — сказала Анфиса раздельно и так же тихо.

— Зело борзо, — поперхнулся батюшка, отец Ипат.

— Что-о? — грозно на Анфису взглянул купец: из ноздрей, из глаз — огонь.

И взвилась Анфиса голосом:

— Нет, Петруша! Нет! Нет! Нет!.. — упала Анфиса в кресло, ударилась локтями в стол, затряслась вся, застонала.

В это время, под ясным месяцем, по голубой месячной дороге мчался на трех тройках с бубенцами шумный поезд: на двух задних тройках — сундуки, добро, на передней тройке — Прохор, Нина, Яков Назарыч Куприянов.

12

Прошла неделя, наступил воскресный день. Сегодня совсем весна. Солнце, играючи, сцепилось с зимой в последней схватке. Зима побеждена, холодные льет слезы: везде капель. Капают капельки по сосулькам с крыши в снег, в звонкие лужи у ворот. Из лужи в лужу, из ручья в ручей перебулькивают капельки — то всхлипнут, то проворкуют — и весело, весело кругом: весна!

Весело Прохору, весело Нине Куприяновой, гуляют, слушают капель, радостно смеются: в молодой крови — солнце и весна.

А за ними — и неизвестно где, всюду, — следом за ними Анфиса невидимкой бродит.

Сердце Нины Куприяновой любовью переполнено донельзя: радость льется через край, и хочется Нине побыть с этой радостью наедине.

Был вечер. Нина вышла из ворот, направилась на пригорок. Сквозь сизые сумерки белели ее шапочка и воротник шубы. Стала на пригорке, возле церкви, и только закинула к бледным звездам голову, только волю разнеженным мечтам дала, как выросла возле нее тунгуска.

— Беги, девушка, беги... — сказала тунгуска страстным предостерегающим шепотом.

Нина взглянула на нее. Вся в мехах, в бусах, в бисере тунгуска стояла в двух шагах от нее; лицо тунгуски было прекрасно.

— Беги, девушка, беги... Не люби, брось, уезжай!.. Он другую любит.

И почувствовала Нина Куприянова, как белая рука касается ее руки, и кровь хлынула прочь от головы ее, в глазах все помутилось.

— Кто ты? — бледное, растерянное сказала Нина слово.

— Я Синильга...

Взглянула Нина на тунгуску робким взглядом, и показалось ей: плывет, уплывает тунгуска по сумеречному воздуху в сизый страшный сумрак.

Нина быстро пошла домой. Навстречу Ибрагим:

— Куда одын ходышь? А Прошка где?

А Прохор в это время от Шапошникова выходил: нес Нине в подарок чучело маленькой зверушки — белки. И только из проулка — стала Анфиса перед ним, — вся в тунгусских мехах, в висюльках, в бисере. Она положила ему обе руки на плечо, улыбнулась в самые его глаза.

Прохор передернул плечами, взял влево — она вправо. Прохор вправо — она влево, — и снова вместе, глаза в глаза.

— Уйди, пожалуйста уйди, — сказал он тихо, вяло, невыразительно; он чувствовал, как Анфиса завладевает им; и, чтоб положить предел, резко крикнул с болью и надрывом:

— Прочь, Анфиса!.. Что тебе надо от меня?

И в говорящий его рот Анфиса с маху впилась губами. Прохор рванулся, отбросил ее в сизый, в весенних запахах, сугроб и побежал саженным бегом. И кричала Анфиса вслед:

— Все равно не дам тебе жить на свете! Сама решусь и тебя не пощажу!..

Она не подымалась с сугроба, вся тряслась. Мертвая белка темнела на снегу, распушила хвост, припала ухом к сугробу, будто слушала, выпытывала тайное, и поза ее с подогнутыми к груди передними лапками была трогательна. Прохор принес домой только деревяшку.

Шли сговоры, надвигалось обрученье. Старуха Клюка принесла Прохору письмо, сказала ему:

— Эх, парень! Извел ты красоту мою, Анфису. Хоть бы женился да уезжал скорей...

Анфиса писала:

«Сокол, сокол!.. Что же это? Неужто любовушки

моей конец пришел? Вспомните, Прохор Петрович, ту ночку нашу. Как филин гукал и как черкесец меня на своем борзом коне примчал. Прохор Петрович, сокол, неужто все забыл? Неужто променяешь Анфисину любовь на купецкую дочку какую-то? Чем она взяла тебя? Неужели богатством? Да разве в деньгах радость, вы подумайте только, Прохор Петрович, ангел мой. Разве городскую тебе надобно любовь в бантиках, в кудерышках, ученую? Эх, не таков ты, сокол! Не подрежь себе крылья резвые, не спокайся. А я-то, я-то полюбила бы тебя, свет белый закачался бы в очах твоих, кровью изошла бы от любви! Сокол, сокол, Прохор Петрович млад, вспомни обо мне. Все плачу, плачу, день и ночь... И злость смолой кипит в груди моей. Пожалей».

Прохор Петрович написал ответ:

«Анфиса Петровна. Вы, как нарочно, пристаете ко мне. Ведь у нас скоро обрученье. Вы умна, и сердце у вас не злое. Так поймите же, что теперь уже поздно возвращаться к тому, чего не вернешь никак. Да вы притворяетесь, вы не любите меня: я не получил от вас ни одного ответного письма, как жил в тайге. Вы не меня любите, а чары свои любите: вот, мол, сверну ему голову, насмеюсь над ним и брошу. Анфиса Петровна, серьезно вас прошу — не шутите со мной. Уезжайте».

Расписался, откинулся в кресле, закурил. И вот что-то другое. Подумалось... Стало думаться... Сначала вспотычку, упираясь — будто пальцем по канифоли вел, потом заскользили, заскользили мысли, и впереверт, и в чехарду — враз закружилась голова, холодным потом лоб покрылся. Схватил перо, огляделся во все стороны — тишина — добавил:

«Анфиса! Ты ведьма, ведьма... Я никак не могу забыть тебя, Анфиса! Что ж ты делаешь со мной? Неужели все к черту? Анфиса? Я и женатый буду любить тебя... Я помню ночь ту и помню тебя нагую... Анфиса! Уезжай...»

— Можно?

Прохор проворно спрятал письмо в карман. Нина была в белом пеньюаре, с распущенными волосами.

В комнате дробился свет: луна обдавала девушку голубым потоком, лампа бросала желтые лучи. Нина стояла перед Прохором тихо, прямо, словно привиденье.

— Я сейчас от Петра Данилыча, — сказала она. — А ты почему взволнован так? Что с тобой?

— Да сердце чего-то... Черт его знает...

— Петр Данилыч мне одну вещичку подарил... Вот, в футляре...

— Покажи.

— Нет, не приказано... До свадьбы.

Отчужденные, холодные глаза Прохора понемногу теплели, но все-таки взгляд блуждал, менялся.

— Ты кому писал? Покажи.

— Покажи подарок, — сказал Прохор; кровь молоточком ударила в виски.

— Не могу.

— И я не могу.

Нина вздохнула, сказала «до свидания» — и пошла. Прохор подал ей шубу, проводил до ее квартиры. Возвращаясь, задержался у дома Анфисы. Шторы спущены, в зазоры — свет. Не зайти ли? На одну минуту? Нет, не надо.

Он дома разорвал свое письмо к ней.

И еще была весенняя ночь. В воздухе теплынь, опять везде неумолчная капель стояла: цокали, звенькали, перебулькивались капельки. В эту темную теплую ночь на крышах коты кричали, в тайге леший насвистывал весеннюю и ухал филин.

Нина одна, и Марья Кирилловна одна: старики на мельницу собрались — кутнуть, должно быть, взяли припасов и на тройке марш.

Царский преступник Шапошников один, и Анфиса Петровна одна. Скучно. Ибрагим один, и Варвара-стряпка одна. Илья Сохатых куда-то скрылся.

Ну как же можно в такую ночь томиться в одиночестве? Темно. Даже месяц и звезды куда-то разбежались: пусто в небе, тихо в воздухе, лишь неумолчная капель звенит.

Марья Кирилловна еще не ложилась. Она готовит Нине в подарок третью дюжину платков — строчку делает. Лампа в зеленом абажуре, под лампой серый кот клубком. Скрип шагов.

— Извиняюсь, Марья Кирилловна, — подошел к ней на цыпочках Илья Сохатых. — Ради бога, пардон... Осмелился, так сказать... Как это выразиться...

— Что надо?

— Позволю себе присесть, нарушая ваше скучающее одиночество, — сел он в кресло. — Ужасная капель, Марья Кирилловна, во дворе. Все бочки преисполнены замечательной водой. Ах, какая вода, Марья Кирилловна!

Та смотрела на него круглыми, добрыми, ничего не понимающими глазами.

— Ты почему это вырядился? Даже ботинки лакированные.

Он вдруг откинул чуб и выпучил глаза.

— Марья Кирилловна!! — крикнул он так громко, что кот вскочил. — Марья Кирилловна! Я в вас влюблен до чрезвычайной невозможности... Ради бога, не гоните меня, ради бога, выслушайте... Иначе, в случае отказа, недолго мне и удавиться... Мирси.

— Что ты, что ты? — смутилась, испугалась хозяйка.

— Маша!.. — Приказчик бросился пред нею на колени и облепил ее всю поцелуями, как пластырем.

— Дурак, осел!.. — нервно хохотала хозяйка. — Пьяная морда, черт!.. Убирайся вон!..

...— Что же мне с тобой делать-то, Красная ты моя шапочка, — грудным печальным голосом проговорила Анфиса. — Хочешь еще чайку?

— Что хотите, то и делайте со мной, Анфиса Петровна. Хотите, убейте меня... Мне все равно теперь.

Шапошников был уныл, угрюм. Говорил глухим, загробным голосом, заикался. Он за эти дни внешне опустился, постарел, одик. Под глазами от частой

выпивки — мешки. И костюм его был старый, рваный, стоптанный.

Жалость в глазах Анфисы, и рука ее тянется к графинчику.

— Пей, Шапкин, не тужи... Эх, Шапкин, Шапкин! И ты ни капельки не лучше прочих, и тебя тело мое потянуло... Ага!.. Руками замахал! Скажешь — нет? Скажешь — душа? Вы, кобели, вот к какой душе претесь... — Она порывисто подхватила чрез голубую кофточку ладонями, как чашами, упругие груди свои и встряхнула их. — Вот ваша душа!.. Все, все, все... Даже отец Ипат.

Она часто, взахлеб, дышала, глаза ее блестели не то смехом, не то презрением и болью.

— Эх, черти вы!.. — выразительно проговорила она и выпила наливки.

У Шапошникова засвербило в носу; он вытащил из кармана какую-то портянку, быстро спрятал, вытащил тряпочку почище, высморкался и сказал:

— Я за других не отвечаю. Я отвечаю за себя. Все естество мое: нервы, мозг и каждый атом тела — в вашей власти. В вас, Анфиса Петровна, необычайно гармонично сочетались ум, красота и высокие душевные качества. Только не каждый это может заметить...

— Черт с ангелом во мне сочетались... Вот кто...

— Не знаю, не знаю... — тихо сказал он. — Не знаю, не знаю, — сказал он громче. — Это все равно... А я люблю вас! — крикнул он.

И крикнула стряпка купецкая Варварушка, когда к ней, к сонной, полез с нежностями Ибрагим.

— Тьфу ты пропасть! — промямлила она. — Напугал до чего... Тьфу!.. И когда ты, окаянный, в ердани-то креститься будешь, черт немаканый, прости ты меня бог?..

Под большим-большим секретом Нина все-таки показала серьги Прохору:

— Гляди, это удивительно... Как раз под стать моей брошке.

— Да, действительно, — сказал Прохор, сравнивая бриллиантовые серьги — подарок Петра Данилыча — и бриллиантовую, в платиновой оправе, принадлежащую Нине брошь.

Куприяновы снимали просторную избу. Пол устлан цветистыми дорожками, стены чисто выбелены, под расписным потолком качался сделанный каким-то захожим бродягой белый, из дранок, голубь.

Прохор запер на крючок дверь и обнял Нину. Девушка обхватила его шею. Целуя невесту, Прохор говорил:

— Можешь ты быть моей женой?.. Вот сейчас, сию минуту?

— Что ты! — оттолкнула его Нина. — Как, до свадьбы?

— Да, сейчас.

— Ради бога, Прохор... К чему ты оскорбляешь меня?!

— Странно.

— Что ж тут странного?

— Да так... Какие-то вы все, городские барышни, монашки, недотроги.

Он стал ходить взад-вперед по комнате. Нина следила за его походкой.

— А вдруг я разлюблю тебя? — спросил он. — Женюсь, а потом возьму да и разлюблю...

— Знаешь что? — сказала Нина. — Почему ты мне не показал того письма?.. Кому писал? Ей? Анфисе? И почему ты не познакомишь меня с этой женщиной? Почему?

— Зачем тебе?

— Хочу.

Прохор расстегнул и вновь застегнул кавказский пояс на своей поддевке и задумчиво сказал:

— Потом... Когда-нибудь... При случае.

— А я сейчас хочу.

— Сейчас? Она спит давно.

...Но Анфиса не спала. Взволнованная, обворожительная, с распущенными косами, она стояла перед охмелевшим Шапошниковым, говорила:

— Эх ты, дурачок мой пьяненький... Ложись-ка спать...

— Анфиса, Анфиса Петровна, — сложив на груди руки, трясся Шапошников; по щекам, по бороде его текли слезы. — Я знаю, что вы не можете полюбить меня. Тогда убейте меня... Умоляю!.. Отравите, зарежьте!

Он повалился на сундук вниз лицом и завыл жалобно и жутко каким-то тонким, щенячьим воем:

— Собакой!.. Да, да... Собакой буду... ползать у ваших... ваших ног...

Анфисе тоже хотелось плакать. Она глубоко вздохнула, глаза ее в большой тоске; нежно, бережно погладила согнутую спину Шапошникова, сказала: «Ничего не выйдет, брось». Затем проворно раздела, разула его. Тот не сопротивлялся. Подвела к своей кровати, положила на кровать под чистые простыни, под одеяло.

— Боже мой, боже мой, — шептал Шапошников, — что же это такое творится? Сон, явь?

Все в нем дрожало, мускулы лица подергивались, широкий шишковатый лоб вспотел, борода тряслась. Анфиса сняла с божницы маленький нательный, на шнурке, образок.

— Вот богородица, всех скорбящих радостей, — сказала она. — Веришь ли в нее, Шапочка?

— Нет, не верю...

— Крестись, целуй. Она защитит тебя. И вся скорбь твоя, как воск от огня, растопится. — Анфиса надела икону на волосатую грудь его, сказала: — Весь ты в шерсти, как медведь... Ну, ничего, господь с тобой!.. Спи, соколик.

Перекрестила и ушла, прикрутив лампу.

Голубая ее спальня осиротела вдруг. Мигал-подмигивал красный огонек в лампадке. Шапошников почувствовал себя счастливым ребенком. Все существо его погрузилось в ласкающее тепло и тихий свет. А там — за дверью, в соседней комнате, голубая, светоносная, будто родная его мать. И живые, неведомые

нити соединяют его с нею. Родная мать что-то говорит, баюкает его. И так хорошо, так тихо стало на душе: огонек мелькает, перебулькиваются капельки в ночи.

Он улыбнулся, закрыл глаза и потерял сознание.

13

Яков Назарыч, отослав Нину к Громовым, говорил Прохору:

— Вот, сынок, мой будущий зятюшка... Такие-то дела. Значит, за Нинкой даю тебе двести тысяч... Это в банке, в Москве. Чуешь?

— Маловато... Я думал — больше...

— Тьфу! — И Яков Назарыч, притворившись обиженным, забегал по комнате мелкой, катящейся походкой. На нем неизменный чесучовый пиджак и валенки. — Мало тебе? Черт!..

— По делу — мало... По планам моим.

— Прииск еще... «Надежный» называется... мало?!

— Прииск, ежели к рукам, вещь хорошая.

— Приданое еще — плошки, ложки, серебришко, золотишко, в двадцать пять тысяч не уложишь... Мало, дьявол?

Яков Назарыч подбежал, схватил сидевшего Прохора за ворот и тряс, крича:

— Мало? Нет, говори, мало?! Задушу, черт окаянный!

Прохор захохотал и сказал:

— Полагаю, что довольно... И впрямь — задушите...

Яков Назарыч тоже захохотал, поцеловал Прохора в пробор и, хлопнув по плечу, сказал:

— Ну, теперь убирайся вон... Проваливай, проваливай!.. Сейчас спать лягу... Да Нину гони скорей. Она у вас, наверно...

Прохор, унося в себе большую радость и раскачивая плечами, как Анфиса, направился к выходу.

— А свадьбу в Крайске справим... То есть такой пир на всю поднебесную задам, — чертям тошно! —

крикнул Яков Назарыч в широкую уплывающую спину.

Желтый, в черной раме вечер. Желтой, холодной полосой заря стояла, и чернела обнаженная земля. Прохор не шел, а плыл по-над землей, и крылья его — из золотых надежд.

Целый час Яков Назарыч ждал Нину. Что за скверная девчонка: ушла и провалилась. В раздраженье он стал умываться, умылся и — нет полотенца на гвозде. Искал, искал — нет! Надо у Нинки пошарить. Он вытащил чемодан дочери и сердито опрокинул его на пол: забренчали, посыпались флакончики, ножницы, пуговки, наперсток. А это что? Яков Назарыч нагнулся и поднял незнакомый шагреневый футляр.

— Ах! — и вбежавшая девушка кинулась к отцу. — Папочка, не смей, не смей, оставь!!

Мокролицый Яков Назарыч невежливо отстранил дочь, открыл футляр и, подслеповато прищурившись, поднес его к своим глазам.

— Откуда?

— Петр Данилыч подарил... — Она, улыбаясь, следила за лицом отца.

— Сними лампу... Сними лампу! — изменившись в лице, крикнул он. — Свети!

Серьги заиграли огнями, заиграли, задергались мускулы его лица — рот перекосился, дрогнул.

— Или я ослеп... — он сделал паузу, передохнул, — или... с ума схожу.

— А что, папочка, а что? — испугалась Нина. — Уж не фальшивые ли?

Отец пыхтел. Скрытый гнев разрывал грудь. И что-то белое и красное промелькнуло перед ним. Он стиснул зубы. Мокрое его лицо сразу обсохло. Он положил футляр в карман, волнуясь, сказал:

— Нет, ничего... Так... — накинул шубу и вышел.

Нина стояла как вкопанная. Она опустила голову, опустила руки, и ее платье в пышных сборках испуганно вытянулось, обвисло. Какое-то давящее предчувствие легло под ее ногами.

В этот желтый, в черной раме вечер Анфиса Петровна, притаившись у плетня, под высокой, голой осокорью, караулила Прохора. Вот и вечер почернел, ночь надвинулась, скатным бисером расшито небо, а Прохора все нет. Ишь как засиделся у крали у своей! Эх! Все равно! Анфиса чует, что никуда не упорхнуть из ее, Анфисиных, сетей орленку. Анфисино сердце знает, что ежели все будет окончено — вот уж в церковь повели, венцы надели, — вот тут-то и случится штучка, так, штучка-невеличка — крикнет Анфиса на всю церковь: «Прошенька, сокол милый!» — и упадут венцы.

Нет, на этот раз обмануло Анфису ее обманное, любящее сердце, прокараулила Анфиса Прохора; Прохор порвал колдовскую невидимую цепь, вот он стоит пред отцом и говорит:

— Слава богу, слава богу!.. Наконец-то. А я все думал, как бы мой будущий тесть не нажег меня. А теперь, отец, я тебе задам вопросик, уж не гневайся.

— Что за вопросик за такой? — внешне рассеянно, но настороженно спросил Петр Данилыч.

— Сколько ты, отец, имеешь капиталу?

Пред отцом в желтых волнах проплывает образ Анфисы. Говорит отец:

— А тебе какое дело?

Сын смотрит на отца пристально, сердито. Говорит сын:

— Как так? Я работал два с лишним года. Я приобрел тысяч семьдесят серебром. Где деньги?

Желтые волны розовеют, извиваются, Анфиса плывет, заглядывает в лицо отца, ждет ответа. Отец кричит:

— Ты молод еще от отца отчета требовать!.. Сукин ты сын!..

Прохор быстро нагибается над столом, за которым сидит отец, жарко дышит в лоб отца и резко стучит в стол ладонью.

— Деньги!.. Деньги мои где?!

Отец вскакивает, розовые волны в прах, Анфиса исчезает, и, вместо нее — Яков Назарыч. Он бледен и весь трясется.

— Петр Данилыч, нам надо объясниться, — говорит он и кивает Прохору на дверь.

Прохор, поводя широкими плечами, взъерошенно и гордо уходит. Петр Данилыч стоит. Яков Назарыч говорит ему:

— Садись. — И плотно прикрывает дверь. Потом и сам садится возле Петра Данилыча, шумно сморкаясь в клетчатый платок; глаза его красны, растерянны. Петр Данилыч ждет. Яков Назарыч вынимает футляр, вынимает серьги, встряхивает их, спрашивает спокойно:

— Откуда взял эти серьги?

Петр несколько секунд смотрит в глаза Якова Назарыча и говорит:

— Купил.

— Врешь,— спокойно отвечает Яков Назарыч, но клетчатый платок в его руках дрожит. — Врешь! — приподымает он голос, приподымает брови и сам приподымается.

Петр Данилыч видит, как гость кособоко, с трудом отдирая ноги, пошел в угол, а в углу — мерещится ему — Анфиса, темная, слившаяся с синими обоями, глаза ее горят. Петр видит: Яков Назарыч повернул обратно, Петр слышит:

— Это серьги моей покойной матери. Да, да...

Петр чувствует, как волосы на его собственных висках зашевелились.

— Да, да, — повторяет Яков Назарыч, он ловит ртом воздух, говорить ему трудно, он хватается рукой за грудь. — Значит, убил моего отца и мою мать твой батька, дед Данило. Выходит так. У меня и раньше такое подозренье было...

Анфиса качнулась и мгновенно подплыла к Петру.

Петр Данилыч поднялся, крикнул:

— Ты говори, да не заговаривайся!..

— Ах, скажите пожалуйста!.. — подбоченился, с ехидством оскалил рот Яков Назарыч.

— За такие слова бьют в морду!

— Тьфу! — И лицо Якова Назарыча побагровело. — Тьфу!

Длинный письменный стол сам собой тяжело поехал; набекренились, поехали стулья, кресла; затрещал, изогнулся потолок.

— Вот мы куда с доченькой попали: в разбойничье гнездо!

Петр Данилыч стучит кулаком в стол, Петр Данилыч в бешенстве, но вот ноги его ослабели, он повалился в кресло, и кто-то заткнул ему рот тряпкой. И все кружится, ползет, зеркала срываются со стен и пляшут. Призрак Анфисы исчезает.

Шумно вбегает Прохор. И — сразу всё на своих местах: стол, стулья, стены, зеркала. Прохор смотрит на отца, на Якова Назарыча. Отец навалился боком на ручку кресла, сжал ладонями голову, глаза закрыты. Яков Назарыч весь в каком-то вывихе: руки изломились, одна вверх, другая вниз; ноги согнулись в коленях, пятка правой ноги гулко стучит в пол, с губ, вместе с криком, летит злобная слюна, в глазах ярость. Прохор впервые увидал: на правом валеном сапоге богача на пятке — кожаная заплата.

Прохор оторопело подступил к Якову Назарычу:

— Что случилось?

— Разбойничье отродье!.. Прочь!! — завизжал, заплевался, набросился на него с кулаками Яков Назарыч и быстро не по-стариковски вышел, волоча за рукав шубу.

Стоя возле оголенной осокори, Анфиса Петровна слышала, как близко-близко прошлепали чьи-то заполошные шаги, как пробурчал темный, в зазубринах голос:

— Ах, разбойники!.. Ах, душегубы!

Анфиса не узнала голоса, Анфиса глубоко вздохнула, провела глубоким взглядом по бисеру ночных небес и медленной, задумчивой походкой отправилась домой.

А взбешенный Яков Назарыч, ввалившись в избу, набросился на плачущую дочь.

— Был с тобой изъян или нет? Говори!..

— Какой, папочка, изъян?

— Какой, какой... Черт тебя дери...

14

И все как-то взбаламутилось, смешалось, соскочило с зарубки, сбилось. Всю эту ночь, весь следующий день шел неуемный дождь. Всю ночь до рассвета и днем плакала, ломала руки Нина.

Прохор с утра удалился в тайгу без ружья и шел неведомо куда, ошалелый. Ничего не думалось, и такое чувство: будто нет у него тела и нет души, но кто-то идет в тайге чужой и непонятный, а он, Прохор, наблюдает его со стороны. И ему жалко этого чужого, что шагает под дождем, без дум, неведомо куда, ошалелый, мертвый.

Петр Данилыч опять стал пьянствовать вплотную. Да, верно. Так и есть. Эти серьги он взял из укладки своего отца, покойного Данилы. Много кой-чего в той древней укладке, обитой позеленевшей медью, с вытравленными, под мороз, узорами.

Что ж, неужели Куприянов, именитый купец, погубит их, Громовых?

— А я отопрусь, — бормочет Петр Данилыч. — На-ка, выкуси!.. Поди-ка, докажи!.. Купил — вот где взял.

Марья Кирилловна про серьги, про вчерашний гвалт ничего не знает: в гостях была. Под проливным дождем, раскрыв старинный брезентовый зонт, она идет в избу к Куприяновым. Анфиса распахнула окно:

— Вы разве ничего не слыхали, Марья Кирилловна?

— Нет. А что?

— Вернитесь домой. Спросите своего благоверного.

«Змея! Потаскуха!» Но с трудом оторвала Марья Кирилловна взгляд свой от прекрасного лица Анфисы: белое-белое, розовое-розовое, и большие глаза, милые и кроткие, и волосы на прямой пробор: «Сатана! Ведьма!»

Ничего не ответила Марья Кирилловна, пошла своей дорогой и ни с чем вернулась: «Почивают, не велено пущать».

— Что это такое, Петр? — с кислой, обиженной гримасой подошла она к мужу, стуча мокрым зонтом. — Что же это, а?

Петр Данилыч хрипло пел, утирая слезы:

Голова ль ты моя удалая,
Долго ль будуноси-и-ть я тебя...

Перед самой ночью весь в грязи, мокрый, с потухшими глазами вернулся из лесу Прохор. Штаны и куртка у плеча разорваны. В волосах, на картузе хвойные иглы. Он остановился у чужих теперь ворот, подумал, несмело постучал. Взлаяла собака во дворе. И голос работника:

— Что надо? Прохор Петров, ты, что ли? Не велено пущать.

Глаза Прохора сверкнули, но сразу погасли, как искра на дожде. Он сказал:

— Ради бога, отопри. Мне только узнать.

И не его голос был, просительный и тонкий. С треском окно открылось. Никого не видел в окне Прохор, только слышал отравленный злостью хриплый крик:

— Убирайся к черту! Иначе картечью трахну.

Окно захлопнулось. Слышал Прохор — визжит и плачет Нина. Закачалась душа его. Чтоб не упасть, он привалился плечом к верее. И в щель ворот, перед самым его носом, конверт:

— Прохор Петров, — шепчет сквозь щель работник. — На, передать велела...

Темно. Должно быть, домой идет Прохор, ноги месят грязь, и одна за другой вспыхивают-гаснут спички: *«Прохор, милый мой...»* Нет, не прочесть, темно.

— Что, Прошенька, женился? — назойливо шепчет в уши Анфисин голос. — Взял чистенькую, ангелочка невинного? Откачнулся от ведьмы?

Прохор ускоряет шаг, переходит на ту сторону. Анфиса по пятам идет, Анфисин голос в уши:

— Ну, да ничего... Ведьма тебя все равно возьмет... Ведь любишь?

— Анфиса... Зачем же в такую минуту? В такую...

— А-а, Прошенька... А-а, дружок. Не вырветесь... Ни ты, ни батька... У меня штучка такая есть...

— Анфиса... Анфиса Петровна!

И взгляды их встретились. Анфисин — злой, надменный, и Прохора — приниженный. Шли возле изгороди, рядом. А напротив — мокрый огонек мелькал.

И так соблазнительно дышал ее полуоткрытый рот, ровные зубы блестели белизной, разжигающе пожмыхивали по грязи ее упругие, вязкие шаги. Прохор остановился, глаза к глазам. Их взор разделяла лишь зыбкая завеса мрака.

— Чего ж ты, Анфиса, хочешь?

— Тебя хочу. — Она задышала быстро, страстно; она боролась с собой, она приказывала сердцу, приказывала рукам своим, но сердце туго колотило в тугую грудь, и руки было вознеслись лебедями к шее Прохора, но вдруг опустились, мертвые, остывшие.

— Брось, брось ее!.. Я все знаю, Прошенька... Хорош подарочек невесте подарили?..

— А дальше? — прошептал Прохор. — Если не брошу? Если женюсь, положим?

— Не дам, ягодка моя, не дам! Говорю — штучка такая у меня есть... Штучка...

— А дальше?.. — Прохора била лихорадка, в ушах звон стоял.

Анфиса тихо засмеялась в нос:

— Плакали ваши денежки. Каторга вам будет... — И с холодным хохотом быстро убежала.

Голубое письмо карандашом:

«Прохор, милый мой. Голубчик! Как только исправится дорога, мы уедем. Старик непреклонен, хочет дело подымать, хочет заявить в вашем городе. А я этому не верю, хотя на сережках действительно имя моей бабушки. Старик глазаст, рассмотрел. Как это все ужасно! Но при чем тут ты, я, наше счастье? Вообще... Милый, не падай духом! Это испытание, посланное богом. Не забывай меня! Я верую, что все

наладится. Если не теперь, то после. Всю ночь буду молиться о тебе, о всех нас. *Твоя Н.*

P. S. В тайгу не уезжай. Жди телеграммы. Упрошу, укланяю. Надеюсь на влияние матери. *Н.*»

Читали двое. В сущности, читал один Прохор, а другой — мешал читать: похихикивал, что-то бормотал, взмахивал дымной пеленой меж желтым светом лампы и голубым письмом.

В голове Прохора ширились лесные шумы, позванивали, журча, таежные ручьи, ныло сердце.

К кому ж идти? Мать спит. К отцу не пойдет он. Прохор разделся, сорвал взмокшее под дождем белье и, голый, лег. Дрожал. Накрылся шубой. Дрожь стала донимать еще сильней. Голова тяжелела. Сознание падало не то в сон, не то в бред...

— Ну? Чего ты?

— Ибрагим, это ты?

— Я. Ну?

Гололобый черкес, в красной рубахе, в подштанниках, босиком, дымил трубкой, сидел возле него на стуле. Чернели густые брови, чернела борода его. Черкес прищурился, о чем-то думал, глядел Прохору в мозг, в душу. Желтая лампа подбоченилась, надвинула зеленую шапку на глаза и тоже смотрела Прохору в душу, тоже думала, приготовилась слушать, о чем заговорят люди.

— Что ж мне делать? — горячим, но тихим, утомленным голосом спросил Прохор и закашлялся. — Ты, пожалуй, единственный... Пожалуй, самый верный. Да, Ибрагим... Все кончено... Нина уезжает.

— Кончено, Прошка... Цх!.. Жалко, Прошка... Девку жалко!.. Тебя жалко!..

Лампа слушала. Люди молчали. Лампа слушала, лампа понимала, о чем они молчат. Прохор всхлипнул и замигал.

— Зачем тайгам ходил? Мокрый... Хворать будэшь...

Черкес низко опустил голову. Весенняя муха сорвалась с потолка, села на голый желтый череп черкеса.

— Укусит, — сказал Прохор. Дыхание его было горячее, прерывистое.

— Завтра баню, редькам тереть, парить.

— Да, — сказал Прохор. — Прикрути лампу: больно глазам.

Огонек запрыгал, лампа заломила шапку и пустилась в неподвижный пляс, прищелкивая желтым языком.

Темно. Жарко. Скрипнул стул. Легла на голову прохладная рука.

— Ну, ладно, Прошка. Твоя молода, я свое время отгулял. Не горуй... Спи!..

Все переплелось, заострилось, стало четырехугольным и — кресты, кресты. Мелькали желтые, в траурных, черных рамах окна, и сидела в углу лысая заря, сияющая, немая. И угловатые люди подымали Прохора, усаживали его, давали пить. Вот фельдшер Нил Минаич; он без ног, без туловища — угловатая голова, как жерди руки, а рот — прямая щель. Вот отец Ипат: «Зело борзо», — говорит он и благословляет. Его наперсный крест из огня, и ряса дымится. «Жар, — говорит фельдшер. — Зело борзо...»

— Мама, — пробует свой голос Прохор. — Почему ты смеешься? А где Ниночка?

Нина плакала. И слезы ее — как тупые стрелы.

— Ну ладно, — сказал Прохор, — мне больше ничего не надо.

А потом его разобрали на части, голову отвинтили и спрятали в стеклянный шкаф.

Когда все смолкло, Прохор встал, подошел к зеркалу и потянулся. «Дураки»,— подумал он. Из зеркала ему улыбался здоровый смуглый парень. Прохор узнал его. Прохору стало легко и радостно. Он накинул на плечи венгерку, взял подушку, спички и, крадучись, пошел было к ней, к милой, ласковой, но дверь его спальни заперта. «Караулят, дураки». Прохор подошел к окну, выбросил спички — она поймала спички, выбросил подушку — она поймала

подушку, выбросился сам. Она притянула его к своей груди, поцеловала.

— Я хвораю, — сказал он.

Голубая ее спальня. Желтая заря в углу, тихая, лысая, мертвая. Огонек же у Спасителя живой. Кивнул ему красный огонек. Спаситель на него очи перевел, задумался. Прохору лень перекреститься. Прохор лениво сказал:

— Здравствуй, господи!

— Здравствуй, сокол, — сказала она.

И оба опустились на пуховую кровать, под мягкое голубое одеяло.

— Я спать хочу, — сказал Прохор. — Я спать хочу. Конечно же, я люблю тебя больше жизни.

И горячими, сладкими губами она усыпляет его, такая милая, родная. Заря покатилась по полу с плескучим блеском, села у него в ногах, на голубое одеяло, закрыла его белым облаком, стала сказывать не то сказку, не то быль.

15

— Что же, вы все сошли с ума? — говорила Анфиса Шапошникову.— Петр до чертиков допился, все переломал в доме, в амбар Ибрагим запер его... Становой писульки пишет, сегодня опять прийти сулил. Илюха тоже повеситься грозит. Да что вы, ошалели, что ли?

Шапошников, наклонив голову, смотрел поверх очков в упор на Анфису, на губы ее, на подбородок, на щеки с двумя улыбчивыми ямочками; он слушал ее голос, но ничего не понимал.

— Слышишь? Почему молчишь? Шапка!

— Я думаю... — печально ответил он и почесал под бородкой. Встал, прошелся, смешной, низкорослый. Кисти его шерстяного пояса висели жалко. — Я думаю о вас и о себе. Моя и ваша дорога разные. И люди мы с вами — разные. Трагическая вы какая-то, Анфиса Петровна, то есть как вам сказать проще? Ну... не знаю как... Не могу сосредоточить мысли. То

есть за вами бродит некая мрачная тень, рок, что ли... Вот я и думаю... Плохо кончите вы, пожалуй...

— Говори, говори, Красная шапочка, говори...— Анфиса равнодушно щелкала орехи, а возле губ и возле носа недавние складочки легли.

— Надо бежать, Анфиса Петровна... Да... То есть мне... Надо бежать. Куда? Не знаю. К черту! Я уж, кажется, говорил вам на эту тему. Надо мне от себя бежать...— Последние слова он произнес расслабленно и безнадежно и закрыл глаза, как сонный.

Густые темные занавески в Анфисиной светлой комнате спущены. Белые, штукатурные стены загрустили; они о чем-то догадываются, чего-то ждут. И зеркало в точеных колонках на туалете наклонилось вперед с тревогой. В зеркале отражаются встревоженные, нетвердые ноги гостя, и носки стоптанных сапог вопрошающе закурносились. Свет лампы через голубой абажур — полусонный и таинственный, как на кладбище луна.

— Плохо, — падает голос гостя в тишину. — И так плохо, и этак плохо. Кого ж вы любите, Анфиса Петровна, сильно, по-настоящему, не по капризу, а по...

— Прохора.

— Так, так. И что ж из этого выйдет? Конечно, в вас этих чертовых чар много, но, надо думать, не захотите же вы губить девушку?

— А разве я знаю, чего хочу? Смешной ты, Шапкин. Может, завтра тебя захочу. Может, навсегда твоей буду.

— Нет, Анфиса Петровна. Вы — опасная! Вы очень опасная, Анфиса Петровна! Я помню ту ночь вашу, когда вы, милая, милая, на меня надели свой божий образок, иконку. Уж вы простите меня, иконку за ненадобностью я отдал своему хозяину; выменял на два фунта луку. Дак вот... После той ночи я неделю лежал в каком-то душевном параличе, в потолок глядел и все думал. Я тогда, в ту ночь вашу, сумасшедший был, и мне стыдно. Я, помню, плакал, как последний дурак, я унижался, я ползал у ваших ног. И в ту ночь вы отравили мою душу смертель-

ным ядом. Зачем же мучить так людей? Я не завидую ни Прохору, ни Петру Даниловичу. Так людьми играть нельзя.

— Дак что ж мне делать-то, проклятый?! — звонко, надрывно крикнула Анфиса и целую горсть кедровых орехов швырнула в хмурую бороду гостя.

Шапошников вздрогнул. Орехи рассмеялись по чистому полу дробным смехом, зеркало подмигнуло и качнулось, задремавшие стены выпрямились, стали бодро, как солдаты, каблук в каблук.

Два орешка засели в бороде. Шапошников неспешно раскусил их, съел. Потом заговорил, заикаясь и отойдя подальше, к разрисованной печке в углу.

— Волноваться вредно, — сказал он. — Испортится цвет лица. Значит, здраво рассуждая, Прохора вы должны оставить в покое. Что касается Петра Данилыча... Я бы сказал так...

— Жуй, жуй жвачку!

— Существует в мире некая мораль. Да. Впрочем, вам это... Словом, вы ставите на карту судьбу Марьи Кирилловны.

Анфиса злобно усмехнулась.

— Неужто все такие царские преступники, как ты? Эх ты, телятина!

Шапошников кривоплече и обиженно, руки назад, зашагал по комнате, сбивая тканую полосатую дорожку.

Анфиса села, повернулась к зеркалу, зеркало заглянуло ей в лицо. Лицо Анфисы взволнованное, темное. Анфиса молчала. Шапошников кашлянул, сел на стул неслышно. Он потянулся к миске за орехами, рука раздумала, опустилась сама собой. Молчали.

— Про серьги слыхал? — наконец спросила Анфиса зеркало.

— Слыхал, — ответили стены, борода, морщинистый залысевший лоб. — За давностью лет улика эта равна нулю. И установить факт преступления почти невозможно.

Анфиса подошла к зеркалу, гребнем оправила прическу.

— А хочешь, я тебе штучку одну покажу, бумажечку одну... Ежели, к примеру, прокурору представить — крышка Громовым.

Анфиса запустила руку за кофту и достала привязанный к кресту заветный ключ.

Этим же вечером Ибрагим-Оглы вошел в квартиру Куприяновых. Он вошел не обычной своей легкой кавказской ступью, а неуклюже и придавленно, точно нес на себе тяжелый груз. Яков Назарыч, утомленный и расстроенный, сидел на рваном просаленном диване, отдыхал. Нина готовилась к отъезду, укладывала вещи.

— Что, знакомый, скажешь? — спросил купец.

Черкес размашисто, неумело перекрестился на икону и вдруг упал в ноги Куприянова.

— Мой убил твой матка, твой батька... Моя! — прокричал черкес рыдающим голосом, вскинул брови, сложил руки на груди.

Купец не сразу понял и сердито переспросил его:

— Чего ты бормочешь? Что?

— Моя убил твой родитель... Моя!

Нина выронила мельхиоровую сахарницу, и глаза ее округлились.

— Ты?! — вскочил Яков Назарыч и, как большой толстый кот на мышь, выпустил когти. «Подкупили,— подумал он. — Подкупили, мерзавцы».

— Врешь, паршивый черт... Под каторгу себя подводишь, — негромко сказал он, багровея.

— Чего хочешь делай, хозяйн... Я...

— Где убил? Когда? Какие они из себя? — грузно топал в пол Яков Назарыч, то вскакивал, то садился, распахивал и запахивал полы халата. — Врешь, негодяй, варнак, каторжник проклятый!..

Черкес повернулся на коленях лицом в передний угол и, потрясая рукой перед иконой, гортанно хрипел:

— Моя крещеный... Батюшка макал... Вот бог, Исса Кристос!.. Алла!.. Божа мать... Я убил...

Нина, припав головой к печке, вся тряслась.

— Встань, черт, собака!.. Пошел к двери, говори... Стой, стой! Говори!

У черкеса голос треснул, завилял:

— Моя с каторги бежал, в тайге гулял. Жрать надо, жрать нет. Глядым — тройка. Ямщика крошил, старика крошил, старуху крошил...

— Какие они из себя? В чем одеты? — выкрикнул купец, схватился рукой за сердце.

Ибрагим потер холодной ладонью вспотевший лоб, густые черные брови его заскакали вверх, вниз.

— Слушай, хозяйн... Моя не врал... Слушай...

Черкес, путаясь, заикаясь, напряженно, как бы припоминая, рассказал. Светившееся вдохновением лицо его покрывал крупный желтый пот, воздух вырывался из груди тяжело, со свистом. Яков Назарыч, тоже потный, взбудораженный, не помня себя, рывком сдернул штуцер со стены и пнул все еще стоявшего на коленях черкеса ногою в грудь:

— Ну!.. Марш к двери!..

Нина с визгом бросилась к отцу, тот грубо оттолкнул ее. «Уйди!!» — она выскочила на улицу.

— Моя не врал... Стреляй! Только в самый сердце...

Черкес встал с полу, прислонился лопатками к дверному косяку и прикрыл глаза широкой кистью руки, проросшей ветвистыми вздувшимися венами. Лицо его сразу осунулось, обвисло, посерело.

И вот курок взведен. Еще мгновение — и бешеный порыв толкнет купца на самосуд, обычную расправу в глухих углах страны.

Нина бежала улицей, отчаянно крича. Ступеньки громовской лестницы быстро пробарабанили тревогу, Нина кинулась на грудь Марьи Кирилловны, и обе бегут в обратный путь и крестятся, бегут и крестятся.

— Убьет, убьет его!.. Убьет... — едва выговаривала Нина. И когда были в трех шагах от дома, там ударил выстрел.

— Господи, убил!!

Где-то нехорошо завыла собака. Туман стоял. Тусклые огни мерцали в избах.

Из калитки вынырнул работник.

— Где стреляют?

И Прохор выскочил, там, у себя, больной и бледный.

— Где стреляют?

И было так. Якова Назарыча оставляли силы, он отшвырнул штуцер, курок сам собой спустился. Яков Назарыч от выстрела вздрогнул, расслабленно сел на диван, к столу. Ему вдруг стало стыдно дочери, самого себя, черкеса, стен. Он хотел лишь разыграть роль палача, хотел помучить, нагнать ужас на черкеса, но игру не рассчитал, безумно поддался зверскому порыву, едва не окровавил своих рук. Тьфу ты, окаянная сила! Сколь сильна ты в бессильном человеке! Заныла мозоль на купеческой ноге, заныло возле сердца. Купца охватила гнетущая тоска. Он вытянул отяжелевшие, как в водянке, ноги, уперся руками в диван, затылком в стену, закрыл глаза; по мясистому багрово-красному теперь лицу катился пот. Борода прыгала вместе с дрожавшей челюстью; он прикусил нижнюю губу и застонал в нос странным, как мычанье, стоном.

Когда открыл глаза, пред ним, все так же сложив руки на груди, стоял на коленях Ибрагим.

— В каторгу!..— ожесточенно прошептал Яков Назарыч.

Рядом с Ибрагимом стояли на коленях Марья Кирилловна, Нина, и впереди всех — Прохор. Глаза Прохора лихорадочные, на правой щеке и через висок узорчатые складки зарозовевшей кожи — отлежал; он в пальто, в шапке, в валенках, в одном белье.

— Прошу вас, очень прошу! — умолял Прохор; он положил руку на мягкое колено Якова Назарыча и заглядывал в голубые, мокрые, мигающие глаза его. — Пощадите Ибрагима, — он в тайге спас мне жизнь. — И когда произносил эти простые слова в защиту человека, глубокая ликующая радость

затопила его сердце и сознание: все засияло впереди, кругом, глаза горели.

Яков Назарыч шумно передохнул, поднялся, нетвердо пошел за перегородку. Посморкался там, вышел, сказал, ни к кому не обращаясь:

— А серьги?

Черкес запыхтел, ударил себя по сердцу:

— Мой продал Даниле-старику. Мой собственный...

Яков Назарыч сел, жадно выпил ледяной воды.

— Ничего тебе, разбойник, не скажу сейчас. Пшел вон, стервец! И ты, Марья Кирилловна, ступай, и ты, Прошка. Идите... Завтра...

Последнее событие сразу отрезвило Петра Данилыча, сразу вернуло ему прежнюю деятельность, бодрость, сообразительность.

Он целый день провел с глазу на глаз с Яковом Назарычем. Все закончилось благополучно: потомство Громовых оправдано, черкес прощен, свадьба состоится.

Решено свадьбу править в Крайске, предстоящим летом, а послезавтра отслужить заупокойную литургию в память родителей купца Куприянова, убиенных якобы неведомым злодеем.

Вечером, возвращаясь от Куприяновых, Петр Данилыч призвал в свою комнату черкеса, запер дверь, валялся у него в ногах, целовал холодные, вонючие, пропитанные дегтем сапоги его. Потом вынул сторублевую бумажку, подал Ибрагиму. Черкес поблагодарил, но денег не принял — Исса бог велел всех любить; вот черкес любит Прохора — только пусть не подумает Петр Данилыч, что руки Ибрагима в крови — нет, нет, Ибрагим-Оглы не разбойник.

Болезнь Прохора усилилась. Илья Сохатых успел смахать в город за доктором. Нина и Марья Кирилловна не отходили от постели больного. Впрочем, Марья Кирилловна часто заглядывала в каморку Ибрагима; придет, поплачет, скажет:

— Какой ты хороший, Ибрагимушка!—и снова — к Прохору.

Наступил видимый мир и тишина. И если б не болезнь Прохора... Но доктор сказал, что опасности нет, сильный организм молодого человека быстро одолеет эту немощь.

О признании черкеса перед Яковом Назарычем никто не знал — решено держать в строжайшей тайне.

И в сфере обманной тишины открылся простор для всяческих возможностей. Предстояли две свадьбы: Нины с Прохором и кухарки Варвары с Ибрагимом-Оглы.

Илья же Сохатых лелеял мечту сочетаться браком с самой Марьей Кирилловной — он будет богат и знатен, и черт бы побрал эту проклятую Анфису!

Исключительно для обольщения Марьи Кирилловны он купил в городе фрак, пенсне накладного золота, белые перчатки, поношенные лакированные штиблеты с бантиком и трикотажные кальсоны сиреневого цвета. Цилиндра в городке не оказалось, похоронного бюро с оцилиндренными факельщиками здесь тоже не было, но он все-таки сумел купить эту пленительную принадлежность туалета у расторопного парикмахера, отдававшего напрокат маскарадные костюмы. Он также не забыл приобрести для Марьи Кирилловны золотой сувенир — колечко — и решил сняться в фотографии. Он долго выискивал перед зеркалом в вульгарном своем лице черты снисходительной величавости и строгой красоты. Снимался в пенсне, в цилиндре. Пенсне куплено случайно, не по зрению, если долго пользоваться им — начинало ломить глаза, но Илья Петрович всем этим пренебрег, лишь бы первоклассно выйти на портрете.

— Мне бы хотелось походить на лорда из Америки, — стараясь не шевелить губами, прошепелявил он.

— Замрите! Не мигайте, — сказал фотограф. — Лорды носят одноглазый монокль в видах шика. Оботрите, пожалуйста, рот: в углах губ — слюни. Улыбайтесь слегка. Снимаю... Готово. Благодарю.

— Мирсите, — учтиво поклонясь, поднялся Илья

Петрович с кресла, небрежно сбросил пенсне и снял цилиндр. — Только размер, пожалуйста, чтоб самый большой был, в рамке.

У бравого пристава тоже была своя мечта: во что бы то ни стало сделаться любовником, а может быть, и мужем очаровательной Анфисы. Но как, но как?!

Не на шутку размечтался примерно на ту же тему и царский преступник Шапошников.

Прошел вечер, день и ночь. Звонарь ударил в большой колокол, началась траурная неурочная обедня. Народу мало, но приятели Петра Данилыча все в сборе. Недоставало лишь Анфисы Петровны Козыревой и болеющего Прохора. Молящиеся одеты скупо, скромно, по-обыкновенному. Илья же Петрович Сохатых — новое темно-зеленое пальто внакидку, фрак, пенсне, в руках цилиндр, на рукаве черный из дешевой марли креп. Сам припомажен, надушен, чуть подпудрен, чуть-чуть подрумянен; на лице трагическая скорбь. Он поместил свою особу с таким расчетом, чтоб быть на виду у Марьи Кирилловны. Когда запели «со всятыми упокой», он, как и все, опустился на колени, благочестиво осенил себя крестом, с сокрушением кивал иконостасу кудрявой головою. И все-таки не стерпела любопытная его рука, — достал Илья Сохатых из жилетного кармана прекрасное кольцо-супир, украдкой взглянул на самоцветный камушек; сердце сладко замерло, обернулся Сохатых, окинул взором умильно-ласковое лицо Марьи Кирилловны, ее крепкий стан, подумал: «А ей-богу, бабенка хоть куда!» — и стал размышлять о том, как вручить, при всей деликатности, Марье Кирилловне подарок.

Новокрещенный Ибрагим молился впереди всех, на солее, возле самых царских врат. Всю службу простоял он на коленях, истово крестился, гулко ударял лбом о половицы.

За панихидой по убиенным рабам божиим Назаре и Февронии никто не плакал, прослезился лишь отец

Ипат, и возгласы его были со слезою. Это очень тронуло молящихся, пристав же предположил в душе: «К новой рясе, кутья, подлизывается».

Так и вышло. Яков Назарыч подарил священнику на рясу пятьдесят рублей и внес в церковь три сотни на вечное поминовение родителей. Не отстал от будущего родственника своего и Петр Данилыч Громов: благоговея перед десницей божьей, что чудесно отвела от его дома великий скандал и срам, он пожертвовал в церковь триста двадцать пять рублей, то есть на четвертную больше против Якова Назарыча.

Нина Яковлевна Куприянова выпросила у отца сто рублей, разменяла их на пятерки и, в сопровождении кухарки Варвары, обошла двадцать беднейших изб села Медведева, раздавая деньги неимущим.

Ибрагиму Нина сказала:

— Как только я сделаюсь женой Прохора, вы, Ибрагим, займете у нас исключительное положение. Вот увидите. Я буду очень беречь вас. Очень, очень!

— Барышня Куприян! Твой глаз насквозь видит. Веришь мне?

— Верю. Знаю все. Понимаю.

— Больше нэ надо! Молчи, молчи. Ибрагишка тоже понимайт. Цх!..—И растроганный черкес стал порывисто целовать руку девушки, одновременно прикасаясь к руке горбатым носом и губами.

На следующее утро двое Куприяновых выехали из села Медведева.

16

Не надо! Лучше б не приходил этот обманный грозный месяц май.

Бывало, в мае в глухой тайге еще снега держались, а вот нынче,—даже старцы не запомнят удивительной такой весны,—нынче в мае душно, жарко и грохочет за грозой гроза. Что за причина такая? Тихое село Медведево встревожилось. Старые старухи гадали и рядили и так и сяк. А потрясучая Клюка, та прямо, будто отпечатала:

— Быть худу. Ждите, крещеные, беды!..

Но беда пока не приходила. Разве что у крестьянина Варламова от грозы овин сгорел и начались кой-где таежные пожары.

Пожаром охватило и душу Петра Данилыча Громова — горит душа; громом ударило и в сердце Марьи Кирилловны, сотряслась земля под всем домом Громовых, и под Анфисой Петровной сотряслась земля. Быть худу, быть худу. Ждите, крещеные, беды!

В эти душные майские ночи царский преступник Шапошников никак не мог заснуть. Он часами лежал на жесткой соломенной постели, руки за голову, и думал, думал. Где-то в подсознании у него родилась и крепла мысль, что путь его жизни завершен: все, что ему полагалось сделать, — сделано. И живи он хоть сотню лет, он Америки не откроет, радости никому не принесет, даже своего личного счастья устроить не сможет. Так стоит ли тогда вообще ему существовать?

И этот проклятый вопрос — самому себе и жизни — лишал его покоя.

А тут еще примешалось его чувство к Анфисе. Оно входило клином в ослабевший дух его, как кол в гниющее болото, рождалось новое смятение и боль.

Но чувство это неотразимо. К худу или к добру? И сам себе отвечает: «К худу». Однако путь жизни его под крутой уклон, а тормоза стерлись и крыльев нет.

А вот его товарищи живут, батрачат у крестьян, стойко переносят все тяготы ссылки, не порывают с революционной работой, следят за событиями в стране, читают, организуют кружки самообразования, иные даже бегут на волю.

— А я кто?

Да, трудна, непонятна жизнь.

В комнате северный бледно-серый полусумрак. Волк, белки и зверушки мертвыми стеклянными глазами уныло посматривают за открытое окно, где жизнь, где нету мертвым места. Эх, если б живая кровь, а не кудель в их иссохших шкурах!

— И я не более, как человечье чучело, набитое чем-то дряблым, — жаловался он волку, белкам и

зверушкам; в груди его пустота, в мышцах болезненная вялость.

Он вскочил и, пошатываясь, кособоко пробежался по комнате, поднял с полу трубку, раскурил, опять стал бегать взад-вперед. Волк улыбался на него оскаленной своей розовой пастью; волк наблюдал, что с человеком будет дальше.

Человек сел за стол, раскрыл дневник в деревянном самодельном переплете, написал три строчки, бросил. Достал последнее письмо приятеля, прочел полстраницы — бросил.

— Вот что надо. — Он обмакнул перо в чернильницу, его рука стала лениво выводить:

«Дорогая моя Анфиса, бесценная. Слушай, слушай, что я тебе скажу...»

Но чернилами сказать было невозможно, чувство глушило разум, и — нет на свете обжигающих душу слов.

Он крепко зачеркнул написанное и вместе с этими строками готов был зачеркнуть свою всю жизнь. Да, он теперь мучительно решил: нет жизни без Анфисы. Он бережно достал из-под подушки голубую кофточку ее (вымолил на память), уткнулся в легкую ткань лохматой бородой и вдыхал, смакуя, воображаемый Анфисин запах, как вдыхает умирающий из баллона кислород.

— Нет, я спрашиваю вас, почему преступно? — повернул он к белке поглупевшее свое лицо.

Белка скрытно промолчала; в ее бисерных глазах заблистали точки: вставало солнце, комнату заливал рассвет.

Шапошников взял стаканчик, достал из-за сундука бутылку. Но бутылка была пуста.

Как-то поздно вечером пришел к Шапошникову Прохор. Болезнь еще не оставила его, но такая скука валяться дома на кровати!

— Вот какое неожиданное тепло стоит, — сказал Прохор нетвердым голосом и сейчас же сел, бледный, измученный.

Шапошников лежал врастяжку на койке, повиливал носком сапога и по привычке поплевывал всухую.

— А вы все лежите?

— Да, лежу, — не вдруг ответил Шапошников. — Лежу и буду лежать, потому что нет свободы... Свободы духа нет...

Прохор презрительно улыбнулся, набил махоркой трубку Шапошникова и закурил.

— Ну, а что такое свобода, по-вашему? — задумчиво спросил он, затянулся, закашлялся и бросил трубку.

— Свобода?.. Это такое состояние человека... — Шапошников почесал шею и, лениво свесив ноги с койки, сел. — Во-первых, я должен оговориться, что абсолютной свободы нет и не будет. Да, да, не будет. — Он раскачнулся корпусом и уставился мутными глазами в гостя, рассматривая, кто перед ним. — Прохор Петрович, это вы? Здравствуйте... Темно... А я дремал... Вот огарок... Зажгите... — Он опять вытянул, как гусь, шею и почесал под бородой. — Или так: «Мне все дозволено, но ничто не должно обладать мною». Это слова апостола Павла. Теперь что такое свобода вообще? — спрашиваете вы. Позвольте, позвольте!.. Политическая, например, свобода слагается из...

— Нет, вы не понимаете, что такое свобода, — встал Прохор, опять закурил трубку, опять закашлялся. — А по-моему, свобода в двух словах: *сказано — сделано*. Без всяких ваших уверток, без всяких «но»...

— Эге-ге-ге-е-е... Нет, батенька мой. — И Шапошников, руки назад, скользящей походкой зашмыгал по комнате. — Нет, батенька! Свобода не ветер: мчусь, куда хочу, раздуваю, что хочу: пожар — пожар... Я знаю, к чему вы клоните... Знаю, знаю, знаю... Но имейте в виду, что, реализуя свою волю, свое *«я хочу»*, человек обязан все-таки производить это в атмосфере морали...

— А что такое мораль? — И Прохор двумя шагами пересек дорогу Шапошникову. Тот остановился, вскинул встрепанную голову и смотрел Прохору в

болезненно гневное лицо. — Что такое мораль? — переспросил его Прохор. — Выдумали ее вот такие же, как вы, или она сама по себе, как воздух? Нет, Шапошников... У каждого человека своя свобода, у каждого человека своя мораль...

— Да! Но нормы, нормы... Минимум-то должен быть?!

— А подите вы со своим минимумом к свиньям!..

Дверь под нервным плечом его со скрипом распахнулась:

— Вы сами минимум... Кисель! — и крепко захлопнулась, сотрясая избу.

Шапошников быстро открыл окно и крикнул в сумрак:

— Позвольте, позвольте... Эй, вы, как вас!.. Анфису Петровну обижать не сметь! Знаю, знаю, знаю...

Все молчало. Белая кошка просерела чрез дорогу. Отряхнулся в соседней березе грач. Тихо. Никого нет. Да и был ли кто-нибудь? Может быть, и Прохор не приходил к нему? Нет, нет... Что за нелепость! Конечно ж, был.

Возбужденный, взвинченный Шапошников вышел на улицу, и, перебегая от угла к углу и зорко озираясь, чтоб никто не подсмотрел за ним, прокрался в заветный дом.

— Господи! Да что это с тобой, Шапочка, приключилося? Ты как из гроба встал.

— Сделалось со мной худое, Анфиса... Дорогая моя Анфиса, жизнь моя! — И Шапошников упал Анфисе в ноги. — Возьми меня, возьми мое сердце, ум... Пожалей меня! Будь моей женой или раздави меня, как мокрицу...

Он жалко, громко плакал. Она подняла его, усадила и вся тряслась. Она не знала, как вести себя, как утешить этого бородатого ребенка, какие слова говорить. Она сказала:

— Ну что ж мне с тобой, горемыка, делать? Матерь божья, заступница, научи меня!.. — И Анфиса завздыхала, закрестилась на иконы.

— Мы можем, Анфиса, зажить с тобой настоящей жизнью. Я хочу спасти тебя, Анфиса, от позора, от многих бед... Я хочу и себя спасти...

— От чего?

Шапошников воспаленными, бессонными глазами взглянул на нее, сказал:

— От смерти. А если нет — я решил умереть, Анфиса. Решил твердо, как честный человек. И вот говорю: если своим отказом убьешь меня — себя убьешь, если спасешь меня — сама жива будешь. Выбирай.

Анфиса тоже села. Она никогда не видала Шапошникова таким растерянным и странным. Она низко опустила голову, задумалась. И в думах встал пред нею Петр Данилыч, встал пристав, встал Илья-приказчик, встал Шапошников. Но вынырнул из сердца Прохор — и все смылось, как волной.

Анфиса подняла отуманенный далекий взгляд свой на царского преступника:

— Ну и что ж?.. Ну как же мы будем жить с тобой?

Шапошников, не заикаясь, не волнуясь, красноречивый дал ответ. Пусть Анфиса не смущается, ему всего лишь тридцать пятый год, он человек образованный, его будущее обеспечено. А пока здесь длится ссылка, он сядет на землю, — крестьяне обещали дать ему надел. Да притом же он неплохой охотник, хороший мастер-чучельщик, поставляющий препараты в Академию наук, и, конечно, Анфиса за ним не пропадет.

Анфиса слушала как будто бы внимательно, щурила грешные глаза свои, напрягала душу, стараясь открыть сердце для ненужных ей слов ушибленного судьбою человека. Было тепло, а плечи ее нервно вздрагивали. Анфиса, ежась, куталась в узорчатую шаль. Пахло от Анфисы водкой. И вместо прямого, ясного ответа она заговорила тревожным голосом:

— И к чему это, Шапочка, недавно мне снился паршивый сон? Хочешь, расскажу?

Глаза Шапошникова неспокойны: они вспыхивали, блекли и мутились. Невнятно он сказал:

— Я снам не верю, конечно. Но с некоторого времени вся жизнь стала для меня, как сон. И все жду: вот проснусь, вот проснусь, а проснуться не могу... — Он провел рукою по лбу, потрогал бороду, внимательно поглядел на протянутую свою ладонь, спросил:

— Скажите, Анфиса Петровна, вот сейчас, тут, между нами — это действительность или сон? Если сон, то пусть он длится дольше... Я так устал... Измучился... — Он закрыл мертвые глаза свои, голос его был пустой и тихий.

Анфиса вдруг вскочила, — лицо ее перестроилось в гримасу смертельного отчаяния. Она громко застонала.

Шапошников вздрогнул, разинул рот, сгорбленно, не торопясь, поднялся.

— Мне страшно... Страшно!.. Уходи... — Она закрыла лицо и, шаг за шагом пятясь и вздрагивая плечами, упала на кровать. Чрез ее придушенные стоны Шапошников слышал:

— Шапкин, Шапкин! Несчастные мы с тобой... Забулдыгами, пьяницами стали... А хочешь вместе умирать? Согласен?

— Я жить с тобой хочу. Жить!.. И брось ты думать об этом щенке Прохоре... — сморкался, кашлял, хлюпал он возле ее ног, всклокоченный, страшный, горестный.

Она свесила с кровати ноги, — голубые глаза ее почернели, — она обняла его, поцеловала в лысину, заскулила жалобно и тонко:

— Худо сегодня мне. Чую, заблудилась я. Конец приходит мне. И уж пришел. Давай травиться!.. Вот яд при мне... Докажи, что любишь, ну!..

В дверь сильно постучали. Анфиса спросила крепким голосом:

— Кто?

— Отопри, Анфиса. Я!

Петр Данилыч разминулся с Шапошниковым молча, как бы не замечая его. Анфиса заперла за гостем дверь.

Шапошников шел по улице расхлябанно, останавливался, разводил руками, бессвязно бормотал, опять передвигал ногами в пустоту, пустой, разбитый.

Петр Данилыч подозрительно посмотрел на женщину, развалился на диване.

— Ты, никак, пьяна?

— Да, пьяна. — Глаза Анфисы сверкнули. — И буду пить! — всхлипнула она, но тотчас же справилась с собой, спокойно подошла к шкафу, с жаждой потянула коньяку прямо из бутылки.

— Зачем эта гнида шляется к тебе?

— За тем же, за чем и ты.

По лицу Петра Данилыча прошла судорога, мизинец левой руки оттопырился и заиграл.

— Врешь... Врешь... — сказал он тихо. — Прощалыжник тары-бары разводить приходил, а я по делу. Вроде совещания. По семейному делу, касаемому до меня и до тебя.

Время позднее. Ставни закрыты, кукушка прокуковала одиннадцать часов.

— Вот хочу по-христианскому жениться на тебе, — хрипло сказал он, глядя в сторону.

— Нет, Петруша, нет. А женится на мне Прохор, сын твой.

Петр Данилыч крякнул, грузно посмотрел в лицо Анфисы:

— Да ты в уме? Или пьяна совсем? У Прохора есть невеста.

— Ну, еще посмотрим... Все вы, Громовы, в моих руках. Запомни это, Петенька.

Помолчали. Анфиса зевнула. Зевнул и Петр Данилыч, что-то прикидывая в уме.

— А может, за пристава замуж выйду, а может — за Шапошникова. Вот возьму и выйду за него. Хочешь, Петя?

— Сколько ты желаешь получить от меня денег?

— Всё, сколько есть. Движимое и недвижимое — все чтобы мое было. Тогда согласна, — сказала Анфиса задумчивым, нерешительным голосом, глядя в сторону и как бы стыдясь слов своих.

— Значит, ты за деньги желаешь продать себя?

— Себя — да. А вольная волюшка при мне останется.

На этот раз голос ее прозвучал вызывающе. Она прищурила глаза и взглянула на гостя пренебрежительно и нагло.

Петр Данилыч опустил голову и толстыми грязными ногтями стал барабанить по столу — сначала тихо, потом все громче, все озлобленней.

— Нет, не подойдет. Сама знаешь, половина денег сыну принадлежит, да надо и Марью Кирилловну не обидеть. Сама, чай, понимаешь.

— Ну, тогда прощай. Больше не о чем и толковать нам. До свиданья, Петя, уходи. Хочешь на дорожку посошок?

— Не пью. Бросил. И подь ты к черту со своим вином! Мне *тебя* надо!

— А мне Прохора.

— Анфиса!!

— Петька!!

Петр Данилыч плюнул, прошипел сквозь стиснутые зубы: «Змея ты», — и вышел, грузно вымещая каблуками злобу.

17

С того лихого дня, как появилась в этих местах Нина Куприянова, Анфиса все время в нервном напряжении. «Теперь или никогда», — подталкивала она свою волю, но не желала сгрудить ее в один удар, воля безвольно растекалась средь путаных Анфисиных тропинок. Так было потому, что Анфиса не имела твердого хотенья, она легковерно ставила ставку то на того, то на другого и на козырного своего туза — Прохора Петровича, — и выходило так, что ее карта всюду бита. И нет больше такого человека в ее жизни, который дал бы умную укрепу ее думам. Был Шапошников — и Шапошникова нет. Нет!

Анфиса стала сильно попивать. Все внутри ее перегорело.

Врет старик! Только бы Анфисе захотеть — Петр Данилыч все для нее сделает: сына ограбит, жену

пустит по́ миру, пойдет на любое зло. А не захочет старик по-хорошему, она сумеет припугнуть его, она такую покажет ему штучку, — льстивой собачкой станет Петр бегать за Анфисой, вилять хвостом и ластиться. Впрочем, Анфиса припугнет сначала Прохора. В последний раз попробует Анфиса силу своих чар над ним, а там видно будет; она теперь и сама не знает, в какую яму толкнет ее неукротимый своевольный бабий нрав. Скорей бы уж...

Пила Анфиса три дня, три ночи. Пила одна. В комнатах темно: три дня, три ночи не открывались ставни, вольный свет не проникал сюда. Лишилась света и душа Анфисы. Переплакана, передумана была вся жизнь. Руку на себя подымала Анфиса, но рука не повиновалась воле: и рука, и мозг, и сердце — всё вразброд, нет опоры, нет хозяина, лишь голое отчаянье в углу сидит, а на столе стакан с вином. Перед образом лампадка, лампадку ту бережно Анфиса заправляет, неугасимый огонек хочет зажечь в Анфисе былую веру в бога, в жизнь — не может: Анфисе незачем молиться богу, Анфиса больше не верит в жизнь, Анфиса умерла. Но погодите Анфису хоронить! Она и мертвая себя покажет...

Снятся ей сны странные. Как-то проснулась: в головах икона богородицы, а в ногах, прилепленная к стенке кровати, восковая свеча стоит. Кто ж хоронить ее собрался? Должно быть, во сне, сама. С тайным страхом водрузила обратно богородицу, восковую свечу сняла. Как-то проснулась: стол белой скатертью накрыт, на столе — самовар без воды, чашки, варенье, хлеб. Удивилась Анфиса: во сне понаставила сама, должно быть. Как-то проснулась Анфиса: возле нее, на стуле, сам Прохор. Анфиса вскрикнула.

— Не бойся, — сказал Прохор. — Не бойтесь, Анфиса Петровна. Я вот зачем...

Он встал, и Анфиса встала.

— Сейчас, сейчас, — сказала она растерянно и задыхаясь, — я сейчас. А что у нас, ночь или день?

— Вечер, одиннадцать часов.

— Не гневайтесь, побудьте одни. Я мигом, — сказала Анфиса и ушла.

Прохор курил папиросу за папиросой, взатяжку, жадно: организм как бы наверстывал, что зачеркнула в нервах недавняя болезнь. Все такая же прекрасная и свежая, вошла Анфиса. Но Прохор заметил, что глаза ее припухли, в тонких бровях жест страдания, а в лице и в голосе взволнованная грусть. Она в светлом простом платье, мрамор рук открыт до плеч, возле правого плеча искусственный цветок камелии. Густые косы собраны сзади в тугую, свернутую калачом змею. На груди золотой медальон-сердечко. Прохор знает, что в медальоне том прядь его, Прохора, волос.

— Что ж, может, убить меня пришел? Только не убьешь меня — я мертвая.

— Оставь, Анфиса. Я за делом. Садись скорей.

Но Анфиса не села. Она открыла ставни, распахнула окно в сад: за окном действительно прозрачно — тихая ночь была, на сизом небе чертились едва опушенные листвой деревья. Свежий воздух плыл в сонные комнаты Анфисы, огонек лампады колыхался. Где-то там, за деревьями, за крышами, в краю далеком вспыхивали молчаливые зарницы: как бы не пришла гроза.

Тихо говорила Анфиса сама с собой в ночную тишь:

— Жить нам вместе, умереть нам вместе. Ежели ты на особицу жив, сокол, значит — я мертва.

— Брось глупые речи, Анфиса.

Белая, взволнованная, она стояла в трех шагах от Прохора, из закрытых глаз ее текли слезы.

Прохор встал, вздохнул, широко прошелся, сел возле открытого окна, Анфиса повернулась к нему, он тогда с раздражением пересел на диван, к печке. Холодные руки его покрылись липким потом, во рту пересыхало.

— Я никогда не позволю тебе обирать отца и делать несчастной мать мою. У отца деньги не его, а мои: я нажил. Отец, как старый колпак, сегодня

утром раскис, распустил нюни и долго рассказывал мне про ваш с ним разговор. Так вот знайте, Анфиса Петровна, никаких разводов, никаких ваших свадеб. Иначе... Дайте мне рюмку вина, коньяку. Я слаб. — Он оперся локтем в стол и прижался виском к ладони. Бледность растеклась по его лицу, свет лампы желтил, заострял нос и впалые щеки.

И как выпил обжигающую рюмку и как хлебнул густой душистой наливки из облепихи-ягоды, в лице заиграла жизнь, упрямая тугая складка меж бровей обмякла. Но его сердце не могло обмякнуть, сердце возненавидело Анфису навсегда.

— Анфиса, я тебя люблю по-прежнему, — сказал он озлобленным умом своим. В темных глазах Прохора пряталось коварство, но отреченный взор Анфисы на этот раз ничего не отгадал: Анфиса тотчас же поверила, бросилась ему на шею.

— Любишь? Неужто любишь?!

— Да, да, да. Только выслушай меня, пожалуйста, — по-холодному поцеловал, по-холодному усадил ее возле себя. — Слушай.

Но где ж ей слушать, когда не хватает воздуху и волною хлещет по жилам кровь.

Прохор говорил негромко, но отрывисто и за рюмкой рюмку тянул вино.

— Значит, все будет хорошо... Только ты не мешай нашей свадьбе, вообще не мешай нам жить. А я тебя никогда не забуду, Анфиса... Тайно стану любить тебя.

Эти слова поразили Анфису, как гром. И первый раскат грома ударил где-то там, вдали.

— Та-а-к, — протянула Анфиса, и голос ее под тугими ударами сердца шел волной. — Так, так, так... Вот это любовь! Ну, спасибо тебе на этакой любви. А вот что... — Она встала, и ноздри ее расширились; дыхание вылетало с шумом. Она как молнией посверкала глазами на примолкшего Прохора.

— Женись, молодчик, женись. — Она сейчас говорила высоким голосом, привстав на цыпочки и запрокинув голову свою. — Женись, а я за отца твоего выйду и все равно погублю тебя своей любовью. Все

равно. Эх, младен! Плохо ты меня знаешь. Если ты променял меня на какую-то богородицу, так я-то тебя, сокол, ни на кого не променяю... Увидишь!

Она схватила бутылку коньяку и прямо из горлышка отхлебнула несколько глотков. За окном стали шуметь деревья, по комнате заходили ветерки.

— Вот, — сказала она и сорвала крест с груди, — вот у крестика ключик привязан, ключик этот от потайной шкатулки, а в той шкатулке штучка есть. Как служила я у дедушки твоего, покойного Данилы, в горничных, он мне, девчонке, браслетку подарил. А на браслетке-то кой-какие буковки прописаны. Кой-какие... Ха-ха!.. Показывала я штучку эту одному человеку-знатецу, здесь живет этот человек-то, парень дотошный, мозговой. Да еще бумажку одну показывала, у дедушки Данилы в кованой шкатулочке нашла, — все убиенные переписаны, дедка день и ночь в молитве поминал их. Так и написано — «мною убиенные»... Чуешь? И выходит: не Ибрагишка убивец-то, вы убивцы-то, твой дедка Данила убивец-то подлый, живорез. На вас, Прошенька, вся кровь падет... — Анфиса говорила приторно-сладко, певуче, и хоть не было в ее голосе угрозы и глаза Анфисы улыбались, но от внутренней силы слов тех стало Прохору страшно.

— Ну?! — нажал он на голос, стараясь запугать Анфису и победить в себе сложное чувство омерзения и страха перед ней.

Она села рядом с ним, с явно притворной шаловливостью погладила его волосы и, заглядывая в глаза его, издевательски проворковала:

— Дак вот, Прошенька, любое выбирай: либо женись на мне, либо — к прокурору. Суд, огласка — и все богатство отберут от вас. — Она обняла его и, с жестким блеском в глазах, жадно поцеловала в губы.

Прохор не в силах был сопротивляться: хмель одолевал его, он весь ослаб.

— И другая лазеечка есть. Да, может, не лазеечка, а самые главные ворота: дам Куприяновым стафет и сама поеду к ним вашу с девкой свадьбу рушить.

Прохора бил озноб. Анфиса тоже дрожала. Стуча зубами, Прохор спросил:

— А где шкатулка?

— Шкатулка эвот, а ключик вот...

Анфиса вдруг откачнулась от Прохора, пытливо и люто взглянула в его горящие решимостью глаза, быстро поднялась. Прохор вскочил, схватил Анфису за руки пониже плеч, опрокинул ее на затрещавший стол.

— Браслет! Ключ!!

Анфиса, не разжимая губ, засмеялась в нос. Прохор судорожно рванул цепочку с ключом, подбежал к кровати, выхватил из-под подушки кованый ларец. Анфиса зверем накинулась на него сзади и сильными руками вцепилась ему в горло. Прохор, изловчившись, подмял Анфису под себя, и оба, злобные, безумные, барахтались на широкой кровати. Прохор стал яростно душить ее, упираясь коленом в грудь. Анфиса захрипела. Напрягая всю силу, она сбросила его с себя и по-волчьи, с визгом, куснула руку. Оба, в схватке, упали с кровати, катались по полу, пыхтели, ругались шипя, как змеи. Запахло крепким потом. Пьяный Прохор задыхался, изнемогал. Из его укушенного пальца текла кровь. Анфиса в неудержимом припадке царапала ему лицо, ее изорванное платье тоже запачкалось кровью. Поймав момент, она, как степная волчица, взбросилась на Прохора верхом, крепко стиснула его руки, упала грудью ему на грудь, и, закрыв глаза, стала неистово целовать его, твердя сквозь стон:

— Сокол, сокол мой!.. Помнишь ли ту ночку, сокол?..

— Ведьма ты!.. Проклятая! — с кровью выплевывал Прохор черные слова.

Она пружинно, как змея на хвосте, привстала, скорготнула зубами и с размаху оглушила Прохора оплеухой. И в этот миг, вместе с оплеухой, вместе с ослепительной молнией резко, близко ударил громовой раскат. Анфиса, вся растрепанная, дикая, вскочила, закрестилась, упала на диван.

Хлынул ливень за окном. И хлынули у Анфисы слезы.

С последним отчаяньем зарыдала Анфиса в голос. Прохор, шатаясь, закрыл окно, стал подымать опрокинутые стулья, поднял две Анфисины шпильки и гребенку. Все движения его были, как у автомата, лицо мучительно бледное, безумное. В дверь оторопело стучались.

— Кто? — озлобленно крикнул Прохор.

— Прошенька, ты, что ли? Отопри скорей.

Вся взмокшая, жалкая, вошла Марья Кирилловна.

— А ведь я голову потеряла, тебя искавши. Отец зовет...

Сильный удар грома вновь потряс весь дом.

18

Назавтра, утром, пришло от Нины письмо:

«Приехали мы на второй день страстной недели. Я отца дорогой уговорила. Ибрагим совершенно им прощен. Все забыто. Матери, конечно, отец ни звука. Мать рада нашей свадьбе, она очень любит тебя, благословляет. Передай поклон нашему избавителю Ибрагиму...»

Прохор прочел это начало письма, задумался. Укушенный палец ныл. Марья Кирилловна сделала на его палец компресс из березовых почек, настоенных на водке. Вошел отец, взглянул на поцарапанное лицо сына, молча сел. Сын стал переобуваться в длинные сапоги.

— Ну, так как же? — спросил отец. — Как же ты думаешь? Она пугает. Могут быть большие неприятности. Она баба-порох. Ей как взглянется. А ты берешь богатую, у тебя и так денег будет невпроворот. Отступись от нашего имущества, дозволь подписать все Анфисе...

— А мать? — уставился Прохор в лицо отца; губы его подергивались, по виску бегал живчик.

Отец прошелся пальцами по бороде, сказал:

— Ну что ж — мать? Она как-нито проживет.

При тебе, что ли. А то, смотри, хуже будет. Анфиса наделает делов.

Прохор увидал в окно: старушонка Клюка прячется меж деревьев, резкими движениями руки настойчиво манит его.

— Сейчас, — сказал Прохор отцу и поспешно вышел в сад.

Едва отец прочел первые строки лежавшего на столе письма Нины, как в комнату ворвался Прохор; он схватил поддевку, белый картуз, выбежал вон, в конюшню, проворно оседлал коня и умчался, как ветер.

До первой почтовой станции — тридцать пять верст — он скакал ровно час.

— Лошадей, — кричал Прохор на станционном дворе. — Тройку, самых горячих. Ямщику целковый на чай... Сыпь! Насмаливай!.. Загонишь — я в ответе.

И лишь возле третьей станции, с ног до головы забрызганный грязью, он догнал Анфису. Он едва узнал ее. Лицо Анфисы серое, утомленное, упрямые губы крепко сжаты. Одета она просто, в синем большом платке. Рядом с ней — учитель села Медведева, чахоточный, сутулый, сухощавый Пантелеймон Павлыч Рощин.

— Путем-дорогой, Анфиса Петровна! Здравствуйте!

Ямщики осадили лошадей. Тройка Прохора в белом мыле, лошади шатались.

— Анфиса Петровна, — вежливо позвал ее Прохор. — Пожалуйте сюда. На пару слов.

Анфиса переглянулась с учителем, молча выбралась из кибитки и тихонько пошла с Прохором по зеленому лугу. Учитель двусмысленно вслед ей ухмыльнулся и стал раскуривать трубку, покашливая.

— Папаша согласен на все ваши условия, Анфиса Петровна.

— Мне этого мало.

— Он подпишет вам все движимое и недвижимое, он положит в банк на ваше имя все деньги...

— Мало.

— Он разведется с моей матерью и женится на вас...

— Мало, мало...

— Я обещаю вам свою любовь...

Анфиса остановилась, губы ее разомкнулись, чтобы злобно крикнуть иль застонать от боли. Но она, вздохнув, сказала:

— Мучитель мой!.. Ах, какой ты, Прошенька, мучитель!

У Прохора защемило сердце. Он покачнулся.

Она окутала его колдующим взглядом своих печальных глаз, круто повернулась, крикнула через плечо:

— Прощай, — и быстрым, решительным шагом двинулась к кибитке.

— Анфиса, Анфиса, стой!.. Последнее слово!..

В голосе его отчаянный испуг. Она остановилась, из ее глаз крупные катились слезы.

— Так и знала, что позовешь меня, — она больно закусила губы, чтоб не закричать, она опасливо обернулась к лошадям: ямщики оправляли сбрую; учитель, хмуро сутулясь, сидел к ней спиной.

Анфиса, всхлипнув, кинулась на шею взволнованному Прохору, шептала:

— Молчи, молчи. Знаю, что любишь... Я ведьма ведь... Значит, отрекаешься от Нинки?

— Отрекаюсь.

— Значит, мой?

— Твой, Анфиса.

— На всю жизнь?

— Да, да.

— Не врешь?

— Клянусь тебе!

Анфиса несколько мгновений была охвачена раздумчивым молчанием.

Но вот прекрасное лицо ее вдруг осветилось, как солнцем, обольстительной улыбкой. Земля под ногами Прохора враз встряхнулась, и его сердце озарил горячий свет любви.

«Что ж теперь будет, что же будет?!» — мысленно восклицал несчастный Прохор, совершенно сбитый с толку и внутренней горечью, и внезапно вставшим в нем прежним болезненно острым чувством к Анфисе.

Возвращаться без учителя Анфиса отказалась. Прохор сразу понял причину: «Боится, что ее

документик отберу», — но смолчал. Обратно ехали втроем: Анфиса рядом с учителем, лошадьми правил Прохор. Сзади тащилась пара с ямщиками. Ямщики беспечально заливались:

На сторонушку родную
Ясный сокол прилетел,
И на иву молодую
Тихо, грустно он присел...

Вернулись поздним вечером. Расставаясь Прохор говорил своей Анфисе виноватым, трогательным голосом:

— Ну что ж мне делать теперь? Каким подлецом я чрез тебя стал... Анфиса, любимая моя Анфиса, милая. Ну, ладно! Слушай... Завтра либо послезавтра ночью жди... Сиди у окошка, жди... Прощай, прощай, Анфиса, — и, закрыв лицо рукой, прочь пошел. — Проща-а-ай...

В доме еще не спали. Марья Кирилловна беседовала с Ибрагимом, печаловалась ему, ждала от него помощи.

— Не горуй, Марья... Прошку отучим ходить до Анфис... Моя берется. Моя кой-что знает. Прыстав Анфис взамуж брать будет. Прыстав каждый день, каждый день туда-сюда к Анфис.

Прохор прошел к себе в комнату и заперся на ключ. Комната его пропахла лавровишневыми каплями.

Не спал в своей избе и Шапошников. Сбиралась гроза. Он грозы боится. Во время грозы он обычно спускается в подпол и меланхолически сидит там на картошке. Бояться грозы он стал недавно, лишь этим месяцем гремучим — маем.

Но сейчас гроза еще далече, и Шапошников заводит у себя в избе беседу с волком:

— Люпус ты чертов, вот ты кто. Ты думаешь — ты волк? Ничего подобного. Ты — люпус. Гомо гомини люпус эст[1]. Слыхал? Враки! А по-моему, человек человеку — Анфиса... Да, да. Подумай, это так...

---

[1] Человек человеку волк (*лат.*).

Волк, белки и зверушки слушали внимательно. Волк хвостом крутил, бурундук пересвистнулся с другим бурундуком.

— «Идет», — сказала белка.

— Кто идет? — спросил Шапошников.

— «Хозяин идет».

Хозяин принес в кувшине бражки.

— Испробуй-ка... Ох, и крепость!.. Ты чего-то задумываться стал. Смотри, не свихнись, паря... Чего доброго... Это с вашим братом бывает.

Волк, белки и зверушки засмеялись.

Боялся грозы и отец Ипат: прошлым летом, под самого Илью пророка, его в поле ожгло молнией: он долго на левое ухо туг был.

Пристав грозы не боялся, но пуще моровой язвы страшился супруги. Вот и в эту ночь у них скандал. Супруга расшвыряла в пристава все свои ботинки, туфли, сапоги, щипцы для завивания, и все мимо, мимо. И вот вместе с бранью летит в пристава двуспальная подушка. Пристав и на этот раз ловко увернулся, подушка мягко смахнула с письменного стола все вещи. Чернильница, перевернувшись вниз брюшком, залила красной кровью черновик проекта:

«всесмиреннейшего прошения на имя его преосвященства епископа Андрония, о чем следуют пункты:

Пункт первый. Будучи в семейной жизни несчастным вследствие полнейшего отсутствия всяких способностей законной супруги моей Меланьи Прокофьевны к деторождению по причине сильной одышки и ожирения всех внутренних органов (при сем прилагаю медицинскую справку фельдшера Спиглазова) и в видах...»

Тут рукопись оборвалась, перо изобразило свинячий хвостик, — видимо, как раз на этом слове мимо уха пристава пролетела мстительная туфля, а скорей всего увесистая затрещина опорочила высокоблагородную, однако привыкшую к семейным оплеухам щеку пристава. Конечно ж, так. Пристав писал, жена подкралась, прочла сей рукописный блуд, и вот правая щека пристава горит, горят глаза разъяренной мастодонтистой супруги.

Впрочем, так или не так, но «человек человеку — Анфиса» остается.

Еще надо бы сказать два слова об Илье Петровиче Сохатых. Но мы отложим речь о нем до завтрашнего дня.

А завтрашний день — солнечный. Заплаканное небо, наконец, сбросило свою хандру; день сиял торжественно, желтые бабочки порхали, пели скворцы.

Утром за Марьей Кирилловной прискакал нарочный: в соседнем селе, верст за шестьдесят отсюда, захворала ее родная сестра, вечером будут соборовать и причащать. И Марья Кирилловна, унося в себе тройное горе, уехала. Первое ее горе — Прохор и Анфиса, второе горе — Анфиса и муж, и вот еще третье испытание господь послал — сестра.

Прохор собрался уходить: ружье, ягдташ, сука-маркловка Мирта.

— Ну, как? — встретил сына отец.

— Ах, ничего я не знаю. Подожди... Дай мне хоть очухаться-то...— раздражительно сказал Прохор и на ходу добавил про себя: — С вами до того доканителишься, — пулю себе пустишь в лоб.

Он взял с собой приказчика Илью Сохатых и направился по речке натаскивать молодую, по первому полю, собаку. Прохору страшно оставаться одному; в душе разлад, хаос, идти бы куда-нибудь, все дальше, дальше, обо всем забыть. Сердце сбивалось, то замирая, приостанавливаясь, то усиленно стуча в мозг, в виски. Ноги ступали неуверенно. Прохора подбрасывало в стороны, кружилась голова. Он отвернул от фляги стаканчик, выпил водки, сплюнул: появилась тошнота. Он подал водки и приказчику. Илья Сохатых шаркнул ногой, каблук в каблук, сказал:

— За ваше драгоценное! В честь солнечности атмосферной погоды... Адью!

Прохор подал второй стаканчик.

— За здравие вашей невесты, живописной прелестницы Нины Яковлевны!.. Адью вторично!

Прохор от этих вульгарных слов слегка поморщился.

Петр Данилыч тем временем направился к Анфисе. Стучал, стучал, не достучался. Пошел к священнику. Отец Ипат осматривал ульи.

— С хорошей погодой тебя, батя. Благослови, отче.

Отец Ипат поправил рыжую, выцветшую скуфейку, благословил купца, сказал:

— Это одна видимость, что хорошая погода, — обман. Погода худая.

Купец указал рукой на солнце. Отец Ипат подвел купца к амбару:

— Вот, смотри.

Над воротами амбара прибит голый сучок пихты в виде ижицы, развилкой.

— Вот, смотри: сей струмент предсказывает, как стрелябия, верней барометра. Главный ствол прибит, а отросток ходит: ежели сухо, он приближается к стволу, а к непогоде — отходит. Вчера эво как стоял, а сегодня опять вниз поехал. Будет дождь.

— Отец Ипат! Надо действовать, — перевел разговор Петр Данилыч, на его обрюзгшем лице гримаса нетерпения. — Надо полагать, Анфиса согласна. Бабу свою уговорю, а нет — страхом возьму. Посмотри-ка, как гласят законы-то...

— Пойдем, пойдем, — сказал отец Ипат, на ходу заправляя за голенище выбившуюся штанину. — Только напрасно это ты; нехорошо, нехорошо, зело борзо паскудно. Как отец духовный говорю тебе. Оставь! Право, ну...

— А не хочешь, так я в городе и почище тебя найду. Прощай!

— Постой, постой... Остынь маленько.

19

Надвигался вечер, и вместе с ним с запада наплывали тучи, небо вновь облекалось помаленьку в хандру и хмурь.

Солнце скрылось в тучах, но в том далеком краю, где Синильгин высокий гроб висит, солнце ярко

горело, жгло. И тело Синильги, иссохшее под лютым морозом, жарой и ветром, лежало в колоде уныло и скорбно, как черный прах. Вот скоро накроет всю землю мрачная, грозная ночь, однако не лежать Синильге той ночью в шаманьем, страшном своем гробу. Как молния и вместе с молнией Синильга, может быть, разрежет дальний тлен путей, может быть, крикнет милому: «Прохор, Прохор, стой!»

Но никто не остановит теперь Прохора; мысли его сбились, и Прохор свободной своей волей быстро возвращается домой.

— Солнечное затмение какое началось, — поспевая сзади, изрекал Илья Сохатых. — Опять гроза будет в смысле электричества, конечно. А скажите откровенно, Прохор Петрович, откуда берется стрела? Например, помню, еще я мальчишкой был, вдарил гром, нашу знакомую старушку убило наповал, глядь — а у нее в желудке, на поверхности, конечно, стрела торчит каменная вершков четырех-пяти. Прохор Петрович! А что, ежели я вдруг окажусь в родственниках ваших бывших? А?

Сизо-багровая с желтизною туча, сочно насыщенная электрическим заревом, спешит прикрыть весь мир. И маленьким-маленьким, испугавшимся стало все в природе. Под чугунной тяжестью загадочно плывущих в небе сил величавая тайга принизилась, вдавилась в землю; воздух, сотрясаясь в робком ознобе, сгустился, присмирел; ослепший свет померк, смешался с прахом, чтобы дать дорогу молниям; белые стены церкви перестали существовать для взора; сторож торопливо отбрякал на колокольне восемь раз, и колокольня пропала. Пропали дома, козявки, лошади, люди, собаки, петухи. Пропало все. Мрак наступил. Ударил тихий ливень, потом — гроза.

Кто боялся тьмы, — зажигал огонь. Засветила лампу и Анфиса. Часы прокуковали восемь. Ночь или не ночь? По знающей кукушке — вечер, но от молнии до молнии кусками стоит ночь.

Прохор обещал прийти ночью, велел Анфисе у окна сидеть. Сидит Анфиса у окна. Думы ее развеялись, как маково зерно по ветру, нервы ослабели

как-то, но душа взвинтилась, напряглась, ждет душа удара, и неизвестно, откуда занесен удар: может, из тучи молнией судьба грозит, может, кто-то незнаемый смотрит ей в спину сзади, ну таково ли пристально смотрит, — впору обернуться, вскрикнуть и упасть. Анфисе невыносимо грустно стало.

В это время к Прохору, крестясь на порхающий свет молний, вошел отец.

— Ну, как? — настойчиво спросил он и сел на кровать. Его вид упрям, решителен.

Неокрепший после болезни, Прохор сразу же почувствовал всю слабость свою перед отцом и смущенно промолчал, готовясь к откровенному разговору с отцом своим начистоту, до точки.

— Ладно, — нажал на голос отец; припухшие глаза его смотрели на сына с оскорбительным прищуром. — Ежели ты молчишь, так я скажу. И скажу в последний раз.

Он достал вчетверо сложенный лист бумаги и потряс им.

— Вот тут подписано Анфисе всё. Шестьдесят три тыщи наличных. А кроме этого, и те деньги, которые в банке, то есть твои.

— Как?! — резко поднялся Прохор.

— Как, как... — сплюнув, сказал отец. — Был как, да свиньи съели. Вот как. — Он сморкнулся на пол и вытер нос рукавом пиджака. — Я еще в прошлом годе проболтался ей, ну она и потребовала. Она деньгам нашим знает счёт не хуже нас с тобой.

Прохор закусил губы, сжал кулаки, разжал, сел в кресло и хмуро повесил голову, исподлобья косясь на отца-врага.

— Я завтра еду с Анфисой в город, — продолжал отец. — Оформим бумагу и насчет развода смекнем. Одначе бумага будет в силе только после нашей с ней свадьбы. Тут, в бумаге, оговорено. Значит, ты сядешь заниматься делом на Угрюм-реку. Начал у тебя сделан там хороший, а за женой капиталы превеликие возьмешь. Я переселяюсь с Анфисой в наш городишко, а нет — и в губернию. Займусь делом, наживу мильён, Марье же, то есть ненаглядной

матери твоей, остается здесь дом и лавка с товаром. При ней, то есть при лавке и при матери, — Илья. Чуешь? Кроме всего этого, твоя мать собирается в монастырь. Это ее дело. Ну, вот. Кажется, никого не обидел. Разве что тебя. Прости уж. Иначе нельзя было: Анфиса прокурором грозит. А ежели не уважить ей, да она грязь подымет, и тебе Нины не видать, и сразу нищие мы стали бы, навек опозоренные. Вот что наделал родитель мой, а твой дед Данила-разбойничек, царство ему небесное. — Петр Данилыч говорил хриплым, как у старой цепной собаки, голосом; покрытые шерстью руки его лежали подушками на рыхлых коленях, на вороте потертого пиджака блестел льняной длинный волос Анфисы.

Прохор взволнованно теребил бледными пальцами свисавший на лоб черный чуб.

— Когда видел Анфису в последний раз? — отрывисто спросил он, вскинув голову.

— Сегодня, пока ты на охоту с Илюхой ходил.

Прохор посмотрел в лицо отца сначала серьезно, затем губы его скривились в язвительную улыбку; он зло отчеканил:

— Врешь. К чему ты врешь, отец? Анфиса не могла тебе этого сказать, насчет вашей женитьбы... Не могла!

— Это почему такое?.. — И кровать заскрипела под отцом.

— А вот почему... — Набирая в сердце смелость, Прохор неверным крупным шагом прошелся по комнате, подошел к окну: черные стекла омывались черным ливнем. — Вот почему. — Он встал лицом к отцу, уперся закинутыми назад руками в холодный подоконник и, запрокинув голову, решительно сказал: — Потому, что я подлец, я изменил Нине, я хочу жениться на Анфисе. Я ей об этом сказал.

Отец сощурился, затрясся в скрипучем смехе, ему нахально вторила скрипучая кровать.

Прохор стал недвижим; его лицо густо заливалось краской, нервы готовили в организме бурю.

— Я ее люблю и не люблю! — сдавленно закричал он, глаза его прыгали. — Я и сам не знаю. Я только

знаю, что я подлец... И... Дело было так... Я пришел к ней... Я говорил ей, что ты согласен на все... То есть согласен жениться на ней и все подписать ей. Она... она... она это отвергла. Тогда я сказал, что, женившись на Нине, я обещаюсь быть ее... этим, как его?.. Быть ее любовником. Она отвергла. Она... она... потребовала, чтоб я женился на ней. Категорически... Безоговорочно... Я наотрез отказался. Это ночью... На другой день... Помнишь, я бежал из дому?.. Она ехала в город, везла прокурору улики. Я догнал ее. И мне... И я... Она вырвала от меня клятву, что я женюсь на ней. Так что ж мне делать теперь?! Отец!.. Что ж мне делать?! Или ты врешь, отец, что она сегодня согласилась быть твоей, или она — стерва... Нехорошая, грязная тварь... Отец!! Что ж делать нам с тобой?.. Отец... — Прохор с воем шлепнулся на широкий подоконник и припал виском к сырому косяку.

Блеснула молния, треснул раскат грома. Отец перекрестился.

— Свят, свят, свят... — и вновь засмеялся сипло и свистяще. — Дурак... Дурак! Что ж, ты думаешь, она любит тебя?.. Любит?

— Я уверен в этом... Любит... И я, подлец, люблю ее... Да, да, люблю! — весь дрожа, крикнул Прохор и, вскочив, посунулся к отцу. — Отец, я женюсь на ней!..

— Дурак... По уши дурак!.. Как же она может любить тебя, ежели она второй месяц от меня в тягостях?.. Брюхатая... — уничтожающе-спокойно сказал отец.

Это отцовское признание сразу разрубило сердце Прохора на две части. Он несколько секунд стоял с открытым ртом, боясь передохнуть. Но необоримая сила жизни быстро опрокинула придавивший его столбняк. В разгоряченной голове Прохора мгновенно все решилось, и все ответы самому себе заострились в общей точке: *личное благополучие*. Это утверждение своего собственного «я» теперь было в душе Прохора, вопреки всему, незыблемо, неотразимо. Картины будущего сменялись и оценивались им с молниеносной быстротой.

Вот Анфиса — жена Прохора: значит, наступят бесконечные дрязги с отцом, капитала Нины Куприяновой в деле нет, значит, широкой работе и личному счастью Прохора — конец. Вот Анфиса — жена отца, значит, капитал Нины Куприяновой в деле, зато в руках мстительной Анфисы — вечный шантаж, вечная угроза всякой работе, жизни вообще. Значит, и тут личному благополучию Прохора — конец. Конец, конец!

Все смертное в Прохоре принизилось, померкло. Вне себя он закричал в пространство, в пустоту, в сомкнувшуюся перед ним тьму своей судьбы:

— Беременна? От тебя?! Врешь!.. Врешь, врешь, отец!!

И крик этот не его: неуемно кричала в Прохоре вся сила жизни.

Врал, врал отец на Анфису, врал! Он врал на нее тоже ради личного своего благополучия, в защиту собственного «я», вопреки даже малому закону правды. И врал, в сущности, не он: лишенная зрячих глаз, в нем говорила все та же сила жизни.

Оклеветанная же Петром Данилычем Анфиса все еще сидела у громучего окна, смотрелась в сад, в тьму, в молнию и снова в продолжительную тьму, как в свою собственную душу: такова вся жизнь Анфисы — молния и тьма.

И час, и два, и три прошло. И все забылось, и слезы высохли — не надо этой ночью грустить и плакать: этой разгульной бурной ночью в ее душе снова благоволение и мир. Ослепительные молнии теперь не страшны ей, мертвые раскаты грома не смогут приглушить в ней живую жизнь: вот-вот должен прийти он, ее властитель, Прохор.

Анфисина душа бедна словами, как и всякая душа. Не умом, не разумом человечьим скудным думала Анфиса, — все существо ее охвачено волной животворящих сил.

Прохор обещал прийти ночью, велел Анфисе у окна сидеть. Сидит Анфиса возле открытого окна,

а сзади, на столе, ярко светит лампа, и Анфиса в окне — будто картина в раме. Окно выходит в сад, и, кроме молнии, никто Анфисой любоваться не может. Разве что черви, выползшие из нор на теплый дождь. Но черви безглазы. А друга нет и нет.

Ты помнишь ли, Прохор Петрович, друг, ту странную ночь в избушке, когда филин свой голос подавал, помнишь ли, как целовал тогда свою Анфису, какую клятву непреложную приносил Анфисе в вечной любви своей? Вспомни, вспомни скорей, Прохор, мил дружок, пока нож судьбы твоей не занесен: грешница Анфиса под окном сидит, безгрешное, праведное ее сердце томится по тебе... Но где же друг ее? Где радость тайной свадьбы?

Радуйся, Анфиса, приносящая нетронутую чистоту свою возлюбленному Прохору! Радуйся, что замыкала чистоту от всех: ни пристав, ни Шапошников, ни Илья Сохатых, ни даже — и всего главнее — Петр Данилыч не услаждались с тобою в похоти. Радуйся, что оклеветанная утроба твоя пуста, и Петр Данилыч не смоет с себя подлой лжи своей пред сыном ни кровью, ни слезами. Радуйся, радуйся, несчастная Анфиса, и закрой свои оскорбленные глаза в примирении с жизнью!

Слушая эти мысли в самой себе, Анфиса глубоко вздохнула, и глаза ее действительно закрылись: ослепительная молния из темной гущи сада, а грома нет. Нет грома! «Чудо, — подумала Анфиса, — чудо». И не успела удивиться...

Первый час ночи. Гроза умолкла, а мелкий, утихающий дождь все еще шуршит. К комнате Прохора по коридору мокрые, грязные следы. Что-то напевая под нос, Прохор прошел в теплых сухих валенках в кухню, сам достал из печи щей и съел. Поднялась с постели кухарка.

— Дай мне есть, — сказал Прохор.

Поел каши.

— Еще чего-нибудь.

— Да Христос с тобой. Пахал ты, что ли?

— Нет ли баранины? Нет ли кислого молока?

Завернул к Илье, разбудил его, заглянули вдвоем в каморку Ибрагима — пусто, черкеса нет. Снова вернулись в комнату Ильи Сохатых. Прохор пел песни, сначала один, затем — с приказчиком. Угощались вином. Прохор звал Илью навестить Анфису. Приказчик отказался.

— Нет, знаете, гроза... Я усиленно молнии боюсь.

Окно его комнаты было действительно наглухо завешено двумя одеялами.

Вскоре пришел Ибрагим, и — прямо к себе в каморку. Он разулся, разделся, вымыл в кухне свои сапоги, насухо выжал мокрый бешмет, мокрое белье, развесил возле печки, на которой сытно всхрапывала Варвара, и завалился в своей каморке спать. Его прихода не заметили ни Илья, ни Прохор: они пели, играли на гитаре.

Илья быстро захмелел, Прохора же не могло сбороть вино. Прохор бросил песни и долго сидел молча, встряхивал головой, как бы отбиваясь от пчелы. Глаза его горели нездорово. Наконец сказал, выдавливая из себя слова:

— А все-таки... А все-таки она единственная. Таких больше нет... Люблю ее... Только ее и люблю.

— Да-с... Барышня, можно сказать, патентованная... Нина Яковлевна-с...

— Дурак!.. Паршивый черт!.. Ничего не понимаешь, — мрачно прошипел сквозь зубы Прохор.

И вновь упорное сосредоточенное молчание овладело им: глядел в пол, брови сдвинулись, нос заострился, лоб покрыли морщины душевной, напряженной горести. Вдруг Прохор вздрогнул с такой силой, что едва не упал со стула.

— Отведи меня, Илья, на кровать, — похолодев, сказал он. — Тошнит... Устал я очень...

Устали все. Даже дождь утомился, туча на покой ушла.

А как выглянуло утреннее солнце, узнали все: Анфиса Петровна убита. Ее убил злодей.

20

Первая узнала об этом потрясучая Клюка.

— Иду я, светик мой, мимо ее дома, царство ей небесное, глядь — что за оказия такая: в небе Христово солнышко стоит, а в открытом оконце у Анфисы свет, незагашенная лампа полыхает. Окроме этого оконца, все ставни заперты. Я кой-как, кой-как перелезла в сад, кричу: «Анфиса, Анфиса!» Ни вздыху, ни послушания. И поди мне в ум, уж не громучей ли стрелой из тучи грянуло. Кой-как, кой-как вскарабкалась я на фунтамен, да в окошко-то возьми и загляни. Господи ты, боже мой! И лежит моя красавица на полу, белы рученьки раскинуты поврозь, ясны глазыньки закрытые, бровушки соболиные этак по-отчаянному сдвинулись... Вот тебе Христос!.. А во лбу-то дырка не великонька, и кровь через висок да на пол... Вот ей-боженьки, не вру, истинная правда все, ей-богу вот! А громучей стрелы не видать нигде, только стульчик опрокинутый и бархатное сиденьице вывалилось, на особицу лежит. Я, грешница, как всплеснула рученьками, да так на землю и кувырнулась... Убил мою горемыку праведный господь, громучей стрелой убил и душу вынул. Вот, господин урядник, весь и сказ мой, вот...

Урядник проворно умылся, выпил наскоро чайку и — к приставу.

— Вашескородие!.. Имею честь доложить: мадам Козырева сегодняшней ночью убита при посредстве грозы в висок.

По селу Медведеву, от двора к двору шлялась-шмыгала потрясучая Клюка. Проскрипит под окном:

— Хрещеные! Анфису громом убило, — и, спотыкаясь, дальше.

А мальчишки, не расслышав, кричали:

— Анфису Громов убил!.. Анфису убили... Айда! — и неслись к Анфисиному дому.

Туда же спешил и пристав с местными властями. Церковный сторож благовестил к обедне. Отец Ипат, торопясь догнать начальство, крикнул на колокольню:

— Эй, Кузьмич, слезавай! Обедню — ша! К господу! — и помахал рукой.

Сначала осмотрели открытое окно со стороны сада.

— Какая же это гроза?.. Это, наверно, из ружья гроза... — зло покашливая и пожимая плечами, говорил сутулый чахоточный учитель, Пантелеймон Рощин, приглашенный в понятые.

— Да, да. Факт... Скорей всего... — плохо соображая, согласился пристав, давно небритое лицо его бледно, он, ежась, горбился, наваченная грудь нескладно топорщилась, болел живот.

Кузнец отпер отмычкой двери. Безжизненная темная тишина в дому. Открыли ставни. Стало светло и солнечно. Зевак и мальчишек отогнали прочь.

Увидав труп Анфисы, пристав попятился, прикрыл глаза вскинутой ладонью — на солнце бриллиантик в перстне засиял, — затем присел к столу, махнул десятскому:

— Мне бы воды... Холодной.

Анфиса лежала в лучшем своем наряде: голубой из шелку русский сарафан, кисейная рубашка, на плечи накинут парчовый душегрей, на голове кокошник в бисере, во лбу, ближе к левому виску — рана и темной струйкой запекшаяся кровь.

Отец Ипат творил пред образом усердно молитву и все озирался на усопшую. Лицо его одрябло, потекло вниз, как сдобное тесто.

— Помяни, господи, рабу твою Анфису, в оный покой отошедшую. Господи! Ежели не ты запечатал уста ее, укажи убийцу, яко благ еси и мудр...

Следователя не было — он уехал на охоту в дальнюю заимку, — за ним поскакал нарочный.

— Прошу, согласно инструкции, ничего не шевелить до следователя, — официально сказал пришедший в себя пристав.

Чиновные крестьяне тоже крестились вслед за батюшкой, вздыхали, жалеючи покашливались на покойницу. За ночь в открытое окно налило дождя, по полу во все стороны дождевые ручейки прошли. Зоркие, ныряющие во все места глаза учителя задержались

на скомканной в пробку, обгорелой бумаге. Он сказал приставу:

— Без сомнения, это из ружья пыж.

Пристав, посапывая, несколько согнулся над пробкой, проговорил:

— Факт... Пыж... — и голос его как картон, — не жесткий и не дряблый: хрупкий.

Пристав полицейского дознания не производил: завтра должен приехать следователь. Значит, можно по домам.

Чиновные крестьяне опять покрестились в передний угол, вздохнули и пошли.

— До свиданьица, Анфиса Петровна... Теперича полеживай спокойно. Отстрадалась. Ах, ах, ах!.. И кто же это мог убить?

Ставни закрыли, дверь заперли, припечатали казенной печатью. Шипящий, с пламенем, сургуч капнул приставу на руку. Пристав боли не ощутил и капли той даже не заметил. К дому убитой десятский нарядил караул из двух крестьян.

Пристав возвращался к себе один. Он пошатывался, спотыкался на ровном месте, ноги шли сами по себе, не замечая дороги. Часто вынимая платок, встряхивал его, прикладывал к глазам, крякал. Дома сказал жене:

— Анфиса Петровна умерла насильственной смертью. Дай мне вот это... как его... только сухое... — и, скомкав мокрый платок, с отчаянием бросил его на пол.

После крупного, во время грозы, разговора с сыном Петр Данилыч от неприятности напился вдрызг. Он не пил больше недели, и вот вино сразу сбороло его, — упал на пол и заснул. Илья Сохатых подложил под его голову подушку, а возле головы поставил на всякий случай таз.

Петр Данилыч до сих пор еще почивает в неведенье. Спит и Прохор.

Ибрагим тоже почему-то не в меру заспался сегодня. Его разбудил урядник.

— Ты арестован, — сказал он Ибрагиму и увел его.

Илья Сохатых разбудил Прохора. Когда Прохор пришел в чувство, Илья вынул шелковый розовый платочек, помигал, состроил скорбную гримасу и отер глаза.

— Анфиса Петровна приказала долго жить.

— Ну?! — резко привстал под одеялом Прохор. — Обалдел ты?!

— Извольте убедиться лично, — еще сильнее заморгал Илья и вновь отерся розовым платочком.

Прохор вытаращил глаза и, сбросив одеяло, быстро свесил ноги.

— Ежели врешь, я тебе, сукину сыну, все зубы выну... Где отец?

— Спят-с...

— Убита или ранена?

— Наповал злодей убил-с...

— Кто?

— Аллаху одному известно-с... Ах, если б вы знали, до чего... до чего... до чего я...

— Буди отца... Где Ибрагим?

— Арестован...

— Буди отца!! — с каким-то слезливым придыханьем прокричал Прохор. Руки его тряслись. Он принял валерьянки, поморщился, накапал еще, выпил, накапал еще, выпил, упал на кровать, забился головою под подушку и по-звериному тяжело застонал.

— Петр Данилыч!.. Петр Данилыч, да вставайте же... — тормошил Илья хозяина. Тот взмыкивал, хрипел, плевался. — Да очнитесь бога ради!.. Великое несчастье у нас... Анфиса Петровна умерла.

— Что, что? Где пожар?! — оторвал хозяин от подушки отуманенную водкой голову свою.

— Пожара, будьте столь любезны, нет, а убили Анфису Петровну. Из ружья... в их доме...

— Убили? Анфи...

Хозяин перекосил рот, вздрогнул, какая-то сила подбросила его. Правый глаз закрылся, левый был вытаращен, бессмыслен, страшен, мертв.

— Хозяин! Петр Данилыч!.. — закричал Илья и выбежал из комнаты.

Перекладывали хозяина с пола на пуховую кровать кухарка, Прохор и Илья. У Петра Данилыча не открывался правый глаз, отнялась правая рука с ногой, и речь его походила на мычание.

Илья заперся в своей комнате, на коленях усерднейше молился.

— Упокой, господи, рабу божию Анфису... Со святыми упокой!.. — Сердце же его радовалось: хозяин обязательно должен умереть, — значит, Марья Кирилловна, Маша овдовеет. — Дивны дела твои, господи! — бил в грудь веснушчатым кулачком своим Илья, стукался обкудрявленным лбом в землю. — Благодарю тебя, господи, за великие милости твои ко мне... Вечная память, вечная память...

21

Следователь, Иван Иваныч Голубев, приехал к вечеру. Он — невысокий, сухой старик с энергичным лицом в седой, мужиковской бороде, говорит крепко, повелительно, однако может прикинуться и ласковой лисой, к спиртным напиткам имеет большую склонность, как и прочие обитатели сих мест. Он простудился на охоте и чувствовал себя не совсем здоровым: побаливала голова, скучала поясница.

Тотчас же началось так называемое предварительное следствие.

Анфису Петровну посадили к окну на стул, локти ее поставили на подоконник. Анфиса не сопротивлялась. Бледно-матовое лицо ее — мудреное и мудрое. Анфиса рада снова заглянуть в свой зеленеющий сад, не в тьму, не в гром, а в сад, озлащенный веселым солнцем, —но земная голова ее валилась. Голову стали придерживать чужие, чьи-то нелюбимые ладони, Анфиса брезгливо повела бровью, но ни крика, ни сопротивления — Анфиса покорилась.

К ране на лбу приложили конец шнура и протянули шнур дальше, в сад, чтобы определить примерный рост убийцы и с какого пункта произведен был выстрел.

— Так подсказывает логика, — пояснил следователь.

Тут вышла малая заминка: незыблемая логика лопнула, застряла между гряд. Следователь встал на гряду, в то место, куда привели его логика и шнур, и прицелился из ружья Анфисе в лоб.

— Да, — и он раздумчиво почесал горбинку носа. — При моем росте — с гряды как раз. А ежели разбойник значительно выше меня, он мог и из-за гряды стрелять. Да.

Земля на соседних грядах по направлению к забору подозрительно примята, но ливень смыл следы.

— Убийство произошло до ливня, во время ливня, но ни в каком случае не после, — уверенно сказал следователь, и все согласились с ним.

Следователь записал в книжку краткое: «Сапоги».

Определили, где перелезал злодей через забор: присох к доскам посеревший за день чернозем, видны царапины от каблуков. Вернулись в дом.

— Завтра утречком придется череп вскрыть, пулю вынуть, — приказал следователь фельдшеру Спиглазову, заменявшему врача.

Учитель обратил внимание следователя на валявшийся пыж.

— Знаю, знаю, — поморщился следователь; легонько вскрикнув и хватаясь за поясницу, он нагнулся, поднял бумажную пробку, внимательно осмотрел ее и стал осторожно развертывать. — Удивительно, как пыж мог влететь сюда. Очевидно... туго сидел в стволе...

Желтое, сухое лицо учителя покрылось пятнами.

— Газета, — сказал следователь, — оторванный угол от газеты. Урядник! Кто выписывает «Русское слово»?

— Громовы! — с радостной готовностью прокричал учитель.

— Так точно, господин следователь, Громовы! — учтиво стукнул урядник каблук в каблук.

Следователь записал: «Уголок газеты».

Пошли к Громовым. Дорогой один из крестьян сказал следователю:

— Тут к ней, к покойнице, вашескородие, еще один человечек хаживал, царство ей небесное...

— К покойнице или к живой?

— Никак нет, к живой... Шапкин... У него имеется ружье. И газеты читает...

Следователь кратко записал на ходу: «Ш. руж.» У Громовых расположились почему-то в кухне. Хозяев не было, одна кухарка. Как только сели за кухонный артельный стол, Варвара сразу же заплакала.

— Не плачь, — успокоил ее следователь. — А лучше скажи, когда вчерашней ночью пришел домой Ибрагим-Оглы?

— А я, конешно, не приметила, когда... Я уже после грозы легла, уж небушко утихать стало... Его все не было.

— А когда вернулся Прохор Петрович?

— Не приметила. Только что они ночью кушали шибко много щей с кашей да баранины. Потом ушли к Илье.

Илья Сохатых давал показания сначала бодро, отставив правую ногу и легкомысленно заложив руку в карман.

— Ибрагим, по всей вероятности, прибыл к месту нахождения перед рассветом. Ночью мы с Прохором Петровичем заглядывали к нему, но обнаружения в ясной видимости не оказалось.

— Говорите проще. В чем Прохор Петрович был обут?

— В пимах-с, в валенках-с. Потом они вертоузили на гитаре, конечно.

— Не пришлось ли вам вчерашней ночью или сегодня утром мыть чьи-нибудь грязные сапоги?

— Нет-с... Как перед богом-с.

— Умеете ли вы стрелять из ружья?

— Оборони бог-с... Как огня боюсь... Когда Прохор Петрович производит выстрелы на охоте, я затыкаю уши. Например, вчера...

— Не приходилось ли вам стрелять когда-нибудь из собственного револьвера в цель? В лопату, например?

— Никак нет-с... Впрочем, обзирая прошлые события, да, стрелял-с...

— Принесите револьвер...

Прохор лежал в кровати. На голове компресс. Фельдшер удостоверил его болезнь.

— Давно ли хвораете? — присел следователь на стул.

— Давно... Поправился, а потом опять... Меня лечил городской врач.

— Знаю... — Следователь пыхнул дымом папироски, подъехал со стулом вплотную к Прохору и, пристально глядя в его глаза, со скрытой какой-то подковырочкой раздельно произнес:

— А не убили ль вы вчера... — и задержался.

Прохор сорвал с головы компресс и порывисто вскочил:

— Что? Кого?.. Вы что хотите сказать?..

— Лежите, лежите... Вам волноваться вредно, — ласково проговорил следователь, мельком переглянулся с учителем и приставом и положил свою руку на дрожавшее колено Прохора. — Вы думали — я про Анфису Петровну? Что вы, Прохор Петрович, в уме ли вы? Я про охоту... Вчера, днем, с Ильей Сохатых... Убили что-нибудь в поле, или ружьецо у вас чистое?..

— Вряд ли чистое... Я стрелял, убил утку, но не нашел...

— Так-с, так-с... Убили, но не нашли... Урядник, подай сюда ружье Прохора Петровича.

Пристав дословно все записывал, его перо работало непослушно, вспотычку, кое-как.

Следователь привычной рукой охотника переломил в затворе ружье и рассматривал стволы на свет.

— Да, ружьецо добро... Льеж... Стволы дамасские, один ствол чокборн... Копоть свежа, вчерашняя, тухлым яичком пахнет... А почему ж копоть в том и другом стволе? Ведь вы ж один раз стреляли?

— Один, впрочем, два... Мне трудно припомнить теперь... Голова...

Следователь достал из-под кровати сапог с длинным голенищем:

— Почему чистые сапоги? Кто мыл?

— Сам... Впрочем... Да, да, сам.

— Вы переобулись в пимы после охоты или же после того, как вчерашней ночью вернулись из сада Анфисы Петровны? — старался следователь поймать его на слове.

— После охоты, конечно, — с испугом сказал Прохор. — Да, да, после охоты, — добавил он и приподнялся на локте. — А все-таки странно.

— Что странно?

— Вы сбиваете меня... Что за... за... наглость? — Он лег, закрыл глаза и положил широкую ладонь свою на лоб. Пальцы его руки вздрагивали, в спокойном на вид, но все же обиженном лице волнами ходила кровь: лицо и бледнело и краснело.

Вполне довольный своей игрой, следователь сглотнул слюни, как пьяница пред рюмкой водки, и ласково проговорил:

— А почему? Ведь вот почему я вас про сапоги спросил: на одной из гряд в саду Анфисы Петровны восемь гвоздиков вот этих отпечаталось, что в каблуке. Не угодно ли взглянуть? — И следователь, постукивая по каблуку карандашом, поднес сапог к самому носу Прохора.

Тот открыл обозленные глаза, оттолкнул сапог и в лицо следователя крикнул:

— Убирайтесь к черту! Я не был там...

— Фельдшер! — крикнул и следователь. — Дайте ему успокоительного. А мы пока к хозяину заглянем. — Следователь чувствовал, что с «каблуками» немножечко переборщил, и на этот раз остался собою недоволен.

Петр Данилыч замахал на вошедших рукой и злобно что-то замычал, пошевеливаясь на кровати всем грузным телом.

Удостоверились в его болезни, в возможной причине ее и вернулись в комнату Прохора. Илья Сохатых терся тут же, ко всему прислушивался, двигал

усиленно бровями, творил тайную молитву; в его руках маленький старинный револьвер.

Прохор демонстративно лежал теперь лицом к стене.

Следователь заговорил, глядя ему в затылок:

— Ну вот, Прохор Петрович, весь допросик и закончился. Пока, конечно... Пока. Вы спите, нет? Вот что я хотел спросить. Мне бы надо позаимствовать у вас дюжинки две пыжей. У вас, наверное, и картонные и войлочные есть? Или все вышли? Может быть, пыжи из бумаги делаете?

— Илья! Дай им пыжей две дюжины...— все так же лежа к стене, приказал Прохор.

Следователь взглянул на две жестянки пыжей, услужливо предъявленных ему Ильей Сохатых, и то, что пыжи нашлись в запасах Прохора, следователю было тоже не совсем приятно.

— И еще знаете что? — привстал на цыпочки и опустился следователь. — Одолжите на денечек номерка два-три «Русского слова» почитать... Где у вас газеты? Не в этом шкапчике? — Он открыл стеклянный шкаф и вытащил ворох газет.

Прохор молчал. Следователь подошел к нему, сказал официально, сухо:

— Теперь потрудитесь повернуться к следователю лицом. Вот видите ли, — продолжал он, тыча в верхний лист газеты, — тут уголок оторван. Не можете ли сказать, куда делся уголок?

— Мало ли куда? Ну, мало ли куда... Я не припомню... — смущенно пролепетал Прохор; его глаза бегали по лицам присутствующих, как бы ища поддержки.

— Извините великодушно, — выступил Илья Сохатых, держа руки по швам. — Этим уголочком я попользовался, будучи «до ветру», когда шел.

— Вы это крепко помните? — строго спросил его следователь. — Ежели этот уголок оторвали вы, то я сейчас же прикажу вас арестовать!

Илья Сохатых отступил на шаг, лицо его вытянулось ужасом, он всплеснул руками и воскликнул:

— Господин следователь! Ради бога!.. За что же это?

— А вот за что...— Следователь вынул из портфеля прожженный в нескольких местах смятый кусок газеты и приложил его к оборванному газетному листу.— Вот за что. Этот кусок найден в комнате, где убита была Козырева, этим куском был запыжен выстрел убийцы.

— Господин следователь! — И обомлевший приказчик повалился суровому старику в ноги.— Ей-богу я не отсюда вырвал, ей-богу!.. Я вырвал на масленице, в прошлом году еще... Я...

— Наврал? — И следователь приказал Илье подняться.

— Наврал, так точно... Наврал, наврал. Черт подтолкнул меня...

— Молодого хозяина выгородить хотел?

— Так точно. Да.

Следователь дружески подмигнул приказчику, откашлялся и плюнул за окно.

— Ну, до свиданья, Прохор Петрович,— пожал он руку Прохора.— Ого! А ручка-то горячая у вас. Поправляйтесь, поправляйтесь. Десятский! Останешься при больном. А вы, господин Громов, пожалуйста — никуда, посидите дома денечка три-четыре. Пожалуйста.— Он вложил в портфель номер газеты, угол которой был оторван, и двинулся к выходу. От дверей сказал сухо:

— А я вам, господин Громов, серьезнейшим образом рекомендую вспомнить об этом клочке бумаги, о пыже. О сапогах тоже. Почему именно вы, вы, а не кухарка, отмыли на сапогах грязь с огородных гряд?

— Газету мог оторвать и Ибрагим-Оглы,— вяло проговорил Прохор, следя взглядом за ползущей по стене мокрицей.

— Не спорю, не спорю,— быстро согласился следователь.— Папаша мог газету взять, мамаша могла взять, кухарка могла. Меня интересует в сущности не это,— следователь тоже взглянул на мокрицу,— мокрица упала.— Мне интересно знать, кто вогнал из

этого клочочка пыж в ружье, кто Анфису Козыреву убил? — пристукнул он два раза по портфелю кулаком. — Ну, да мы помаленьку разберемся. До свиданья, господин Громов.

И все ушли.

Взволнованный, пораженный событиями, измученный допросом, Прохор лежал молча битый час. Потом, призвав Илью, приказал ему немедленно же ехать с известием к Марье Кирилловне и в город за доктором. Потом прошел к болевшему отцу, а к вечеру действительно занемог, свалился.

Следственная же комиссия от Громовых завернула к Шапошникову, завернула попутно, «для проформы», потому что опытный следователь почти был убежден, кто всамделишный преступник.

Заплеванный, с распухшим сизым носом и подбитым глазом, Шапошников лежал на кровати, привязанный холщовыми ручниками к железной, вбитой в стену скобке. Он встретил пришедших всяческой бранью, плевками, гнал всех вон, плел несусветимую ахинею.

Хозяин избы Андрон Титов сказал следователю:

— Связать пришлось: вроде помрачения ума, вроде как мозга ослабла у него, у Шапкина-то. Две недели, почитай, без передыху пил. Потом, вижу, пошаливать начал, вижу, в речах сбивается, нырка дает. А сегодня пришел к нему, гляжу — он печурку разжег и варит щи в деревянной шайке. Опрокинул я щи, а там беличье чучело лежит, куделей набитое. А он кричит на меня: «Отдай говядину! Отдай говядину!» А так он парень хороший, смирный. И ума палата. Все науки превзошел... Вчерашнюю ночь никуда не отлучался...

При больном оставили фельдшера Спиглазова. Он дал больному успокоительных капель, развязал его, напоил чаем. Шапошников спокойно уснул — первый раз за две недели.

К ружьям Прохора, Ибрагима-Оглы и револьверу Ильи Сохатых следственная комиссия присоединила для порядка и ружье Шапошникова.

В селе Медведеве коротали срок ссылки еще восемь политических. Хотя Шапошников, замкнутый и сосредоточенный, с ними дружбы не водил, однако двое из них, узнав о болезни товарища, пришли навестить его.

Сестра Марьи Кирилловны, Степанида Кирилловна, стала неожиданно поправляться. Благочестивая Марья Кирилловна относила это к божьему благоволению и собиралась дня через два ехать восвояси. Но радости в сердце не было: дряблое, больное ее сердце томительно скучало, тонуло в безотчетно надвигавшемся на нее страхе. Животный этот страх усилился, окреп прошедшей ночью. Как стала погасать гроза, Марья Кирилловна уснула. Видела во сне: она голая, голый Прохор, голая Анфиса. Их оголил какой-то зверь, только нет у того зверя ни имени, ни вида. И грозный голос твердил ей в уши: «Кольцо, кольцо». С тем проснулась.

А поздним вечером, уже спать хотела лечь она, бубенчики забрякали, пара коней катила по дороге.

«Кто таков? Уж не от нас ли?»

Так и есть: Илья.

Ласково Илья со всеми поздоровался, даже к болящей Степаниде со льстивыми речами подошел, Марью же Кирилловну совсем по-благородному чмокнул в ручку. Марья Кирилловна растерялась, сконфузилась и, по-своему читая веселое лицо Ильи, спросила спокойно:

— Слава ли богу у нас, Илюшенька? За мной, что ли? Ишь надушился как...

— Разрешите, Марья Кирилловна, по дорожке пройтись, с глазу на глаз чтобы, одно маленькое дельце есть.

— Дорожки теперь грязные, а пойдем в другую комнату.

Вошли. Марья Кирилловна сыпала про близких своих вопросы, он молчал. Дом был хороший, на городской манер. Илья притворил дверь, с приятной улыбкой достал из кармана футляр с колечком, опустился на колени и, не щадя новых брюк своих,

пополз на коленях, словно калека, к усевшейся в угол хозяйке.

— Марья Кирилловна, Маша! — зашептал он сдавленным голосом, его душили слезы, и, как на грех, слюна заполнила весь рот. — Маша, не обессудь, прими... — Он сперва поблестел супиром перед глазами изумленной женщины, затем ловко надел кольцо ей на палец.

Женщине было приятно отчасти и не хотелось подымать в чужом доме шуму. Отталкивая льнувшего к ней со слюнявым ртом Илью, она торопливо говорила:

— Ну, ладно, ладно... Отвяжись... Я девка, что ли, для колец для твоих?

— Мирси, мирси... — вздыхая и заламывая свои руки, с чувством сказал Илья. — И вот еще что... Выслушай, Маша, рапорт. — Он поднялся, отряхнул брюки, закинул назад чуб напомаженных кудрей, откашлялся.

— Прохор Петрович... Или даже так... — начал он, подергивая головой. — Петра Данилыча... сегодня утром...

Марья Кирилловна вскочила, поймала его руки:

— Да говори же, черт! — И топнула.

— Успокойтесь, не волнуйтесь... Все мы во власти аллаха... Значит, вчерашней ночью Анфиса Петровна застрелена из ружья. Петра Данилыча, конечно, паралич разбил, без языка лежит. На Прохора Петровича подозрение в убийстве.

Пронзительный крик Марьи Кирилловны ошеломил Илью. Надломанно схватившись за сердце и за голову, она еле переставляла ноги по направлению к двери. У приказчика задрожали колени, и мгновенный холод прокатился по спине.

— Ради бога, ради бога! — бросился он вслед терявшей сознание хозяйке. — Не бойтесь... Ибрагим арестован, это он убил...

Но Марья Кирилловна вряд ли могла четко расслышать эту фразу: глаза ее мутны, мертвы; хрипя, она грузно повалилась. Илья бессильно подхватил ее и закричал:

— Скорей, скорей!.. Эй, кто там!..

Марья Кирилловна Громова скончалась.

Ночью, убитый горем и растерянный, мчался с бубенцами в город Илья Сохатых. Глаза его опухли, он то и дело плакал, сморкался прямо на дорогу, шелковый розовый платочек его чист. А в кармане, в сафьяновом футлярчике, снятое с руки усопшей кольцо-супир.

Ночью же выехала подвода в село Медведево. На телеге — прах Марьи Кирилловны во временном, наскоро сколоченном гробу.

Той же ночью фельдшер точил на оселке хирургические инструменты, чтоб завтра вскрыть труп убиенной, найти пулю, явный, указующий на убийцу перст.

22

Небо в густых тучах. Ночь. Глухая, смятенная, темная. Эта ночь была и не была. Караульный крепко дрыхнул возле Анфисиных ворот.

Стукнуло-брякнуло колечко у крыльца, прокрался Шапошников в дом. И кто-то с черной харей прокрался следом за ним. «Знаю, это черт, — подумалось Шапошникову, — виденица...»

— Анфиса Петровна, здравствуй, — сказал он равнодушно. — Здравствуй и прощай: проститься пришел с тобой.

Гири спустились почти до полу, завел часы, кукушка выскочила из окошечка, трижды поклонилась человеку, трижды прокричала — три часа. Ночь.

И зажглась керосиновая лампа-«молния». Шапошников стал ставить самовар, долго искал керосин, наконец — принес из кладовки целую ведерную бутыль. Вот и отлично: сейчас нальет самовар керосином...

— Здравствуй, здравствуй, — говорил он, заикаясь. В бороде недавняя седина, лицо восковое, желтое, и весь он, как восковая кукла, пустой, отрешенный от земли и странный. Его глаза неспокойны, они видят лишь то, что приказывает видеть им помутившийся, в белой горячке мозг. Он кособоко вплыл в голубую комнату, малоумно вложил палец в рот, оста-

новился. И показалось тут пораженному Шапошникову: Анфиса сидит за столом в лучшем своем наряде, она легка, прозрачна, как холодный воздух.

— Анфиса Петровна, — сцепив в замок кисти рук, начал выборматывать Шапошников. — Скажите мне, *что* вы искали в жизни, и *искали ль* вы что-нибудь? Имеются в природе два плана человеческой подлости: внутренний и внешний. Так? Так. Но внутренний план есть внешний план. И наоборот. Так? Так.

«Так-так», — подсказывал и маятник.

— Я знаю злодея, который хотел умертвить твой внутренний план, Анфиса. Но внутренний план неистребим. И ежели не бьется твое сердце, значит внутренний план убийцы твоего протух... А я качаюсь, я тоже протух весь, я пьян, я пьян. — Шапошников схватился за свои седеющие косички, зажмурился. — Дайте ланцет, давайте искать начало всех начал, — стал размахивать он крыльями-руками, — вот я восхожу на вершину абстракции, мне с горы видней. — И он хлюпнулся задом на пол. — Товарищи, друзья! Нет такого ланцета, нет микроскопа... Человек, человек, сначала найди в своей голове вошь, у этой вши найди в вошиной голове опять вошь, а у той вши найди в ее башке еще вошь. И так ищи века. Стой, стой, заткни фонтан!.. Твой удел, человек, — рождаться и родить. А ты сумей пе-ре-ро-диться. Что есть ум? Твой ум — как зеркало: поглядись в зеркало, и твоя правая рука будет левой. А ты не верь глазам своим... Анфиса Петровна! Зачем вы верили глазам своим, зачем?! — закричал Шапошников и встал на четвереньки. Возле него, припав на лапы, лежал набитый куделью волк, помахивал хвостом, зализывал Шапошникову лысину.

— Ну, ты! Не валяй дурака... Вон отсюда!

Волк взвился и улетел, самовар взвился и улетел. Шапошников хлопнул себя по лбу, осмотрелся. Кухня. Он не поверил глазам своим... Неужели — кухня? Кухня. Он на цыпочках снова прокрался в голубую комнату. Лампа горит под потолком, тихая Анфиса на большом столе лежит. Шапошников упал на холодную грудь ее, заплакал:

— Анфиса Петровна, милая! Ведь я проститься к вам пришел. А я больной, я слабый, я несчастный. Вот, к вам...— Он обливался слезами, бородища тряслась. — Анфиса Петровна! Вы странная какая-то, трагическая. Я помню, Анфиса Петровна, первую встречу нашу: вы прошли перед моей жизнью, как холодное облако, печальной росой меня покрыли. Только и всего, только и всего... Но от той росы я раздряб, как сморчок в лесу. Впрочем, вы не думайте, что я боюсь вас. Нет, нет, нет. Правда, вы похолодели, и глаза ваши закрыла пиковая дама, смерть... Но это ничего, это не очень страшно... Страшно, что в моей голове крутятся горячие колеса, все куда-то скачет, скачет, скачет, куски горькой жизни моей кувыркаются друг через друга. Я погиб. Я потерял вас: я все потерял!.. — Шапошников отступил на шаг, одернул рубаху, улыбнулся. — А я, Анфиса Петровна, этой ночью убегу. Может быть, меня догонит пуля стражника, может, погибну в тайге, только не могу я больше здесь, возле тебя, не могу, не могу: я пьяный, я помешанный. Эх, Шапкин, Шапкин!

Он сплюнул, сдернул пенсне, впритык подошел к большому зеркалу, всмотрелся в него дикими глазами. Но в зеркале полнейшая пустота была, лик Шапошникова в нем не отражался. Был в зеркале гроб, стены, изразцовая печь с душником, а Шапошникова не было. Он стал сразу трезветь, зашевелились на затылке волосы, он вычиркнул спичку, покрутил перед зеркалом огнем. Ни огня, ни руки зеркало не отразило: зеркало упрямилось, зеркало отрицало человека. Шапошников весь затрясся, с жутким воем заорал:

— Где?! Почему, почч-чем-мму я отсутствую?! Врешь, я жив, я жив!! — и быстро погрузил голову в ведро с ледяной водой, отфыркнулся. — Чч-черт, виденица, галлю-галлю-цинация... Брошу, брошу пить. Надо скорее бежать, проститься и бежать... Четвертый час. — Но вода не могла образумить его, выхватить из цепи бредовых переживаний. Однако он на момент пришел в себя. Кухня, все та же кухня,

тот же самовар, ведерная с керосином бутыль. Тихо. Пусто. В голубой комнате грустную панихиду пели. Всех надсадней выводил фистулой Илья.

«Негодяй, — сердито подумал Шапошников. — Бестия... Тт-тоже, воображает!»

Он прислушался к хоровому, заунывному пению, к тому, как постукивают от ветра ставни; ему не хотелось входить в голубую комнату. Мимо двери, ведущей в кухню, неспешно пронесли парчовый гроб Анфисы, и еще, и еще раз пронесли. Шапошников облокотился на косяк и наблюдал. Все видимое — гроб, процессия — казалось ему отчетливым и резким, но очень отдаленным: будто он смотрел в перевернутый бинокль. Он призывно помахал крыльями-руками, чтоб приблизить все это к себе, но жизнь не шла к нему, страшная жизнь удалялась от него в пространство.

За стенами бушевал резкий ветер; ставни скрипели, пошевеливалась скатерть на столе, завывал в печной трубе жалобный вьюжный стон. Шапошников, пошатываясь, сжимал виски, делал напряженное усилие опамятоваться, глаза искали точки опоры... Но все плыло перед его взором, только твердо Анфисин гроб стоял и старенький отец Ипат благолепно кадил, покланиваясь гробу.

— Не вв-верю! Вздор, вв-виденица!

Хватаясь за воздух, он пьяно покачнулся и, чтоб не упасть, крепко уперся о кромку стола, на котором дремала Анфиса. С неимоверной жалостью он уставился в лицо ее. Лицо Анфисы было мудрым, строгим, уста что-то хотели сказать и не могли.

— Милостивая государыня, Анфиса Петровна, — раскачнулся Шапошников всем легким телом, и с волосатых губ его снова сорвался безумный дребезг слов: — Дом сей пуст, хозяйка умерла, собаки спущены. Слышите, слышите, как воет ночь? — И театральным жестом он выбросил к печной трубе запачканную сажей руку. — Милостивая государыня, Анфиса Петровна! Кто утверждает жизнь, тот отрицает смерть. Да здравствует жизнь, Анфиса Петровна, милая!..

Вдруг сзади него — топот, треск, звяк стекла; ведерная бутыль с керосином грохнулась возле трупа Анфисы, и лохматое чудище, с обмотанной тряпкою харей, швырнуло в керосин пук горящей бересты.

— Ай!!! Ты!! — вне себя ахнул обернувшийся Шапошников; глаза его обмерли, полезли на лоб.

Тут вспыхнул, растекся по комнате желтый огонь, тьма заклубилась смрадом и дымом. Безумец вмиг отрезвел, с воплем сорвал с морды чудища тряпку и шарахнулся к выходу. Но дверь крепко снаружи закрыта: ее припер колом проснувшийся на улице сторож. За стенами сумятица: караульный заполошно свистит, крутит трещотку, орет на весь мир:

— Поджигатели! Поджи-га-а-атели!!

И раз за разом слышатся резкие выстрелы.

К безумцу вернулось сознание, и слабые силы его сразу окрепли. Он бросился через ползущее пламя к окну, где убита Анфиса, — ставни там настежь, — но огненный вихрь бушевал там вовсю. Задыхаясь от дыма и страха, он кинулся в кухню, оттуда в чулан, оттуда по лестнице вверх, на чердак...

Еще один миг — и дом человеческий вспыхнул, как порох...

— Пожар! — косматой вьюгой всколыхнулось над селом.

Вдоль улиц сновали люди, стучались в ворота, в окна изб, кричали на бегу:

— Пожар, пожар!

Крестьяне в рубахах и портках выскакивали босиком на улицу и, дико поводя глазами, не узнавали своего села. Господи, что за наваждение: легли спать летом, пробудились ледяной зимой! Действительно, по вчерашним грязным улицам с позеленевшей на лужайке травкой дурила вовсю свирепая пурга, наметая сугробы снега. Опушенные молодой листвой деревья испуганно сгибались в палисадниках, кланялись снежной буре в пояс, умоляя о пощаде. Крылатая пурга несла над селом всполошный благовест набата, мокрый снег облепил все окна, выбелил все

стены изб. Широкое желтое зарево где-то полыхало посреди села.

— Эй, Марфа! Где пимы? Куда полушубок дела?!

— Багры, багры!..

— Хрещеные, пожар!..

Кто на санях, кто на телегах или верхом на лошаденках торопились на пожарище. И уж слышались разорванные ветром голоса:

— Анф...исин... дом... горит...

Пристав давно на деле. Кой-как, общими силами, выкатывают пожарную машину — внутри машины сучка Пипка со щенятами, рассохшиеся бочки пусты, кишка перепрела, лопнула, лошади бьют передом и задом, страшатся зажженных фонарей и гвалта. Пристав пьян, кулак его в крови, грудь нараспашку, из-под усов то и дело площадная брань.

Прохора среди народа не видать: Прохор болен, он в бреду, один, покинутый: матери нет, десятский убежал, Варвара на пожаре, отец без ног, без языка, Ибрагима нет, Илья еще не возвратился.

Набат гудит. Шум на улице все крепнет. А за окном мутный мрак пурги трепещет желтым. Прохор встает, приникает к окну и непонятно говорит:

— Ну вот... Спасибо.

Дом Анфисы на отшибе. Сотни людей окружили его тугим кольцом. Охваченный потоком пламени, он горит с большой охотой, ярко. Метель с налету бьет в пожар, пламя сердито плюет в буруны крутящегося снега плевками огня и дыма, снежный вихрь крутым столбом взвивается над пожарищем и, весь опаленный жаром, уносится вверх, в пургу. Начавшие гнездоваться грачи, разбуженные непогодью и содомом, срываются с гнезд и с тревожным граем долго летают над селом.

На порозовевшей колокольне сменились звонари — старик поморозил этой майской ночью нос и уши,— набатный колокол загудел теперь по-молодому — Васятка Мохов радостно наяривал вовсю, улыбаясь с колокольни веселому пожару. Из церкви вышел крестный ход, хоругви трепало ветром, падал ниц и вновь вздымался жалкий огонек в запрестольном

фонаре, отец Ипат с кадилом шествовал кряхтя — шуба, риза, валенки, ватная скуфейка.

Вскоре дом сгорел дотла.

Пурга угомонилась, ветер стих, народ помаленьку разбредался.

Клюка повернулась к пожарищу, загрозилась скрюченным, как клюв коршуна, пальцем и какимто вещим голосом прокаркала:

— Это господь сполняет свои хитрости и мудрости.

23

Раба божия Мария преставилась во Христе, но без покаянья.

Бодрая, без всякой думы о смерти, она уехала к умирающей сестре своей. Но волею судьбы сестра воскресла, Марья же Кирилловна пережила знойный май, грозу, любовную речь Ильи Сохатых и, нечаянно убитая неумелым и жестоким человечьим словом, возвращается домой белыми майскими снегами в тихом гробу своем. И сквозь крышку гроба дивится тому, что совершилось.

Таков скрытый путь жизни человека. Но этого не знает, не может вспомнить человек. И — к счастью.

По завету древних, — так уж искони положено, — каждому достойному покойнику валят на гробовую колоду кедр. Если б в силе был Петр Данилыч, он, вместе с сыном, выбрал бы самое смолистое, прямое дерево и в два топора свалили бы его на землю. Этим делом заняты теперь двое крестьян по найму и церковный сторож Нефедыч.

Из одного кедра можно бы наделать десяток домовин. Но Марья Кирилловна знатная покойница — ей уготован в жертву целый кедр. Второе же дерево — для праха когда-то обольстительной Анфисы. Может быть, не прогневается она, царство ей небесное, ежели из ее кедра сделают и третью домовину для безвестного покойника.

Следствие не могло в точности установить, кто третий сей мертвец. Следствие установило только, что

в огневую, снежную ту ночь исчез Аркадий Шапошников. Возможно, что он воспользовался суматошными событиями последних дней и бежал, как бегут многие из ссыльных. Возможно, что он исчез не как простой политик, а как презренный разбойник: убил Анфису за отвергнутую любовь свою и скрылся. Возможно также, что не кто иной, а он спалил дом, Анфису и себя.

А вот неоспоримый факт в протокол предварительного следствия почему-то не попал. Арестованный злосчастный караульный на допросе будто бы клялся и божился, что поджигатель убежал, что он, караульный, стрелял в него два раза, глотку перекричал оравши: «Держи, держи его!» — и никто ему на помощь не пришел. На вопрос же: как поджигатель мог проникнуть в дом? — караульный, после нескольких ударов в зубы, будто бы сказал, что одет он, караульный, был по-летнему — жаркая пора стояла, — а этак с полуночи ударила снежная метель, он дрожал-дрожал, да и пошел домой тулуп надеть, а как воротился, «дом внутрях огнем взнялся».

Да, довольно темная история.

Да и все пока темно и скрыто. Ясен голый факт: в развалинах пожарища обнаружены два густо обгорелых трупа. Человеческого мало осталось в них. Где ж гордая краса Анфисы? Нечто скрюченное, жалкое. И удивительное дело: в остывшем тлене видно, что четыре руки, воздевшись в смертных муках, спаяли мертвецов в одно: трупы лежали на боку, лицо в лицо и как бы обнимались. Загадка эта держалась в памяти народа много лет и, наконец, как всё, забылась.

И еще странная случайность: пожар съел все, только часы с кукушкой сорвались со стены, упали в подпол и нетленно уцелели. Кукушка распахнула дверку, хотела, видимо, лететь, но испугалась пламени. Стрелки указывали три часа двадцать три минуты. Следователь занес время в протокол. Часы же, на память об Анфисе, пожелал взять пристав.

К вечеру на чистый нежный снег рухнул первый кедр, краса тайги. Его вершина упала в

позеленевший куст боярки. Под кустом — бугристый, похожий на могилу сугроб. Церковный сторож Нефедыч колупнул сугроб ногой:

— Братцы, что это? Птица!

В разрытом снегу нашли двух погибших лебедей, самца и самку. Они плотно прижались друг к другу, головы спрятали под крыло, да так и замерзли. Лебеди недавно прилетели из теплых стран, но внезапная, вчерашняя метель не пощадила их. Эта редкая находка точно так же породила в народе много вздорных толков.

Привезли прах Марьи Кирилловны и поставили прямо в церковь, рядом с прахом убиенныя Анфисы. Отец Ипат отпел панихиду. Народу было много. Марью Кирилловну все любили и жалели, немало пролито было хороших слез.

О смерти матери Прохору сказали не сразу. Петр Данилыч, узнав, перекрестился: рука, хотя с трудом, но стала действовать, язык кой-как пролепетал:

— Жа-жа-жа-лко...

По приезде в город, Илья Сохатых послал телеграмму Якову Назарычу Куприянову. Пришел ответ:

«Приехать не могу — дела. Обратись купцу Груздеву он случайно вашем городе. Посылаю телеграмму чтоб ехал к вам Медведево. Он заменит меня. Случае крайней нужды приеду сам».

Иннокентий Филатыч Груздев, — тот самый, что встретился с Прохором на плавучей ярмарке в селе Почуйском, — остановился в «Сибирских номерах». Илья Сохатых, украсив оба рукава траурным крепом, разыскал купца в обеденное время.

— Честь имею рекомендоваться: коммерсант Илья Петрович Сохатых при фирме «Громовы и компания». Вот депеша от купца Куприянова и, кроме нее, несколько трагических несчастий. Инциденты один другого хуже, что можете усмотреть даже из этого

печального траура, — он показал на креп, отвернулся, замигал и, сокрушенно махнув рукой, приложил к глазам шелковый платок.

— Вот что, полупочтенный... Садись, говори толком... Я эти финтифлюшки не люблю, — оборвал купец.

Илья Сохатых тяжело передохнул и сел на подоконник.

— Петра Данилыча изволил паралич разбить. Марья Кирилловна скоропостижно приказала долго жить на моих руках. Прохор Петрович слегли-с. Анфиса Петровна — красотка такая была у нас — убита чрез выстрел из ружья-с. Ибрагим арестован-с. Подозрение также могло упасть на Прохора Петровича. Вот в чем суть-с.

— С делами управился здесь?

— Так точно-с.

— Лошадей!

До отъезда Илья Сохатых успел кое-куда сбегать и кое-что купить. Путники ехали быстро, «по веревочке», от дружка к дружку на перекладных.

Доктор прибыл в Медведево на сутки раньше. У него собственный метод лечения. Он дал Прохору сильное слабительное, потом лошадиную дозу брома, на ночь два стакана горячего красного вина и массаж тертой редькой со скипидаром. Больной трижды в ночь сменил мокрое белье и утром встал почти здоровым.

С Петром Данилычем было так. Доктор подошел к нему, грозный, чернобровый, насупив брови и глядя из-под дымчатых очков.

— Подымите-ка левую руку! Подымите правую! Так, все в порядке. Которая нога не действует? Эта? Подымите! Так. Выше не можете поднять? Так. Скажите: до-ро-га...

Петр Данилыч замигал и задудил по-толстому:

— До-о-оо...

— Ну, ну... Так... Ро-оо.

— Ро-о-оо...

— Га!

— Три!! — крикнул Петр Данилыч и засмеялся.

— Встаньте! — приказал доктор.

Больной посмотрел на него растерянно-умоляюще.

— Ну, ну... Живо!.. Встать!

Больной свесил ноги с кровати. Доктор пособил ему подняться.

— Идите! Нечего дурака ломать. Вы здоровы. Идите!

Волоча больную ногу, Петр Данилыч двинулся к креслу, дошел до него и сел:

— Скажите: но-га...

— Но-оо-оо...

— Ну, ну... Не тяните... Га!

— Три! — крикнул Петр Данилыч и опять засмеялся.

Доктор неодобрительно покачал головой, сказал: «Массаж», — сбросил куртку, засучил рукава рубахи и, уложив больного, массировал его ногу целый час. Проверил секундомером пульс, выслушал сердце. Потом спросил фельдшера:

— Банки есть?

— Есть.

— Принесите-ка! Надо бросить кровь. Полнокровный очень.

Третьего дня мороз держался на пяти градусах — настоящая зима легла. Вчера был нуль. А сегодня жарко засияло солнце, к обеду весь снег пропал, из влажной земли струился пар, как на морозе от потной кобылицы. В полях и в лесу мальчишки стали находить трупы замерзших перелетных птиц.

По размокшей в кисель дороге прикатили, наконец, Иннокентий Филатыч Груздев с Ильей Сохатых. И омертвевший было громовский дом сразу получил живую жизнь.

Плотный, быстрый, с седой подстриженной круглой бородой, Иннокентий Филатыч сразу же прошел в комнату Прохора Петровича. Прохор лежал на кровати вниз животом и плакал.

— Что ты?! — крикнул купец бодрым голосом. — Ворона ты, а не орленок! Что? Мамаша умерла? Эко какое диво! На то смерть ходит по земле. Схороним,

поминальный обед устроим, бедным в сотняжку раздадим... Вставай, вставай, вставай!.. Батька захворал? Ерунда, поправится и нас с тобой переживет. Кралю пристрелили? Ну, что ж... Дуракам закон не писан... — Купец обнимал сидевшего теперь Прохора за плечи и почувствовал, как при слове «краля» Прохор содрогнулся весь. — Сейчас, сейчас... — Купец сорвался с места, ударил ногой дверь, куда-то побежал и тотчас же явился с бутылкой водки.

— Ну-ка! Смирновочки... Здесь нет такой. Свеженькая, с собой привез. — Он шлепнул ладонью в дно бутылки, пробка вылетела ракетой, вино забулькало в стакан. — А ну-ка пей!.. Где у тебя тряпка-то? Сморкайся... Так... Рожу-то утри... Эх ты... елёхавоха... Чижик!

Прохору стало хорошо от такого гостя, он улыбнулся, — но брови его были хмуры, — и взял стакан.

— С приездом, Иннокентий Филатыч... Какими судьбами вы? Я очень рад... Помните, я говорил вам на ярмарке-то: мол, еще встретимся?.. Вот и...

— Известно, помню! А водяные паруса-то помнишь? Пей.

Купец приподнял бутылку, отмерил ногтем порцию, перекрестился и прямо из горлышка забулькал:

— Эх, горлышко к горлышку!.. Одно замочу, другое высушу... Благослови Христос!

Варвара летала по хозяйству как угорелая: Иннокентий Филатыч торопил — давай, давай! Еще усердно помогали попадья и местная учительница. Илья Сохатых отсутствовал. Он, измазанный сажей, черный, как арап, рылся на пожарище, старательно разыскивая хоть какой-нибудь предмет на память об Анфисе, сувенир.

— Все погорело, — печально говорил он. — Даже рыжики.

Иннокентий Филатыч порядочную закатил ему распеканцию, приказал немедленно же добыть воз можжевельнику для похорон, забрал все ключи от лавки, от кладовок, сундуков и убежал.

Вскоре его старанием прах Марьи Кирилловны, переложенный в новую колоду, был перенесен в

родимый дом. Колода с прахом Анфисы Петровны осталась в церкви. Третья же колода с безвестным мертвецом стояла в съезжей избе, рядом с каталагой, где томился Ибрагим.

Ибрагима-Оглы еще не допрашивали: следователь надбавил себе простуды на пожаре — слег.

Похороны назначены на следующий день. Рыли четыре могилы: вблизи кладбищенской часовни почетная могила, на отшибе, у стены, в углу, могила для праха убиенной, третья — за кладбищенской стеной, на всполье, для безвестного покойника. И четвертую копала в своем огороде старая Клюка для двух погибших лебедей.

Иннокентий Филатыч настаивал — похоронить на кладбище и безвестного покойника, однако священник поупорствовал:

— Откуда ж я знаю, что это человек? Может — баран, а нет, так и того хуже... Нельзя.

Из города прибыли дьякон и пять молодых монашен-певчих.

С утра жгло солнце, заливались уцелевшие от вьюги скворцы.

Последняя панихида с отпеваньем была торжественна. К монашенам присоединился кое-кто из местных певунов, составился недурной хор. В хоре держал басовую партию и любитель пения — доктор. Отец Ипат проникся особым благочестием по двум причинам: уважение к христианским доблестям почившей рабы божией Марии, а также ожидание немалых благ земных за свои пастырские печали и труды. Поэтому служил он не спеша и благолепно. Даже и подобающее слово он на бумажке сочинил, но, в великой суете, забыл, к сожалению, бумажку дома.

Молодой рыжебородый дьякон, с удлиненной, как кринка, головой, щеголял на все село прекрасным басом. Пол усыпан можжевельником, зеркало завешено белой простыней, изголовье почившей убрано зелеными ветками и бумажными цветами. Восковое лицо покойницы как бы прислушивалось ко всему и

благодарно улыбалось. По комнате плавал ароматный дым, и радостно крутились у потолка только что ожившие мухи.

Петр Данилыч сидел тут же, в кресле, возле возгробия покойной, и тихо плакал. Прохор часто опускался на колени, лицо его сосредоточенно-спокойно, и свеча в руке — пряма. Расторопный Иннокентий Филатыч успевал молиться, снимать со свечей нагар, подкладывать в кадило уголья и подпевать за хором. Но, подпевая, он немилосердно врал. Лицо Варвары утомилось от сплошных гримас горестной печали, красные глаза припухли; возле нее, на крашеном полу — ручейки из слез: плакать, плакать надо Варваре неутешно: умерла Марья Кирилловна, Ибрагим вконец засыпался, попал в беду.

Сзади всех молящихся стоял сторож сему дому, десятский Ерофеев, а возле двери в коридор — Илья Сохатых.

Весь вид приказчика — расстерянный и жалкий: спина его гнется, голова уныло никнет. Но вдруг он резко встряхивает надушенным кудрявым коком, гордо отставляет ногу, по-наполеоновски складывает руки на груди и вызывающим взором окидывает всех молящихся. Пред концом панихиды он стал что-то бормотать, улыбаться и взмахивать руками. Его бормотанье становилось все громче, присутствующие начали оглядываться на него, он подмигнул монашке и присвистнул чуть. К нему подошел Иннокентий Филатыч:

— Ты, полупочтенный, пьян?

— Я не пьян, — попятился от него Илья, прикрывая рот рукой. — Я несчастлив до корней всех волос. Я от горя могу помешаться в рассудке.

Вот крепко загудел голос дьякона и все, кроме Ильи, опустились на колени. Илья же уперся в стену лбом, трагически жевал лацкан сюртука и скулил, пуская слюни.

Окна были настежь, и «вечная память» с громогласными раскатами доплыла до каталаги Ибрагима. Ибрагим стал кричать, с размаху бить каблуками в дверь:

— Шайтан! Выпускай, шайтан!.. Марьей дозволь прощаться, пожалуйста.

А возле двери в каталагу, на скамье, лежал в колоде незнаемый мертвец.

Последнее целование было с воем, с плачем. Затем гробовую колоду понесли.

Впереди двигался большой воз можжевельника. На возу сидели горбун Лука и кухаркин племянник Кузька. Лука усыпал траурный путь ветками можжухи, Кузька швырял на дорогу из мешка овес, чтобы было чем помянуть покойницу и птицам. Начался унылый перезвон колоколов.

Остановились возле церкви, совершили литию, вынесли Анфисин гроб, пошли дальше.

Илья Сохатых вдруг вынырнул из толпы к гробам.

— Анфиса Петровна! Марья Кирилловна!.. До скорого свиданья... Адью! Адью!.. — пропавшим голосом крикнул он, с яростью растерзал ворот рубахи и побежал домой, размахивая руками.

Потом вынесли третьего покойника и — дальше, к кладбищу.

Хор дружно пел «святый боже»; позади шествия, заламывая руки, истошно вопила, вся в слезах, Варвара:

В сыру землю направляи-ишь-сии...
Эх, покидаешь ты сирот своих...

Чрез загородку неистово орал черкес:

— Прощай, Марья, прощай!!

Пристав взглянул на безвестный третий гроб и подозвал письмоводителя:

— Все ли деревни оповещены о побеге Шапошникова?

— Как же... все-с...

Печальный перезвон умолк, глаза обсохли, земля в земле.

Божие окончилось, человеческому приспело время: у всех скучали по сытным поминкам животы.

Много было званых и незваных. Во всех покоях

старанием проворного Иннокентия Филатыча накрыты длинные столы.

Навстречу возвращающейся толпе мчались из села мальчишки и кричали:

— Илья Петрович застрелился!.. Илья Петрович!..

Народ враз надбавил шагу. Иные припустились к селу вскачь. Пристав, благо отсутствовала занемогшая жена его, шел козырем с красивенькой монашкой, говорил ей небожественное: монашка Надя оглядывала зеленые поля с лесами и тихонько хохотала в нос.

— Ну, еще один! — услыхав печальное известие, помрачнел вдруг пристав. — Совсем? Смертельно? — спросил он босую детвору.

— Навылет! В бок!.. Только что не умер! Корчится! — наперебой галдели ребятишки.

Доктор с фельдшером спешно сели в громовские дрожки, сзади примостились четверо ребят.

Илья Петрович Сохатых умирал в своей комнате. Он выстрелил в себя среди руин Анфисина пожарища. Крестьяне подняли его, бережно перенесли домой. Теперь возле него Клюка и двое удивленных стариков. Вот уж поистине не знал никто, что разудалый Илюха мог на себя руки наложить. Эх, тяжкая наша жизнь, постылая!

А по селу шел в этот час плач и стоны: оплакивая нового покойника, разливались горькими слезами три девахи — Дарья, Марья и Олена, плакала взахлеб нестарая вдова Ненила, выли в голос две мужние молодки Проська и Настюха, неутешно рыдала толстым басом ядреная пятидесятилетняя вдовица Фекла. Вот что наделал этот Илюха окаянный, бедная-бедная его головушка кудрявая!

Илья охал, лицо его побелело, глаза страдальчески закрыты, штаны расстегнуты, с правого бока выбилась окровавленная, с растерзанным воротом, рубаха.

— Теплой воды, живо! — крикнул доктор. — Льду!

Он быстро достал из походной аптечки губку, марлю, шприц, морфий, сулему и зонд.

Илья Сохатых открыл глаза, облизнул сухие губы, прошептал:

— Доктор, голубчик... Умираю...

Клюка на коленках громко, чтоб все слышали, молилась в переднем углу.

Доктор запер дверь, надел халат, обнажил Илью Петровича до пояса, обмыл губкой рану и вскинул на лоб очки:

— Гм... Странно. Два раза стреляли в бок?

— Два. Первый осечка. Второй в цель... Фактически, — простонал, заохал, закатил глаза Илья Петрович.

— Гм... Странно, странно. Ну, ладно, потерпите... Сейчас прозондируем... Но почему в правый бок? Ежели будет больно, орите как можно громче, это облегчает. Ежели будет невыносимо, придется впрыснуть морфий... Ну-с...— Доктор вынул из сулемы зонд и наклонился над умирающим.

Илья Петрович глянул на блестевший зонд и заорал неистово.

— Очень преждевременно, — сказал доктор. — Я еще не начал... Ну-с.— И осторожный зонд стал нащупывать в боку ход пули.

— Гм... — снова сказал доктор и стал вставлять зонд в другую рану.

Илья орал.

Гости нетерпеливо ждали у дверей появления доктора. Жестокие крики самоубийцы привели некоторых в полуобморочное состояние, отец Ипат осенял себя крестом, шептал:

— Господи, прими дух раба твоего Ильи с миром... Зело борзо!.. Прости ему вся вольные и неволь...

Крики страдальца затихли.

— Умер, — решили все, глубоко вздохнув и устремляя взоры к иконам.

Доктор отшвырнул зонд, близоруко нагнулся к ране, и веселая улыбка вспахала его мрачное лицо.

— Ничего, — сказал он. — Рана навылет, чистая. Пули нет. Одевайтесь, пойдемте за стол покойницу поминать, — и вышел.

— Что, что? Что?!

— Ерунда, — объявил доктор гостям. — Он, каналья, оттянул кожу на боку и в эту кожу выстрелил... Но почему на правом боку?

Доктор шагнул в комнату Ильи:

— Скажите, вы левша?

— Так точно, из левых, — бодро улыбнулся Илья и, обращаясь к все еще молившейся Клюке, сказал: — Бабушка, не убивайся... Господь отнес. Сердце с легкими в сохранности.

Отец Ипат выразительно молился со всеми вместе:

— «Очи всех на тя, господи, уповают, и ты даешь им пищу во благовремении, отверзаеши щедрую руку свою, исполняеши всяко животное благоволение», — размашисто благословил яства; все уселись за трапезу.

Посреди стола, возле почетных гостей и Прохора, стоял большой графин с миндальным молоком.

Красивенькая монашка Надя бросала шариками хлеба в Прохора Петровича. Но Прохор суров и мрачен.

Косые красноватые лучи заката наполнили нетленным вином опустошенные до дна бутылки.

Печальный запах растоптанного каблуками можжевельника говорил живым, что кого-то больше нет, кто-то навсегда покинул землю.

Бокал Прохора упал на пол и разбился. Прохор сдвинул брови. В соседней комнате протяжно застонал его отец.

— Анфису Петровну Козыреву убил Прохор Громов.

Услыхав эти страшные слова, Иннокентий Филатыч отъехал вместе со стулом от сидевшего против него следователя, и улыбавшееся лицо его вдруг стало удивленным и серьезным.

— Да, да, да... — нагнулся к нему следователь, вытягивая шею. — Прохор Громов — убийца.

И несколько мгновений они смотрели в глаза друг другу. Взгляд следователя уверенный и твердый.

Иннокентий Филатыч тихо, на цыпочках, поскрипывая смазными сапогами, отошел в темный уголок,

приложил к тремстам еще две сотни и вернулся к столу.

— Это что?

— Пятьсот.

Следователь смахнул со стола деньги на пол. Иннокентий Филатыч, ползая по полу, смиренно подобрал их, положил в бумажник и тут же приготовил на всякий случай две по пятьсот, с изображением Петра Великого.

— Какие же суть главные улики против Прохора Петровича? — тенорком спросил Иннокентий Филатыч Груздев и снова сел на краешек раскаленного, как кухонная плита, стула.

— Главная улика — это логика, — сказал следователь; он надолго закашлялся и вставил под мышку термометр. — Вы, милейший, сами подумайте, кому была выгодна смерть Анфисы Петровны? Отцу Ипату не нужна, приставу не нужна, нам с вами тоже не нужна. Теперь так: ни для кого не секрет, что старик Громов хотел жениться на Анфисе Петровне и что она требовала перевести на ее имя все имущество и весь капитал, в том числе и капитал Прохора. Это доподлинно известно следствию. Известно также следствию и то, что Прохор Петрович хотел чрез женитьбу на дочери купца Куприянова приумножить свои капиталы и заняться промышленностью в широком масштабе. А вы знаете, какие у Прохора Петровича глаза? Нет, вы знаете? У Анфисы ж Петровны был припрятан какой-то документик один важный. Учитель показал, что он сопровождал Анфису в город, — она ехала с этим документом к прокурору, но их догнал Прохор Петрович, и поездка к прокурору не состоялась. Не знаю, добыл ли Прохор Петрович тот документик у Анфисы, но мне совершенно ясно, что он документика того весьма боялся. Вы понимаете, по какой причине? Боялся шантажа со стороны Анфисы Петровны. Понятно?

— Яснее ясного, — опасливо и хитровато улыбнулся Иннокентий Филатыч. — Теперь дозвольте вас по-приятельски спросить: кто видел этот Анфисин документ? Учитель видел? Вы видели?

— К сожалению, ни учитель, ни я документа не видели.

— Ну, значит, его и не было; бабьи запуги это, сказки... Анфиса выдумала.

При этом Иннокентий Филатыч тотчас же с тысячи скостил в уме пятьсот рублей. А следователь опять закашлялся. Потом сказал хриплой фистулой:

— Я не утверждаю, что мадам Козырева убита Прохором Петровичем лично. Он мог для этого дела приспособить и другого кого-нибудь, например Ибрагима.

Иван Иваныч Голубев, следователь, жил один. Два его сына служили в Москве и Томске, жена умерла давно. Сам он три года тому назад был — с понижением — переведен сюда из города Крайска: вышли какие-то служебные размолвки с прокурором. В Крайске он водил хлеб-соль и с семейством Куприяновых и с Иннокентием Филатычем.

— Чайку? — предложил хозяин.

Кирпичный чай, вскипевший на керосинке, ароматичен, крепок. Гость положил в стакан два больших куска сахару, сказал:

— А по-моему, вы, любезный мой Иван Иваныч, не правы. Ей-богу, не правы. Ни черкесец, ни Прохор Анфису не убивали. Убил ее тот, что сгорел. Может быть, хахаль ее, царство ей небесное. А может, и не он; может, каторжник какой, бродяга из тайги. Мало ль их тут шляется. И убил с целью ограбления. Попомните-ка это. А ежели так, то — фюйть! — концы в воду, и все чище чистого обелятся сразу, и вам, окромя нижайшей от Громовых благодарности, никакой канители. Подержите-ка, говорю, вы это в уме, зарубите-ка это на носу.— Иннокентий Филатыч даже сглотнул от удачно пришедшей ему мысли и заерзал на стуле. — Ну, а скажите, ради бога, вы тщательно производили обыск у покойницы между ее смертью и пожарищем, будь ему неладно? — настораживаясь и побалтывая ложечкой в стакане, спросил купец.

— Что это, допрос? Прошу вас, Иннокентий Филатыч, без допросов... И вообще... Я не должен бы вам...

— Какой, к шуту, допрос... Что вы, что вы! — замахал на него клетчатым платком купец и облегченно посморкался. — А просто так...

Черные глаза его сегодня на особицу лукавы: в них горел купеческий хитрый ум. Белая борода аккуратно подстрижена. Румяные пухлые щеки в густой серебряной щетине. Седая голова не причесана, вихраста, на толстой шее бронзовая медаль. Пальцы рук коротки, но зорки и блудливы. Перстень с бирюзой. Поношенный сюртук. Сапоги бутылками ловко начищены ваксой «молнией».

— Так как же? Был перед пожаром обыск-то?

Следователь отхлебнул чаю, убавил огонь в лампе и уставился взглядом в угол, в тьму:

— По правде вам сказать, я, к сожалению, дал маху. Обыска перед пожаром не было... Да и кто мог предвидеть пожар?

— Не было?! — привскочил купец с обжигающего стула и из пятисот рублей мысленно отбавил еще двести.

Следователь вынул из-за рубахи термометр и стал его внимательно разглядывать.

— В сущности, — сказал он, — производить обыск было бессмысленно: об имуществе убитой осведомлен лишь Петр Данилыч, ну, еще, пожалуй, его сын. И только. А они оба больны. Так что путем обыска вряд ли предварительное следствие могло установить факт похищения имущества у пострадавшей... Тридцать восемь шесть десятых... Опять вверх пошла.

— А документик?! — вновь подскочил купец. — Ведь тот документик мог в лапы вам попасть. Вот в чем суть-с.

Следователь неприятно сморщился и промолчал. Потом сказал, слегка ударяя ладонью в стол:

— Только имейте в виду: этот разговор между нами. И чтоб никому ни-ни... Поняли?

— Понял, понял... И, выходит, значит, так. — Иннокентий Филатыч встал, со всех сил потер кулаками поясницу, выпрямился и мелкими шажками пробежался взад-вперед по комнате, чуть задержавшись на ходу у неряшливой кровати следователя. Оправив

смятую подушку, он сказал: — Выходит так: убийца грянул из ружья и убежал — кто-то помешал ему: не удалось обворовать. А потом, на следующую ночь взял да и залез опять... Караульного подпоил, конечно, или обманул, уж я не знаю как... может, поделиться обещал...

— Караульный арестован.

— Значит, залез с отмычкой и стал второпях хозяйничать... Богатства много, а страшновато: покойница лежит, отмщенья просит, жуть на душу наводит. Он для храбрости — к шкафу, а в шкафу вин, наливок сколько душе желательно, а жулик — пьяница. Вот и дорвался... Тут ему башку-то и ошеломило — сразу, как баран, округовел. Здесь сундук, там гардероб, темно, снял лампу с керосином, да и кувырнул ее... Вот и... А тут покойница из гроба поднялась, держит его, не пускает. Ну, может, сам к ней приполз — медальоны с нее разные снимать... А огонь пуще, дым, смрад... Тут грабителю и карачун... Вот и все... Так или не так? Давай руку! Видишь, я тебе убийцу разыскал... — И старик вопросительно захохотал, поблескивая желтыми зубами.

— Да, правильно... — раздумчиво проговорил следователь. — Может быть, и так. Сейчас, сейчас... Кверху, дьявол идет.

— Кто идет?

— Температура. Сейчас, сейчас... — Следователь отметил на графике точку и провел синим карандашом черту; руки его дрожали. — Тридцать восемь шесть десятых... Ну-с? — И он поднял болезненно раскрасневшееся серьезное лицо свое на собеседника.

— Вы слышали, что я говорил-то?

— Конечно, слышал. Ну-с?

— Вот так и действуй. А мы тебе...

— Я, возможно, так и стал бы действовать. Возможно... Но вот в чем дело... — Следователь, торжествующе играя густыми бровями и морщинами на лбу, достал с этажерки старенький портфель. — Вот видите, газета без уголка. Я взял ее у Прохора Петровича, при допросе. А вот и уголочек.

— Ну, что ж из этого?..

— Его нашел я в комнате потерпевшей. Он был в качестве пыжа в ружье убийцы... Видите, обгорел с краев. Значит? — И следователь поджал губы в уничтожающей гримасе.

— Ну что ж из этого?..

— Значит?

— Ну что ж из этого?.. — мямлил, толокся на месте язык купца. Всерьез испугавшись, он мысленно прибавил к тремстам рублям еще пятьсот, еще пятьсот и тыщу. Вдруг уши его покраснели, жилки забились в висках, зрачки расширились и сузились. — Гляди, гляди!! — резко вскричал он, приподымаясь, и ткнул перстом в окно, за которым мутнел поздний вечерний час. — Отец Ипат... Пьяный!..

— Нет, кажется, не он, — повернулся, уставился в окно и следователь. Его крепко лихорадило.

— Нет, он... Нет, не он... Это дьякон...

— Какой дьякон? — спросил следователь, протирая глаза.

— На поминках, из города выписывали... И с монашкой!..

— С какой монашкой?

— На поминках... Видишь, видишь, что он разделывает? Кха-кха-кха...

Меж тем пальцы купца работали с проворством талантливого шулера. Он быстро глотал чай, давился, перхал, кашлял, глотал остывший чай, давился, крякал.

Следователь круто отвернулся от окна.

— Вот я и говорю, — перехваченным голосом сказал купец, как гусь вытягивая и втягивая шею. — Вот я и...

— Где?! — будто из ружья выпалил следователь, и охваченные дрожью руки его заскакали по столу. — Бумага, клочок, пыж?! — Одной рукой он сгреб купца за грудь, другой ударил в раму и закричал на улицу:

— Десятский! Сотский! Староста!..

— Иван Иваныч, друг... Ты сдурел. Я тебе тыщу, я те полторы, две...

— Эй, кто-нибудь!.. За приставом!!

— Да что ты, сбесился, что ли? Пожалей старика... Что ты, ангел... Лихоманка у тебя. Тебе пригрезилось... Три тыщи хочешь?

Ребятишки молниями полетели по селу. Первым прибежал урядник. За ним — сотский и двое крестьян. За ними — доктор.

Самый тщательный обыск никаких результатов не дал. Иннокентия Филатыча раздели донага, перетрясли всю одежду — пропажи не нашли.

Иннокентий Филатыч падал на колени, плакал, клялся и божился, призывая на седую голову свою все громы, все невзгоды. Какой документ? Какой пыж? И за что так позорят его незапятнанное имя? Его сам губернатор знает, он с преосвященнейшим Варсонофием знаком... Да чтобы он... да чтоб себе позволил?! Что вы, что вы, что вы!.. Господин урядник, господин доктор, будьте столь добры иметь в виду!.. А следователь невменяем, он же совершенно нездоров; нет, вы взгляните, вы взгляните только, который градус у него в пазухе сидит...

Однако Иннокентий Филатыч был арестован и заперт в узилище бок о бок с Ибрагимом-Оглы.

Следователя доктор уложил в кровать. Температура больного подскочила на сорок и три десятых. Следователь бредил:

— Я, я, я... Марью Авдотьевну сюда подать!

Наутро пристав получил от Прохора Петровича из рук в руки пятьсот рублей задатку.

— Федор Степаныч, вы пока имеете за мной еще пятьсот рублей. Не оставляйте меня... Я один ведь... И не считайте меня, пожалуйста, преступником. Я чист, клянусь вам.

Пристав выходил через кухню. Десятский бросил ложку, стиснул набитый кашей рот, быстро вскочил из-за стола, одергивая рубаху.

— Карауль... В оба гляди за мальцом!..

— Сл...ш...юсь... Кха, чих!

Утром же, через час после полицейского визита к Прохору, Иннокентий Филатыч Груздев был освобожден. Пристав даже извинился перед ним: конечно же, тут явное недоразуменье, мало ль что следователь

мог выдумать в бреду... Ну, допустим, уголочек неприятной бумажки, правда, был, так ведь следователь мог во время пароксизма бросить его в печь или, извините за выражение, взять да и... тово.

Иннокентий Филатыч вполне согласился с резонными доводами пристава, по-приятельски простился с ним, оставив в начальственной ладони сто рублей, и заспешил в отдаленность в укромное местечко, в лес: его желудок издавна привык к регулярной работе по утрам. Освободившись от ненужностей, он тщательно исследовал их. Никаких остатков окаянного пыжа не оказалось, пыж за ночь переварился целиком. Вот и хорошо.

В качестве злостного свидетеля оставался еще учитель Пантелеймон Рощин. Иннокентий Филатыч, толстенький, веселый, в бархатном купеческом картузике, пошел после обеда к учителю для дружеских переговоров. Что произошло там — неизвестно, только священник с дьяконом, вместе проходя мимо учительской квартиры, видели, как Иннокентий Филатыч катом катился по лестнице и прямо вверх пятками — на улицу.

— А, отец Ипат! Отец дьякон... Мое вам почтение, — встав сначала на карачки, а потом и разогнувшись, весело воскликнул Иннокентий Филатыч, даже бархатный картузик приподнял.

Духовные лица хотели было рассмеяться, но, видя явную растерянность Иннокентия Филатыча, оба прикусили губы.

— Вот они народы какие паршивые, эти должники!.. — на ходу выбивал купец пыль из сюртука, вышагивая рядом с духовными особами. — Тридцать два рубля должен, тварь. Третий год должен. И хоть бы копейку возвратил, шкелет! А тут стал я спускаться с лестницы да сослепу-то и оборвался.

— Да, — пробасил дьякон, сияя рыжей бородой. — Сказано в писании: «лестницы чужие круты».

Через неделю следователь поправился. Ему давно хотелось купить первоклассное бельгийское ружье и чистокровную собаку. Теперь имелась полная возмож-

ность эту мечту осуществить. Может быть, он обнаружил у себя под подушкой тысячу рублей, ловко подсунутую в тот вечер Иннокентием Филатычем, и, по болезненному состоянию своему, случайно принял эти деньги за свои. Возможно также, что честный следователь, обладающий собственными трудовыми сбережениями, об этой подлой взятке и не знал. Так ли, сяк ли, но он решил: по окончании судебного процесса взять отпуск и ехать в Москву иль Петербург.

Предварительное следствие с допросом Ибрагима-Оглы велось почему-то не так уж энергично, как того требовали бы интересы дела. Общее же заключение по следствию было неопределенно и расплывчато: живые кандидаты в подсудимые — Ибрагим-Оглы и Прохор Громов — лишь подозревались в преступлении, явных же улик на них не возводилось. В параллель с этим было выдвинуто измышление, что доподлинный убийца мог быть и политический преступник Аркадий Шапошников, находившийся в связи с Анфисой и бесследно исчезнувший на другой же день после убийства, а может статься, и сгоревший вместе с ней. И в конце концов красочно изложена была версия, навеянная Иннокентием Филатычем: дескать, потерпевшая застрелена каким-нибудь бродягой с целью ограбления, но в момент убийства ему, дескать, кто-то помешал; он пришел грабить в другое время, подпоил караульного, забрался в квартиру, наткнулся в буфете на вино, напился, в пьяном состоянии устроил нечаянно пожар и сам сгорел. К сожалению, мол, следствию не удалось извлечь пули из черепа сгоревшей Анфисы Козыревой, и поэтому следствие принуждено лишь строить те или иные предположения, но ни в коем случае не утверждать. История с пропажею криминального лоскутка газеты была тоже как бы смазана, замята.

В заключение следователь ссылался на свою тяжелую, засвидетельствованную городским врачом болезнь и просил суд, приняв к сведению это печальное обстоятельство, провести судебное следствие по всей строгости закона, чтоб восторжествовал принцип

незыблемой и светлой правды-истины, на алтарь которой следователь приносил весь свой опыт, все знания, все порывы своей души.

Вообще же бумага была составлена если и недостаточно убедительно, то вполне красноречиво.

24

Зал суда в городишке переполнен до отказа.

На скамье подсудимых — купеческий сын Прохор Петрович Громов и ссыльнопоселенец Ибрагим-Оглы.

Стоял конец июня. В длинном, но низком, как бы приплюснутом зале духота. Илья Петрович Сохатых, свидетель, нюхает нашатырный спирт и для форсу смачивает голову одеколоном. Лицо напудрено, губы слегка накрашены: кругом, и здесь и там, много барышень-невест.

Прохор угрюм. В глазах жестокая уверенность в своей силе. Щеки впали, заросли черной щетиной. Лицо Ибрагима высохло. Остались лысина, глаза и нос. Однако вид Ибрагима независим. С оскорбленным величием он открыто, даже несколько задирчиво смотрит в лица сидящих за столом... Он не может понять, в чем его вина, и злобствует на всех.

Его вызывают. Он идет эластично, четко, быстро, кланяется и становится за пюпитр.

Он вкратце рассказывает свою жизнь и начинает давать ответы. Он говорит с акцентом, жестикулирует. Общий смысл ответов звучит довольно искренне, поэтому суд, присяжные заседатели склонны думать, что его показания чистосердечны и резонны.

Прохор морщится и крепко стискивает ладони рук.

— А не припомните ли вы, подсудимый... — гнусавым, нараспев, голосом спрашивает председательствующий. Он седой, костлявый, бритый, в очках, на груди широкая серебряная цепь судьи. — Не помните ли вы, как однажды вечером, догнав на улице Анфису Козыреву, возвращавшуюся к себе от Громовых, вы

обнажили кинжал и угрожали ей смертью? И наутро давали по этому поводу показание местному приставу.

Да, Ибрагим этот случай прекрасно помнит. Не такой у него характер, чтоб он отрицал то, что было. Да, действительно, он Анфисе кинжалом грозил. Но у него уж такая привычка сызмалетства — взять да напугать человека просто в шутку, взять да напугать. Это может подтвердить и Прохор. Например, он, Ибрагим-Оглы, пугал так девчонку Таньку, пугал парней на Угрюм-реке. Вот спросите Прохора, уж он-то врать на Ибрагима не станет: Ибрагим не раз спасал его от гибели, Ибрагим любит его больше самого себя. Да и все семейство Громовых он любит. В особенности же он жалел покойную Марью Кирилловну, хозяйку. А вдова Анфиса подкапывалась под счастье хозяйки, она хотела окрутить на себе Петра Данилыча, а хозяйку столкнуть. Вот Ибрагим и постращал Анфису, просто взял да припугнул. Чего же его напрасно виноватят!

— Скажите, вы убивали кого-нибудь?

— Нет, не убивал.

— А на Кавказе?..

— Там мистил. Кровавый месть. Такой закон у нас, порадку. Привычка такой... Убивать. Да, там убивал.

У части присяжных заседателей и публики после подобного ответа сложилось убеждение, что, пожалуй, убийца Анфисы — Ибрагим. И, словно угадывая общее настроение толпы, председатель, обращаясь к подсудимому, сказал:

— Вы лучше покайтесь в том, что убили Анфису Козыреву. Чистосердечное признание смягчит вашу участь.

Нет, нет! Напрасно говорят Ибрагиму такие несуразные, прямо глупые речи. Он не убийца, он никогда убийцей не был и не будет. Аллах запретил зря убивать, Исса запретил. Нет, он не может признать за собой никакой вины. Рука его чиста.

— Почему вы в ночь убийства так поздно, почти пред самым утром, явились домой и где вы были,

когда к вам, около трех часов ночи, заглядывали Прохор Громов и Илья Сохатых?

Ибрагим ночью ходил на озерко ловить рыбу, его застал дождь, рыба не шла, и перед утром он вернулся.

— Видел ли вас кто-нибудь в пути на рыбную ловлю, или там, на месте, или при возвращении?

— Никто не видел. Один бог видел.

— Ну, на господа бога как на свидетеля ссылаться не приходится. Бог видит, да не скоро скажет. А может, и никогда не скажет, — вольнодумно улыбнулся сухощекий председатель, но, взглянув чрез очки на сидевшего в переднем ряду соборного протопопа, смутился и уткнул нос в бумаги.

— Так-с, так-с... — Председатель вскинул голову, сбросил очки и прищурился в упор на Ибрагима. — Как же вы смеете запираться в убийстве Анфисы Козыревой, когда вы ее убийца, вы! — Председатель при этом крепко пристукнул ладонью в зеленый стол. — Из головы убитой извлечена пуля, и эта пуля как раз подходит к вашему винчестеру. Это было установлено следствием, пока вы сидели в каталажке. Ведь винчестер был с вами, когда вы на рыбалку ходили?

Да, его ружье было с ним. Но он в ту ночь не стрелял из ружья. И прежде чем примерять пулю к винчестеру, надо было посмотреть, не заряжен ли винчестер. И, по мнению Ирбагима-Оглы, тот, кто наводил следствие, кто примерял пулю, — обманщик, мошенник, лжец.

Председатель резко звякнул в звонок, досадуя на подсудимого.

— Который пуля? Кажи, пожалуйста, сюда! Я свой пуля знаю.

Но в числе вещественных улик пули, конечно, не было. Председатель громко высморкался, пошептался с соседями и, слегка покраснев, задал подсудимому новый вопрос вкрадчивым, вызывающим на откровенность тоном:

— Ну, если не вы, то кто ж, по-вашему, мог убить Анфису Козыреву?

Откуда ж может знать это Ибрагим-Оглы? Что он, шайтан, что ли? Это может узнаться лишь на том свете, в аду или в раю, никак не раньше. Цх!..

— Ну, а Шапошников мог быть убийцей?

— Шапкин? Нет... Шапкин не такой человек, чтобы убить. Человек самый смирный, самый умен. Да и какой корысть убивать ему Анфису? Вы сами посудите, ежели у вас есть на плечах башка.

Председатель оскорбленно крякнул, поспешно пощупал вспотевший лоб и с достоинством поправил цепь на груди.

— Ну, а Петр Данилович Громов как, по вашему мнению, мог он быть убийцей или нет? — спросил он, сдерживая раздражение, и стал ожесточенно чесать носком сапога щиколотку правой своей ноги: очевидно, публика натрясла в зале блох.

Ибрагим ребячески громко засмеялся и сказал:

— Хозяин был пьяный каждый день. Ему в корова не попасть.

Тогда подсудимого сердито спросил прокурор:

— Ну, а хозяйский сын, Прохор Громов, мог убить Анфису Козыреву?

Ибрагим боднул головой, привстал на цыпочки и быстро отступил два шага назад:

— Что ты! Сдурел?! — закричал он на прокурора, оскаливая зубы и вращая белками глаз. — Руби скорей мой башка, вырывай сердце!.. Чтоб Прошка стал убивать... Прошка любил Анфис само крепко, само по-настоящему. Лучше поп пусть убил Анфис, отца Ипат. С ума ты сошел совсем, судья!.. Дураком надо быть, чтоб судить джигита, совсем дураком. Отпускайте, пожалуйста, Прошку. Не надо его судить.

В груди Прохора волной прокатилось радостное, но в то же время звериное, дурное чувство.

Допрос продолжался долго. Под вечер он перешел к прокурору и защитникам. Для суда и присяжных заседателей виновность Ибрагима осталась все-таки под вопросом. Показания свидетелей: Варвары, Ильи Сохатых, отца Ипата и прочих, были также в пользу подсудимого. Нет, вряд ли Ибрагим-Оглы действительный убийца.

На следующий день утром берут под допрос и перекрестный обстрел Прохора Громова.

По залу растеклась любопытствующая настороженность: сотни взглядов влипли в круглые плечи подсудимого, его гордо откинутую черноволосую голову. Звякнул звонок, шепот зала и скрип стульев смолкли.

Вопросы председателя ставились так странно, что подсудимый всякий раз находил лазейку вполне оправдать себя. Публика вскоре же заметила недопустимую со стороны председателя некую приязнь к подсудимому. Какой-то желчный скептик даже довольно громко сказал соседу:

— А ведь, пожалуй, подмазали где надо?

Эта фраза попала в уши Иннокентию Филатычу: он вздохнул, посмотрел на потолок и сделал постное, благочестивое лицо.

Но вот за Прохора принялся прокурор, и настроение зала изменилось.

Невысокий, плотный, лохматый и весь, почти до глаз, заросший черной бородой, прокурор напоминал таежного медведя. Он обладал сильным, наводящим трепет басом, широким мужичьим носом и чуть раскосыми, навыкате, пронизывающими глазами. Его обычно боялись не только подсудимые, но даже сам председатель и весь зал. И фамилию он носил грозную — Стращалов. Вот к этому-то мрачному человеку Анфиса когда-то и везла свой тайный документ.

— Скажите, подсудимый, — встав за свой пюпитр, крикнул прокурор в публику. Все враз съежились. Прохор отстегнул ворот рубашки и робко глянул прокурору в волосатый рот. — Скажите, подсудимый, могла ли состояться ваша женитьба на Нине Куприяновой, если бы Анфиса Козырева была жива?

— Да, наверное, состоялась бы, — подумав, ответил Прохор.

— Скажите, Анфиса Козырева была вам близка физически? Вы были с ней в связи?

— Нет.

— Это вы твердо помните?

— Да.

— Как вы относились к своей матери?

— Очень любил ее... Жалел...

— Почему жалели? Какая причина вашей жалости?

— Так... вообще.

— Если бы ей угрожала смертельная опасность, могли ли б вы отдать за нее свою жизнь?

— Мог бы, — без колебания ответил Прохор.

Ибрагим-Оглы прищелкнул языком, тихонько сказал:

— Молодца Прошка!.. Джигит... Цх!..

— Могли бы вы, защищая честь матери, убить человека?

— Человека вообще — пожалуй, мог бы... В запальчивости. Анфису — нет.

— Разве я спрашиваю вас про Анфису? — И прокурор, держась за пюпитр, нагнул шею и ткнул медвежиной головой в воздух по направлению к Прохору. — А почему вы не могли бы убить Анфису?

— Я ее... Она мне... Она меня любила, была влюблена в меня... А я ее не любил.

— Она вас любила, вы ее нет... Так? Хорошо-с. Но ведь она была необыкновенной красоты и молодая... — И прокурор моргнул хохлатой бровью на фотографический портрет красавицы Анфисы, лежавший, вместе с ружьями, на столе, возле председателя. — Почему ж вы...

— Я считал ее злым гением нашего дома, — перебил прокурора Прохор.

— Отлично-с... Злым гением дома. Не были ль у вас размолвки из-за нее с вашим отцом?

— Нет... Впрочем, были... Я вступался за мать, за спокойствие матери.

— А не припомните ли вы, подсудимый, как однажды ночью после ссоры с отцом вы бросились бежать к дому Анфисы Козыревой, причем кричали на бегу: «Я убью ее, я убью ее!» В ваших руках было оружие...

Прохор пошатнулся и переступил с ноги на ногу.

— Нет, этого не было, — уверенно сказал он и откинул рукою черный чуб.

— А я утверждаю, что было.

— Откуда вы это знаете?

— Не сметь задавать мне вопросы! — на весь зал по-медвежьи рявкнул прокурор.

Все вздрогнули, Прохор отступил на шаг. Председательствующий было схватился за звонок, но рука его робко остановилась. Он промямлил:

— Я просил бы господина прокурора...

— Прошу суд огласить показания крестьянина села Медведева Павла Тихомирова, — перебил прокурор председателя суда.

В показании значилось, что Павел Тихомиров действительно слышал слова «я убью ее» от бегущего с ножом в руках Прохора, что вид Прохора Громова был, как у сумасшедшего или пьяного, что его увел домой Ибрагим-Оглы, черкесец.

— Неправда! — крикнул Прохор. — Павел Тихомиров должен нам, мы у него описали корову. Он мстит нам... Он врет. Неправда!

— Где правда и где неправда — выяснит суд, это не ваше дело, — заметил прокурор, потом он запустил обе пятерни себе в густые лохматые волосы, взбил их копной и стал походить на старого цыгана из страшной сказки. — А вот скажите, подсудимый: с какой целью вы однажды догнали Анфису Козыреву, ехавшую с учителем села Медведева в город, почему и чем вы были в то время так встревожены и почему, после коротких разговоров с вами, Анфиса Козырева вернулась обратно? Или этого тоже ничего не было? Тоже неправда? — Ни на секунду не спуская с Прохора устрашающих цыганских глаз, прокурор отхлебнул воды и шумно, как звук трубы, высморкался.

Прохор напряженно молчал, он готовил уклончивый ответ, но в голове темная пустота была и сердце увязло в боязни.

— Подумайте, подумайте, — сказал прокурор успокоительно, и глаза его притворно подобрели. — Впрочем, ежели вам нечего ответить, можете не отвечать. Или можете прямо сознаться, что вы убили Анфису Козыреву. Вы!

Председатель позвонил в звонок и, противореча самому себе, сказал:

— Здесь нет убийц. Здесь подозреваемые подсудимые.

— Для кого нет, а для кого есть, — буркнул прокурор. — Вы ж сами в тех же выражениях допрашивали Ибрагима-Оглы. Ну-с, дак как, подсудимый Громов? — твердо нажал он на голос и перегнулся через пюпитр.

В зале все раскрыли рты и посунулись вперед в ехидном подкарауливающем ожидании, что скажет Прохор.

Но Прохор Громов — как в рот воды, молчал. Ему показалось, что этот старый цыган из страшной сказки припер его, ни в чем не повинного, в угол и душит липкими грязными руками, от которых пахнет луком, дегтем, лошадиным потом.

— Скажите, подсудимый, — видя смущение Прохора, совсем мягко улыбнулся прокурор. — Сопровождавший Анфису Козыреву учитель не был должен вашей фирме? Вы не описывали у него за долги корову, как у крестьянина Павла Тихомирова? Он не имеет основания вам мстить?

— Нет. Нет.

— Прошу суд огласить показание отсутствующего по болезни учителя Пантелеймона Рощина.

В показании, между прочим, говорилось, что он, учитель Пантелеймон Рощин, такого-то числа и месяца был приглашен Анфисой Козыревой сопутствовать ей в город за ее личный счет, что на неотступные вопросы учителя о цели ее поездки Анфиса, наконец, сказала, что она везет прокурору «документик», от которого Громовым не поздоровится, а Прохору не бывать женатым на своей невесте, «девке Нинке».

— Довольно, — прервал прокурор чтеца. — Что вы скажете на это, подсудимый?

— Я не знаю, кто здесь врал, — с деланной запальчивостью, но внутренне содрогаясь, проговорил Прохор. — Врал ли в своих показаниях учитель, врала ли учителю Анфиса.

— Суд разберет, врала ли Анфиса, врете ли вы сейчас, — сказал прокурор и вдруг, забодав головой, оглушительно, точно ударил в барабан, чихнул. Чихом перекликнулся с ним из уголка и Илья Сохатых. Прокурор опять пободался, оскалил рот, набитый желтыми зубами, и опять чихнул. В ответ раздался громкий чих и Ильи Сохатых. Прокурор пободался третий раз и третий раз чихнул. Чихнул третий раз и Илья Сохатых. Прокурор погрозил ему пальцем, выхватил платок и чихнул в четвертый раз.

Тогда весь зал неожиданно взорвался хохотом. Председатель побренчал в звонок. Прокурор крикнул в зал:

— Молчать! Удалю всех вон!

Зал обиженно затих. Илья Сохатых, весь обомлев и страшно выпучив глаза на прокурора, вдруг скорчил рожу и чихнул в четвертый раз. Тогда прокурор принял это за насмешку и резко ткнул шершавым кулаком в сторону Ильи Сохатых:

— Эй, ты там!..

У приказчика полилась кровь из ноздрей, он сразу уверовал в мощь прокурорских жестов, действовавших даже на приличном расстоянии. И, зажав нос платком, удалился в коридор.

Прокурор стал зол и желчен. Он грозил глазами председателю, свидетелям, Прохору и всем зевакам.

— Теперь, подсудимый, объясните нам, — спустил он голос свой на низкие трескучие ноты. — Объясните, зачем вам нужно было догонять Анфису Козыреву и какой красноречивой угрозой вам удалось эту озлобленную на ваше поведение, упрямую и гордую женщину повернуть обратно?

У Прохора было время заготовить ответ, и он сказал:

— Мне тогда сильно нездоровилось. Я точно не помню, что говорил Анфисе Петровне и что она отвечала мне. Но, кажется, я ей сказал, что в скором времени я сам собираюсь в город и могу ее взять с собой. Она согласилась. Вот и все.

— Все?

— Все.

— Прошу огласить дальнейшие показания учителя Пантелеймона Рощина.

Секретарь монотонно стал читать:

— «Анфиса Петровна Козырева из боязни, что Прохор может отнять у нее важный обличительный документ, не решалась оставаться с Прохором Громовым вдвоем, и обратно мы ехали трое: пострадавшая рядом со мной, Прохор Громов на облучке, вместо ямщика. Анфиса Петровна, глядя в спину Прохора, несколько раз тихо говорила, как бы про себя: «Милый, милый... теперь мой навек...» Я поглядел на женщину и спросил ее: «Что с вами? Вы как пьяная...» Она ответила: «Так. Мне очень радостно сегодня».

— Довольно! — ударил прокурор в пюпитр ладонью. — Не поможет ли это подсказать вам, подсудимый, дальнейший ход вашего поведения?

Прохор тяжело дышал. Пленительный образ Анфисы промелькнул в его вздыбленной памяти, острая боль охватила его душу: «Анфиса, родная, милая!» — хотел крикнуть он и броситься бежать туда, в Медведево, к далекой, дорогой ему могиле.

— Ну-с... Суд ждет.

Прохор молчал, часто и тяжело вздыхая. Он едва сдерживал рыдание.

— В таком случае, подсудимый, я за вас скажу. Слушайте внимательно и не стройте трагических харь. — Прокурор отхлебнул воды и опять взбил короткими, толстыми пальцами черную копну волос. — Вы тогда сказали Анфисе, что женитесь на ней. Вы уверили ее в этом. Логически рассуждая, этот довод был в ваших руках единственно верным, убедительным, беспроигрышным. У вас был обдуманный план обмануть Анфису Козыреву. И вам это удалось вполне. Отлично-с. Теперь выходит так... Слушайте внимательно. Допустим, вы женились на Анфисе. Но тогда вы сразу превратились бы в бедняка: куприяновские денежки — тю-тю, а ваш отец сам не прочь хорошо пожить, и вряд ли вам что-нибудь перепало бы от него. Так? И, взвесив это, вы сообразили и сразу почувствовали, что попались в петлю.

Понимаете? Вы попались в петлю... — Прокурор выговорил эти слова раздельно, с каким-то сладострастием, и желтыми зубами погрыз искривившиеся губы.

Прохор действительно почувствовал, что попался в петлю; он быстро прикидывал в уме, что еще ему скажет прокурор и как выкрутить из этой петли свою голову. Нервы Прохора напряглись. Он видел силу своего врага, он знал, что пощады от него не будет, и решил во что бы то ни стало защищать себя. Во что бы то ни стало. Да.

Торжествующе посматривая то на Прохора, то в сторону притихшего зала и на присяжных заседателей, прокурор стал продолжать издевательским голосом:

— Когда петля почти что затянулась на вашей шее, инстинкт самосохранения подсказал вам единственный логический выход из того положения, в которое вы и ваша семья попали. Преступный выход этот — навсегда устранить Анфису. И вы ее убили. Да, да, убили! — И прокурор резко ткнул кулаком в сторону побледневшего Прохора.— Намерение уничтожить человека, державшего в своих руках вашу судьбу, подготовлялось в вашей душе исподволь и понемногу, но осуществление этого намерения вспыхнуло в вас мгновенно. Этому, может быть, поспособствовала гроза, насыщенность воздуха электрической энергией. Вы ночью, во время грозы, схватили ружье — не это, не дробовую централку, а вот то, что лежит рядом с двустволкой, шомпольное, медвежачье ружье, которое не сумел обнаружить у вас при обыске ваш бывший местный следователь, уже отстраненный от службы. Вот это ружье. Видите? Вы зарядили его пулей, подходящего пыжа — если не ошибаюсь, двенадцатого калибра — у вас не было, вы второпях оторвали вот от этой газеты достаточный клочок бумаги, крепко его скомкали и запыжили им ружье. Так? Этот пыж был обнаружен потом в комнате убитой. Теперь он, к сожалению, таинственно исчез. За утрату этого ценного вещественного доказательства ваш бывший следователь, по всей вероят-

ности, будет предан суду. Это между прочим. Идем дальше. Затем вы побежали с ружьем на улицу, перелезли через забор в сад Анфисы Козыревой, оставив на заборе грязный след и царапины от каблуков, затем подкрались к единственному не закрытому ставнями окну — тому окну, возле которого, по уговору с вами, сидела в комнате пострадавшая. Она, как было с вами условлено, поджидала вас... Кого же больше? Конечно ж, вас! Вы сами были совершенно невидимы во тьме, зато Анфиса Козырева была великолепно видна вам: сзади нее горела лампа. После меткого выстрела вы прибежали домой, разулись, начисто вымыли сами сапоги, чего с вами раньше не случалось, надели теплые валенки и забрались в кухню. Ваша нервная система была сильно взбудоражена. Вашей психике угрожал тяжкий крах. Но мудрый инстинкт, заложенный в тайниках человеческого организма, как и всегда в таких случаях, пришел вам на помощь: вдруг в организме заработали иные центры, душевное напряжение ослабло, вам сильно захотелось есть. И вы удивили своим аппетитом вашу кухарку Варвару Здобнову. Дав, таким образом, работу желудку и печени, вы этим самым отвлекли от головы излишний кровяной поток, взвинчивавший ваши нервы. Вы более или менее успокоились, забылись, разбудили Илью Сохатых, балагурили с ним, пили вино, играли на гитаре, — словом, проделали все, что полагается по программе малоопытному убийце. Затем, чтоб отвести кому следует глаза, вы заглянули в каморку Ибрагима-Оглы, причем пригласили заглянуть туда и Илью Сохатых: пусть знает и он, что Ибрагима дома нет.

— Я не убивал Анфисы! Гнусно утверждать так... Несправедливо! — вдруг закричал Прохор, и суд заметил, что его губы кривятся, глаза одикли и горят. — Это не я убил... Я ее не мог убить. Я люблю, я любил ее... Я...

— Как? Вы ее любили? — закричал и прокурор.

— Да, любил... Любил!

— Но несколько минут назад вы ж сами отрицали это?

— Я лгал тогда... Я смалодушничал. Но еще раз заявляю: я не убивал.

— Так кто же тогда убийца?! — ударил в лоб Прохора медвежий голос прокурора.

Прохор зажмурился и вновь открыл сумасшедшие глаза. Вся его будущая жизнь, все мечты и думы, кувыркаясь, погромыхивая железом, стремительно падали куда-то в бездну, а над бездной проплывали в тумане Нина Куприянова, инженер Протасов, Константин Фарков, Иннокентий Филатыч и еще многое множество незнаемых людей; все смеялись над ним, шипели ему в сердце, в мозг, в лицо: «Ничтожество, хвастун, дурак! Где тебе, где тебе, где тебе». И башня будущих гордых дел его, сотрясаясь, низринулась с грохотом в провалище. Нет жизни, всему настал конец. Какая-то темная, странная сила вдруг вошла в его душу, Прохор резко отмахнулся, шагнул к прокурору и, сверкая глазами, ударил себя в грудь.

— Я знаю, кто убийца!

— Кто-о-о? — язвительно протянул прокурор Стращалов и ухмыльнулся. — Может, Шапошников, что превратился вместе с убитой в головешку? Он?

— Нет, нет...

— Может, Илья Сохатых, вооруженный вон тем игрушечным револьвером, пуля которого отскочит даже от лопаты?

— Нет...

— Может, отец Ипат, или пристав, или, наконец, ваш отец? Может быть Анфиса Козырева сама себя убила?

— Ее убил...

— Кто же? Кто?! — Медведь поднялся на дыбы и пошел на обезумевшего Прохора. — Ну, кто?!

— Анфиса Петровна убита... Ибрагимом-Оглы.

Над Прохором взмахнули два крыла — белое и черное. Он вскрикнул и упал.

Прохора привели в чувство. После небольшого перерыва председательствующий спросил его, может ли он давать дальнейшие показания. Он сказал:

— Могу.

И начал с своего первого знакомства с черкесом еще там, в губернском городе. Он стал топить Ибрагима-Оглы быстрым, приподнятым голосом. Он сбивался в своих показаниях, иногда повторял одно и то же, истерически выкрикивал какую-нибудь одну и ту же фразу, терял нить речи, часто пил воду, оглядывался, куда бы присесть. Ему подали стул, и председательствующий еще раз спросил его, может ли он давать показания спокойно, не волнуясь, потому что в таком взвинченном душевном настроении подсудимый рискует впасть в ошибку, направить суд на ложный путь.

Нет, нет! Прохор просит теперь же до конца выслушать его, он чувствует себя здоровым, вполне владеет собой и будет говорить одну лишь правду.

— А если я волнуюсь, — сказал Прохор, и блуждающие с предмета на предмет глаза его покрылись слезами, — то я волнуюсь единственно потому, что мне тяжело показывать на Ибрагима: я обязан этому человеку своей жизнью, он питает ко мне большую любовь... Да, любовь... И сильную привязанность... А раз господин прокурор считает меня убийцей, то не могу же я больше укрывать Ибрагима... Я не могу укрывать разбойника. Он, по звериной глупости своей, отнял у меня самое дорогое, отнял все! Я не могу его укрывать! Не могу!!

Рот Прохора вдруг стал прям и строг, мускулы лица не дрогнут.

Ослабевший от изнеможения, жары и духоты черкес борется с дремой, стараясь понять, что говорит его джигит Прохор. А подсудимый Прохор Громов, овладев собой, показывает теперь спокойным, твердым голосом, наивно дивясь своему спокойствию и твердости. Посторонняя темная сила, которая вошла в него, все крепче овладевала его волей, и сердце Прохора превратилось в лед.

Да, да. С тех пор как в жизнь Громовых вторглась несчастная Анфиса, от которой в особенности страдала Марья Кирилловна, Прохор не однажды слышал от черкеса, что он, черкес, собирается убить

Анфису. И напрасно Ибрагим вчера лгал суду, что он только стращал Анфису кинжалом, что это у него не более, как привычка, как шутка. Это неверно: бывший каторжник Ибрагим-Оглы может убить любого человека в любой момент. Да, да, в любой момент. Прохор также припоминает свой разговор с Ильей Сохатых. Приказчик говорил ему о телеграмме, которую Ибрагим-Оглы собирался послать ему, Прохору, в Москву, когда Прохор жил там вместе с семейством Куприяновых. В этой телеграмме имелся ясный намек на Анфису, что ее, мол, надо убрать... К сожалению, телеграммы Прохор не получил и не может ее представить суду.

— Пардон! Есть, есть! — вдруг раздалось из полутемного угла. Это Илья Сохатых. Он сорвался с места и, роясь в карманах, подбежал петушком к судейскому столу. Кончик его носа был в крови. — Вот, извольте... Вследствие моего недавнего самоубийства я совсем забыл, что этот документ при мне. Вот он... Мне его подарил для моего альбома на память наш городской телеграфист, фамилию его, вследствие личного самоубийства, я не упомнил. Эту телеграмму писал каракулями Ибрагим-Оглы, преступный убийца... К сему я больше ничего не могу добавить вследствие того, что... вообще... — И он, повиливая для пущей важности задом и локтями, пошел на место.

— Огласите бумажку, — приказал председательствующий секретарю.

И вот эти самые каракули, смыкая свой тайный круг предначертанья, прозвучали теперь так:

— *«Прошка приежайъ дома непорадъку коя ково надоъ убират зместа. Пышет Ибрагым Оглы. Болна нужен».*

Бумажка переходит из рук в руки. В председателе и присяжных она возбуждает особый интерес. Смысл ее занимает и публику: в зале злорадный шепот и ненавистные взгляды в сторону подсудимого черкеса. Ибрагим дважды пытается заговорить, но его пока лишают слова.

Свободно передохнув, Прохор продолжает показания. Голос его звучит жестко и бесчувственно.

Незадолго до катастрофы Прохор действительно решил жениться на Анфисе. Он теперь должен откровенно признаться, что любил Анфису беззаветно, он был всецело в ее власти. Женитьбой на Анфисе он хотел восстановить между своими родителями утраченный мир и спокойствие. Прохор от Ибрагима ничего тогда не скрывал, не скрыл и о своем намерении стать мужем Анфисы. Он помнит, Ибрагим закричал на него: «Ишак, твоя невеста не Анфиса, а Нина Куприян». Этот каторжник Ибрагим-Оглы вообще ненавидел Анфису. Этот простодушный каторжник несколько раз заявлял и Марье Кирилловне буквально так: «Не плачь, Машка... эту змею Анфиску я растопчу ногой...» Подобные фразы Прохор довольно часто слышал от Ибрагима лично либо подслушивал. Надо помнить, что черкес питал любовь не только к семье Громовых, но и к Куприяновым. И вот, убедившись, что Прохор готов жениться на Анфисе, этот темный человек решился на последний шаг. Он рассчитал, что от смерти Анфисы всем станет хорошо: и Громовым и Куприяновым. Ибрагим-Оглы убил Анфису действительно из ружья Прохора, но Прохор этим ружьем почти никогда не пользовался, оно валялось где-то в кладовке. Вот почему это медвежачье ружье и не попало на глаза местному следователю села Медведева, человеку весьма исполнительному и честному. Да, действительно Ибрагим-Оглы воспользовался пыжом от газеты Прохора. Ну так что ж такое... Комната Прохора, как и весь дом, всегда была доступна для этого разбойника.

Ибрагим-Оглы сидел как в столбняке, разинув рот и вонзив взгляд выпученных глаз в твердокаменную спину Прохора. Он не верил ушам своим, он отказывался понимать, *что* говорит Прохор. Он был как под обломками внезапно рухнувшей на него громады. Губы его вздрагивали и кривились, ноздри раздувала копившаяся ярость, а желтые круги в глазах застилали свет. «Нет! Не может быть... Это не Прохор

стоит там, у стола, и голос не его. Это шайтан, шайтан...»

— Геть, шайтан! Кто? Я?! Я убил Анфис?! Собака, врешь!!! — вскочив и хватаясь за лысую, вспотевшую голову свою, пронзительно закричал черкес.

В зале вдруг поднялся шум и злобный шепот: «Ага, врешь?! Убивец проклятый!.. Врешь?..»

Черкес оглянулся, белки глаз его враждебно заблестели. В зале принялись водворять порядок. Черкес был удален под умолкавший нехороший шум толпы.

Выкрик Ибрагима-Оглы подстегнул Прохора бичом. Прохор почуял в угрозе черкеса явную опасность для себя и тут же решил разом покончить с ним.

— Вот видите, — возмущенно сказал он, облизнув сухие губы, и сделал жест в сторону хлопнувшей за черкесом двери. — Вот видите? Убийца еще смеет отпираться. Я хотел смолчать, я даже был готов на коленях умолять суд о смягчении кары этому глупому убийце, но теперь вынужден заявить суду, что этот злодей много лет тому назад убил отца и мать Якова Назарыча Куприянова, купца из города Крайска. Вот сколь ценны его показания, что он никогда никого не убивал. Покорнейше прошу суд запросить показания потерпевших телеграфом или вызвать Куприяновых сюда, — отца и дочь. Они все расскажут подробно, они расскажут, как этот каторжник при мне и при моей покойной матери валялся у них в ногах и каялся в своем убийстве. Я буду необычайно счастлив, если эти мои слова снимут с моей души тень подозрения в убийстве... кого? В убийстве женщины, смерть которой я буду оплакивать всю жизнь.

Удостоверенное подлежащим начальством города Крайска телеграфное показание Якова Назарыча Куприянова оказалось для подсудимого Ибрагима-Оглы решающим. Купец Куприянов был предусмотрительно уведомлен Иннокентием Филатычем о возможном обороте дела. Письмо Иннокентия Филатыча шло из села Медведева не почтой, а с особым нарочным: так скорей и безопасней.

Хотя это новое открывшееся суду преступление не могло отягчить, за давностью срока, участь Ибрагима-

Оглы, однако веское показание купца Куприянова дало суду существенный повод характеризовать черкеса как злостного, неисправимого убийцу.

И все показания его, которые он только что давал суду, — случай с возвращавшейся вечером от Громовых Анфисой, когда черкес, обнажив кинжал, грозил убить ее и на следующее утро был допрошен приставом, — это и другие, подобные же показания, которые с такой убедительной уверенностью отвергал черкес, теперь восстали против него как неотразимые свидетели его вины.

Заключительная речь прокурора Стращалова была ярка по языку, мысли, неукротимому пафосу. Выгораживая Ибрагима-Оглы, он с силой обрушился на Прохора Громова. Он утверждал, что обвиняемый Громов, «этот ядовитый ползучий гад нашего времени», не только корыстный убийца, не только холодный предатель, решившийся, спасая себя, погубить верного своего слугу, но и поджигатель... (Тут с жестом протеста председатель суда позвонил в звонок.) Да, поджигатель! Кому выгоден был пожар дома убитой? Одному только Прохору Громову. Почему? Чтоб разом скрыть все вещественные улики, документы, переписку и прочее. Кто ж в самом деле устроил пожар? Ведь дом был заперт, опечатан, у дверей сидел караульный, а пожар вспыхнул внутри. Ведь не могла же сама покойница встать и поджечь себя. Нет, тут, бесспорно, была подстроена тонкая штучка...

— И вот я спрашиваю, кто ж поджигатель? И отвечаю: конечно же, не Прохор Громов лично, он, к великому сожалению, цел-невредим (звонок председателя), а вместо него погиб, опять-таки к моему сожалению, какой-то несчастный дурак, может быть, пьяница, подкупленный Прохором Громовым за горсть пятаков. Граждане заседатели! Вникните в ясный смысл изложенных мною, взывающих к отмщению фактов и по всей своей совести скажите в глаза этому кровожадному Шейлоку, этому опасному отпрыску опасного рода темных дельцов: «Да, виновен!»

И все-таки, несмотря на блестящую речь прокурора, присяжные заседатели вынесли приговор *«нет, не виновен»* — Прохору Громову, и *«да, виновен»* — Ибрагиму-Оглы.

Таким образом, сын купца Прохор Петрович Громов был по суду оправдан. Это стоило ему большой душевной передряги и около пятнадцати тысяч рублей денег, оставленных при посредстве ловкого Иннокентия Филатыча в несчастном городишке.

Ибрагима взяли под стражу. Черкес уходил из зала суда прямым путем на каторгу. В каком-то умственном помрачении, скрежеща зубами, он крикнул Прохору:

— Проклятый ты чалвэк!.. Будь проклят!..

Но Прохор — как камень. Он принял удар и не погнулся.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Ты помнишь, читатель, ту бурную ночь, когда смертью погибла Анфиса? Над всею тайгою, над всем миром тогда гремела гроза, ударила молния, и в одночасье сгорела хибарка, когда-то построенная Прохором Громовым. С того подлого времени прошло несколько лет.

Угрюм-река! Была ли ты когда-нибудь в природе и есть ли на свете та земля, которую размывали твои воды? Или в допетровские седые времена выдумал тебя какой-нибудь ветхий днями сказитель жемчужных слов и, выдумав, пустил по широкому миру, чтоб ты в веках передавалась легкокрылой песнью из уст в уста, пока не забудут тебя люди?

Пусть так, пусть тебя не было вовсе на белом свете. Но вот теперь ты, Угрюм-река, получила право на свое существование, ты знаменуешь собою — Жизнь.

Вот белый парус встал на горизонте, и люди гадают с берега: куда плывет корабль?.. Ответ прямой: корабль придет туда, куда направит его кормчий, куда понесет зыбун-волна.

Ветер ли, парус ли белый, или волна волну торопит — пролетают сроки над землей.

Прохор Громов круто повернул руль у корабля: корабль зарылся носом в берег.

Действуйте, действуйте, Прохор Петрович!

Величавая Угрюм-река у ваших ног.

За вами слово!

Теперь на том участке, где стояла сгоревшая хибарка, раскинулась главная резиденция Прохора Петровича Громова. Своими постройками она заняла ровно четыре квадратных версты.

Вот высокий холм на берегу. Нам этот холм тоже давно знаком. С его вершины непогодливой ночью юный Прохор бросал Угрюм-реке хвастливые слова.

Теперь Прохор Громов — не тот, и Угрюм-река — не та. Изменил лицо свое и самый холм. На его вершине башня. Ее спроектировал, по типу башни Эйфеля, инженер-американец мистер Кук. Она вся из деревянных брусьев, скрепленных железными болтами. Четыре ее лапы жесткими фермами опираются на втопленные в землю тысячепудовые камни-валуны. Сорокасаженной высотой своей башня царит над всей тайгой, десятки верст кругом доступны ее взору, и вооруженный биноклем глаз может детально рассмотреть, что создал Прохор. Во время сильных ветродуев, когда гнется и трещит тайга, вершина башни, раскачиваясь, описывает в небе круг диаметром сажени в две. Вся башня, как бы охваченная страхом рухнуть, крикливо спорит с ветром: потрескивает, скрипит, скоргочет. Она окрашена в бледно-голубой небесный цвет и носит поэтическое имя «Гляди в оба».

В среднем пролете — рабочий летний кабинет Прохора Петровича. От пяти крупных предприятий сюда идут пять телефонных проводов. Провод с золотого прииска «Достань» дал нить и в нижний этаж башни, где день и ночь дежурит караульный, двоюродный брат покойного бомбардира Вахрамеюшки, тоже старый одноногий бомбардир Федотыч. Как только намывался новый пуд золота, с прииска караульному давали знать. Он култыхал на улицу, крестился, говорил себе:

— Още пуд... Оказия, вот тебе Христос!.. Бездна бездну призывает... Пли!! — и поджигал фитиль. Стоявшая у основания башни пушка грохотала громом.

Вот ударила пушка, башня вздрогнула, Прохор тоже вздрогнул и посадил чернильную кляксу на бумагу. Он подбежал к раскрытому окну, в которое вплывали струйки тухлого порохового дыма, перегнулся в толщу высоты и безнадежно крикнул оглушенному выстрелом Федотычу:

— Эй, ты! Старый черт!..

Однако «черт» стоял, разинув рот и расшарашив ноги. Прохор схватил с подоконника горшок с цветком и швырнул прямо в голову Федотыча. Но горшок грохнулся возле самых его ног и разлетелся в соль.

— Сказывал тебе, мерзавцу, сначала дай мне сигнал, потом стреляй!

— Виноват! Прошибся! Так полагал, что вас здесь нетути...

— Иди в контору! Скажу — штраф три рубля!.. — И окно опустело.

Летний кабинет Прохора весь в дорогих коврах. Шкафы с делами. На окнах, на огромном столе образцы минералов: тут медный колчедан, и круглые сферосидериты, и красноцветные песчинки, и сопутствующие золоту породы кварцев. В стеклянных пробирках — свежий порошок недавно найденного графита, пробы золотоносных песков, искусно сделанные модели самородков. Вот модель крупнейшего золотого самородка, в шестнадцать фунтов двадцать семь золотников. Оригинал, конечно, у Прохора дома, в стальном несгораемом шкафу. По стенам — раскрашенные таблицы, графики, схемы, генеральный план всех владений Громова. В углу заряженный штуцер и охотничье ружье с витыми дамасскими стволами. На медвежьей шкуре, возле ружей, дремлет матерый волк. Нет-нет да и посмотрит одним глазом на хозяина и вновь заснет. Окно открыто, но воздух пропах махоркой: Прохор Петрович, похожий на цыгана, курит, как цыган. Голова его встрепана, черная борода лохмата: видно, хозяин редко глядится в зеркало. Крупное, в крепких мускулах, лицо в бронзо-

вом загаре, с носа лупится кожа. Глаза быстры, ясны. Меж густыми бровями — глубокая вертикальная складка; она придает лицу какое-то трагическое выражение. Его лица в моменты приступа злобы трепещет даже волк.

Нина Яковлевна заглядывает на башню редко. Однажды она принесла сюда небольшую икону и водрузила в переднем углу, на полке. Во время урагана икона упала, завалилась за шкаф и лежит там до сих пор. Вместо иконы теперь посажен на эту полку белый филин.

Стеклянным желтым глазом филин по-мудрому следит за каждым душевным движением Прохора Петровича, но угрюмо молчит о том, что видит. Может быть, темными ночами, когда башня безмолвна, он что-нибудь и пересказывает стоящему на дыбах медвежонку, такому же мертвому, как и он сам. Может быть, может быть. Недаром люди боятся в ночное время проходить возле башни. В народе болтали, что запоздавшим путникам слышится женский рыдающий голос: то ли душа чья томится в той жуткой башне, то ли верхний ветер свистит, мчась через пролеты решетчатых ферм, иль мертвый филин лопочет свою лунную сказку. Всяко болтали.

Инженер Протасов, прослышав про глупые бредни, не раз и не два хаживал мимо той башни в самый треклятый полуночный час. Даже однажды пошел с Ниной Яковлевной; она боялась, дрожала, никла к нему: башня стояла вдали от строений, среди тайги. И — вдруг, вот оно!.. зарыдало, забулькало. Инженер Протасов прислушался, захохотал, погрозил тьме пальцем и, шагнув к двери, распахнул сторожку. Оттуда несся надсадистый свист, храп и треск спящего бомбардира Федотыча.

— Вот так рушатся легенды, — иронически сказал инженер Протасов, и они пошли с хозяйкой обратно.

— Вы все шутите? Эх вы, скептик!.. Да разве плохо верить во все тайное? В иллюзию, в сказку, в таинственный мир?.. Ведь это же, в сущности, самое поэтическое, может быть, самое главное в жизни...

— Самое главное — сама жизнь. А в жизни — человек. Я верю в ум, в разум: я — рационалист, вы же — вся в предрассудках... Нина Яковлевна! Доколе? — Он загородил ей дорогу и, трагически подняв брови, с осторожной усмешкой глядел ей в лицо. — Ведь вы ж образованная, умная...

— Позвольте, позвольте... — Она поспешно влекла его обратно, к дому. — Разве вы не читали, скажем, француза Шарля Рише?

— Что? Чертовщина!

— Позвольте! Но ведь их целая плеяда ученых...

— Не верю...

— Позвольте, вы меня начинаете злить, Андрей Андреич...

— Не верю, Нина Яковлевна, не верю! Для меня — палец есть палец. Все остальное — простите — абсурд, химера, миф.

Так они раздражали друг друга в отсутствие Прохора Петровича: в то время он пребывал за границей, в Германии, в Бельгии. Теперь же... Прохор Петрович дома.

Он снял с бумаги чернильную кляксу и, брюзжа на Федотыча, вынул из правого ящика записную, в красном атласе, тетрадь: «Золотой реестр». Занес туда строчку о новом пуде намытого золота, подытожил добычу за полгода — сто сорок три пуда, с шумом встал и — руки в карман — взад-вперед по кабинету. Волк поднял голову с вытянутых лап, прищурился на Прохора и, разинув зубастую пасть, сладко позевнул. Большая трубка во рту Прохора дымила мерзко.

Вот один, вот другой телефонный звонок:

— Алло! Ну, да... Стойте, стойте! Возьму карандаш. Диктуйте!.. Муки ржаной сорок пять тысяч пудов... Ох, уж эта мне мука! Дальше! Круп гречневых четыре тысячи пудов. Дальше!.. Проса... Сколько проса? Так, есть. Крупчатки? Десять тысяч пудов... Дальше!

Он составил целый список, схватился за трубку другого телефона:

— Ну? Слушаю. Что? Обвалилась? Убитых нет? Что? Сколько? Тьфу, черт!.. Семейный? Нет? Ну,

черт с ним! Составьте протокол. Урядника с докладом сюда. Что? Мне некогда...— Он швырнул трубку и схватился за третью:

— Контора? Примите две телеграммы! Томск. Кухтерину. Копия отделению торгового дома Громова. Выслать твердый счет: муки ржаной сорок пять тысяч пудов, крупчатки десять тысяч пудов. Записали? Дальше!..— Он диктовал длинный перечень необходимых на два месяца продуктов — четыре телефона беспрерывно звонят вовсю, он морщится, снимает с них трубки, приказывает конторе: — Стоимость точно подытожить, через полчаса копию ко мне.

Берет домашний телефон:

— Нина, ты? Что нужно? Обедать не буду. Некогда. Пришли коньяку, икры, кусок телятины. Протасова нет?

Вешает трубку, берет другой телефон:

— Инженер Кук здесь? Ага. Здравствуйте, мистер Кук! Ну что ж, проект мельницы готов? Приезжайте с проектом ровно в четыре. Мы же переплачиваем на муке чертову уйму денег. Постройку двинуть немедленно. Развернуть вовсю. Ну, ладно. Жду!

Назойливо, беспрерывно звонит звонок. Прохор берет трубку.

— Алло? Кто? Протасов, вы? Что? Вода заливает шахты? Немедленно снять рабочих с котлованов, мобилизовать копалей и лесорубов. Всех на водоотлив! Что? Завтра воскресенье? Работы не прерывать. Строжайше приказываю считать праздник буднями! Обещать водки. Уряднику и стражникам внушить, чтоб переписывали недовольных. Горлопанов, смутьянов — к расчету. Протасов, слышите? Если вода зальет шахты, вы будете в ответе. Что? Не можете ручаться? До свиданья!

В таких напряженных переговорах проходит весь рабочий день. Прохор нервничает, теряет голос, злится на волка, что тот ни в чем не может ему помочь. Впрочем, Прохор Петрович любит работать один.

Ровно в четыре волк вскочил, заворчал и, рысью,— к двери: кто-то подымался по лестнице.

— Здравствуйте, мистер Кук,— шагнул Прохор

Петрович навстречу высокому, бритому, с открытым лицом человеку. — Ну, как?

— Вот проект, — сказал тот сквозь зубы, мусоля тонкими прямыми губами кончик сигары. — Расчеты проверены, но... — Американец двумя вытянутыми пальцами, как щипцами, выхватил из зубов сигару и очертил ею в воздухе замкнутый эллипс. — Но я полагал бы, прежде чем подписать проект, надо собирать технический совещаний.

— Ерунда, — сказал Прохор Петрович. — Садитесь, разверните проект. Мельница моя, и техническое совещание — это я.

— Но...

— Без всяких «но», мистер Кук. Фасад, разрез, план... Так, понимаю. Слушайте, зачем вы так раздраконили? Картина это, что ли? Достаточно в карандаше...

— Но... я привык...

— От ненужностей надо отвыкать. На какую глубину опустили вы бутовую кладку? На сажень? Много. Хватит на два аршина. Я грунт знаю...

— Простите, мистер Громофф. Но ведь грунт грунту рознь. Надо очшень бояться грунтовых вод...

— Ерунда! — вновь сказал Прохор Петрович. — Грунтовые воды мы перехватим шпунтовой перемычкой. Будет вдвое дешевле. — Он достал готовальню, раздвинул циркуль по масштабу и, отметив на чертеже точку, провел по бутовой кладке синим карандашом черту. — Вот граница бута. Стены тоже надо уменьшить. Внизу — три с половиной кирпича, согласен, а верхний этаж — два кирпича.

— Но... простите... нагрузка...

— Нагрузка? А на кой черт вы ставите железные двутавровые балки, когда у нас в тайге сколько угодно лиственницы? Да она крепче вашего железа. Долой, долой. — Прохор поставил на чертеже против балок красным карандашом нотабене.

Американец учтиво поморщился, перекинул языком сигару в левый угол рта, сказал:

— Вот, машины... — и развернул чертежи котла и механизмов.

— Ну, тут я пас. В этом деле я ни бе, ни ме. «Быть по сему», как пишут цари. Согласен. Давайте смету. Сколько?

— Семьдесят одна тысяча пятьсот тридцать девять рублей восемьдесят одна с половиною копейка.

Мистер Кук выговаривал эти цифры очень отчетливым торжественно холодным тоном, смакуя звук собственного голоса. Волк, прислушиваясь к его речи, наклонял голову вправо-влево и, как заяц, поводил ушами. Мистер Кук, большой любитель русских пословиц (он всегда жестоко их перевирал), скользом взглянув на зверя, почему-то вспомнил: «Волка накормишь, а он опять на башню влез...» Очшень харашо...

— Сколько, сколько копеек?

— Что? Восемьдесят одна с половиною копейка.

— С половиною? Довольно точно. — Прохор Петрович подъехал со стулом вплотную к мистеру Куку и крепко положил на его плечо кисть правой своей руки. — Пятьдесят тысяч! И ни копейки больше.

— Нет, нет! — брезгливо дернул плечом мистер Кук. — Семьдесят одна тысяча. Ну, правда, приняв во внимание ваши поправки, можно надеяться, что...

— Ради бога, не тяните. Пятьдесят тысяч!.. Пейте...

Он налил себе и гостю по чайному стакану коньяку.

— Техническое совещание, мистер Кук, закончено. Ваше здоровье!

— Ваше здоровье!

Мистер Кук с башни спустился благополучно. Далее ноги стали носить его куда попало. Наконец он укрепился среди дороги, немного покачался и усилием воли принудил себя идти четко, прямо, как по струнке.

Прохор Петрович бросил волку кусок телятины. Тот щелкнул зубами и, не жевавши, проглотил.

До позднего вечера работали телефонные звонки. Прохор выслушивал, давал распоряжения, проверял счета, заносил в книги приходы и расходы, принимал гонцов, докладчиков. Белая рубаха стала на спине

мокрой; он целую четверть выпил клюквенного морсу и выкурил кисет махорки. В напряженнейшей работе он не заметил, как мчалось время. Уже давно смолкли гудки его заводов, рабочий люд давно отужинал и завалился спать по своим убогим землянкам, баракам, а то и просто под открытым небом, в шалашах из хвои. А Прохор Петрович все еще сидит. Все частицы его мозга, получив зарядку мысли, не скоро еще придут в покой, но тело устало, просило отдыха. Он прошелся по кабинету, вздрогнул от визга волка, которому он наступил на хвост, зажег электрическую лампочку, с утомлением упал в мягкое кресло и закрыл глаза. Уснуть бы, забыться бы минуты на три. Но пред смеженными глазами проносились цифры, записи, цифры, векселя, чьи-то оскаленные смехом зубы, взмахи рук, пробы золотоносных песков, бабьи улыбчивые рты, опять бесконечная вереница цифр, чертежи, детали машин. А в ушах неумолкаемо звенели давно замолкшие телефонные звонки. И не было забвенья.

Он провел концами пальцев по опущенным векам и открыл глаза. Перед ним стоял волк, тыкался мордой в его колени, повизгивал.

— Что, Люпус, домой?

Прохор Петрович подошел к раскрытому широкому окну. Виден был освещенный его дом. Возле подъезда таратайка инженера Протасова. По Угрюм-реке дымил далекий пароход; на буксире — баржа с железом. Даль застилалась сумерками. Тайга за рекой темнела. На пристани суетился народ, горело электричество, с дебаркадера кричали в рупор:

— Эй, на пароходе! Становь баржу на якорь!..

Всюду лаяли сторожевые псы. Караульные возле складов забрякали в железные доски. Где-то сдержанно пиликала гармошка.

— Барин, вот вам барыня прислала пальто.

Прохор оглянулся. Черненькая шустрая горничная Настя улыбалась всем лицом.

— Я и без того весь потный, — сказал он, хотел по привычке выругаться, но, передумав, быстро облапил Настю, стал целовать ее в захохотавший

влажный рот. Настя закрыла глаза, не сопротивлялась. Волк отошел на почтительное расстояние, втягивал ноздрями воздух и пофыркивал, скаля в легкой улыбке зубы.

— Напрасно барыня посылает тебя ко мне на башню так поздно. Дура твоя барыня. Могла бы казачка прислать...

Настя оправила волосы, сказала:

— Очень даже верно. Вы известный шарлатан насчет дамских сердцов.

— Что? Ты откуда слышала это слово? Пошла вон! — топнул он и раскатился громким смехом вслед убежавшей горничной.

Он надел белый картуз, накинул на шею волка парфорс, вложил ему в пасть нагайку и стал спускаться с башни.

Внизу старый Федотыч стоял на коленях пред Прохором:

— Христом-богом молю, прости, не штрафуй!

Волк обнюхивал вытянутую по земле деревянную ногу старика.

— Нет! — крикнул Прохор Петрович и подергал картуз за козырь вверх и вниз. — Вам, чертям, только потачку дай...

Дома он застал инженера Протасова.

— А как вода?

— Одолевает. Я за вами, Прохор Петрович.

— Но он же не обедал, — взмолила Нина. — Прохор, садись. Настя, подавай пельмени. Живо!

Прохор Петрович взял с тарелки два куска черного хеба, густо намазал горчицей, круто посолил, сложил как бутерброд и сунул в карман:

— Идемте, Протасов.

Вернулся в пятом часу утра измученный, промокший — на работе он свалился со сходней в наполненный водою котлован.

Спал в кабинете до семи утра. Его разбудил волк — уперся передними лапами в диван и громко лаял хозяину в лицо. Половина восьмого волк и Прохор Петрович были на башне. Начался обычный ад рабочего дня.

2

— Да, — раздумчиво сказал Прохор Петрович. — Через два года десятилетие нашей с тобой свадьбы.

— Знаю. Помню, — ответила Нина. — И вот уже три года, как твой отец в сумасшедшем доме.

Прохор Петрович враз изменился в лице и швырнул на поднос дымящуюся трубку с махоркой.

Лицо Нины тоже дрогнуло. Она в длинном, каком-то монашеском платье. Белый большой воротник, белые отвороты рукавов, черная на голове косынка, красиво оттеняющая матовую белизну ее тонкого лица. Из-под косынки темно-русая прядь волос.

Нина положила книгу Бебеля «Женщина и социализм» и в упор посмотрела на мужа глубокими серыми глазами.

— Да, да... В сумасшедшем доме. Твой родной отец.

Прохор, сдерживая себя, молчал. Он нервно крутил на пальце перстень с крупным бриллиантом.

Нина с жалеющим каким-то роковым чувством в сердце влюбленно смотрела на его двигавшиеся хмурые брови, на черные, в скобку, по старинке подстриженные волосы, черную бороду и думала: «Русский богатырь... Сила, ум... Но почему же, почему жестокое такое сердце?»

— Нина. — Он взял трубку, торопливо стал раскуривать. — Все, что сделано, — сделано. И — баста.

Трубка шипела, чвыкала, упрямилась, кофе в чашке стыл.

Нина сказала раздельно:

— Всякое решение можно перерешить. А неправильно решенное дело даже должно решить сызнова. Понимаешь, Прохор, должно! Иначе — петля.

— Прохор Громов решает навсегда — сразу.

— Напрасно.

— Прохор Громов не ошибается.

— Да?!

Он желчно постучал перстнем в стол и поднялся во весь медвежий рост. Медное лицо его горело

краской, сердитые глаза сверкали жестоким холодом, как стальные пули.

— Запомни, Нина!.. Прохор Громов идет по земле сильной ногой, ворочает тайгу, как травку... И пусть лучше никто не становится мне поперек дороги. Вот!..

Но зычный, раздраженный его голос сразу же скис под нежным взглядом Нины. Поскрипывая смазными, ярко начищенными сапогами, Прохор покорно подошел к жене, чмокнул ей руку. Она поцеловала его волосы, усадила возле.

— Ты не волнуйся... — сказала она. — Ты помни только одно...

— Нина! — И широкая грудь его под чесучовой русской рубахой задышала с шумом, с присвистом. — Слушай... Я чувствую в себе такую силищу, что... Черт!.. — Он потряс покрытыми черной шерстью кулаками. — Все переверну вверх дном! Вот!.. Жить так жить! Умирать так умирать! А жить надо по-настоящему. Чтоб треск шел, чтоб колокола бухали, чтоб из царь-пушки палили... Эх, Нина!.. Монашка ты.

— Да, монашка. А ты кто?

— Я? — И Прохор громоздко вновь поднялся, опрокинув чашку с кофеем. — Я все могу. Уж я-то не монах, не игумен, не поп...

— Жаль!

— Не знаю, кто во мне: зверь ли, бог ли? Но только всю тайгу кругом, всю область всколыхну и заставлю работать на себя...

— На себя?

— Да пусть дадут мне лешево болото, я всех чертей обращу в христианскую веру, обряжу в белые рубахи и прикажу строить пятиглавый собор...

Нина испуганно перекрестилась, вскочила, замахала на мужа руками.

— Вот что есть Прохор Громов... И это не слова, а факт, — закончил он низким, взволнованным голосом и обнял Нину за тонкую талию. Пахло от Нины ладаном, цветущей резедой, здоровьем.

— Вот ты живешь в хорошем доме. Гляди, что пред твоими глазами. Разве плохо? — Он подвел ее

к окну, отпахнул тяжелые рипсовые шторы и показал рукой. — Смотри!

Внизу расстилался тавризским ковром цветник. Красные дорожки, зеленые кусты жасмина, молодые куртины кедров, елей, искусственные пригорки с беседками, башенками, вдали сверкающая под солнцем Угрюм-река.

— Нравится? И клянусь тебе, Ниночка, друг мой, что к десятилетию нашей свадьбы ты будешь жить во дворце.

Нина вздохнула. Ударили к обедне. Нина перекрестилась. Задней дорожкой сада шел к церкви стройно, медленно, прямо, откинув назад голову, отец Александр. Рыжеватые, длинные его волосы густо разметались по спине. Атласная шляпа-цилиндр блестела. Темно-голубая ряса сшита столичным портным.

Проводив священника благочестивым взором влюбленной во Христа невесты, Нина спросила мужа:

— Сколько тебе, Прохор, лет?

— Разве не знаешь? — Он поцеловал ее в сомкнутые бесстрастные губы.

— Знаю. Тридцать первый. Но почему ты кажешься таким возмужалым, пожившим? А иногда... — И Нина улыбнулась.

— Что иногда?

— Таким старым, старым, — фальшиво засмеялась она, чтоб спрятать то, чего не могла договорить. — Пойдем к обедне, — сказала она. — Ведь ты давно не слыхал наш хор. Тридцать два человека теперь в нем. У рабочего Торопова замечательная октава. Пойдем.

— Нет... Я лучше...

Он подошел к телефону, позвонил:

— Сохатых позовите! Илья, ты? Как насчет охоты? Какой фрак, какая обедня?! Брось ерунду молоть! Бери собаку и приходи. Вели лошадей подавать...

Нина Яковлевна Громова имела десять тысяч рублей ежегодного дохода от капитала, принесенного ею в приданое мужу. Все эти деньги она тратила на

благотворительность. Она бы истратила и больше, но Прохор Петрович из своих барышей не давал ей ни копейки. Он вообще не признавал благотворительности, он к человеческой нужде всегда был глух. Первой заботой религиозной Нины Яковлевны было сооружение в резиденции «Громово» просторной церкви. Проект церкви и наблюдение за постройкой должен был взять на себя друг Нины инженер Протасов. Социалист, атеист по мировоззрению, он тогда сказал ей:

— Я бы вам советовал построить вместо церкви клуб для рабочих... Ведь вы ж знаете, в каких условиях они живут.

— Сначала забота о душе, потом о теле, — возразила ему Нина.

— Молиться можно везде. Ваш Христос даже учил молиться втайне. А жизнь в землянках, подобно ужам, озлобляет человека даже против вашего бога.

Но он не мог противиться настойчивым просьбам Нины: он слишком дорожил ее дружбой и принялся за это навязанное ему дело без должного пафоса, хладно. Поэтому и церковь получилась с виду неважная. Деревянная, она проста с виду, но благолепна внутри и всегда полна народу: рабочих на предприятиях Прохора Громова числилось тысячи три, да если прикинуть баб с ребятишками, не уложить и в пять.

Нина Яковлевна госпожою вошла в храм, народ пред ней расступился до самого места у правого клироса, где уготовлен ей коврик и стул. Народу многое множество: рабочие с семьями, окрестные мужики. Воздух сиз и густ. Она осмотрелась, принюхалась: в храме стоял смрад, сдобренный благоуханьем ливанского ладана.

Усердный богомолец Илья Петрович Сохатых сегодня отсутствовал. Была лишь его супруга Февронья Сидоровна, бывшая вдова купца из уездного города. Природа послала ей весу семь пудов ровно. Был знакомый нам пристав. Он теперь при хорошем окладе, в чинах, дюж, как бык, и с порядочной плешью. Но усы все те ж — молодецкие. Два жандармских

унтер-офицера, Оглядкин и Пряткин, гренадерского роста, с рыжими усами, похожие друг на друга, как братья-близнецы.

Иннокентий Филатыч Груздев — он тоже знаком нам — был в званье церковного старосты и стоял за казенкой. Когда-то проглоченный им в квартире следователя криминальный документик Анфисы, как говорится, пошел ему в тук: брюшко округлилось, стариковские щеки цветились румянцем. Только вот беда: шамкал, рот провалился, не было зубов. Но он скоро их вставит.

В это воскресенье с нахальным нахрапом водрузился впереди Нины Яковлевны вышедший на днях из тайги прискатель-хищник Гришка Гнус. Он еще не успел вконец пропиться, хотя от него изрядно разило винным перегаром, — Нина Яковлевна морщилась, зажимала нос платком. Он в странном наряде: широчайшие синего шелка с красными разводами шаровары, в каждую штанину могло бы смело поместиться по пяти пудов ржи, на ногах портянки алого бархата, новые березовые лапти и вместо пиджака по голому телу (рубаха истлела, он выбросил) огромная шаль, заколотая у горла булавкой. Когда он пробирался сквозь гущу народа, бабы завистливо щупали его шаровары и шаль, мужики хихикали в горсть, лукаво крутили носами. Иннокентий же Филатыч подмигнул сам себе, сказал сподручному:

— Вот и еще благодетель прется.

Действительно, прискатель-бродяга сейчас при больших деньгах, а сегодня же ночью, если его не защитит острый нож, он будет, наверно, зарезан иль сброшен в Угрюм-реку.

Крикливо, нестройно запели концерт. Староста, за ним вереница доброхотов с тарелками, с кружками направились за сбором денег. Помолившись в алтаре на престол и получив благословение пастыря, Иннокентий Филатыч чинно двинулся брюшком вперед, к своей благодетельнице. В его руках медное блюдо, на мизинце — колокольчик, которым он время от времени позванивает: знак — вынимать кошельки.

— Эй, хрыч! Ко мне первому, — негромко прохрипел бродяга; он выкатил подбитые в драке глаза и обернулся к старосте своим разбойным лицом. Иннокентий Филатыч, вежливенько шаркнув ножкой, поклонился бродяге, сказал: — Сейчас, — и с приятной улыбкой подплыл к Нине Яковлевне. Та положила на блюдо трехрублевую бумажку. Староста с еще большим почтением подплыл к бродяге, который злобно высматривал, какую благодетельница даст жертву богу.

— Что, трешка? — с презрением сплюнул он сквозь гниль зубов и ловким щелчком грязных пальцев сшиб трешку с блюда. — Барских денег нам не надо, мы сами баре. Стой, не качайся. На!.. — бахвально отставив ногу в лапте, он нырнул за штаны, выхватил пропотевший бумажник, с форсом бросил на блюдо четвертной билет и на всю церковь крикнул:

— Православные! Я, Ванька Непомнящих, али все равно — Гришка Гнус, богатеющий приискатель, жертвую на божий храм двадцать пять целкачей, как одна копейка... Чувствуй! А эта фря, что на коврике, трешку отвалила... Молись, братцы, за благодетеля!..

Двое стражников шумно волокли его вон, заплеванные борода и усищи бродяги тряслись, он упирался, орал:

— Владычица, богородица! Заступись за Ивана Непомнящих! Не дай этим сволочам в обиду... Братцы, бей их!.. Благодетеля изобижают! Господи Суси, господи!..

За церковной оградой стражники сняли с него в свою пользу шаль, бархатные новые портянки, надавали сколько влезет по шее и вернулись в храм, мысленно славя бога за его щедрые к ним, грешникам, милости.

Отец Александр, блистая ризой, наперстным крестом, значком академика и красноречием, начал с амвона проповедь. Давя друг друга, вся паства, подобно овечьему стаду, прихлынула к амвону. Нина Яковлевна взошла на правый клирос и приготовила для слез батистовый платочек.

Отец Александр начал проповедь словами евангелия:

— Судия был в некоем городе такой, что и бога не боялся и людей не стыдился. Вдова же некая была в том же городе и, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». И не хотел долгое время. А напоследок сказал сам себе: хотя бога не боюсь и человека не стыжусь, но как не отстает утруждать вдовица сия, защищу ее, чтобы не приходила больше докучать мне. И сказал Христос ученикам: «Слышите, что говорит судья неправедный, бог же не сотворит ли избранным своим, вопиющим к нему день и ночь, хотя и долго терпит от них...»

Отец Александр театральным жестом руки откинул назад рыжеватые космы волос и прищурился на внимавших ему.

— Теперь спустимся с евангельских высот на землю. Ходят в народе слухи, что вы, трудящиеся, недовольны получаемым жалованьем и собираетесь объявить забастовку. Говорю вам, как пастырь: забастовка — дело бесовское. Вы поступите правильно, если мирным путем будете просить у хозяев прибавки...

И прошумело по церкви сдержанным ропотом:

— Просили... Просили... Толку нет.

— Тише!.. Без шуму. Здесь божий храм. Вы говорите: «просили»? Пытайте еще. Неотступно просите, и голос ваш будет услышан. Ибо сказано в евангелии: «Просите, и дастся вам, толцыте, и отверзится». Вы слышали притчу о судье неправедном? Надоела ему вдовица, и он внял ее просьбе. Так неужели ж ваши христолюбивые хозяева хуже судьи нечестивого?

— Хуже, хуже... Мы про хозяйку молчим, госпожа добрая, с понятием... А вот...

— Стойте, здесь не тайное сборище, куда все чаще и чаще завлекают вас крамольники... Гнев божий на тех, кто соблазняется ими! — грозно прикрикнул отец Александр. — Я же вам говорю: решайте дело мирным путем. И я, ваш пастырь, об руку с вами... Мужайтесь. Аминь.

8

Праздничный завтрак накрыт в малой столовой. Все прочно, солидно, богато. Дубовый круглый стол, черного дуба резные стулья, диваны. Стены в темных тисненых обоях. Айвазовский, Клевер, библейский этюд Котарбинского, люстра и бра старой бронзы. Двери и окна в портьерах тяжелого шелка. У Нины Яковлевны конечно ж есть вкус, но в убранстве квартиры ей помогал и Протасов.

— Можно садиться? — сказал он и сел.

— Да, да, прошу! Отец Александр, господин пристав, Иннокентий Филатыч, мистер Кук, — спохватилась хозяйка.

Стол сервирован с изяществом: фарфор, серебро, в старинных батенинских вазах букеты свежих росистых цветов. Много вин, есть и водка.

— Эх, вот бы отца Ипата сюда! — простодушно говорит пристав, наливая себе и соседям водки. — Вы его помните, Нина Яковлевна?

— Да, да. Это который — «зело борзо»?

— Вот именно... Ну-с, ваше здоровье! зело борзо! — чуть приподнялся грузным задом, чуть звякнул шпорами матерый, по шестому десятку лет, пристав.

После смерти Анфисы он долго, отчаянно пил, был с места уволен. Жена бросила его, связалась с падким до всяческих баб Ильей Сохатых, потом постриглась в монашки — замаливать блудный свой грех. Сердце же пристава ныне в полном покое: Прохор Петрович, вынужденный логикой жизни, взял пристава к себе на службу и наградил его своей бывшей любовницей Наденькой. Пристав теперь получает хороший оклад от казны и от Прохора Громова. Кой-кто побаивается его. Рабочие трепещут. Инженер Протасов ненавидит. Мистер Кук смотрит на него с высоким презрением. Но свои отношения к нему все ловко скрывают.

Завтрак был скромный: пирог, жареные грибы в сметане, свежие ягоды.

Пристав, подвыпив, прищурил глаза на священника и развязно сказал:

— Отец Александр, многоуважаемый пастырь, а ваша проповедь-то... знаете что? С душком... С этаким, знаете...

— Послушайте, Федор Степаныч. — И священник налил себе полрюмки портвейна. — Вы что ж, епископ? Или, может быть, консисторский цербер?

Пристав, подмигнув инженеру Протасову, — дескать: ужо-ко я его, кутью! — демонстративно повернулся к священнику всем своим четырехугольным крупным телом, и его пушистые, с проседью, усы на оттопыренной губе пошли вразлет:

— Ну-с, дальше-с...

— Кто вам дал право критиковать мои беседы с верующими?

— Это право, батюшка, принадлежит мне по должности, по данной присяге...

— Пред чем же... пред чем вы присягали?

— Пред крестом и евангелием...

— Ах, вот как! Но в евангелии блуд осужден. Вы же блудник суть, живете с любовницей. Так как же вы смеете подымать против меня свой голос?

— Послушайте, батюшка... Как вас. Отец Александр, — беззастенчиво тряс пристав священника за праздничную рясу.

Между ними встала хозяйка:

— Оставьте, Федор Степаныч... Бросьте спор. Кушайте.

— Но, Нина Яковлевна, голубушка...

— Только — не голубушка...

— Простите, Нина Яковлевна... Но ведь отец Александр желает залезть в ваш карман, — бил себя в грудь пристав. — Ведь он же призывает рабочих черт знает к чему!..

Священник с шумом отодвинул стул, перекрестился на образ и с оскорбленным видом молча вышел вон. На уговоры хозяйки там, в прихожей, благословив ее, он сказал ей, уходя:

— И как вы можете подобного мизерабля пускать в свой дом?

Нина отерла показавшиеся слезы, оглянулась на дверь и проговорила взволнованно:

— Я не знаю, батюшка. Но им очень дорожит муж... И, мне кажется... Я только боюсь сказать... Тут что-то ужасное...

— Что? Что именно? — шепотом спросил священник и, приблизив ухо к ее губам, ждал ответа.

Когда вернулась хозяйка к гостям, мистер Кук, большой резонер и любитель тостов, поднял свой бокал и вынул изо рта сигару:

— Мадам, ваше здоровье! А также позвольте выпить за Россию, которой я гость и слуга! — Он, когда бывал трезв, строил фразы почти правильно, но особая тщательность произношения с резким ударением на каждом слоге изобличала в нем иностранца. — Россия, господа, страна великих возможностей и очшень большой темноты, чтобы не сказать слишком лишнего. Возьмем пример. Вот тут, пред нашими глазами, я бы не сказал, что была сцена весьма корректного содержания, о нет! В нашей стране подобного казуса не могло бы состояться. Господин священник и господин пристав пикировались, как бы это выразить... пикировались вне пределов скромности. Один не понимал мудрость слов, сказанных в церкви. Я содержание проповеди узнал от свой лакей Иван... Другой, а именно мистер отец Александр, вторгается в личный жизнь и начинает копаться в очшень грязном белье господина пристава. Но разрешите, господа... Личная жизнь каждого гражданина страны есть святыня! И сор в чужую избу мести не надо, как говорит рюсский хорош пословиц.

— Простите, мистер Кук, — перебил его инженер Протасов; он поправил пенсне с черной тесьмой, черные глаза его засверкали. — Но мне кажется, что вы только теперь, именно в нашей темной России, начинаете набираться либеральных идей. А ваша хваленая Америка — ой, ой, я ее знаю хорошо.

— О нет! Вы ее знаете очшень не хорошо, очшень не хорошо! — воскликнул мистер Кук и, не докончив тоста, сел.

— Вы не обижайтесь, мистер Кук.

— О нет! О нет...

— Со всем, что вы только что изволили сказать, я вполне согласен.— И Протасов сделал рукою округлый примиряющий жест. — Наша русская сиволапость — вы понимаете это слово? — русская сиволапость общеизвестна, факт. В особенности в такой дыре, в нашем болоте. — И он широким вольтом развел обе руки, скользом прищурившись на пыхтевшего пристава.

Хозяйка легким кивком головы согласилась с Протасовым. Тот продолжал:

— Ну так вот. Но это неважно, некультурность наша... Это все схлынет с нас. Важны, конечно, идеалы, устремления вглубь, дерзость в смелых битвах за счастье человечества. Вот в чем надо провидеть силу России. Провидеть! Вы понимаете это слово?

— О да! Вы, мистер Протасов, простите, вы слишком, слишком принципиальный субъект... У вас, у русских, везде принцип, во всем принцип, слова, слова, слова. А где же дело? Ну-с?

Протасов слегка улыбнулся всем своим матово-смуглым монгольским лицом, провел ладонью по бобрику с проседью черных волос и, слегка грассируя, сказал:

— Тут дело, конечно, не в принципах, а в нации, в свойстве вашего и нашего народа к подвигам, к жертвам, к пафосу революционных идей. Ну, скажите, мистер Кук, в чем национальные идеалы обожаемой вами Америки?

Тот пыхнул сигарой, на момент сложил в прямую черту тонкие губы и поднял правую бровь:

— Наш национальный идеал — властвовать миром.

— При посредстве золота? Да?

— Хотя бы и так.

— Но золото — прах, мертвечина. А где ж живая идея, где народ? Мне кажется, мистер Кук, что мир будет преображен через усилия всего коллектива, а не через кучку миллиардеров, не через ваше поганое золото!

— Но, мистер Протасов, где же логика? Что есть золото? Ведь это ж и есть конденсированный труд коллектива. Следова́тельно, что? — Он сделал ударение на «а». — Следовательно, в обновлении мира через золото участвует и весь коллектив, его создавший. В потенциале, конечно.

Андрей Андреич Протасов досадливо заерзал на стуле, воскликнул:

— Мистер Кук! Но ведь это ж парадокс! Даже больше — абсурд! Действовать будет живой коллектив, а не ваше мертвое золото!

Американец недоуменно пожал плечами и стряхнул пепел с своей белой фланелевой куртки. Бритое, лобастое, в крупных веснушках, лицо его затаенно смеялось, маленькие серые глаза из-под рыжих нависших бровей светились энергией. Вот он улыбнулся широко и открыто, оскалив золотые коронки зубов.

— Ну, так, — сказал он и, как бы предчувствуя победу, задорно прищелкнул пальцами. — Давайте пари! Поделим с вами тайгу: вам половина — нам половина. Мы с Прохором Петровичем в одном конце, вы со своим коллективом на другом. У нас в руках золото, у вас только коллектив. Вот начинаем дело и будем посмотреть, кто кого?!

Хозяйка внимательным слухом въедалась в обычный спор: в их доме спорили часто.

— Как жаль, что нет Прохора, — заметила она, приготовившись слушать, что ответит Протасов.

Слова хозяйки погибли в обидном молчании. Пристав с Иннокентием Филатычем вели разговоры домашнего свойства: о телятах, о курах, о Наденьке. Впрочем, мистер Кук, исправляя неловкость, сказал:

— Да, очень, очень жаль, что Прохор Петрович не с нами. Это, это... О, хи из э грэт ман! Очшень светлый ум... Ну-с, мистер Протасов, я вам ставил свой вопрос. Я жду.

Инженер Протасов вместо ответа взглянул на запястье с часами, сказал: «Ого! пора...» — и стал подыматься.

— Разрешите, Нина Яковлевна...

— Ага, ага! Нет, стойте, — захохотал мистер Кук

и дружелюбно схватил его за руки. — Я вам ставил свой вопрос. Угодно ответить? Нет?

— Потом... А впрочем... В двух словах...

Он стоял, приземистый, плотный, мускулистый, обратясь лицом к американцу. Нина Яковлевна очарованно глядела Протасову в рот, ласкала его улыбнувшимися глазами. Он сбросил пенсне и, водя вправо-влево пальцем над горбатым носом мистера Кука, с запальчивой веселостью сказал:

— Мы вас побьем. Вас двое, нас — коллектив. Побьем, свяжем, завладеем вашим золотом и... заставим вас работать на коллектив... До свиданья!

— Где? — выпалил американец.

— На поле битвы.

Все засмеялись, даже пристав. Мистер Кук засмеялся последним, потому что ответ Протасова он понял после всех.

— Что? Вы насильно завладеете нашим золотом? О нет! — воскликнул он. — На чужую кровать рта не разевать, как говорит рюсский, очшень хорош пословиц...

Его реплика враз покрылась дружным хохотом.

Вечер. Отдудила пастушья свирель. Коровы давно в хлевах. Охладевая от дневного зноя, тайга отдавала тихому воздуху свой смолистый, терпкий пот.

Любовница пристава Наденька встретила Прохора возле околицы.

— Стойте, стойте! Илюша, осади...

Илья Сохатых правил парой. Взмыленные кони остоповали.

— Ну? — грубо, нетерпеливо спросил Прохор вертлявую Наденьку.

— Можно на ушко? Наклоните головку... — Наденька подбоченилась и, потряхивая грудью и плечами, развязно встала возле тарантаса.

Лицо Ильи Сохатых сделалось улыбчивым, сладким, приторным.

— Не ломайся, без финтифлюшек! — оборвал Наденьку Прохор.

Лицо Ильи Сохатых сразу нахмурилось, лукавые глаза не знали, что делать.

— Ну?! — холодно повторил Прохор, разглядывая что-то впереди на ветке кедра.

С тех пор как Наденька изменила ему с заезжим студентом, она стала физически ненавистна Прохору. Он тогда избил ее до полусмерти, хотел выселить из резиденции, но, по ходатайству влюбленного в нее пристава и за какие-то его высокие заслуги, Прохор передал ему Наденьку вместе с выстроенным ей голубым домком. Себе же сразу завел двух любовниц — Стешеньку и Груню.

Наденька меж тем продолжала любить Прохора и всяческой лестью, клеветой на других, подлыми делишками старалась выслужиться перед ним, вернуть его себе. Наденька, пожалуй, опасней пристава: ее хитрое притворство, лесть, соблазнительные чисто бабьи всякие подходцы давали ей возможность ласковой змейкой вползать в любой дом, в любую семью.

— Прохор Петрович, — сказала она шепотом, и давно наигранная таинственность покрыла ее лицо, как маска.— Федор Степаныч сами уехатчи в Ключики, рабочие там скандалят, оченно перепились. А мне приказали передать вам насчет батюшки, насчет проповеди ихней сегодня в церкви. Многие рабочие готовятся требовать... Батюшка принародно их на это науськивал. Вот, ей-богу, так!

— Что требовать? На кого науськивал? Говори толком...

— Прибавки требовать, прибавки! Очень малое жалованье им идет...

— Кому? Попу?

— Да нет же! Господи... Рабочим!

И Наденька, путаясь, облизывая губы, крутясь — по тридцать третьему году — на каблуках девчонкой, передала Прохору Петровичу все, что надо.

В тарантасе пять ружей — два своих да три чужих, рыбачья сеть, два утиных чучела, груда битой птицы. Прохор, в кожаной шведской куртке, в кожаной фуражке, выбросил к ногам Наденьки пару рябчиков и

куропатку. Ни слова не сказал ей, не простился, только крикнул:

— Пошел! — И лошади помчались.

Илья Сохатых хотел пуститься в обличительную по адресу отца Александра философию, но дорога очень тряская, того и гляди язык прикусишь. Илья вобрал полную грудь пахучего воздуха, до отказа надул живот, чтоб не растрясло печенки, и молчал до самого крыльца.

— А отец Александр — не священник, а — между нами — целый фармазон, — все-таки не утерпел он, слезая с облучка. — За компанию-с, Прохор Петрович! Благодарим покорно за охоту-с...

— Пришли десятского...

— Слушаю-с!.. И уж позвольте вам, как благодетелю... — Он подхалимно склонил набок кудрявую, длинноволосую, как у монаха, голову и по-собачьи облизнулся. — Хотите верьте, хотите — нет. Ну тянет и тянет меня к этой Надюше. Что-то такое, понимаете, в ней этакое... Какой-то индивидуум, например.

Прохор пожевал усы, подвигал бровями, хотел обозвать Илью ослом, но передумал.

— Пришли десятского, — хмуро повторил он и нажал дверной звонок.

Он поздоровался с женой довольно сухо.

— Вот что, скажи своему попу... Впрочем, я позову его сюда.

Он стал звонить в телефон.

— Слушай, Прохор... Будь корректен... Кто тебе накляузничал?

— У Прохора везде глаза и уши. Алло! Это вы, отец? Я вас прошу на минутку к себе. Больны? Тогда я за вами пришлю лошадь, хотя тут два шага. Что? Тогда я иду к вам. До свиданья.

— И я с тобой, — испуганно сказала Нина.

— Зачем? В качестве защитницы?.. Ну, так знай... Ежели он... Я его в двадцать три с половиной часа — марш-марш, подорожную в зубы — и фюить!

Нина вся подобралась, тряхнула головой и быстро вышла из кабинета, хлопнув дверью. Потом приоткрыла дверь и крикнула:

— Ты этого не посмеешь!.. Не посмеешь...

Горничная доложила, что пришел десятский.

— Зови!

Рыжебородый десятский, весь какой-то пыльный, заляпанный грязью, кривоногий, вошел браво, снял казацкую папаху — у пояса нагаечка висит, — поклонился хозяину и стал во фронт.

— Что прикажете-с?

Прохор сел в кресло, сбросил тужурку в угол. Десятский на цыпочках подкрался к ней, бережно положил на диван; опять стал во фронт и легонько откашлялся в кулак.

— В тарантасе три ружья. Отнеси в контору. Взыскать с Андрея Чернышева, Павла Спирина и Чижикова Ивана по три рубля за самовольную охоту в моих угодьях. Накласть им по шее. За рыбачью сеть...

— С Василия Суслова?

— С него... Тоже три рубля. Запомнил? Ступай!

Через десять минут Прохор был у священника.

— Рад... Несказанно рад. Садитесь, гость дорогой. — Священник нырнул левой рукой под рясу, вынул табакерку, хотел понюхать, передумал, положил табакерку на край стола.

— Отец Александр... Я тороплюсь. Мне некогда. И вот в чем... Я вас прошу моих рабочих не мутить. Если я распущу вожжи, все расползется, полетит к черту, извините. Тогда я буду в ответе пред своей страной, пред своей...

— А я ж в постоянном ответе перед богом за свою паству. Вы тоже это примите во внимание, любезный Прохор Петрович. — Священник подошел к цветку герани и оборвал сухой листик. — Я ж ничего дурного и не говорил. Наоборот, я против ожидаемой забастовки выдвинул страх божий. — Священник наклонился и поправил рукой коврик.

Чтоб не взорваться гневом, Прохор больно закусил губы и, передохнув, спокойно сказал:

— Вы можете выдвигать против забастовки что угодно. Даже божье слово. Только вряд ли оно имеет силу. Я же выдвину нагайки, а если понадо-

бится, то и порох с картечью. Мне забастовка не страшна.

— Прохор Петрович, сын мой! — И отец Александр вплотную приблизился к стоявшему Прохору. — Бойтесь обагрить кровью свои руки.

— Спасибо за совет, — проговорил Прохор, удаляясь к двери. — Но послушайтесь также моего совета, святой отец: или вы занимайтесь своим делом — крестите, венчайте, хороните, или... я пошлю вас к... — Тут Прохор вовремя опамятовался и невнятно промямлил: — Я вас, извините, этого — как его, я вас собирался послать... Впрочем... До свиданья.

Священник покачнулся. Табакерка упала. Нюхательный табак пыхнул по коврику.

В этот праздничный день рабочие гуляли шибко на особицу. Еще накануне, в субботу, при получке денег, чувствовалось какое-то ухарское и вместе с тем угнетенное настроение толпы. Получали в конторе деньги с молчаливой угрюмостью, без обычных шуток и подсмеиваний над собственной судьбой. Впрочем, кто-нибудь скажет, жестко глядя в широкую плешь кассира: «Только-то? А когда же прибавку?» — и покроет русским матом всю резиденцию, весь белый свет и самого Прохора Громова. Вот тогда злобно, с какой-то звериной яростью захохочет прущий к кассе рабочий люд. И пойдут разговоры, словечки, выкрики, посвисты то здесь, то там. Двое охраняющих кассу десятских нет-нет да и бросят: «Эй, вы! Старатели! Молчок язычок!» — и запишут в цидулку Ивана, Степана, Гришку Безногтева, Саньку — один к одному, все ухорезы, зачинщики, шишгаль. А Гришка Безногтев присядет в толпе, чтоб не видно, присвистнет и выкрикнет: «Жулики, живоглоты!.. Кровь из нас сосете!» Вообще настроение было неважное. Рабочие шли домой понурыми кучками, иные заходили в кабак, запасались водкой, пивом. Сначала гуляли в своих лачугах, землянках, бараках, пили — главы семейств, их жены, даже малые дети. Под вечер зачинались драки. Избитые бабы были брошены

дома, мужья же вышли на волю и пьяными ногами стали расползаться кто куда: в кабак, в живопырку, а кто и прямо в тайгу, в болото, в холодок. Гвалтом, руганью, большеротой песней, криками: «Караул! убивают!» — гудела окрестность. К вечеру попадались мертвецки пьяные — у многих сняты сапоги, пиджаки, рубахи, вывернуты карманы — приисковая шпана не дремлет. Кой у кого проломаны головы, кой у кого вспороты животы ножом — отцу Александру петь вечную память. Бабы бегут в контору, версты за три в хозяйский дом, к сотскому, к десятскому: «Кормильца нашего убили!», «Ваську бьют!» Плач, вой стоит всю ночь. Всю ночь по тайге, по рабочим поселкам, вдоль села, где много кабаков, притонов, рыщут на конях стражники, высматривают, кого поймать, кого вытянуть нагайкой сверху вниз, наискосок, кого забрать, накинуть на шею петлю и вести, как последнего пария, в каталагу на прóдрых.

Сам пристав Федор Степаныч Амбреев, заядлый пьяница, ерник, сидит в притоне для так называемой местной знати, тянет портвейн, принимает доклады десятских, сотских, стражников, иногда взберется при посторонней помощи в седло и беременной коровой проскачет по улице:

— Эй, сторонись! Пади! Начальство мчится!!

Вот из-за темного угла опоясала его по мягкой, как пирог, спинище метко брошенная палка. Но он и не почувствовал.

— Его, дьявола, из пулемета жигануть... А палка ему, как слону — дробина.

— Постой, постой! Квит-нá-квит скоро сделаем...

— Эй, боров!.. Долго тиранить хрещеных будешь?!

Но пулеметов у рабочих нет, нет ни пороху, ни ружей: давным-давно все было отобрано, и внезапные обыски повторялись очень часто.

А приставу весело: портвейны, коньяки, шипучка. «И-эх!.. Разлебедушка моя... Пей, гуляй, веселись!.. Денег у Прошки много...»

— Вашескородие! — догоняет его стражник. — Что прикажете делать с убитым?.. Кузнец Степан Петров... Горло перерезано...

— Жив?

— Так что померши... Голова напрочь...

— Кто убил? Сыскать! Привести!.. Я вам, мерзавцы!.. Я вам!!!

Ухая и кой-как держась в седле, хранимый случаем, он приезжает сквозь осеннюю тьму к голубому своему домику, стучит нагайкой в раму:

— Надюша!.. Встречай...

Из окошка в сад вымахнул запоздалый — с усиками, в брючках — местный франт, отворилась парадная дверь, сияющая, хмельная Наденька кинулась приставу на шею.

— Ах, Федюнчик!.. А я все одна да одна... — И чмоки обцелованных франтом губ щекочут разомлевшее сердце пристава.

4

Понедельник. Шесть часов утра. Гудят заводские гудки. В доме еще все спит. Прохор Петрович вскакивает в своем домашнем кабинете быстро, сразу, откупоривает квас и залпом выпивает целую бутылку. Наскоро, небрежно умывается, мимоходом вскидывает взгляд на большой в серебряном окладе дедов образ богородицы — надо бы для душевного покоя перекреститься, — лень, берет походную торбу с едой и выходит чрез кухню на черный двор. Дворник Нилыч кормит сидящего на цепи Барбоса. Дворничиха тащит в свинарник месиво. Утки жрут в корыте корм, переругиваясь друг с другом.

Прохор вскочил в двухколесный шарабан, положил возле себя ружье и выехал на лесопилку. До лесопилки добрых три версты.

Утро прозрачное, тихое. Природа бодрствовала. Перепархивая стайками, дрозды оклевывали янтарь поспевающей рябины. Роса окропила травы, листы и хвои деревьев. Легковейная пыль на дороге от ночной прохлады огрузла, колеса бегут легко, грудь Прохора дышит всласть, глубоко и жадно. Опьяненная кислородом кровь бьет в мозг, в плечи, в кисти рук. Сладость предстоящего труда охватывает все его

тело. Но мысль пока отдыхает в праздной лени: кругом так хорошо. Созданная им дорога пряма, лес по сторонам богат и строен. Каждый сук, каждый пень Прохор превратит в деньги, в звяк драгоценного металла.

И вдруг посмотрела на него морда зверя, внезапно всплыл в подсознании его любимец волк. Он дышал хозяину в лицо, из пасти пахло кровью, текла слюна. Острые, отточенные клыки с кривым захватом блистали холодной белизной.

— Уйди, черт! — сказал Прохор, и видение исчезло. Он улыбнулся, не без гордости подумал: да, да, он, в сущности, тоже двуногий волк с звериными клыками, с мертвой хваткой, гениальностью смелого дельца.

«Ну, что ж... Пусть меня считают волком, зверем, аспидом... — думал он. — Плевать! Они оценивают мои дела снизу, я — с башни. У них мораль червей, у меня крылья орла. Мораль для дельца — слюнтяйство. Творчество — огонь, а мораль — вода. Либо созидать, либо философствовать. Загублю жизнь в дело, оставлю потомству плоды рук своих, и вот, может быть, тогда буду замаливать грехи, уйду в пустыню, облекусь во власяницу, во вретище и концы дней проведу на столпе, как подвижник. Там буду стоять, бить кулаком в грудь, каяться, пока не свалюсь и не ударюсь затылком в доски гроба». Он хлестнул коня вожжой и въехал на рысях в ворота лесопилки.

Еще издали завидев хозяина, рабочие засуетились. Штабеля досок росли, при помощи медведок подкатывались бревна, их подхватывали железные пальцы-храпы и волокли по наклону вверх. Сталь вправленных в рамы хищных пил с змеиным шипеньем мерно резала бревна на пласты, как репу. Желтоватый снег опилок густо порошил, навевая внизу сугроб. Пыльный воздух пропах смолой: с непривыку могла разболеться голова. Рабочие деловито покрикивали, козлами прыгали чрез бревна, с шумом швыряли доски, пытаясь выслужиться пред хозяином.

— Честь имею заявить, Прохор Петрович, что на заводе все благополучно, — выстроился пред Прохором заведующий из местных крестьян, старик Лукин.

Рабочие сразу примолкли, умерили темп работы, стали прислушиваться, какую речь поведет Лукин.

— Народ весь на местах?

— Так точно, весь.

— Ну?

— Больше ничего-с. — Лукин замялся, снял картуз и робким взглядом проверял настроение хозяина. — Еще вот что, Прохор Петрович... Насмелюсь доложить... Отойдем-ка в сторонку...

— Что, прибавка?

— Так точно... Поговаривают.

— Поговаривают?! — вспылил Прохор. — А ты молчи, старый дурак, молчи!

Лукин опустил глаза, слегка прикашлянул и не знал, что делать с картузом: надеть — боялся.

— Покличь машиниста...

— Есть, — обрадовался старик Лукин и побежал вприпрыжку.

В десять ртов закричали, стараясь заглушить звяк пил и стон насмерть раздираемых деревьев:

— Машинист! Эй, машинист! Иван Назарыч! Хозяин требовает!

Черный, грязный, просаленный, вылез машинист. Он — маленький, толстоголовый, щека завязана тряпкой. Хозяин крепко взял его за плечо и подвел к сложенным доскам. На колышке жестянка с надписью: «Штабель № 32, 250 штук, 3 с. $\times$ $2^1/_2$ дюйма». Потом вынул костяной складной аршин и, проходя вдоль штабеля, стал мерить толщину досок. Доски были недопустимо разных размеров.

Прохор резко постучал аршином в доски и уставился на машиниста уничтожающим взглядом. Глаза машиниста заюлили. (Он помнил, как в прошлом году Прохор при всех швырнул его в кучу опилок.) Машинист поднял на Прохора виноватый взгляд. Прохор придвинулся к нему вплотную и перед самым его носом выразительно погрозил пальцем. Машинисту показалось, что из-под усов хозяина выпирали клыки волка. У него заслабло в животе, он попятился и, разинув рот, ждал бури. Однако Прохор молча, с подавленной свирепостью, сел в шарабан, уехал.

Дальше дорога свертывала к реке и верст десять шла по ее берегу до так называемого плотбища. Здесь вязались из сосновых скобленых бревен плоты. С высокого берега Прохор насчитал более сотни звеньев. Они обрамляли береговой приплесок ровной желтой лентой версты на две. «Вот они, денежки-то!» — с приятностью думал Прохор. Тут же в несколько топоров валили лес. Очищенные от коры бревна, похожие на огромные восковые свечи, скатывали по слегам вниз, к воде. Там, с правой стороны, грузили на плоты известь, руду, целые буруны скотской кожи, пушнину, бочки со смолой и дегтем. Туда нельзя пробраться в шарабане. Прохор отъехал на полянку, быстро распряг лошадь, вскочил верхом и помчался без седла к месту погрузки.

— Помогай бог, ребята! — крикнул он.

— Спасибо, — ответили рабочие и поснимали картузы. — Плохо бог-то помогает. Видишь, бочку с дегтем утопили. Ее, дьявола, теперича с места не стронешь. — Рабочие стояли возле плота по грудь в реке и не знали, что делать. У коротконогого Захара бородища всплыла на воде, как веник.

— Как вас угораздило?

— Да с горы скатилась, чтоб ни дна ни покрышки ей!.. Ванька со Степкой упустили.

Прохор живо разделся, крикнул: «Вылазь на берег, давай две слеги сюда!» — а сам бросился в воду, нырнул, ощупал лежавшую на дне бочку, вновь вынырнул. Он бел телом, но лицо и шея точно из другого теста — смуглые, прокаленные солнцем.

— Канат сюда! — Он опять нырнул, зачалил под водой бочку, поддернул ее на слеги, вынырнул, скомандовал:

— Тащи! — Бочка поползла по наклонным слегам прямо на плот и, мокрая, черная, как морское чудище, села среди своих подруг. Все это заняло не более пяти минут. Мужики с удивленным почтением глядели на расторопного хозяина.

— Сколько времени валандались? — спросил он, одеваясь.

— Да с самого утра бьемся, — ответил старший, чернобородый мужик с бельмом, Филат.

— Дураки, — сказал Прохор, — в три шеи вас гнать...

— Ишь ты, в три шеи! — сдерзил Филат. — Ты, што ль, мою шею-то растил? Плата мала, вот и...

— Я тебя, Филат, уважаю, — охлажденный водой, спокойно сказал Прохор. — Но если еще раз услышу, что ты в натыр идешь, вышвырну вон с работы.

— Пуп надорвешь! — неожиданно крикнул Филат, и впалые щеки его задергались. — Ежели мы плохо работаем, так нам же хуже, мы на сдельной, мы с пуда получаем, а не месячные... Черт мохнорылый!.. Сначала узнай, а потом и лайся.

Прохор посмотрел в его заросшее черной шерстью лицо, сказал: «Кто лается-то!» — вскочил на лошадь и поехал приплеском туда, где грузили известь.

— Помогай бог! — поприветствовал Прохор грузчиков.

От известковой пыли они были белые, — сапоги, штаны, рубахи, бороды — словно слепленные из алебастра. Во всю поверхность каждой связки плотов устроены дощатые донья, чтоб известь в пути не подмокла.

— Сколько плотов на связке?

— Да пятьсот с гаком.

— Велик ли гак?

— А это у десятника спроси.

Чрез тайгу, по узкой просеке, проложена воздушная дорога: на высоких столбах натянутый с уклоном цинковый трос. Особые деревянные клетки, набитые рогожными кулями с известью, катились вниз по тросу от известковой печи к плотбищу. Печь была в версте отсюда.

Подошел десятник, молодой парень из рабочего цеха, поклонился и подал хозяину написанную карандашом ведомость погрузки. Прохор переписал в свою книжку итоговые цифры, спросил:

— Когда станут обжигать известь?

— Сегодня в ночь.

— Вот что... Скажи дегтегонам, чтоб к завтрему доставили в лабораторию пробу дегтя. Из города получил жалобу — очень жидкий. Сегодня мне некогда. Скажи им, чертям, что морды бить приеду завтра.

Была полдневная пора. Время обедать. Рабочие бросились купаться. Двое из них развели костер. Комар надоедал, больно жалил. Прохор, обмахиваясь зеленым веничком, повернул коня обратно. Подъехав к шарабану, он заметил, как из кузова выпрыгнули две, как пламя, рыжие с белыми брюшками лисицы и, облизываясь, пошли тихонько в лес. Они полакомились рябчиками, сыром, маслом. Видимо, всем этим остались довольны, но появление человека их обозлило: остановились в чаще и, сердито взмахивая хвостами, тявкали на Прохора.

Он схватил ружье и кинулся за ними. Древний, взвившийся в нем инстинкт сделал его легким, быстрым. Лисицы дали хитрый круг и, в обход человека, вновь вышли к шарабану. Одна села в стороне пособачьи, другая взобралась на шарабан и, приятно повиливая хвостом и поминутно озираясь, с аппетитом доедала хозяйский завтрак. Привыкший к повадкам зверей, Прохор сразу сметил ловкий маневр этих рыжих воришек. Он круто повернул обратно, выполз на брюхе из чащи и, весь внутренне дрожа, прицелился по лисе на шарабане. «Хорошо бы в голову утрафить, чтоб шкура была цела», — подумал он, прищурил левый глаз и спустил курок. Потом вскочил и с яростью бросил двустволку оземь: ружье не было заряжено. Лисицы тихим шагом удалялись.

«Знают... Вот анафемы!» — удивлялся он какому-то непостижимому угадыванию, которым обладали эти обычно чуткие, осторожные зверьки.

Такая неудача показалась Прохору столь обидной, что он в злобе едва не заплакал. Потом стало смешно на самого себя, на лисиц. Они разорвали нанковый мешок с запасом и все уничтожили: остался чай да сахар. А очень хотелось есть: со вчерашнего вечера он не принимал пищи.

— Эй! — кто-то окликнул его из чащи, грубо, позвериному, как лесовик.

Прохор оглянулся. На него шел желтолицый, большебородый оборванец. Он огромен ростом, широк в плечах. Одет в грязные лохмотья, из прорех торчали обмызганные отрепья ваты. На большой лошадиной голове намотана ситцевая повязка с приподнятой на лоб сеткой от комаров. В правой, покрытой засохшей землей руке — дубина, за опояской — топор и нож. Не дойдя до Прохора шагов пяти, бродяга остановился.

— Кто таков? — спросил его Прохор и сунул руку в карман. Револьвера не оказалось.

Бродяга водил бровями, причмокивал, пугающе молчал.

— Ты кто? — вновь спросил Прохор.

— Убивец, — глухо ответил тот и сбросил с плеч туго набитую котомку.

Прохор окинул его опытным взглядом таежника. Оловянные глаза бродяги с вывернутыми, как в трахоме, веками показались ему наглыми, разбойничьими. Прохор силен, но безоружен. Бродяга огромен, вооружен топором, ножом, преступной жизнью. Такие страшные люди могут убить человека ради сапог, ради потехи. Прохор приготовился. Бродяга подошел к нему вплотную. Тот — ни шагу назад, чтоб не показаться трусом. Бродяга тяжело дышал, от него разило мерзким чесночным духом: он, видимо, всласть поел отвратительной пахучей травы — черемши.

— Да ты не бойся, — угрюмо сказал бродяга.

— А чего мне бояться: у меня ружье...

Бродяга крутнул головой, издевательски подморгнул Прохору, указал рукой на шарабан, в котором только что была лиса, и на тайгу, куда она скрылась, буркнул:

— Не стреляет... — и заперхал сиплым хохотком, похожим на хрип собаки в петле.

Прохор внезапным толчком сшиб бродягу с ног и выхватил у него топор и нож. Бродяга тяжело встал на четвереньки, потом выпрямился и обложил Прохора ласковой грязной бранью:

— Ну, язви тя... Твоя взяла.

Он дышал глубоко, болезненно, раздувая грудь, втягивая щеки. Его мучило удушье. Прохор внутренне раскаивался, что свалил больного человека; он бросил бродяге топор и нож.

— Золото есть? — спросил Прохор.

— Есть... С полпудика.

— Почем?

— Тройка золотник.

— Беру. Придешь в контору за расчетом.

— Отец родной. Ты кто? — взмолил бродяга.

— Прохор Громов.

Бродяга отсморкнулся наземь и слезливо скривил рот.

— Спаси ты меня, Прохор Петров, спаси!

— От кого?

— От меня спаси. Ну, нет мне настоящей жизни. В три дня все деньги спущу и... снова каторга.

Прохор сказал:

— У меня нет жратвы. Лисицы весь припас слопали. Может, у тебя есть что-нибудь?

— Есть, есть, кормилец... Бабы наподавали. — И повеселевший варнак быстро развязал суму.

Развели костер, воткнули в наклон к огню два тагана (жердины), подвесили котелок и чайник.

Здесь было тихо, глухо. Тайга стиснула эту полянку стеной елей, сосен, пихт. Неистово кусали комары. Они облаком толклись над лошадью, у костра их было меньше, бродяга спустил на лицо сетку. Прохор сетки не имел. Он развел возле лошади из гнилушек дымокур. Она всхрапывала, чихала, щурила слезящиеся глаза, но, спасаясь от кусачей твари, лезла в самую гущу дыма.

Прохор растянул ситцевый полог, похожий на маленькую палатку. Завтракать на воле не давали комары, он залез в полог. Бродяга налил в свою деревянную китайскую чашку ухи, подсунул ее под полог Прохору, а сам ел у костра из котелка. Комары, охваченные паром, падали в котелок бродяги; он глотал уху, густо приправленную их сварившимися тельцами, и не обращал на это никакого внимания. Комариное облако пищало над пологом едва слышным

миллионным писком: их раздражал запах вспотевшего неуязвимого человека; в пологе действительно стояла сорокаградусная жара и духота: гологрудый Прохор был весь мокрый.

— Эй, Петрович! — крикнул от костра бродяга. — Желаешь, расскажу всю историю своей жисти анафемской? Вот слушай, коли так. И поступил я, значит, на канал казенный. В глухой тайге, в болотине этот самый канал копали, чтоб две реки вместях соединить, шлюзы строили, плотины, сколь денег казенных зарыли в грязь! А я там в кузнецах существовал. А сам я убивец, беглый. А прозвище мое Филька Шкворень. Слышишь, нет?

— Слышу.

— Ну, так. Вот увидал меня самый главный начальник, анжинерский генерал, говорит мне: «Ну что, Шкворень, бросил пьянствовать?» — «Бросил, ваше превосходительство». — «Вот это хорошо, Шкворень, — говорит мне генерал, — мужик ты дельный, — говорит, — много лет тебя знаю. Бывало, целый год служишь, получишь кучу денег, поедешь в отпуск да все сразу и пропьешь. Потом опять вернешься, кланяешься: примите. А ведь труд твой каторжный, тяжелый... Какая глупость получается: год мучаешься, да день гуляешь... Срам!» — «Нет, ваше превосходительство, — отвечаю, — вот пятый год кончается, в рот капли не беру. Вот скоплю денег, уеду в город, мастерскую там открою». Ты слушаешь, Петрович, нет?

— Слушаю.

— Слушай. А верно, кончился пятый год моей треклятой жизни в болоте, в холоде, в тоске: шибко скучал по хорошему городу, по людишкам разным. И во всем себе укорот делал. Даже ежели, скажем, казенную водку выдавали о празднике, я не пил, а всегда свою бирку продавал другим, копил копейку. И накопилось у меня денег больше четырех тысяч. Вот ладно. Прибежал казенный пароход, через неделю назад уйдет. Получил я расчет, паспорт в зубы, сел на пароход, айда — в город. А до города боле тыщи верст. На вторые сутки пришли мы пароходом

в село Кетское. Я на радостях выкушал косушечку в буфете, огурчиком закусил, още выпил, а на още-то още, а на още-то още-още. Ладно! Вылез я на верхнюю палубу, глядь: весь берег в девках, в бабах — любуются на пароход, им в диво. Народ, людишки, девки! Пять лет ничего такого не было. И закачался тут весь берег, избы, небеса, и сам я закачался. А душа во мне так и гудит, так и козырится, желательно ей до озорства дорваться, до черной похвальбы. «Эй, бабы, девки! — кричу. — Встречай Фильку Шкворня, шевелись!» — да на берег. Вот, ладно. Вышел на берег, шапку разорвал, деньги из нее вынул, шапку выбросил, всё новенькие кредитки по пяти рублей. И вот, значит, я иду, земля подо мной трясется, в грудях приятность, а девки, стервы, с бабами за мной бегут справа-слева. А я, хошь верь, хошь нет, Прохор Петров, иду, как бордадым, прямо к кабаку, в левой, значит, руке папуша деньжищ ужата, а правой — хвать да хвать из пачки по пятерке да справа-слева расстилаю денежки, как карты в свои козыри сдаю. Ей-бо-огу!.. Ну, девки, знамо, не зевают: «Ура! — орут. — Ура! Слава нашему хозяину Филиппу Самсонычу господину Шкворню!» До кабака дошел, все достальные деньги просадил. А как проспался на другой день, в петлю полез... Из петли вынули — в реку бросился, поймали; ножом в грудь ударил — неделю пролежал, оздоровел. Ты слышишь, Петрович?

— Слышу. Насыпь-ка чашечку еще.

Филька Шкворень подал чаю, снова у костра уселся, трубку закурил.

— Пять лет! И сразу в одночасье снова гол... И хоть бы какое удовольствие, а то — тьфу! А ведь что мечталось: город, дело, супругу заведу, человеком буду... Ох ты, ох!..

— Дурак, — сказал ему из-под полога Прохор и тоже закурил.

— Кругом дурак, по самое сидячье место, — согласился бродяга.

Прохор вылез из-под полога, стал запрягать лошадь. Бродяга расторопно помогал ему.

— Ну, так вот, дядя Шкворень. Золото принеси в контору...

— Сколько денег дашь?

— Сколько причтется. Наверно тыщи три-четыре.

— Э-эх! — вздохнул бродяга, ударил по сердцу кулаком и замотал головой неодобрительно.

— Боишься?

— Боюсь. Загину. — Он вздохнул и, подойдя к Прохору, взял его за руку. — Пожалей меня, Прохор Петров. Возьми меня куда-нибудь к себе: притык для человека у тебя большой.

Прохор подумал, сел в шарабан, сказал:

— Денег я тебе всех не выдам. А понемногу буду выдавать.

— Благодарим, — радостным голосом ответил бродяга.

Прохор, помолчав, спросил:

— Что ж, много загубил на своем веку людишек?

— Людишек-то? — Филька Шкворень задвигал бровями, как бы припоминая. — Нет, не шибко много... десятка не наберется.

— За что?

— Кои по пьяной лавочке попались, кои против правды шли. Исправника пришил. Вот коли так, бери меня к себе. Дело твое крученое, склизкое, завсегда под смертью ходишь. Слух про тебя далеко идет. Я все повадки твои знаю. Пригожусь...

Прохор тронул вожжи, лошадь поворотила на дорогу и пошла. Он обернулся и бездумно крикнул:

— Ладно! Приходи! Может, и впрямь пригодишься.

Собственный голос и смысл этих слов вывели Прохора из равновесия. Он почему-то вдруг увидал пристава, брюхатого, грубого, усы вразлет, пристав плыл рядом с Прохором, грозил ему перстом и похохатывал. А боком, прячась в заросли тайги, маячил бродяга Филька Шкворень. Он подмигивал Прохору и молча сверкал на пристава ножом. Лошадь пошла быстрей, плывущее видение осталось сзади. Прохор заскрипел зубами и громко кашлянул.

— Вот что, господин Протасов, — начал Прохор. — Скажите откровенно, что замышляют рабочие мои? Что-то носится в воздухе, а что — не могу понять...

Говоря так, Прохор отлично все понимал и видел, но ему интересно, что ответит инженер.

Протасов некоторое время помолчал, как бы набирая сил к тяжелому объяснению с владельцем. Потом сбросил пенсне и подслеповато прищурился на Прохора.

— Начать с того, Прохор Петрович, что, как вам известно, угол падения равен углу отражения. Проще: как аукнется — так и откликнется.

— Ну-с?.. — Прохор ходил по кабинету башни, за ним, шаг в шаг, — поджарый волк.

— Логика, здравый смысл говорит за то, что всякое предприятие может быть сильным только при условии, если рабочий заинтересован в прибылях. Или в крайнем случае обеспечен настолько, что может существовать по-человечески.

— А так как ничего этого у меня нет, — прервал его Прохор, — так как я эксплуататор и, в ваших глазах, подлец, то мои предприятия должны рушиться?

— Если хотите, да.

— Но почему ж они вот уже десяток лет стоят и крепнут?

— Стоят и крепнут? — Протасов улыбнулся уголком губ и выпустил из ноздрей и рта целую охапку табачного дыма. — Прошлой осенью мы облюбовали для поделок огромный, крепкий, в три обхвата, кедр. По тайге пронесся ураган. Все деревья, уцелели, а этот кедр рухнул. Мы потом дивились: совершенно здоровый с виду, а в середине — сплошная труха. Вот вам...

— Понимаю, — с неприязнью сказал Прохор. — Понимаю... Но пока что я бури ниоткуда не жду.

— Политический барометр показывает обратное.

Прохор остановился, волк тоже остановился и лизнул руку хозяина.

— Да, насчет барометра... Вообще насчет политики. Скажите, Андрей Андреич, откуда у рабочих появляются разные сволочные брошюрки?

— А именно? — И Протасов надел пенсне.

— Что же, вы ни одной не видели будто бы?

— Нет, не видел.

— А вот они! — И Прохор, открыв шкаф, швырнул к ногам Протасова кучу разлетевшихся по полу брошюрок. — Вот они!

— Вот они!.. — радостно вскрикнул и внезапно появившийся пристав. Пыхтя, придерживая шашку и елико возможно вобрав брюхо, он едва пролез бочком в узкую дверь. — А я-то вас ищу... А они оба вот где, под облаками.

Прохор с торопливостью поднимал брошюрки, совал их обратно в шкаф. Инженер Протасов смутился, покраснел.

— Итак, Андрей Андреич, — дипломатично сказал ему Прохор, — большое вам спасибо за работу... Я очень доволен вашей распорядительностью. Место для мельницы выбрано вами превосходное. До свиданья, голубчик, я скоро на работе буду сам.

Протасов встал, взял портфель.

— Одну минутку-с! — отдышавшись от крутого подъема на башню, проговорил пристав. — Андрей Андреич, ваше высокоблагородие! Хе-хе-хе-с! — И он с грубой фамильярностью потрепал инженера Протасова по плечу.

— Пожалуйста, без жестов, — брезгливо отстранился тот. — Что вам угодно? Короче. Мне некогда.

— Не торопитесь, не торопитесь, дружочек мой. — И пристав грузно сел на кушетку.

Протасов тоже сел и сбросил пенсне.

— Среди рабочих появились во множестве разные красненькие агитационные брошюрки, прокламации, воззвание партии социал-демократов этих самых.

— Какие брошюрки? Какие воззвания?

— А вот-с, пожалуйте! — Пристав достал из кармана парочку брошюрок, кряхтя поднялся, подошел к шкафу, протянул руку, чтоб открыть его. — А вот и еще...

Но волк скакнул передними лапами на грудь пристава и, ляскнув зубами, хамкнул ему в лицо.

— Пшел прочь! — ударил Прохор волка.

Пристав, набычившись, тупо, исподлобья повел взглядом по волку, по Протасову, по Прохору.

— При чем же тут я? — спросил Протасов.

— Да. При чем же тут Андрей Андреич? — подхватил и Прохор.

Пристав и Прохор посверкали друг в друга глазами. Пристав мазнул ладонью по пушистым, вразлет, усам и, подмигнув Протасову, сказал:

— Сегодня ночью мною арестован техник Матвеев.

Протасов вскочил, брови его изогнулись.

— Что вы сделали! — крикнул он. — Техник Матвеев на регуляционных речных работах. Без него как без рук... Разве можно с такой рекой шутить? И за что, за что? На каком основании?

— На основании закона.

Прохор нажал кнопку телефона и дрожащим баском сказал приставу:

— Вот что, Федор Степаныч, вы свой закон пока в сторонку... Сейчас же распорядитесь освободить Матвеева... Идите к телефону... Алло, алло!..

— Но я ж не могу... Вы понимаете, не могу я.

— А я требую. Что ж, вы хотите мне на пятьдесят тысяч убытку наделать?

— Но вы ж, Прохор Петрович, подрываете мой престиж. Вы рубите сук, на котором...

— Я вас прошу сейчас же освободить Матвеева... Вот телефон. Андрей Андреич, до свиданья! Оставьте нас двоих.

Протасов вышел, Прохор захлопнул за ним дверь.

Пристав стоял растопыркой, разинув рот.

— Федор, — сказал ему Прохор. — Ты штучки свои оставь. Я не препятствую тебе производить обыски, арестовывать... Напротив! Но — только с моего согласия. У меня все работники на перечете, каждый мне нужен, как колесо в механизме. Рабочих можешь хватать сколько влезет. Но пока у нас горячая работа, Матвеев должен быть выпущен. После можешь взять и постращать. Но раз и навсегда

запомни, Федор, — голос Прохора зазвучал властно, повелительно. — Раз и навсегда запомни: инженер Протасов должен быть вне всяких подозрений.

— Но...

— Без глупых «но», раз тебе это говорит Прохор Громов. Он мне нужен, он — башка, он — душа дела. Понял? И — ни слова.

Пристав нагло, жирно засмеялся, сотрясая брюхо.

— Быть по сему, быть по сему, — говорил он, преодолевая непонятный Прохору смех.

Лежавший на медвежьей шкуре волк нет-нет да и зарычит на пристава, и оскалит пасть, и хамкнет.

— А я эту твою волчью собачку когда-нибудь тюкну вот из этого, — потряс пристав револьвером. — Не нравится она мне...

— Да и ты ей — тоже.

Прохор позвонил в контору.

— Бухгалтер? Что, не приходил к вам такой лохматый мужик? Звать Филипп Шкворень? Пегобородый такой? Ежели придет, в разговоры с ним не вступать, а немедленно направить ко мне. Я — на башне.

Глаза пристава завиляли. Он насторожил оба уха. Дыхание стало неспокойным, прерывистым: спирало в груди.

— Это старатель, хищник? — сказал пристав. — Я его тоже встретил вчера.

— Он хороший кузнец. Хочу подлечить его маленько — пьяница он, — потом возьму на службу.

Пристав испытующе посмотрел в глаза Прохора, встал, заторопился.

— Ну, я пошел... Впрочем... Мне бы деньжат...

— Нету.

— То есть — как это? Мне до зарезу...

— Этакий ты негодяй! Мне надоело это... Слушай, садись, Федор, поговорим...

— После... Некогда... Гони пятьсот, пока больше не попросил.

— Убирайся к черту! Ступай вон!

Пристав выкатил глаза, запыхтел и сердито ударил каблук в каблук.

— Сма-а-три, молодчик!.. — погрозил он пальцем и захохотал, его усы в деланном смехе взлетели концами выше ушей, глазки спрятались, красные щеки жирно, по-злому, дрожали. Вдруг глаза вынырнули, округлились, остеклели, рот зашипел, как у змеи. — Прохор Петрович!

Прохор отбросил кресло, сжал кулаки, шагнул к приставу. Волк тоже вскочил, щетиня шерсть.

Пристав задом допятился до двери, открыл дверь каблуком, просунул зад с брюхом в проход на лестницу и сладенькой фистулой проблеял из полутьмы:

— А мы с Наденькой надумали, Прохор Петрович, новый домочек строить.

Дверь захлопнулась.

— Мерзавец! — тихо сказал Прохор и вздохнул. Его лоб покрылся холодным потом, пожелтевшая от гнева кожа на висках стала отходить. Он огладил вилявшего хвостом волка, бросил ему кусок сахару и позвонил домой.

— Настя, накрывай на стол! Барин обедать не придет, — распорядилась хозяйка.

Сегодня приглашены к обеду Иннокентий Филатыч, учительница Катерина Львовна и отец Александр. Но священник запоздал, — сели без него в той же малой столовой.

С утра прикочевали в резиденцию на сотне оленей тунгусы. Они расположились стойбищем в версте отсюда. С дарами из сохатиных, беличьих, лисьих шкур человек с десяток из них направились к церкви. Церковь на замке. Открыто боковое окно в алтарь, для вентиляции. Тунгусы походили кругом, с сожалением почмокали губами: заперто.

Старик Сенкича сказал молодому Ваське:

— Пихай меня в самый зад, в окно лазить будем.

Вот старик и в алтаре. Залезли и остальные, кроме Васьки.

— Эй, друг, швыряй пушнина сюда!

Васька пошвырял в окно все шкуры и сам залез. Тунгусы покрестились на престол, отворили царские

врата и вволокли шкуры в просторное помещение для молящихся. Отыскали в иконостасе образ Николы-чудотворца и к подножию его сложили жертву. А тридцать беличьих и одну лисью шкурки положили отдельно.

— Это батьке отцу Александру, священнику попу, — сказал старик.

Меж тем Васька взломал ящик со свечами, выбрал десяток самых толстых, поставил в подсвечник перед образом Николы и зажег. Кстати он раскурил и трубку. Но старик крикнул: «Геть!» — выхватил из его рта трубку, бросил на пол и ударил Ваську по затылку. Васька в обиде замигал, засюсюкал что-то, потом быстро побежал в алтарь.

Тунгусы молились, почесываясь и вздыхая. Баба с девчонкой сели на пол, спиной к образу, и рассматривали, причмокивая, весь в золотых звездах синий потолок.

Васька вынес дымящееся кадило, подал старику, сказал:

— На штучка три цепочка, махай. Знаешь?

— Мало-мало знаю, — сказал старик Сенкича и стал кадить, кланяться образу, что-то выкрикивать невнятное и петь во весь голос, как в тайге: — Ого-го-го-гой!! Микола-матушка-а-а!..

Все встали на колени и заплакали.

А потемневший Никола хоть по-строгому, но улыбался тунгусам. Васька же, оглаживая возле клироса золотые крылья херувима, удивлялся вслух:

— Один голов, крылья... То ли птица, то ли кто?..

Старик Сенкича затряс головой — седая сплетенная коса его задрыгала, как хвост, — зажмурил узкие гноящиеся глазки и, скривив безусый морщинистый рот, закричал неистово:

— Э-ге-ге-ге-гей!! Бог-матушка, цариц небесный батюшка!..

— Стойте, нечестивые, стойте!

Тунгусы оглянулись на голос вошедшего в храм священника, кадило из рук Сенкичи упало. Мужчины со страху надели шапки.

— Как вы проникли в божий дом! Через алтарь! Нечестивые, вы осквернили церковь, опоганили...

— Какой опоганили, что ты? Врал твоя! — сказал Сенкича. — Это дым... вон от этинькой махалки... Что ты, батька, отец Лександра, священник поп.

Батюшка горько улыбнулся, всех благословил и, крестясь, стал благоговейно закрывать царские врата.

— Вот жертва Миколе, вот жертва тебе. — И Сенкича встряхнул ногой лежавшие на амвоне шкурки.

— Неразумный! — с ласковой укоризной сказал священник. — Ежели это жертва мне, отнеси ее в мой дом.

— Нет, — отрицательно потряс Сенкича головой. — Нет, батюшка отец священник поп. Мы притащили жертва богу, мы сказали ему: «Это отдавай, бог, батюшке попу». Вот, батька, бери от бога сам, а мы тебе не тащим. Пускай бог подаст тебе... Мы — не надо.

Эта простая мудрость тронула священника. Он улыбнулся и сказал:

— Ах, какие вы чистые сердцем дети! Но, милый мой... Ведь вот русский, когда мне надо кушать, приносит пищу ко мне в дом. Например, вышло у моей коровушки сено, — хозяйка Громова прислала целый воз. А по-вашему, что же? По-вашему, и воз сена нужно сюда тащить в церковь, богу. А уж бог мне даст, и я должен буду отсюда везти на себе домой. Так, что ли?

— Так, так, — закивали тунгусы. — Правильно твоя-моя толкует... Шибко ладно.

— Да ведь воз-то не пролезет в дверь! — воскликнул священник, крепясь от смеха.

— Пошто не пролезет? — сказал Сенкича, вынимая трубку и кисет. — Делай самый большущий дверь, пропрут. Хошь кого пропрут... Верно!

Отец Александр громко засмеялся, всплеснул по-молодому, как крыльями, руками и обнял старика.

— Добрый ты, умный ты, хороший ты... Ах! Что ж вы в шапках, снимите скорей шапки, грех — в шапках!

Все обнажили головы — грех так грех, — Сенкича тоже снял шапку, вставил трубку в зубы и чиркнул спичку.

— Что ты! — притопнул ногой священник.

— Ково? — недоумевал тунгус.

— Эвот ково, — подвернулся Васька; он вырвал из зубов Сенкичи трубку и швырнул.

— Тьфу ты! — плюнул растерявшийся Сенкича. — Забыл совсем маленько.

Священник поговорил с ними, опять благословил, вывел из церкви и пошел к Громовым. Он всю дорогу улыбался и с улыбкой сел за званый стол.

— Представьте, какое странное событие, — начал он. — Представьте, открываю церковь — и что ж я вижу? С десяток тунгусов, этих удивительных, чистых сердцем детей природы.

Его рассказ был выслушан внимательно и весело. Задорней всех смеялся Иннокентий Филатыч, хотя этому очень мешали ему только что вставленные дантистом челюсти с зубами. Видимо, недавно приехавший дантист был не из важных: зубы получились лошадиного размера, они выпирали вперед, и новый их владетель никак не мог сомкнуть губ. Лицо его стало удлиненным, карикатурным, неузнаваемым. И выговор был косноязычен, неприятно смешон.

— То есть прямо беда! Либо зубы подпилить надо на вершок, либо губы надставить, — посмеивался Иннокентий Филатыч над собою. А когда он надкусил пирог с морковью, верхняя челюсть застряла в пироге и упала на пол.

Катерина Львовна, Кэтти, молодая, кончившая институт учительница, схватилась за Нину Яковлевну и откровенно захохотала.

Отец Александр нарочито сугубо углубился в поглощение ухи. Иннокентий же Филатыч нагнулся, закряхтел и, купая бороду в ухе, ошаривал под ногами.

— Вот она, окаянная, вот, — шамкал он. — Правильно сказано: «Зубы грешников сокрушу...» Ох, грехи, грехи!.. — Он отвернулся, как тигр, разинул пасть и благополучно вставил челюсть.

— Так вот я и говорю, — продолжал священник. — Какая высокая мудрость, какая глубина понятия у этих дикарей, стоящих на грани человека и животного!..

Отец Александр любил строить свою речь точно, округленно, как по книге. Природный пафос нередко звучал в его словах даже в обычном разговоре. Это давало ему повод считать себя «милостью божией» оратором, и он гордился своим даром говорить. Он имел привычку засовывать руки в рукава рясы, откидывать прямой свой корпус и щурить на слушателей серые, умные, в рыжеватых ресницах глаза. Со всеми он говорил хотя и искренне, но с чувством явного своего превосходства. В разговоре же с инженером Протасовым — с этим вольтерьянцем, социалистом и безбожником — он всегда робел.

— Вы только представьте: они, эти тунгусы, не желают давать мне свою помощь в руки, чтоб этим не оскорбить меня. Они дают не человеку, а богу, человек же должен их жертву взять у бога, чтобы чувствовать благодарность одновременно и к господу и к человеку. Тонко? — И он обвел всех прищуренными глазами. — Не то у нас, у русских. Вот пойдет священник по приходу с святым крестом, и суют ему бабы пятаки. Ведь больно, ведь стыдно, ведь руку жгут огнем эти деньги! А священник — человек: есть, пить хочет.

— Ну, уж кому-кому, а вам-то, батюшка, жаловаться грех... — простучал зубами Иннокентий Филатыч.

— Я и не жалуюсь, я и не жалуюсь, — смиренно ответил священник и принял на тарелку вторую долю пирога.

— А я знаю, о ком вы скучаете, барышня, — подмигнул Иннокентий Филатыч учительнице.

— О ком же?

— Об Андрее Андреиче, наверно-с, о господине Протасове-с.

Катерина Львовна вспыхнула, пожала плечами и скользом взглянула на хозяйку.

— Нисколько... С чего вы взяли?

— Женишок-с...

Хозяйка тоже чуть покосилась на девушку.

— Не зевайте, барышня! Лучшего супруга не найти! — воскликнул Иннокентий Филатыч с таким ражем и так встряхнул бородатой головой, что верхняя его челюсть снова попыталась выскочить, но он ловко подхватил ее рукой. — Харрош женишок, хорош женишок! — не унимался веселый старец.

— Нельзя ли другую тему, — дрогнула голосом хозяйка и резко постучала в тарелку ножом: — Настя, утку!

Отец Александр пристально взглянул в лицо хозяйки. Лицо ее по-прежнему приветливо, как будто и бесстрастно, но в глазах досадная тревога, скорбь. Катерина Львовна почувствовала неловкость, оборвала улыбку; она в смущении глядела вниз, кончики ушей горели.

Чтоб прервать молчание, отец Александр сказал:

— Приглашаю вас всех завтра в полдень на мою беседу с тунгусами. Тема — первоначальное понятие о боге. Помимо всего прочего, будет интересно и в этнографическом отношении... Для вас в особенности, Катерина Львовна... Вы никогда не видали тунгусов?

— Андрей Андреич пришли! — крикнула Настя и поставила на стол блюдо с уткой.

Обе женщины враз вынули пуховочки и трепетными пальцами стали оправлять прически.

Филька Шкворень переночевал в тайге, у костра, с рабочими. Утром выкупался, высушил на солнышке дырявые онучи и пошагал в громовский поселок. Хозяйка харчевни сварила ему щей, он наелся, спросил, как пройти на резиденцию, в контору, взвалил на спину кожаную торбу и пошел.

Солнышко катилось к вечеру. Бродягу на улице догнала цыганка.

— Стой, счастливый!

На ее лицо низко приспущена зеленая, в разводах шаль, глаз не видно. Старая или молодая — не понять. Юбчонка грязная, ноги босы, но белы, как булки.

— Филлип Шкворень — ты?

— Я.

— Вот от хозяина письмо... Отойдем в проулок, не ори...

— От какого хозяина?

— От Громова, Прохора Петровича.

— Я неграмотный. Читай!

Цыганка вскрыла розовый, с голубым ободком конверт, вынула письмо, освободила глаза от шали — лицо молодое, смуглое, серьги звякнули в ушах.

— Вот слушай, добрый человек, удалец счастливый.

Сели на завалинку. Цыганка шепотком прочла:

«В контору не заходи. Иди с цыганкой к кривой сосне, она сведет тебя. Приду лично, как стемнеет».

Цыганка поглядела на этого страшного человека, помолчала.

— А ты кто сама-то?

— Я цыганка, на посылках у него. Верная слуга его. Верней меня нет на свете.

— Как же он, чертова ноздря, говорил — в контору... Распроязви его, черта, дурака...

— Остынь, счастливый, не серчай... Золото хозяину запрещено принимать в открытую. Идем.

Зверючья таежная тропинка завела их в глушь. Бродяга впереди, цыганка сзади. Темновато было.

— А вдруг я зарежу тебя... Неужели не боишься?

— Нет, счастливый, не боюсь. Я завороженная...

— Я вот такую же, как ты, лонись[1] зарезал. Золото пытала слямзить... Ну, я ей вот этот самый ножичек в горло и... тово... Язви ее!..

— А вот и сосна заповедная, — сказала цыганка, прислушалась: тихо, глухо, тайга прощалась маковкой с закатным солнцем. Внизу, меж стволами, прохладные вставали сумерки.

Упругий седоватый мох распластался по земле, как одеяло. Прогалысинка шагов двадцать в поперечнике, посередине — кривая, о трех стволах, сосна. Она мертва — ее убила молния: небесный меч огня ссек

---

[1] Лонись — в прошлом году.

кудрявую верхушку, расщепал, обжег стволы и развеял лучину во все стороны.

— Вот тут... — Цыганка села в моховой ковер.

Бродяга постоял, подумал, осмотрелся и тоже сел, сказав:

— Нет, ты, язви тебя, отчаянная. А как я, по силе возможности, учну целовать тебя да приголубливать?

Цыганка громко, резко всхохотала и пересела подальше от бродяги.

— Мы, вольные цыганки, к этому очень даже привычные... Только дорого берем... Золотишка-то много у тебя?

— Хватит... Вот иди ко мне в жены... Ты, язва, мягкая, пригожая... А я, можно сказать, богач... Бороду долой, добрую сряду заведу, дамочка-цыганочка... Иэх ты, язва! Стрель тя в пятку.... Патока!

Цыганка передернула плечами, засмеялась, вынула колоду карт, раскинула зыбучим веером по мохнатому ковру, сказала:

— Эк, карты соловецкие, мысли молодецкие! Вот какая карта ляжет, так и быть... Эх, и зацелую тебя, счастливый, умом от счастья тронешься, весь свет забудешь! Эх, красивые твои глаза, заграничные!.. На, гляди!..

Ноздри бродяги раздувались. Кровь заходила в нем, глаза блестели.

— А ежели песни... Можешь петь?

— Могу. А ты?

— Когда выпивши, ору и я.

— А хочешь выпить?

— Дура... Колдовка, что ли, ты?.. Где взять?

— А вот...

Цыганка достала из-под шали припечатанную сотку коньяку и подала бродяге.

Тот скусил печать, шлепнул посудой по ладошке, отмерил ногтем половину:

— Будь здорова, милашечка моя, — отпил и подал остальное ей. — Кушай во славу, ангел... Окати душеньку цыганскую... Кха!

— Нет, я не впотребляю... Кушайте до самого дёнышка. А как выкушаете, костер разведем, целоваться

станем... И вся-то ноченька, до зари до зорюшки, будет наша... Пей, счастливый, заграничные твои глаза... Вот и карта — глянь, глянь-ка, — на крестовую даму король прилег!

Бродяга, влив в рот, долго не глотал коньяк: ох, и жжет, ох, и тешит душу!

— Кха! Спасибо...

Он уставился взглядом в карты: верно — король и дама в обнимку прохлаждаются. Прочие же карты то встанут, то прилягут, то встанут, то прилягут.

— Колдовство какое, — бродяга протер глаза и посердитому глянул на цыганку.

— Что ж ты на меня глазыньки свои пялишь? — шумнула цыганка резким голосом. — Нешто не узнал?.. Это я — вольная цыганка, прихехеничка твоя, зазноба...

— Сгинь!.. Чур нас... Чур! — промямлил бродяга, едва ворочая пудовым языком... Он сидел в наклон, как большая пучеглазая жаба, уперев кулаками в мох. Седовласый моховой ковер раскачивался все шибче. Бродяга повалился набок — сердцу приятно, сон долит.

— Глазыньки твои помутились, головушка на подушечку легла... Спи, счастливый, спи...

Она приникла к лицу бродяги, торопливыми пальцами его веко приподняла, воззрилась в закатившийся под лоб мутный глаз, встала, выхватила из-под шали пистолет и в воздух — раз!

— Грр-ро-о-о-ом... — прошептал бродяга.

На выстрел кто-то к цыганке подошел.

6

Прохор перекрестил дочь Верочку, поцеловал жену и, пожелав покойной ночи, ушел к себе в кабинет. Лег, закрылся простыней. Душно, не спалось. Толпой проплывали в мыслях призраки минувшего. Лица, встречи, положения. Но трудно ухватиться, задержать: много их. Вились и проносились дальше, как в непогодь, снежинки. «Тунгусы пришли», — вспомнил

Прохор. И тут промелькнула в расслабленном его сознанье та далекая, далекая маленькая Джагда. Где-то она? Наверно, время не пощадило и ее: поблекла, увяла, как надломленный цвет в степи. Он вспомнил ту тихую ночь, всю поглощенную туманом, вспомнил свою хибарку, челн, тайгу, вспомнил и то, как жадным зверем гнался он за Джагдой. Хибарки давно нет — сожгла гроза, но ведь она когда-то стояла здесь, вот на этом самом месте, в нее приходила тогда маленькая обиженная Джагда. Прохор помнит, как сквозь крепкий сон услышал ее скорбный, перевернувший его сердце голос: «Прощай, бойе! Прощай!» Тогда мгновенно он открыл глаза, хотел схватить ее, чтоб нежно целовать и никогда не разлучаться с ней. Но Джагда легкой птицей порхнула чрез окно в туман и навсегда погибла для него в тумане сладостных воспоминаний.

Да. Все минуло, прошло, как тень от облака. «Ну, что ж... — неопределенно подумал Прохор и вздохнул. — Тунгусы пришли... Пойду». — И он на цыпочках вышел.

Ночь была вся в лунном серебре. Роса ложилась. Фосфорическим отблеском светился церковный крест. Белая хатка отца Александра голубела, сквозь голубые стекла красный, в лампадке, огонек мигал. Для человеческого уха — густая тишина. Но все незримо гудело: потоки лунных струй, рассекая надземные просторы, ниспадали на сонный мир тайги, колыхались и звенели. Погруженная в дрему тайга отвечала им шорохом, шелестом, бредом мимолетных, терпких, как ладан, сновидений: тайга благоухала.

Прохор мечтательно вдыхал этот одуряющий аромат лесов и чувствовал, как скованная житейскими условностями воля его освобождалась. Лунные потоки стрел пронзали его нервы, взбадривали кровь. И уже все ликовало в нем, влекло его в хмельную какую-то гульбу. Эта серебряная ночь обсасывала человеческое сердце, как змея. Грустно стало человеку, одиноко.

— Джагда! — разорвал он струи лунных ливней.

Но милый голос не прозвучал в ответ. А вот и стойбище. По мшистым зарослям пасутся поголубев-

шие олени. Вот кучка их сытно лежит, костистые кусты рогов недвижны. Пять остроконечных чумов из ровдужины[1], тунгусы в глубоком сне. Лишь одна не спит — высокая, стройная тунгуска. Она в раздумье остановилась у огромного костра, смотрит на игривую пляску пламени, тужится понять — какую сказку говорит огонь, а может, и сама выдумывает песню о морозном солнце, о милом, о луне. Вот она, луна! А где же милый?

— Здравствуй, — тронул ее Прохор за оголенное плечо.

Тунгуска пружиной отпрыгнула в сторону:

— Ай! Ну! Зачем пугаешь?

Залаяли, кинулись к костру кудлатые собаки.

— Геть! — Она ударила жердиной одну, другую и подняла на Прохора черные, под крутыми тонкими бровями, глаза свои. В них испуг и любопытство.

— Чего ж ты испугалась?

— Тебя... Думала — шайтан. — Она держала в зубах трубку, смуглые скуластые щеки ее рдели здоровым румянцем. Она молода, гибка, голос ее плавен. — Ты большой. Ты можешь медведя заломить... Я тебя боюсь. Сейчас разбужу наших, — вслух думала она, разглядывая Прохора.

— Не надо, не буди, — сказал Прохор, любуясь ею. — Ты очень красивая. Как тебя звать? — И Прохор сел к ее ногам, обутым в шитые разноцветным бисером сапожки.

— Меня звать — Джульбо.

— Хорошее имя. А нет ли среди вас Джагды?

— Джагды? — Тунгуска вынула из зубов трубку, отерла слюни на губах и сокрушенно присвистнула.— Джагда померла. Давно померла Джагда. Стала родить русского ребенка, не могла разродиться, померла.

Она говорила по-тунгусски, глядя в сторону, в мрак тайги, и прерывала свои слова вздохами.

— Поколел твой Джагда, сдох давно, — пояснила она исковерканным русским языком, и глаза ее наполнились слезами.

---

[1] Ровдужина — выделанная оленья кожа.

У Прохора защемило сердце. Он с минуту молчал, борясь с гнетущим его чувством... Так вот какова судьба этой маленькой, несчастной Джагды! Эх, не надо бы ему приходить сюда.

Тунгуска, оправила костер и села против Прохора.

— Джагда моего отца дочь... Только от другой матери. А мой муж пропал.

— Как пропал?

— Так, пропал и пропал. Вот одна теперь.

— Скушно?

— Как не скушно... Видишь — все спят, а я маюсь. Сладко ли?.. Мне только двадцать зим. А денег у меня много: я хорошо белку, зверя промышляю. Богатая, а скушно. Шибко скушно!

— Не скучай!.. Вот сладкая наливка у меня. Вот конфеты.

Прохор достал походную флягу, бросил горсть конфет и, все еще во власти мрачных дум, по-холодному обнял тунгуску. Та вздрогнула всем телом, чуть поборолась с ним и приникла к нему вплотную.

— Пойдем подальше от костра, — сказал Прохор, вяло целуя ее губы.

Луна низринула на них потоки метких стрел и улыбнулась.

Лай волка разбудил весь дом. Всполошились собаки на дворе. В ворота стучал Филька Шкворень, переругивался с сонным дворником. Дворник говорил ему, что Прохор Петрович почивает и пусть бродяга убирается ко всем чертям. Филька Шкворень всхлипнул за калиткой:

— Понимаешь, обида вышла. Обобрали меня всего... Золото отняли.

Нина боялась тревожить мужа. Но неужели он так крепко спит? Она открыла окно и прислушалась к разговору. Дворник сказал:

— С такой обидой надо к приставу идти либо к уряднику. А к хозяину приходи часов в шесть утра либо к вечеру — на башню.

Бродяга молчал. Он сел на луговину у калитки и схватился за голову.

Время было раннее. Утренняя звезда еще не слиняла. В низинах лежал туман. Дворник ушел в караулку.

Не прошло и часу, как послышались шаги Прохора и кашель его. За плечами ружье, сапоги взмокли от росы. Волк залился в кабинете радостным воем. Прохор взглянул на спящего бродягу, отпер тихо калитку и тихо стал пробираться в дом. Занавеска в спальне Нины отдернулась и резко запахнулась.

Утром, когда Прохор садился в таратайку, к нему приблизился Филька Шкворень. Захлебываясь и утирая кулаком глаза, он рассказал Прохору о своем несчастье.

Прохор кинул ему:

— Дурак! — и уехал.

В одиннадцать часов Нина стала собираться к тунгусам. Она возьмет с собой и свою дочку Верочку. За ними зайдет отец Александр.

— Барыня! Вас на кухню требуют. Тунгуска какая-то, — прибежала горничная Настя. Лицо ее на этот раз очень плутовато, глаза смеялись.

— Не требуют, а просят. Этакая деревенщина!

— Она барина требует. А я сказала — уехатши.

Одновременно вошли из кухни отец Александр и Джульбо. Оба закрестились на иконы. Нина с Верочкой подошли под благословение. Тунгуска спросила:

— Прошки нет?

— Прохора Петровича? Нет, — ответила Нина, — зачем тебе?

— Вот я притащила ему две сохатиных, да две оленьих шкуры, да двадцать белок. Когда моя будет медведя стрелять, амикана-батюшку, — притащу ему медведь. А вот еще золётой ему, деньга... — стройно ступая, она подошла к Нине и протянула червонец.

— За что? Зачем? Купила что-нибудь?

— Нет, — сказала она и посмотрела чрез окно вдаль, на зеленевшую тайгу. — Шибко сладко целёвал меня Прошка, вот за что... ночью. Отдай ему... подарка.

Отец Александр стоит в лесу на широком пне и с терпением разъясняет тунгусам вопросы веры. Тунгусы в своих праздничных кафтанах окружили его сплошным кольцом. Собаки тоже уселись, слушают. Сзади олени уставили рога, не шелохнутся.

Священник в ризе, в камилавке, с крестом в руке. Он осиян солнцем, тунгусы жмурятся, крестятся и охают; ох какой батька, прямо — святой, прямо — ох какой!..

— Вот так это батька!

Лицо его скорбно и угрюмо. Тунгусы никак не могут понять простейших его слов, лесные люди бессмысленны и тупы, и это ввергает священника в печаль.

— Ну, наконец, поняли ль вы, что такое бог?

— Поняли, бачка! Как не понять... Маленько поняли, маленько нет...

— Ну, кто же бог?

— Да поди Никола...

— Да нет же, нет! Никола не бог, Никола только угодный богу человек, угодник. А бог — вот кто...

И снова, в пятый раз, священник изъясняет понятие о боге и в пятый раз спрашивает их:

— Ну теперь-то поняли, что такое бог?

— Да поди Никола...

Отец Александр порывисто достает табакерку и нюхает табак. К нему тянутся руки.

— Дай-ка, бачка, дай!

— Ну, слушайте, дети мои... В последний раз я объясняю вам, что такое бог. Вот смотрите на солнышко... Видите его?

Он указал перстом на пылавшее светило. Все обернулись к солнышку, сощурились, прикрываясь козырьками ладоней, закричали:

— Видим, бачка, видим!.. Эвот оно, эвот!

— Оно вас греет?

— Греет, бачка!.. Как не греть, — греет.

— Оно вам светит?

— Светит, светит!.. Чего тут толковать.

— Ну, вот. — И священник приветливо повел по своей пастве взглядом. — Оно и светит, и греет, и дает всему жизнь: от него прорастает трава, растут деревья, растут животные и люди. Значит, в сол-

нышке соединяются: свет, тепло, творящая сила, то есть три сущности в одном солнце. Вот так же и в едином боге заключаются три сущности, три божия лица, святая троица.

Тунгусы стояли, разинув рты, с наивным недомыслием глядели в рот священника, потели от трудных слов, от накалившегося воздуха.

— Ну, теперь поняли, что такое бог?

— Поняли, бачка, поняли!

— Что есть бог?

— Да поди Никола — бог.

Отец Александр возвращался домой с камнем в душе. Да, надо иной язык для общения с дикарями. Только гениальный муж может говорить о великих истинах с малыми земли сей. Он же, образованный пастырь, изучивший назубок христианскую апологетику, эсхатологические сочинения и сказания, философские дисциплины древних и новых мудрецов, он лишен этого сладостного дара. Он может построить и красиво произнести витиеватую, насыщенную чужой мудростью проповедь. Она, вся приукрашенная цитатами из богооткровенных книг, погремит в ушах, но не тронет человеческого сердца. Да, да, он кимвал звучащий, он гроб поваленный, и не ему вести за собой полуязыческую паству!

В таких мрачных мыслях он вошел в свой дом, нюхнул из табакерки и, разбитый духом, лег.

Нина Яковлевна не была на апостольском выступлении священника, Нина Яковлевна заперлась в комнате своей, молилась богу, терзалась, плакала. Она сбросила со своего бюро фотографическую карточку мужа, вправленную в зеркальную рамку. Стекло разбилось, портрет закувыркался в угол. Нет, не то... Надо что-нибудь другое...

В конце дня бродяга стоял в башне «Гляди в оба» перед Прохором. Лицо его раздулось, глаза затекли от комариных укусов: бродяга долго лежал в тайге

беззащитным трупом. У него все еще гудело в голове, ныло сердце, побаливал желудок. Он весь пропах каким-то отвратительным зловредным духом и всегда носил этот смрад с собой.

Волк ворчал, принюхивался к воздуху, ходил взад-вперед, насторожив глаза и уши. Бродяга косился на него.

Прохор вынул фотографию Наденьки, теперешней жены пристава, бывшей любовницы своей, сунул бродяге в нос, спросил:

— Она?

Бродяга взял в грязные обезьяньи лапы маленькую карточку, вплотную поднес ее к глазам и так сильно сощурился, что желтые зубищи его оскалились.

— Не могу признать... Дюже плохо видно.

Прохор подал ему лупу. Бродяга вновь присмотрелся чрез стекло, сказал:

— Боюсь грех на душу взять. Память отшибло зельем. Не она, кажись... Та — цыганка...

— Не было ль у нее бородавки вот на этом месте? — указал Прохор на левую щеку, возле уха.

— Была, была! — весь загорелся бродяга. — Как есть тут... Чик-в-чик. Помню!

Прохор поглядел в глаза бродяге, подумал, сказал: «Садись», — оторвал страничку от блокнота, стал писать.

«Иннок. Фил. Выдай подателю Филиппу Шкворню сапоги, холста для онуч, штаны, две пары белья, пиджак, две рубахи и азям. Еще картуз. Носовых платков полдюжины».

Скользом, с брезгливостью, взглянул на бродягу, вычеркнул носовые платки и подал ему записку.

— Завтра в восемь утра пойдешь в магазин, доверенный выдаст тебе одежду. В десять часов явишься к инженеру Протасову. Он определит тебя кузнецом в ремонтную мастерскую. Жалованье тридцать два с полтиной в месяц. Харч твой. Это пока. Потом поговорим.

— Я золотые земли знаю, — помрачневшим, недовольным голосом сказал бродяга. — Я б тебе, Петрович, эти земли показал.

— Далеко?

— Не вовся близко. Пески, а иным часом самородки попадаются, наверху лежат. Только вот беда: место остолбленное, владелец есть. А где он, неизвестно, может, давно богу душу отдал. Может, выморочная заявка-то.

— Верхом ездишь?

— Ха! Дерма-то, — заерзал бродяга на стуле.

— Послезавтра в пять утра будь готов. Здесь, у башни.

— А кузня-то как же? Анжинер-то?..

В это время задергалась веревка, звякнул колокольчик. Прохор подошел к окну, крикнул Федотычу:

— Что, золото?

— Оно!

— Дуй!

Ахнула пушка. Бродяга упал со стула и перекрестился, залаял волк. Прохор записал в атласную книгу, подвел итог. Бродяга ушел. Волк долго нюхал ему вслед. Воздух сразу посвежел. Прохор позвонил к приставу. Наденька ответила:

— Их дома нет, Прохор Петрович. Они на три дня уехатши куда-то.

Прохор повесил трубку, быстро заходил по комнате, кусая бороду, ероша вихры на голове.

Нина к столу не вышла. Прохор обедал с пятилетней своей дочкой Верочкой. Впрочем, для нее это ужин. Беловолосая, в кудряшках, с бантиком, она кушала очень мало, зато усердно кормила двух кукол и медвежонка Мишку, обливая скатерть супом. Рядом с ней сдобная пожилая нянька Федосьюшка.

— На, на, Мишка, — говорит Верочка. — Ужо я тебе нажую кашки из говядинки... Ужо, ужо.

— Ха-ха! Кашки из говядинки? — И Прохор, подхватив дочь на руки, целует ее.

Она вырывается, дрыгает ножками, поджимает шею, кричит:

— Ай, ай!.. Бороды боюсь! Папочка, милый... Зачем у няни нет бороды, а у тебя выростила?..

Нянька тоже смеется, сажает Верочку на высокий плетеный стул.

— Папуня! — говорит Верочка. — А мы с няней были в гостях в деревне.

Отец молчит.

— Папуня! А мама долго сегодня плачила... Не вели ей плачить...

— Ешь, ешь, — хмурится Прохор.

Он не знает, что с Ниной, комната ее заперта, стучал — дверь не открылась. «Очередной каприз», — с неприязнью подумал он и отошел от двери. А все-таки интересно знать, что стряслось с его благочестивой половиной? Может быть, какая-нибудь странница обворовала, может быть, сон видела дурной?

— Папульчик! — не унималась Верочка, румяня себе и кукле щеки клюквенным киселем. — А приходила тунгуска... Класивая, класивая такая... Класивше няни вот этой моей.

Прохор насторожился.

— Верочка, брось болтать, — сказала Федосьюшка и покраснела.

— Я не болтаюсь, я говорюсь. Ты зачем, папочка, целовал тунгуску? Она, она...

Нянька подхватила ее на руки и, шлепая туфлями, побежала в спальню. Верочка, мотая головой, чтоб освободить зажатый нянькой рот, кричала:

— Она, она... денежку тебе... оста... вила!..

У Прохора остановился кусок в горле.

Скрипнула дверь. Показалась густо напудренная Нина. Ее глаза красны. Она подошла к столу, швырнула на тарелку десятирублевик. Золотой кружок поплясал немножко, всплакнул иль всхохотал и умер. В голову Прохора ударила кровь. Он готовил самооправдание.

— Вот, Прохор Петрович, — начала Нина пресекающимся голосом, — заприходуйте эти десять рублей в свой актив. Еще заприходуйте две сохатины, две оленьи шкуры и двадцать белок. Все ваши доходы, конечно, приобретаются вами чистым, честным, не эксплуататорским путем. — Тут голос Нины принял явно издевательский оттенок. — Ну, а этот ваш

заработок приобретен вами в условиях исключительной изобретательности и благородства. Вы облагодетельствованы сами, облагодетельствовали женщину, и на этой спекуляции вы сумели заработать золото. Впрочем... я в вашей честности никогда не сомневалась... Ну-с? Червонец на блюде, шкуры в вашем кабинете. И... оставьте меня в покое!.. — Выпалив все без передышки, Нина закрыла руками лицо и быстро пошла прочь к себе в комнату.

— Нина! — вскочил Прохор. — И ты этому веришь?!

Нина обернулась, вся затряслась и, комкая в руках платок, крикнула:

— Прошу вас оставить меня в покое!

Прохор прижал к груди ладони, шел к ней:

— Ниночка! Клянусь тебе: это все ложь...

Она смерила его холодным взглядом, с презреньем отвернулась от него и захлопнула за собою дверь.

Вбежала Верочка, она волокла за лапу плюшевого медвежонка и, выпучив удивленные глазенки, лепетала:

— Папочка, гляди, гляди!.. Мишка обкакался... У него под хвостиком животик лопнул...

Прохор не в силах улыбнуться. Он сказал: «Да, да... совершенно верно», — надел картуз и вышел на улицу.

Наденька с приставом устроилась недурно. Дом хоть невелик, но обилен достатком в обстановке, посуде, пуховых перинах, тряпочках. Да, наверно, и порядочные деньжата где-нибудь припрятаны в подполье.

Прохор вошел в дом пристава широким, тяжким шагом и бросил картуз на стол. Так некогда входил его отец к своей Анфисе. Но там были проблески любви, здесь — настороженность лукавой Наденьки и неприязнь к ней бывшего ее владыки.

За окном чернел августовский вечер. Перед иконами горели три лампадки.

«Святоши, дьяволы», — с омерзением подумал про хозяев Прохор. Наденька спустила шторы. В движе-

ниях ее робкая суетливость. Она в догадках ломала голову: зачем пожаловал в неурочный час Прохор? Уж не положил ли он в мыслях опять приблизить ее к себе? Вот бы!.. Да провались он, этот гладкий боров Федор Степаныч, пристав, черт!.. Наденька украсила себя серьгами, золотое сердечко на груди повесила — Прохоров подарок, — напомадила губы, брови подвела.

Повиливая полными бедрами, сжатыми тугим корсетом, и выставляя вперед выпуклую грудь, она игривой кошкой подошла к столу, за которым сидел Прохор.

— По какому же дельцу изволили приттить, вспомнить Наденьку свою?

На красивом лице ее маска хитрости, бабьих плутней и коварства.

Прохор молча глядел на нее. Да, да, конечно же она...

— Бородавка... — подумал он вслух.

— Бородавка? — переспросила Наденька. — Я ее выведу. Доктор даже мне намек делал: «чик — и нету», говорит...

Болтая так, она внимательно разглядывала лицо Прохора, и вот — что-то дрогнуло в ее груди: Наденька попятилась, смиренно села в уголок, под образ.

— И ты и пристав у меня вот где, — очень тихо, но с внутренним упорцем проговорил гость и, сжав кулак, покачал им.

У Наденьки под стул подогнулись ноги. Она облизнула губы и спросила:

— Пошто же вы так запугиваете нас, верных слуг ваших?

Прохор закинул ногу на ногу и повернул к Наденьке голову.

— Я бы мог пристрелить тебя там, у кривой сосны. Ведь я не знал, что это ты, я тоже принял тебя за цыганку. Другой раз в маскарад играй, да по тайге не шляйся...

— Как не грех вам это... Какая цыганка? Что вы!..

— Ты взяла полпуда золота. Ты была не одна, я знаю. Я тоже стоял со свидетелем вблизи вас. Кроме того, Филька Шкворень отлично заприметил тебя по бородавке. — Прохор тряхнул головой и, одобрив себя за явное, но убедительное вранье свое, улыбнулся одними зубами. — В таких случаях, Наденька, надо действовать наверняка, чтоб концы в воду. Разве у тебя не поднялась бы рука убить бродягу? А теперь вот... влопалась.

Наденька сидела с видом обиженной невинности: она вся встопорщилась, как кошка пред собакой, вытянула губы, вытаращила с поддельным изумлением глаза. У нее не хватало характера устроить Прохору скандал с пощечиною, с визгом, с пустою клятвой сейчас же отравиться. Умишко ее тоже не блистал изобретательностью, чтоб бить по убийственным словам словами. Она вся растерялась, она не знала, что ей делать. Она была жалка в своем полном замешательстве.

— Только и всего, — почти весело сказал Прохор. — Я за этим и пришел. — Он встал, надел картуз и сказал Наденьке шепотом, по-страшному: — Ну, теперь прошу меня не трогать... Чуть-чуть поосторожнее. Так и Федору Степанычу скажи... Не забудь, скажи. Поосторожнее, мол, с Громовым. А то, иным часом, я безжалостен бываю. Ну, до свиданьица пока...

Наденька тихо заплакала и, не отирая слез, проговорила:

— Все это вы придумали, чтоб обидеть нас... Врете вы.

— Вру? — И подошедший к двери Прохор остановился.

— Врете, врете, врете! — шипя и подступая к Прохору, плевалась, выпускала когти Наденька. Глаза ее стали хищными.

— Вру? — Прохор выхватил из кармана измятый розовый, с голубым ободком конверт, достал из него исписанную бумажку. На конверте печатные инициалы пристава: «Ф. А.»

Наденька все сразу поняла, и спазмы страха сжали ее горло.

— Это письмо, которым ты обманула Фильку Шкворня, найдено нами на месте преступления. Напрасно ты так опрометчиво поступила. Оно, как вещественное доказательство, включено в протокол... — Говоря так холодным шепотом, Прохор из кармана достал другую бумажку, сложенную в восьмую листа, и потрепал ее в воздухе: — Вот этот самый протокол.

Протокола у Прохора, конечно, не имелось: на листке — похабные стишонки, принадлежавшие перу Ильи Сохатых.

— Кто же... кто составлял этот протокол? Ведь не Федор же Степаныч? — продрожала она голосом.

— Когда понадобится *мне,* — нажал Прохор на последнее слово, — тогда и ты и пристав узнаете в камере прокурора, кто составлял этот протокол. Но вы оба можете быть спокойны: Прохор Громов никогда не был предателем и не будет им.

Не расслышав заключительной фразы, Наденька схватилась за виски и, всхлипнув, присела на кушетку.

7

С ночи шел крупный дождь. Он выбивал дробный топот по железной крыше отдельного домика, где жил мистер Кук с лакеем Иваном. И барин и лакей проспали. Видимой причиной тому — неприятная погода. Американец вскочил с кровати, закричал: «Ого-го-го-го!.. Продрых!» — быстро надел трусики и, вместо того чтоб, прижав к тощим бокам острия локтей, во весь дух бежать купаться, он стал бегать под дождем вокруг своего дома. За ним увязался его черный пудель, потом из любопытства пристали еще две посторонние собачонки. Мистер Кук, возглавляя собачий бег, подсчитывал, сколько раз он должен окружить дом, чтобы покрыть расстояние до реки, куда ежедневно он гонялся купаться. Вышло приблизительно восемьдесят раз. Прикинув в уме нужное для этого время, аккуратный иностранец сообразил, что он волей-неволей порядочно опоздает на службу.

«Но это ж недопустимо!» Пятки его засверкали вдвое быстрей, дождь ударил гуще, взмокшие собаки, досадно полаяв на глупую затею Кука, отстали от него и поплелись отряхнуться под навес. На двадцать третьем кругу мистер Кук крикнул:

— Иван! Чаю! Бутерброд! Четыре экземпляр!

Длинный, рябой, немножко придурковатый Иван, отвечающий за кухарку, прачку и лакея, услыхав хозяйскую команду и не желая портить под дождем костюм, стал в кухне быстро раздеваться догола. Потом швырнул на поднос кучу бутербродов, налил в кружку подслащенный чай, со всем этим выскочил на улицу и стремительно кинулся, подобно голенастому страусу, догонять хозяина. При этом лакей делал сложные прыжки, как-то потешно выбрасывая в стороны свои длинные волосатые ноги. Спешившая в лавчонку молодая солдатка Фроська, не узнав мистера Кука, но сразу же признав в нагом Иване своего вздыхателя, истошно завопила, побежала звать на помощь:

— Люди добрые! Караул!! Ваньку моего обобрали догола. Какого-то жулика имает!

Меж тем мистер Кук, чуя за собой отчаянные скачки лакея, для веселости нажал; из-под его широких и плоских, как у обезьяны, ступней летели брызги. Нажал и лакей и вдруг, поскользнувшись, растянулся. Собаки вмиг с аппетитом пожрали сыр, булку, колбасу.

— Вот видите, васкородие, здесь неудобно, в дом пожалуйте, — сердито сказал лакей.

На пятьдесят девятом круге мистер Кук оборвал свой бег. Под скрипучий хохот проходящих старушонок оба они, слуга и барин, тяжело пыхтя, вошли в дом.

Через семь минут мистер Кук, красный, возбужденный, поехал на работу в ожидавшем его за воротами шарабане.

Подрожав после дождя и согревшись чаем, Иван облекся в фланелевый халат хозяина и стал прибирать квартиру. На письменном столе много бумаг, рулонов клетчатки и ватмана. Надо бы стереть со

стола пыль, но Иван боялся. Он подошел к трюмо, придав своему низколобому, с вдавленными висками лицу надменное выражение физиономии мистера Кука и, погрозив сам себе пальцем, сказал хозяйским голосом:

— Ты, сукин сын, на столе ничего не сшевеливай! Понял? Адиёт...

Времени много, барин вернется к семи. Иван развалился в кресле пред письменным столом, закурил хозяйскую трубку, надел на горбатый, перебитый в драке нос хозяйское пенсне и, скривив губы, крикнул:

— Иван! Штиблеты...

— Пшел к черту! — задирчиво ответил сам себе Иван. — Сам возьмешь, немецкая твоя харя, мериканец, черт!

— Иван! Я тебе по русской морде ударю...

— А вот попробуй-ка. На-ка, выкуси, черт немаканый... Да я тебе и во щи и в кашу наплюю достаточно... Жри!

— Иван! Я на тебя мистер Громофф пожалуюсь.

— Плевать я хотел на твой мистер Громофф. Для тебя, может, мистер, а для меня — тьфу! Да знаешь ли ты, немецкий мериканец, вот мы ужо твоему мистеру Громофф забастовочку загнем?.. Пролетарии всех стран, соединяйтесь — ты читал? Ты взгляни-ка, какие грамотки у меня в подушке есть... Чихать смешаешься!..

Иван сбросил пенсне, открыл рот, прислушался: в кухне гремела посуда — забравшись на стол, пудель жрал накрученный для котлет фарш.

Прохор жалел, что выбрал такой дождливый день для поездки с Филькой Шкворнем. Но он не любил отменять своих распоряжений. Оба верхами, в кожаных архалуках. Путь труден, едут тайгою прямиком, без троп: бродяга вооружен чутьем, Прохор — ориентир-бусолью.

Сейчас полдень, но тайга в сумеречном свете, в мороке. Дождь стихает, в небе кой-где расчищаются

голубые полянки, вот солнцев луч ненадолго осиял тайгу, свежую, омытую, густо унизанную каплями алмазов. Стало хорошо кругом.

За семь часов пройдено всего лишь сорок верст. Лошади измаялись. Тайга в этом участке малопроходима для коня, здесь медведь — хозяин. Ему нипочем все эти полуистлевшие, перевернутые вверх корнями пни, похожие в сумерках на лесных чудовищ, эти трухлявые колоды-трупы, из чрева которых победоносно прет новый молодняк, эти нагромождения тысяч поваленных бурею дерев, образующих огромные заломы; их трудно одолеть даже сказочному Сивке-Бурке. Все это поросло быльем, чертополохом, бояркой, крушиной, папоротником, и кой-где алеют кумачовые семейства мухоморов. Не место здесь человеку, даже птиц не видно, — разве что дятел пропорхнет, — здесь царствует медведь, на вершинах же дерев невозбранно владычествует белка.

В летний солнцепек, когда воздух застоится, над этим кладбищем девственных лесов густо висит какой-то особый аромат земного тлена, от него звенит в ушах и начинает кружиться голова. Подальше от такого места в летний жаркий день!

Но вот тайга оборвалась. Путники поехали тальвегом неширокой каменистой речки Камарухи. Заночевали, еще шли день.

— Скоро прибудем, — сказал бродяга. — До вершины речонки верст с десяток отсюдова. Там и столбы наставлены.

Увидели дымок.

— Вот это самое место и есть... Самое золотое, — сказал Филька Шкворень.

— А нас не пристрелят здесь из-за куста? — И Прохор взял в руки винтовку.

— Да нет поди, — неуверенно ответил бродяга. — Конешно, поручиться за шпану нельзя... Она, кобылка востропятая, блудлива другой раз.

Прохор в мыслях пожалел, что не прихватил с собой двух-трех стражников. И заторопился.

— Поедем поскорей. К ночи хорошо бы домой.

— Я тебя отсель на твой прииск выведу. А там дорога живет, к ночи добежим домой.

У речонки копошились двое бородатых оборванцев. У них примитивное, сколоченное из самодельных досок приспособление для промывки золотоносных песков, нечто вроде вашгерда. В дощатый лоток сваливалась песчаная порода; ее привозил на тачке третий бродяга, а двое других большими ковшами лили на песок воду. Вода увлекала породу по наклонному, выложенному грубым сукном дну лотка. Золотые песчинки осаждались на сукне, маленькие самородки задерживались возле деревянных планок, набитых поперек лотка, поверх сукна, в расстоянии около аршина друг от друга. Промытый же песок скользил дальше, вниз...

Прохор поздоровался. Старатели бросили работу, еще трое подошли с песков. В их руках железные лопаты с очень коротким древком.

— Кто вы такие? Зачем путаетесь по этакой гиблой трущобе? — спросил кривой старатель.

— Мы громовские приказчики, — ответил Прохор. — Слыхали про Громова? — хвастливо спросил он.

— Как не слыхать! Слыхали... Зверь добрый, — двусмысленно сказали старатели и переглянулись.

Прохор смутился. Хотел в спор вступить, да побоялся. Чтоб застращать, спросил:

— А вы, ребята, не видали: наши стражники должны сюда выехать, пять человек?

Старатели опять переглянулись, сказали: нет.

— Ежели есть у вас золото, я бы купил, — предложил Прохор.

— Есть-то есть... А какой толк в твоих деньгах? Деньги в тайге — тьфу! Нам одежда да харч надобен. Вот ежели б ты спирту привез али девок парочку... Слышь, торговый, снимай кожаный шебур, меняй на золото. Нам надобен...

Прохор отказался.

— Тогда ружье сменяй.

Филька Шкворень шепнул:

— Поедем, барин...

Когда кони на рысях пошли в тайгу, старатели прошили воздух пугающим резким свистом, кто-то крикнул:

— Пульку жди!.. Гостинчик...

По спине Прохора пошел мороз: он знал много рассказов о том, как старатели охотятся за двуногим зверем. Филька Шкворень успокоил его:

— Не бойсь... У них, у варнаков, окромя лопаты, нет ни хрена, — и поехал сзади, загородив собою Прохора.

Вскоре отыскали полусгнивший столб с государственным гербом. Прохор понял, что золотоносная местность эта действительно кому-то принадлежит. Он решил приехать сюда с землемером и рабочими, чтоб наметить новые границы и сделать заявку от себя.

Филька Шкворень теперь ехал впереди. Рельеф местности резко изменился. Стали попадаться каменистые окатные сопки, остряки ребристых скал. Ни кедров, ни елей — шел сплошной сосняк. Ехать было легко. Однако часа через два стало темнеть. В этих краях Прохор впервые.

— Сколько ж ты считаешь отсюда до моего прииска «Достань»?

— Да верст тридцать с гаком поди.

Остановились на небольшой полянке, покормили лошадей.

— Мимо «Чертовой хаты» будем пробегать, — сказал бродяга.

— Не слыхал такой.

— А вот увидишь... И стоит эта хата на самой вершине скалы, об одном окошечке... Иной раз огонек в ней светится, дымок из трубы крутит. Так, сказывают, живет в ней какой-то цыган-бородач, а с ним карла безъязыкий, его цыган на цепи держит. И чеканят они там червонцы фальшивые. Цыган-то этот — то ли разбойник, то ли колдун... А другие болтают: огненный змей живет в избушке, черт. Ежели один да без креста — лучше не ходи: либо до смерти нарахает, либо с пути собьет. Другие, которые из нашей

шпаны, прутся мимо избушки, не знавши... Ну и крышка... Пойдут, да так и до сей поры ходят. Вот, друг, Прохор Петрович, вот. — Бродяга осмотрелся, подумал и сказал: — Скоро увидим... Крест-то на тебе?

— Да. А ты тоже с крестом?

— А то как? Со святого крещения ношу... Со младенчества.

Прохор улыбнулся, потом захохотал:

— А когда людей убивал, крест снимал с себя, что ли?

Бродяга засопел, нахмурился, нехотя ответил:

— А ты, слышь, брось вспоминать об этом. Было дело, а теперь — аминь.

Прохор тоже нахмурился:

— Напрасно...

— Что напрасно?.. — повернул к нему бродяга хмурое свое лицо.

— В царство небесное все равно не попадешь. Да, надо полагать, его нет. А я, признаться, на тебя виды имел...

Филька Шкворень сразу понял намек хозяина, приподнялся на стременах и на ходу снял с себя кожаный архалук, чтоб было свободней вести любопытный разговор. Он был прилично одет, подстрижен, вымыт, ничего бродяжьего в его внешности не осталось.

— Эх, милый!.. — вздохнул он. — Понимаю, понимаю. Только вот что тебе скажет Филька Шкворень: убивец Филька в вере христовой тверд. *Одно дело по приказу убить, другое дело — по разбойной волюшке своей.* Филька Шкворень по приказу убьет кого хочешь и не крякнет... Этот грех так себе, пустяшный, отмолить его — раз плюнуть, а царь небесный до человеков милостив... А вот ежели своевольно человека укокошить по великой ли, по малой ли корысти, тогда держись... Тогда, ежели не приведет господь спокаяться, гореть убивцу в неугасаемом аду... Вот как, сударик, вот как... — Бродяга нахлобучил картуз, нервно позевнул и торопливым движеньем руки закрестил свой рот.

Такая идея оправдания наемного убийства, с переложением ответственности на плечи нанимателя, заинтересовала Прохора. Холодный смысл слов бродяги: «Найми, и я убью», — резко отпечатался в его сердце, как на камне гравировка. С какой-то боязливой удивленностью он скользнул взглядом по бродяге, затих душой и крепко призадумался над своими делами, над путями дел своих.

Проехали в молчании еще верст пять. Бродяга вдруг заорал:

— Гляди! — и взбросил руку. — Эвот она, «Чертова-то хата»; глянь, огонек горит.

Справа серела в полумраке каменная громада. Дикая скала почти отвесно выпирала из земли торчком. Прохор посмотрел в бинокль: на самой вершине скалы — изба, в окошке слабый огонек. Путники стегнули лошадей, объехали скалу кругом. Грани ее совершенно неприступны: они голы, гладки, отшлифованы тысячелетними ветрами.

— Как же туда забираются? Хоть бы лестница или веревка, — удивился Прохор. — Кто ж все-таки там живет?

— Я ж сказывал тебе... Цыган-разбойник с карлой. А верней всего — сатана там, змей. Прямо через трубу летает... — И Филька Шкворень размашисто осенил себя крестом. — Крестись и ты! — сердито крикнул он на Прохора.

Тот сказал:

— Сейчас перекрещусь, — отъехал от скалы и выстрелил из штуцера в окно. Огонек погас.

Путники подъезжали к прииску «Достань». Ехали тихо, ощупью. Если б не Филька Шкворень с глазами хищной рыси, пришлось бы ночевать в тайге. И вдруг совсем близко, почти нос к носу, — всадник.

— Кто?! — крикнул Прохор.

Всадник вытянул крупного коня и нырнул вбок, в гущу охваченного тьмою леса.

— Эй, кто?! — снова крикнул Прохор и взвел у штуцера курок.

Тишина. Лишь похрустывал вдали валежник.

— Ну и добер коняга! — прищелкнул Филька языком. — Что твой сохатый... Только белой масти. Кто же это, а?

Прохор не ответил, но лукаво ухмыльнулся в свою бороду.

Ночевали на прииске «Достань». Поднялись до солнца. Прохор очень торопился. Гнали коней взмах. Вернулись домой к полудню. Прохор, не раздеваясь, сразу к телефону:

— Алло! Наденька, ты? Здравствуй... А что, Федор Степаныч не вернулся еще?

— Дома, дома. На этот раз вы, Прохор Петрович, ошибку дали, — рассыпалась Наденька кругленьким, как бусины, смешком. — Федор Степаныч еще вчера под вечерок приехали. Позвать?

Озадаченный Прохор с треском повесил трубку.

8

Главный инженер предприятия Прохора Громова, Андрей Андреич Протасов, имел квартиру в хозяйском деревянном двухэтажном доме, вверху. Ему отведено три комнаты с кухней, ванной и людской. Хозяин отвел бы Протасову и весь этаж и — целый дом, так он ценил и уважал его, но Андрей Андреич, будучи холостым и очень скромным в жизни, выбрал себе квартиру сам.

Для кухни у него кухарка, а по-сибирски — стряпка, Секлетинья, для комнатных же услуг нечто вроде горничной, молодая белотелая полька Анжелика.

Комнаты светлы, обширны, все на юг. Они поражают своей чистотой, белизной, опрятностью. Штукатуренные стены блещут белой масляной краской, крашеные полы сверкают. На больших окнах, на дверях — ни занавесок, ни портьер. Мебели не много и не мало. Она приготовлена из кедрача по рисункам Протасова в собственных громовских мастерских. Основа ее стиля — прямолинейность. Она отражает характер ее автора. Стены голы — ну, хоть бы какую

финтифлюшечку пригвоздил Андрей Андреич, вроде расписной тарелки, что ли, — нет, стены девственны, целомудренно обнажены. Лишь в кабинете сделанный пастелью портрет матери в старинной, павловских времен, золоченой раме, большая, аршина в два длиной, фотографическая панорама Уральских заводов, где служил десять лет тому назад инженер Протасов, еще портрет — гелиогравюра Карла Маркса лейпцигской работы. Вот и все.

Книжный шкаф объемист. Библиотека невелика, но в ней все, что необходимо для культурного человека, попавшего в глушь. На Урале у Протасова, когда он был помоложе, имелось собрание редких, строгановского письма, икон. Он их пожертвовал в местный уральский музей, одну же икону, поморской работы, привез сюда, в дар Нине Яковлевне Громовой. В кабинете — пианино Шредера, Андрей Андреич неплохо исполняет «Марсельезу», «Интернационал». Вообще он любит побренчать. Так, при наступлении весны, когда под солнцем звенит капель и лес начинает пробуждаться, в душе инженера Протасова тоже встают какие-то хмельные зовы: он целыми часами играет тогда «Снегурочку». Петь любит, но слуха нет; Нина Яковлевна над ним смеется: «Вам медведь на ухо наступил».

На просторном письменном столе, чистом, не загроможденном чертежами и делами, как у мистера Кука, несколько фотографических карточек, среди них — Нины Яковлевны Громовой в бальном, сильно декольтированном платье. Эту фотографию в бронзовой рамке инженер Протасов старается держать в центре остальных карточек, Анжелика же, убирая стол, всякий раз норовит поставить ее с краешку. Он придвигает — она отодвигает.

В такой же бронзовой модернизованной рамке портрет молодой учительницы Катерины Львовны. Он стоит рядом с портретом Нины. Но всякий раз, когда сюда приходит Нина Яковлевна, — что случается очень редко, — она всегда отодвигает портрет Кэти куда-нибудь к сторонке. Учитывая этот маневр по-своему, инженер Протасов по уходе Нины все-таки

восстанавливает среди портретов статус-кво. И снова оба портрета рядом. Мы пока не знаем, какой из этих женщин отведено главное место в сердце инженера Протасова, но, наверное, обе они имеют в этом сердце свой приют. За это-то мы поручиться можем.

Нам придется выдать еще один секрет, но надо думать, что это инженеру Протасову не повредит. Если присесть в кабинете на пол, в уголок между большой печью и стеной, можно заметить по бокам одного из печных изразцов чуть видимые две дырки. В них можно вложить особые железные буравчики с загнутыми концами и аккуратно вынуть изразец. Тогда открывается, правда, небольшая, но достаточная для хранения так называемой нелегальщины камера. В этой тайной камере много кой-чего: брошюрки, гектографированные оттиски воззваний, прокламаций, листки по сбору партийных денег, письма.

Большая часть этой нелегальщины доставлялась и доставляется Протасову из Питера, Москвы, иногда даже из-за границы. Конечно, не по почте, а тайно, с верным человеком. Например, приедет какой-нибудь выписанный по рекомендации Протасова чертежник, техник, слесарь, акушерка, ну и...

Даже вот недавно за подаянием монах — не монах, странник пришел. Пыльный, истомленный; на молодом, с маленькой бородкой лице напускная святость. Влез в кабинет, перекрестился на Карла Маркса, вздохнул.

— Андрюхин вы будете? — спросил он Протасова.

— Что вам угодно?

— Вот явочка к вам.

Инженер Протасов пробежал письмо, улыбнулся, сказал:

— Садитесь, товарищ, — и на ключ запер дверь.

Странник поставил в угол посох, развязал торбу с нашитым наверху клеенчатым крестом и вручил Протасову кучу брошюр, бумаг, бумажек.

В торбе, кроме смены белья, лежали маленькие иконки, крестики, пузырьки с целебным маслицем от святых мощей, ватка от зубной боли, окатные

камушки с Ердань-реки. И странник и Протасов, рассматривая все это, тихо смеялись.

— По чугунке ехал, а от чугунки четыреста верст пешком шел, вот этой самой благодатью прикрывался. Ну, попутно кой-чего внушал. В Спасском едва уряднику не отдали.

— Как на фабриках? И вообще...

Пришелец рассказал Протасову о многом. Рабочее движение в столицах, на Урале и на юге крепнет. Были забастовки, кой-где были расстрелы. Деревня тоже ожидает земли и воли. От Государственной думы ничего не ждут: разговорчики да кукиши в кармане. При дворе завелся Гришка Распутин, сибирский мужичок, конокрад. Трон шатается. Царек Никола голову теряет. Словом, вот-вот революция. Да вы прочтете свеженькую литературу, сами убедитесь...

Протасов радостно улыбался, ерошил волосы, бегал по кабинету, без конца курил.

— Михайлов в Питере?

— В нем, в нем. На Путиловском.

— А вы когда обратно?

— Не тороплюсь. Сначала по вашим рабочим попутаюсь с недельку, потом на казенный завод махну, оттуда — по железнодорожным мастерским. У меня еще три явки. А к вам завтра Александр придет, вьюнош молодой. Он у техника Матвеева будет ночевать. Вручите вьюноше сему денег, сколько есть, он завтра же и в обрат на Русь.

— Я имею передать денег четыре тыщи.

Был поздний вечер. Инженер Протасов провел странника в кухню, сказал кухарке:

— Попитайте отца Геннадия чем бог послал. А потом бросьте ему сенничок где-нибудь, хоть в ванной, что ли. Пусть ночует.

Протасов вернулся в кабинет, до вторых петухов просматривал доставленный пришельцем материал, написал выработанным не своим почерком несколько писем для врученья Александру и лег спать.

Отец же Геннадий аппетитно кушал в кухне, поучая женщин от священного писания.

Эта встреча в квартире Протасова произошла совсем недавно. Отец Геннадий провел в резиденции около недели, очаровал своей святостью Нину Яковлевну, благочестивым странноприимством которой он пользовался трое суток, орал на Прохора Петровича, стуча в паркет посохом:

— Изверг ты, изверг!.. Не печешься ты о своих рабочих... Детьми своими ты их должен чувствовать... А что ты им даешь, чем кормишь, в каких лачугах содержишь?.. Арид ты! И нет тебе моего благословенья...

— А мне и не надо, — хладнокровно ответил Прохор и, чтобы не заводить при жене скандала, ушел.

В дальнейшем судьба странника такова. Он ходил по квартирам рабочих, по избам крестьян, проповедовал «слово божие», на чем свет стоит пушил заочно Прохора Петровича, намеками призывал рабочих к забастовке. Пристав, по приказу Прохора, схватил монаха, привел его к себе. Но отец Геннадий развел такое изустное благочестие, что Наденька не на шутку расчувствовалась, заплакала. Отца Геннадия отпустили с миром, пристав доложил Прохору, что на монаха был простой навет. Где теперь этот таинственный скиталец, инженер Протасов не знал и нам неизвестно это.

Известно же нам вот что.

Однажды в субботу, поздним августовским вечером, инженер Протасов надел макинтош, сказал Анжелике:

— Я на заседание в контору. Вернусь поздно. Не ждите, ложитесь спать.

— Ужин прикажете оставить?

— Тарелку варенцу.

Было темно. Пьяные невидимками хлопали по лужам. Протасов, проплутав с версту, остановился у недоделанного сруба и начал время от времени помигивать в тьму карманным электрическим фонариком. Выкурил папироску, зажег вторую. Кто-то крадучись стал подходить к нему. Протасов трижды мигнул фонариком. Тогда уверенной походкой приблизился к Протасову вплотную человек и тихо спросил:

— Вы, ваше высокородие?

— Как вам не стыдно, Васильев, — так же тихо ответил Протасов. — Как не стыдно?!

— Виноват... Привычка-с... Пойдемте, товарищ Протасов. Шагайте за мной смелей... Я дорогу знаю.

Пошли, хватались за плетень, чтоб не упасть в лужи, дважды перелезали изгородь, пересекли врезавшийся в жилое место клин тайги, спустились в долину небольшой речонки, свернули в глубокий распадок-балку, где был большой, на сто человек, брошенный барак. Теперь жили в нем ужи да летучие мыши. Он изредка служил пристанищем «вольного университета» (по выражению техника Матвеева) для революционно настроенных рабочих. Место глухое, безопасное.

Андрей Андреич осторожно спустился в барак, погрузившись из тьмы в тьму: лишь слабый огонек мерцал. Прихода Протасова никто не уследил: тьма мерно дышала, тьма слушала, что говорит техник Матвеев.

— Таким образом, вы видите, товарищи, к чему привела забастовка девятьсот пятого года. Это первый этап, первый пожар русской революции. Когда придет второй и последний этап, покажет будущее. Однако надо думать, товарищи, что это наступит скоро.

Матвеев говорил негромко, медленно, делая паузы после каждой фразы, чтоб дать рабочим время вникнуть в значенье слов. Голова и лицо его чисто выбриты, он мешковат, толстощек, весь какой-то пухлый. Ему тридцать лет.

— Товарищ Матвеев! — раздался голос. — Ты в прошлый раз обещал побольше рассказать, как казнили первомартовцев. С чего, мол, началось и как... Очень интересно нам.

— Сейчас, — откликнулся техник Матвеев, плюнул на концы пальцев и снял со свечи нагар. — Значит, товарищи, было дело так...

Огонек заблистал щедрей. Протасов вгляделся в лица сидевших — кто на чем — рабочих. Их было человек с полсотни. Молодые, пожилые, есть два

старика — водолив с баржи и вахтенный сторож с пристани — Нефед Кусков. Ни мальчишек, ни женщин. Собрание состояло из выборных от артелей всех предприятий Громова. Отдельные беседы на работах, иной раз, под шумок, в бараках, бывали и раньше. Но такое организованное собрание выборных произошло здесь — в виде опыта — впервые. Недаром на эту ночь приглашен сам инженер Протасов. Он пользовался крепким уважением масс, хотя действовал всегда закулисно, скрытно. Однако рабочие догадывались, откуда загорается сыр-бор, и, полагая, что Протасов заодно с ними, чувствовали себя сильными, способными одолеть врага.

— В уголку сидит, в уголку сидит... Эвот, эвот он, — обрадованно зашептались рабочие, кивая в потемках на Протасова, а старик Нефед даже прослезился, тряхнул головой Протасову, с чувством сказал: «Спасибо, барин». Он произнес это тихо, совсем не надеясь, что Протасов услышит его голос, но уж так сказалось, от сердца, от души. И старик рад был зацеловать «барина», рад затискать в признательных объятьях: видано ли, слыхано ли, сам главный инженер к ним припожаловал, как отец к сынам. Ну-ну!..

А техник Матвеев говорит и говорит. Перешептыванье смолкло.

Окончив свое слово по истории революционного движения в России, Матвеев взглянул на часы, спросил:

— Нет ли, товарищи, каких вопросов? Может быть, есть неясности в моей беседе? Спрашивайте. Потолкуем...

— Вопросы, конечно, есть, — сказал молодой слесарь Петр Доможиров, самый прилежный ученик тайного просветительного кружка. — Ну, их пока что в сторону, время терпит. А вот мы видим личность Андрея Андреича. Кроме того, знаем, зачем сюда пришли. Нам бы желательно выслушать товарища Протасова.

— Просим! Просим!.. Жалаим! — раздались необычные хлопки в ладоши, многие рабочие не

понимали их значения, но тоже стали хлопать. Все зашевелились, завздыхали, сплошная улыбка прошла по лицам.

Протасов говорит возле огарка, стоя.

— Товарищи! Значение забастовок у нас и на Западе, то есть среди заграничных товарищей-пролетариев, разъяснил вам товарищ Матвеев. Забастовки — орудие верное, но убийственное для хозяина только в том случае, когда у бастующих рабочих есть между собою единодушная поддержка друг друга, крепкая дисциплина, непоколебимое стремление добиться своего. А кроме того, нужны, товарищи, деньги на жизнь. За границей существует для этого специальный забастовочный фонд, капитал. У вас же такого капитала нет, да и быть не могло. Правда, я и некоторые мои товарищи могли бы оказать вам кой-какую поддержку, ну, скажем, тысяч пять. Но ведь это пустяки, этой суммы не хватит даже на неделю.

— Да на неделю-то у нас как-никак жратвы хватит! — возбужденно закричали рабочие. — Из бабенок вытрясем, все закоулки обшарим! А другую неделю и не жравши просидеть можно.

— Тише, товарищи, тише!

— А на третью неделю хозяина за горло, да и кровь сосать...

— Товарищи! — звонко оборвал шум инженер Протасов. — Насилий никаких! Это первое условие. Мы в одиночку революцию поднимать не можем — кишка тонка. Иначе... Вы знаете, что вам может угрожать?

— Знаем, знаем!

— Теперь подумайте. Борьба может оказаться длительной. Денег у нас нет, крепкой организации — пока что — нет. Я не сомневаюсь, что сюда немедленно же будут пригнаны казаки для расправы. Вам сопротивляться нечем. Вы безоружны! Кулаками не намашешь. А хозяин жесток, упрям. Вам может угрожать расстрел. Вот, я все сказал, что надо. Теперь обдумайте хорошенько, посоветуйтесь с товарищами рабочими и дайте нам ответ.

Наступило молчание. Рабочие переглядывались. Их лица зачерствели. Протасов, боясь, чтоб среди рабочих не разлилось уныние, сказал:

— Я вам выложил самое худшее, товарищи. По-видимому, я вас, ребята, запугал. Но это ни в коем случае не входило в мои расчеты. Конечно, особенно-то трусить нечего. «Волков бояться — в лес не ходить». Дело вот в чем. При удаче ваша забастовка настолько хлестко ударит хозяина по карману, что он быстро сдастся. Я бы лично стоял, ребята, за забастовку.

Протасов сел. Вышел слесарь Петр Доможиров. Он застенчивый, скромный, выступает на собрании первый раз в жизни. Голос его вначале дрожит, потом приобретает убедительность и силу. Рабочие слушают внимательно, поддакивают, кивают головами. Петр Доможиров с записной книжечкой в руке. Он вычислил, сколько хозяин платит рабочим и сколько получает барыша. Барыш огромный. Так неужто он не может, дьявол кожаный, поделиться им с рабочими? А ежели нет, тогда:

— Братцы! Все, как один, становись под красное знамя забастовки!

Вторым вышел землекоп Кувалдин. Руки у него длинные, сам крепкий, нескладный. Голос нутряной, подземный какой-то, гудливый.

— Братцы, честна компания!.. Да будь он проклят, этот самый Прошка Громов!.. Вы подумайте, братцы, сколь мало он нам платит. Да какой тухлятиной кормит! Да как дерет в лавках своих! Да он, сволочь, о прошлой пятнице мне всю спину исстегал! Эвот спина-то, эвот! — Он высоко задрал рубаху, взял в руки горящую свечу и повертывался иссеченным телом во все стороны. — Ну, да и я ему, дьяволу, лопатой по загривку смазал... Слово за слово. Сначала я ему, а посля того и он мне нагаечкой своей.

Кто-то засмеялся, кто-то крикнул:

— А водки дал?!

— Это верно, что дал, — кашлянул землекоп и забрал в горсть бороду. — А только его водка разве водка? Напополам с водой. Тьфу!

— А ну, пусти! — дернул землекопа за рубаху Ванька Пегий, мукосей, и стал на его место. Он не высок ростом, сухощек, черная бородка клинышком.

— Братцы, товаришши! Барин Протасов! Ты тоже вроде — наш. Примите, братцы, во внимание... Допустим так... Я, конечно, неграмотный, но душа во мне, братцы, есть... Это по какому праву такое тиранство от хозяина?! Пошто он нас с земли сманил, от крестьянства отнял?.. А что дал взамен? Хуже собак живем, братцы. Не доешь, не допьешь, а что мы скопим на его работах? Шиш! Свету нету, братцы, свету!.. Нас, дураков, вокруг пальца обвели... А он, дьявол, жиреет. Он, гладкий черт, язви его в шары, может статься, моей дочке брюхо сделал, да я молчу, черт с ним! Да что, я для него, что ль, дочерь-то вырастил? Для его утехи? Обидно, братцы, горько!.. Зазорно шибко и говорить-то. А вам, братцы, скажу... Потому, обида эвот до каких мест дошла. — Он быстро чиркнул по горлу пальцем, скосоротился и закричал: — Бастуй, ребята, забастовку!! Бей всё! Коверкай!.. Все равно собакой подыхать... — Он вдруг одрябл голосом, всхлипнул и, шумно сморкаясь, пошел прочь.

Митинг тянулся долго. Все гуще раздавались жалобы, все больнее становилось слушать. Протасов чувствовал, что атмосфера накалилась. Он видел, что действительно дальше ждать нельзя, надо искать выход, надо вступать в борьбу с врагом. Стали с осторожностью расходиться по домам.

Моросит дождь. Ничего не видно, тьма. Где-то медведь кряхтит, где-то вспугнутый кобчик пискнул. Ноги давят сучья — хруст, треск. Вот лапа кедра колюче хлестнула по лицу.

— Осторожней, товарищ Протасов. Шагай за мной... — негромко сказал Васильев.

Всюду дремотные призраки, плещет-качается тьма. Что это? Гул тайги, голова устала иль странная тревога дразнит сердце? Шуршание веток, топот копыт. Призраки шепчутся:

— Он, кажись?

— Надо быть — он...

И нежным сказала тьма голосом:

— Андрей Андреич! Товарищ Протасов, вы?

Фонарик Протасова через сито дождя вырвал из сумрака чьи-то усы и милое личико, кажется — Наденьки. Мигнул и погас.

— Ах! Вот вам письмо... Казенное.

Протасов глубже надвинул колпак макинтоша, и оба с Васильевым круто свернули прочь, влево, увязли в недвижности, перестали дышать.

— Нет, должно быть, не он, — в досаде сказали усы, и хлюпкий топот копыт, лениво смолкая, исчез во тьме.

9

Прохор Петрович со дня на день ожидал приезда землемера. Вскоре после разведки вдвоем с Филькой Шкворнем предприимчивый Прохор организовал вторую рекогносцировку. Она обставлена по-деловому. В нее входили: заведующий технической частью прииска «Достань» горный штейгер Петропавловский — человек пожилой, знающий, приглашенный Громовым с Урала; десятник подрывных работ Игнатьев; студент-горняк выпускного курса Образцов — талантливый геолог. Еще старик лет семидесяти, бывший старатель, дедка Нил. Еще Филька Шкворень, тоже в качестве специалиста, еще фельдшер на всякий несчастный случай и двенадцать рабочих. Прохор приглашал и Протасова: тот универсально образован и в горном деле собаку съел. Но Протасов наотрез отказался: у него и без того по горло всяческих работ, он не может бросить предприятие на произвол судьбы, — он не поедет.

Поисковая партия двинулась в тайгу верхами. В поводу вели двух обреченных на заклание оленей.

Накануне отъезда, под вечер, к Прохору в башню пришел пристав.

— А меня не прихватишь с собой, Прохор Петрович?

— Нет.

— Напрасно! Я те места знаю. Меня интересует там одна вещь. Не там, а верстах в пятнадцати, в самой трущобе.

— Что такое?

Лицо Федора Степаныча стало таинственным, он почему-то прикрыл окно и подошел к Прохору вплотную.

— Эта вещь — избушечка, — сказал он шепотом и выпучил глаза.

Сердце пристава билось так сильно, что полицейские, с орлами, пуговки на форменной тужурке подпрыгивали.

— Ну? — небрежно спросил Прохор. Он знал, что перед ним враг, шантажист, негодяй, что он кончит разговор нахальной просьбой взаймы денег.

— Тайная избушечка на неприступной скале... туда только птица залетит, — нашептывал пристав; он нарочно говорил шепотом, чтоб не дрогнул в волненье голос. — Я хотел исследовать, какой мазурик там живет.

— Я эту чертову избушку знаю. И знаю, кто там живет.

— Вот как! А я не знаю.

— Не знаешь? — прищурился на него Прохор. — А тебе-то нужно бы знать. Ты — власть. И вообще ты не особенно энергичен. На твое место нужно бы помоложе кого... У меня дело расширяется, рабочие начинают фордыбачить...

— В сущности, там живет цыган... — перебил пристав; он никак не ожидал, что разговор примет такое неприятное направление. — А кто этот цыган — пока неясно для меня. Я думаю — взять с десяток стражников, окружить скалу с избушкой, да и сцапать этого разбойника!

— Цыгана?

— Да, цыгана.

— А нет ли у него цыганки? И еще — карлы?

— Ну, этого я не знаю. Какой цыганки?

— С бородавкой... Возле левого уха.

Пристав стоял, нагнувшись над Прохором и упрев кулаками в стол.

— Ты все шутишь, — вильнул он глазами, отошел к окну, открыл раму и стал глубоко вдыхать освежающую вечернюю прохладу. Плечи и спина его играли, он дрожал.

Волк лег у ног хозяина и стукнул раза три хвостом.

Федор Степаныч повернулся к Прохору и сказал надтреснутым хриповатым голосом:

— Шутки шутить со мною, Прохор Петрович, брось.

— Я и не шучу, — спокойно ответил Прохор; он делал красным карандашом пометки в ведомости, как бы давая понять, что дальнейший разговор с приставом ему мало интересен.

Но пристав напорист.

— Ты врываешься в мое отсутствие к моей жене, — начал он, часто взмигивая заплывшими от вина глазами. — Ты действуешь, как сыщик, как последняя ищейка. Ты грозишь Наденьке каким-то дурацким протоколом... Что это такое? А? Нет, что это такое?!

— Для тебя, может быть, протокол — дурацкий, для меня не дурацкий... Стоимость двадцати фунтов золота я записал в твой счет...

— Спасибо... Спасибо... — Пристав боднул головой, закусил прыгавшие губы, правой рукой схватился за спинку дивана, левой отбросил за плечи усы вразлет. — Допустим так, допустим — я вор и мошенник. Но почему ж это золото твое?

— Оно было бы мое, — все так же спокойно, с деланным невниманием к словам пристава, ответил Прохор, упорно перелистывая ведомость.

— Ах, вот как?! Оно было бы твое, оно было бы твое? Но почему? Признайся! Ты жулик, ты грабитель, да? — палил как из пулемета пристав.

— Нет. Я просто коммерсант. Филька Шкворень принес бы его мне и продал. А теперь... — И Прохор развел руками, все еще не подымая глаз на пристава.

Овладев собой, пристав заложил руки назад и с задорной усмешечкой покачался грузным телом.

— Прохор Петрович,— сказал он официальным тоном,— я все-таки просил бы вас со мной не шутить...

— А я и не шучу,— снова повторил Прохор.

— Вы, Прохор Петрович, в моих руках...

— А вы в моих...

— Стоит мне только... Знаете что?.. И от ваших дел, от ваших предприятий пыль пойдет...

— Ну, да и вам не сдобровать.— Прохор отложил ведомость, взял другую, стал класть на счетах цифры.

— Я вас продам, предам, упекарчу на каторгу.

— Я вас тоже.

— Плевать! Я своего добьюсь — и пулю в лоб...

— Я тоже... Ах, как вы мне мешаете...— сморщился Прохор.

Пристав расслабленно сел на диван,— брюхо легло на колени,— согнулся, закрыл ладонями лицо и шумно вздыхал. Тогда Прохор мельком взглянул на него. Чувство превосходства над этим жирным битюгом заговорило в его сердце. Прохор сильней застучал на счетах. Пальцы холодели, работали неверно: он сбрасывал итоги, щелкал костяшками снова и снова.

— А как бы мы могли работать с тобой. Эх, Прохор Петрович...

— Что? Что ты сказал?

Пристав отер глаза платком, крякнул, высморкался и повторил фразу. Прохор поднял голову, меж бровями, как удар топора, прочернела вертикальная складка.

— Что, что?..— Прохор поймал шмеля и оторвал ему голову.

— Работали бы дружно, душа в душу. Ни страха, ничего. Королями царствовали бы с тобой. И... шире дорогу!!

— Ни-ког-да!— Прохор с силой швырнул карандаш и встал. Волк тоже вскочил.— Оставь меня... Прошу... Прошу,— в спазме припадка прохрипел Прохор.

У пристава упало сердце. Он взмахнул рукой и, трусливо отступая к двери, никак не мог засунуть платок в карман, яростный взгляд Прохора вышвырнул врага из башни вон.

Было воскресенье. Андрей Андреич Протасов захворал. В сущности, хворь небольшая,— болела голова, градусник показывал тридцать семь и три. Как жаль, что фельдшер уехал в разведку с Прохором. Доктора же в резиденции не было; как ни настаивала Нина, Прохор не желал: «Мы с тобой здоровы, а для рабочих и коновала за глаза».

Катерина Львовна одна к Протасову заходить стеснялась. Пришли вдвоем с Ниной. Анжелика, впуская их, поджала губки и с раздражением сказала:

— Андрей Андреич больны.

Протасов в меховой тужурке сидел за столом в кабинете и штудировал историю французской революции; он подчеркивал абзацы, делал из книги выписки.

При появлении женщин он быстро встал, извинился за костюм. Катерина Львовна подала ему букет садовых цветов, Нина же быстро пришпилила к его тужурке бутон комнатной розы.

— Мне больше к лицу шипы, чем розы,— попытался он сострить; он всегда чувствовал себя неловко в женском обществе.

— Почему вы, Андрей Андреич, такой дикий?— спросила Нина.— Вот я вам невесту привела.

Катерина Львовна закатила глазки, замахала надушенными ручками.

— Ах, Нина! Ты всегда меня введешь в конфуз!..

— Ага, ага!—засмеялся Протасов.—Вы не отпираетесь? Значит, что? Значит, вы действительно невеста?

— Ах, что вы, что вы!—испугалась Катерина Львовна, окидывая стены ищущим взглядом.

— Что, зеркальце? Извольте.—Андрей Андреич выхватил из письменного стола маленькое зеркало и ловко подсунул ей.

— Нет, нет, что вы, — смутилась Кэтти и, схватившись за прическу, тотчас же влипла в зеркало.

Протасов приказал Анжелике подать кофе.

Кэтти была очаровательна: она блистала зрелой молодостью, розово-смуглым цветом щек, взбитыми в высокую прическу черными, с блеском, волосами. У ней темные глаза, строгие прямые губы, тонкий нос. Если б не холодность общего выражения сухощавого лица, ее можно бы счесть красивой. Протасов прозвал ее «Кармен». Она недоумевала — похвала это или порицание, и, когда он так называл ее, она всегда вопросительно улыбалась.

За кофе завязался обычный интеллигентский разговор с горячими спорами, словесной пикировкой. Говорили о Толстом, о Достоевском. Нина ставила неразрешимые вопросы: почему, мол, в жизни царит власть зла, почему зимой не расцветают на лугах цветы, или, безответно и наивно, она ударялась в надоедные мечты о «мировой скорби».

Протасов только лишь набрал в грудь воздуху, чтоб опрокинуть на Нину свой обычный скепсис, как Кэтти наморщила с горбинкой нос, заглянула в сумочку, сказала: «Ах!» — и, отбежав к окну, громко расчихалась.

Инженер Протасов, быстро оценив ее смущенье, тотчас же подал ей выхваченный из комода носовой платок.

— Мерси... — Щеки ее покрылись краской. — Ах, какой вы!.. Какой вы...

— Что?

— Замечательный!

Инженер Протасов поерошил стриженные под бобрик свои волосы, улыбнулся и проговорил:

— От наших ветреных разговоров вы, кажется, получили насморк.

Глаза Нины тоже улыбались, но от их улыбки шел испытующий отчужденный холодок.

— Что вы читаете, Протасов? — пересев на диван, вздохнула она.

— Историю французской революции,

— Вот охота! — прищурившись, небрежно бросила Нина.

— Отчего ж? В прошлом есть семя будущего. — И Протасов сел. — Зады повторять не вредно.

— Я ненавижу революцию, — все еще краснея от происшедшей неловкости, отозвалась Кэтти. Голос ее — низкое контральто — звучал твердо, мужественно.

— Я тоже. Я ее боюсь, — сказала Нина и закинула ногу на ногу. — Вы такой образованный, чуткий, — неужели вы хоть сколько-нибудь сочувствуете революционерам?

Протасов откинул голову, подумал, сказал:

— Простите, Нина Яковлевна... Давайте без допросов. А ежели хотите — да, я в неизбежность революции верю, жду ее и знаю, что она придет.

— Не думаю... Не думаю... — раздумчиво сказала Нина.

— А вы подумайте!

— Пожалуйста, без колкостей.

— Это не колкость, это дружеский совет. А что ж, в сущности, что же ее бояться, этой самой революции? Честный человек должен ее приветствовать, а не бояться. — Протасов вопросительно прищурился на Нину и покачивался в кресле. — Хотя вы и являетесь нашим идейным, или, вернее, нашим классовым врагом...

— Ах, вот как? Вашим?!

— Виноват. Не нашим, а моим, моим идейным врагом, ведь я ни к какой революционной организации не принадлежу и могу говорить только от себя...

— Простите, Протасов... Ваше вступление очень длинно. Вы лучше скажите, в чем же будет заключаться наша революция, наша, наша, революция дикого народа, ожесточенного, пьяного?.. Как она будет происходить?

— Примерно так же, как и во Франции. Вы читали?

— Да. — Нина размахивала сумочкой, как маятником, и от нечего делать следила за ее движением. Но сердце ее начинало вскипать.

— Был такой мыслитель, кажется — Маколей, — начал Протасов. — Да, да, Маколей. Так вот он сравнивал свободу с таинственной феей, которая являлась на землю в страшном виде восстаний, революций, мятежей. Тот, кто не обманулся внешним видом феи, кто обласкал ее, для того она превращалась в прекрасную женщину, полную справедливого гнева к поработителям и милости к угнетенным. А вступивших с ней в борьбу она бросала на гибель.

— Утопия, утопия, утопия! — кричала Нина. Сумочка вырвалась из рук ее и, описав дугу, ударилась в печку, — посыпались пуховочки, притирочки, платочки, шпильки. — Никакой революции у нас не будет, не может быть.

Протасов, кряхтя, подбирал рассыпавшиеся по полу вещички.

— Вы, Нина Яковлевна, совершенно слепы к настоящему, к тому, что в России происходит... Еще раз простите меня за резкость.

— Ничего, ничего, пожалуйста! — Обиженная Нина по-сердитому засмеялась, вдруг стала серьезной, кашлянула и, охорашиваясь в зеркальце, сказала: — Я не верю в революцию, не верю в ее плодотворность для народа. Я признаю только эволюционное развитие общества. Возьмем хотя бы век Екатерины. Разве это не...

— Да, да, — перебил ее инженер Протасов и вновь схватился за виски: в голове шумело. — В спорах всегда ссылаются, в особенности женщины, на либеральных государей восемнадцатого века, на Фридриха II, на Иосифа II, на «золотой» век Екатерины. Но... эти правители никогда не были искренни в своих реформах; они, ловко пользуясь философскими, современными им доктринами, всегда утверждали в своих государствах деспотизм.

— Позвольте!!

— Да, да... Что? Вы хотите сослаться на переписку Екатерины с мудрым стариком Вольтером? Да? Но ведь она, этот ваш кумир, переписываясь с Вольтером, беспощадно гнала тех из своих подданных, которые читали его...

Протасов с досадой почувствовал, что напрасно вступил в эту беседу с женщинами. Нина подняла на него правую бровь, и уголки ее губ дрогнули. Катерина Львовна, хмуря брови, перелистывала технический справочник Хютте.

Температура Протасова упорно подымалась. Показался резкий румянец на щеках. Нина Яковлевна готова бы уйти, но ей хотелось помириться с Протасовым на каком-нибудь нейтральном разговоре.

— Слушайте, Андрей Андреич, милый... Вы давно собираетесь рассказать нам с Кэтти про золотые промыслы...

— Ах, да! Ах, да! — встрепенулась Кэтти.

— Только с самого начала... Ну, вот, например, тайга...

— Вот тайга, — подхватила Кэтти и облизнула губы.

— Вот тайга, — сказал и Протасов.

— Вот тайга... Приходят в тайгу люди... Ну, как они определяют, что тут золото? Прочтите нам лекцию...

— Извольте. — Инженер Протасов поднялся и стал ходить, шаркая по паркету мягкими туфлями. — Золотоносное дело составляет три резко отличающиеся одна от другой стадии развития: поиски, разведки и разработка. Записали? — Он улыбнулся самому себе и сказал: — Простите. Я привык на Урале на курсах читать...

10

Там — лекция, здесь — дело. За целый день проехали верст сорок пять. Оставляли широкие затесы на деревьях, чтоб не забыть пути. Тучи рыжих комаров преследовали партию. Люди в пропитанных дегтем сетках отмахивались веничками. Узкая тропа, преграждаемая то валежником, то огромными, одетыми мхом валунами, часто терялась. На таких звериных тропах владыка тайги — медведь подкарауливает добычу. Бежит тропой олень или козуля, внезапно — хвать! — перешибет хребет и вспорет брюхо. Впрочем, не сразу съест: старый медверь-стервят-

ник — великий гастроном: даст время убоинке протухнуть. Но бывает так: медведь крадется за жертвой, стрелок-тунгус метит ему под левый вздох.

Сумеречным вечером люди вышли на огромную прямую просеку, почти в целую версту шириной.

— Вот так ловко! — в изумлении воскликнул Прохор, озираясь. — Работа чистая!..

Это лет пятьдесят тому бешеный ураган хватил с вершины гольца, в мгновенье ока проложил себе раздольную дорогу. Древние непомерной толщины деревья, даже упругий молодняк, сразу легли, как трава, вершинами от гольцов на запад, образовав непроходимый ветровал. Если лесной пожар не превратит его в дым и пепел, он будет истлевать здесь до конца веков.

Переночевали. Костер, прохлада и туман. Еще шли сутки.

На третье утро повстречали широкую падь, старый тальвег когда-то протекавшей здесь реки.

— А ведь это тоё самое место, Прохор Петров, — проговорил Шкворень, — эвот и речонка. На ней хищники в тот раз робили... Поди и клейменые столбы найдем.

— Лучше этого места нет, — ответил за Прохора семидесятилетний Нил и посверкал бельмом сквозь сетку. Он, бывший старатель, теперь служит десятником при конной бутаре громовского прииска. Он опытен в приисковом деле, про него говорят: «Дедка Нил на сажень сквозь землю видит».

Все казались оживленными и бодрыми: действительно, приметы хороши. Кони тоже всхрапывали по-веселому.

Беловолосый, в густых веснушках, студент Образцов сделал лицо умным, озабоченным и поехал вдоль бровки пади. В эту огромную падь, справа и слева, вползали глубокие распадки, бывшие долины пересохших речонок и ручьев. С северо-востока спускались обнаженные гольцы каменных отрогов. Весь тальвег пади и днища балок усеяны валунами. Утесы и скалы прожилены кварцами. Однообразные крупнозернистые граниты наверху сменялись у подножья

сланцами и другими, сопутствующими золоту, горными породами.

Образцов, понукая ленивую клячу, сиял. Дедка Нил хозяйственно прикрякивал.

— Закладывай шурф вот здесь, — подал он Прохору совет.

Лопаты, кирки, ломы врезались в грудь почвы. Сажень в квадрате — шурф зарывался вниз. В стороне плотники рубили из сушняка так называемые крепи: ими будут подпираться отвесные стенки шурфа. Другая группа, в версте от этой, против устья балки, рыла другой шурф.

Прохор от нечего делать посвистывал, снимал «кодаком» работу, зорко следя за землекопами. Прошло часа три напряженного, пыхтящего труда. Вдруг Филька Шкворень, ретиво работавший с тремя землекопами в первом шурфе, взглянул на Прохора Петровича, вскрикнул, упал на брюхо и со страшным стоном стал сучить ногами:

— Ой, смерть! Умираю... Братцы, сударики... Дохтура скорей!.. — Он весь дергался, хрипел, глаза уходили под лоб.

Землекопы выскочили из ямы вон. Прохор крикнул:

— Носков! Фельдшер! Где он, дьявол?.. Ребята, воды!

И все, вместе с Прохором, скрылись. Оставшийся в одиночестве Филька Шкворень заорал еще ужасней, но лицо его улыбалось. Он встал на карачки и выхватил из-под брюха вдавленный в землю золотой, фунта в три, самородок, издававший мутный желтоватый свет. Филька в радости заржал, как конь, спрятал за пазуху находку, и когда прибежал с людьми фельдшер, бродяга сидел с закрытыми глазами на дне шурфа, протяжно, страдальчески охал. Лысый, юркий, как мартышка, фельдшер Носков стал щупать бродяге пульс, Прохор подал стопку коньяку. Филька Шкворень жадно выпил, сплюнул, сказал.

— Ох, отец родной!.. Прохор Петров... Спасибо... Это меня та самая цыганка спортила, зельем опоила. Помнишь?.. Припадки, понимаешь... Грохнусь, и пятки к затылку подводить учнет.

От дальнего шурфа кричали рабочие вместе со студентом Образцовым:

— Хозяин! Господин Громов! Сейчас начнем промывку.

Перескакивая валежник, скользя по окатным камням, Прохор направился туда.

— Эй, ребята! — командовал Образцов возле таежной речки. — Вашгерд налаживай.

А в гольце, в кварцевой жиле шел забой. Там орудовал десятник подрывных работ Игнатьев, с черными цыганскими глазами, расторопный парень.

Прохор казался ко всему равнодушным. Посвистывая, пошел с ружьем по лесу. Ему все-таки удалось найти два столба старой заявки. Он делал кинжалом меты на деревьях, ставил вешки, чтоб отыскать путь к столбам.

В шурфах появился песок-речник. На носилках и в ведрах тащили пробу к вашгерду. Это сколоченный из досок открытый лоток, длиной сажень, шириной около аршина. Он ставится на землю с легким уклоном. В верхней части вашгерда отгорожен двухстенный ящик. Сюда сыплют пробу, обильно поливают водой. Вода размывает породу, переливается через перегородку ящика и ровной неторопливой струей бежит по дну лотка, увлекая с собою песок и глину.

— Растирай, растирай комки! — покрикивал на рабочего дедка Нил и сам подхватывал особым гребком комочки глины, подымал к верхней перегородке и там растирал их. — Надо, чтоб одна муть текла... Может, в комочке — золото... — поучал он.

А новую породу все подносили и подносили в ведрах.

Вода в лотке постепенно светлела. Значит, вся глина, превратившись в муть, скатилась.

— Снимай полегоньку камушки со дна, — суетился лысый Нил.

На дне вашгерда, устланного грубым сермяжным сукном, возле поперечных деревянных пластинок осталось в конце концов небольшое количество самого тяжелого песку, с черными шлихами, то есть мелкими зернами железа и других плотных металлов, в том

числе и золота. Теперь все ясно и открыто. Золотинки побольше, поменьше и вовсе маленькие впервые смотрят удивленными глазами в мир — ждут, что будут с ними делать люди. У людей замирало сердце. Люди тонкими совочками снимали этот драгоценнейший песок, сушили его и точно взвешивали.

На третий день разведки работа кипела в десяти шурфах. Золота маловато, ни то ни се, да и золото неважное, как говорится «легкое», ожидаемой удачи нет.

— Эй, чертознай! — кричали рабочие дедке Нилу. — Ну-ка ты... На фарт!

Дед нюхом чуял, где надо рыть, с ним соглашался и штейгер Петропавловский, пожилой, бывалый человек. Но студент Образцов, выдвигая свои заумные теории, тыкал пальцем в учебник, горячился, кричал, брызгал на сажень слюной и каждый раз сбивал с толку опытных таежников.

Однако «чертознай» все-таки рискнул оказать сопротивленье:

— Рой здесь! Я фартовый. Золото сквозь землю вижу. Вот оно!

Заложили на счастье деда одиннадцатый шурф, четыре бросили. Рабочие копали землю с удвоенным усердием, уж «чертознай»-то не обманет, «чертознаю» сам леший служит, значит — рой! Спины рабочих надрывались, пот заливал глаза. Только Филька Шкворень дурака валял: три фунта золота у него в кармане — впереди разливное гулеванье и черт ему не брат.

— Вали, вали! — подстегивали его.

А студент Образцов с апломбом разъяснял старателям:

— Наука говорит, что золото распространяется по золотоносной долине не равномерно, а только узкой полосой...

— Узкой? Ишь ты!.. — слегка трунили над ним рабочие.

— Да, да! Уж поверьте науке. Не иронизируйте, пожалуйста. А полоса эта не всегда лежит в середине долины, она ходит то к одной, то к другой стороне.

— Ходит? Ах, анафема!

— А в самой полосе своей золото никогда не бывает распространено равномерно, оно очень часто залегает гнездами или кустами. Самое крупное и богатое золото лежит обычно на постели россыпи, в самом низу.

Прохор спросил:

— А почему это?

Студент Образцов сразу постарел на тридцать лет, принял напыщенно ученый вид и повернулся лицом к хозяину.

— Наука утверждает... — начал он, прихлопывая ладонью по учебнику. — Наука утверждает, что аномалии в залегании и сложении золотых россыпей указывают на вероятное происхождение их от ряда многих и сложных разрушительных сил природы, действовавших в разные геологические эпохи...

Рабочие издевательски заржали:

— Вот, черт, до чего понятно объяснил!.. Молодой, а с толком...

Не понял и Прохор:

— Я геологию всю забыл, надо подчитать.

Сказал так и вновь ушел с ружьем к гольцам.

— А вообще-то золотоприисковое дело есть счастливая случайность... Ведь так, дедушка? — обратился студент к Нилу.

— Ну, не скажи, молоденький барин, — и «чертознай», откинув с лица пропитанную дегтем сетку, закурил. И все закурили. — Вот послушай-ка, что старики толкуют, знатецы. Откуль на земле золото пошло? А вот откуль. Враг человеческий похитил золото у ангелов. Украл, да забоялся, что за ним погоня будет, склал золото в мешок, да и взвился по воздуху. А как летел в горах, задел мешком за скалу, мешок лопнул в уголке, трык да трык, шире — боле, и стало золото сыпаться на землю. А он летит, а он летит, не видит. Потом учухал, стал зажимать прореху лапой. В коем месте крепко ужал дыру, там и нет на земле золота, а где сплоховал — там и земля им насытилась. Вот, браток, как, вот. Ты свою гилогию не

слушай да епоху свою. В книжках много врут. Ты глазком бери, а где не проймет — нюхом.

— Очень интересно, — с благодарностью улыбнулся студент и записал рассказ деда.

Прохор купался в версте от работ. Он посмотрел в бинокль вдоль речки, протекающей здесь прямым плесом. Увидал дымок, людей. «Хищники... Те самые...» — подумал он, удивляясь таежной смекалке Фильки Шкворня. Вот черная собачонка кинулась там в воду, стала плавать, взлаивать. Прохор несколько раз выстрелил в ту сторону из револьвера. Опять посмотрел в бинокль. Нет, все живы. Только бросили работать, смотрят на него. И собачонка смотрит. Один на вороном коне. Мерзавец! Конокрад, должно быть. Шесть человек. Впрочем, разве это люди — это сволочь, бродяжня, шалыганы. Они враги ему. Разве пустить зарядик из ружья?

Меж тем десятник Игнатьев пришел на стан за динамитными патронами, за бикфордовым шнуром и вновь удалился в горы.

Вскоре дед закричал:

— Порода показалась! Рой, ребята, аккуратней да благословясь.

На вашгердах беспрерывно производилась промывка.

Вот у скалы загремели взрывы. Подпалив шнуры, рабочие прятались там в пещеры. С треском и грохотом рушились камни, обнажая слой кварца. Люди искали в камне «счастливой жилы». День мерк. Стало холодать. Наверное, ляжет иней.

— Речники пошли! — опять прокричал дед и вприпрыжку, по-молодому — к вашгерду. Пока промывка давала легкое, чешуйчатое золото — плохая примета. Но вдруг под речниками обнаружился богатейший пласт. Результаты промывки поразительны: на сто пудов пробы приходилось сорок — пятьдесят золотников драгоценного металла.

— Ребята, глянь! — И все бросились из шурфов к «чертознаю».

На дне вашгерда лежала желто-мутная пересыпь золотых блесток и мелких самородков. Румяный,

седобородый Нил будто опьянел: он готов пуститься в пляс. Люди ликовали: они вырвали золото из недр земли. Ну, ясное дело, и им кой-что перепадет.

О, если бы мог помыслить человек, что, может быть, думают в безмолвии своем эти первозданные золотые блестки! Люди ослепленно ликовали: «Мы покорили золото, что хотим с ним, то и делаем». Золото смеялось им в ответ: «Я покорило человека. Весь мир да поклонится моему величию и да послужит мне».

И светлый день вдруг заалел от крови. Глаза у золотоискателей красны, как у кроликов, кровь сильными ударами орошала мозг, руки тряслись, дрыгали поджилки, сладостно дрожала вся душа. Рабочих била золотая лихорадка.

— Братцы! — едва передохнул дедка Нил, великий «чертознай». — Тяжелое золото... Удача!.. Я говорил... Гаркайте хозяина. Молись, ребята, богу!

— Хозяин! Эй, хозяин!..

Прохор быстро приближался, уверенно ступая по земле, беременной спокон веков золотой отравой.

— С золотом тебя, хозяин! — Рабочие сдернули шапки, закрестились, в пояс кланялись Прохору Петровичу.

— А вас с водкой, — хладнокровно, но весь горя внутренним огнем, сказал Прохор.

— Урра! — И шапки черными птицами полетели вверх. — Урра! Значит, ребята, пьем.

Работа закончена. Довольно. В кварцевых породах тоже оказалось жильное золото. Участок золотоносный. Все — как именинники...

Вечер ложился темный. Комар от холода исчез. Сетки с лиц долой. Люди стали людьми. Рты кривились в благодушных улыбках, глаза щурились на бочонок с вином. Развели костер. Острый нож перерезал оленю горло. Покорный олень вздрогнул и упал. Левая нога его, как бы отлягиваясь от небытия, била копытом воздух. Предсмертная слеза в глазах. Дедка Нил, взглянув на мясника с окровавленным ножом,

что-то вспомнил тяжелое, вздохнул. Оленю вспороли брюхо. Олень лежал теперь смирно, как золото в земле.

На душе Прохора золотые горы: и давят, и звучат, и шепчут о волшебных замках. Тяжело душе человеческой и радостно.

Все выпили по три стопки крепкого вина. Тяжесть ушла с сердца Прохора во мрак. Мрак креп кругом, но пламя огромного костра упругими взмахами опаляло его, гнало прочь. Золотоискатели разулись, вонючие портянки сушатся на палках возле огонька. И всюду мерещится всем золото. Кончик острого носа дедки Нила и бельмо блестят золотым отливом. Вино в стакашках — золотое. Рабочим жарко. Иные сбросили рубахи. Загорелое тело в лучах костра, как золото. И вскоре в темном небе блеснул золотой песок Млечного Пути. А дед Нил, попыхивая трубкой, повел таежные свои золотые сказы:

— На моих памятях было. Вернулся солдат с войны, Пётра Малышев, и сел на свою заимку у Ярого озера в тайге. Осень стояла. Пошел Пётра Малышев гусей промышлять на озере. Стая плавала. Хлоп-хлоп! Стая взнялась и — в облака. Два гуся пали. А третий взлетит да сядет, взлетит да сядет. «Что за чудо, — думает Пётра Малышев, — обра́нить я его не мог; этот гусь в стороне был, дробь не могла его стегнуть». И стал он этого гуся добывать. Ухлопал, выловил, а в зобу у гуся фунта два золота наглотано, оттого и сила в крыльях ослабела. И догадался Пётра Малышев, что озеро его и вся земля кругом золотая: гуси все лето паслись тут, значит, золотых зерен наглотались тут же. И закипело дело. Через три года Пётра Малышев в миллионах ходил. А на пятый год богу душу отдал без покаяния: медведь задрал.

Оленье мясо упрело в котелках. Варево густое, с янтарным золотым жирком. Пар валил вкусный. Вино булькает и булькает в стакашки. Мрак грузнел, падал на огонь. Костер перестал пылать, сел на жар. Меж углей текли-переливались раскаленные червонцы, сотни, тысячи, миллионы миллионов. Прохор

подсчитывал призрачные барыши. Думы его большие и широкие. Но кругом мрак, и нет нигде просвета: черно кругом.

— Ванька! — командует великий «чертознай»; он помолодел на десятки лет, с румяного древнего лица сползли морщины, лишь бельмастый глаз по-прежнему угрюм и стар. — Ванька! Не видишь, что ли?.. Костер на жар сел. Подживи огонь!

Щуплый фельдшер Панфил Иванович Носков быстро ослаб с вина. Ему всего тридцать с небольшим, но он лыс, озлоблен, жалок. Синенький на вате пиджачишко замазан глиной и всякой дрянью, вытянутые в коленях брючки лоснятся и все в заплатах. От него пахнет на версту аптекой. Он выпил еще одну, ошеломившую его, стопку водки, стал, как мартышка, кувыркаться через голову, петь песни и плясать. Потом, неизвестно для чего, покрасил дегтем свои рыжие усы. Все засмеялись, он заплакал.

— Черти, черти, черти! — кричал он и делал страшные глаза. — У меня, может быть, матери сроду не было. Ни отца, ни матери! Я подкидыш. Дайте мне, черти, кусочек матери, дайте мне какой-нибудь уют. Мучительно!.. Мучительно жить так... Тьфу на вас, черти!..

У него дрожали мокрые от дегтя усы, дрожал щетинистый подбородок, градом сыпались слезы. Он кашлял, бил себя в грудь, чихал, сморкался в чью-то грязную портянку.

— Я никого не боюсь! Никого не боюсь! Ни Громова, ни царя, ни бога. А вот смерти боюсь, бабушки с косой...

Лопотал костер. Слышно, как конь Прохора хрупает овес. Где-то филин ухнул и захохотал.

— А вот, братцы, стория... Ну истинная быль, — прохрипел молчаливый верзила Филька Шкворень и пощупал притаившийся в кармане золотой комок. — Брел я как-то по непролазной трещобе, по тайге. То есть прямо скажу, собака не проскочит. Вот чаща! И натакáлся я на два мертвых тела. Душина, как от стервы, как от падали. Я нос зажал, подошел. Змея черная пырсь от них, да виль-виль, в трещобу. По

спине у меня мороз. Окстился, передернул плечами, гляжу: оба мертвых тела ликом низ, быдто землю нюхают. Голова у одного напополам топором распластана, у другого дыра в виске — пуля до смерти поцеловала. Эге! Да ведь это Тришка Мокроус, усищи — во! Хищник он был. И намыли они золота пуда с полтора с другим бродяжкой, у которого башка разрублена. И вышли вдвоем в путь-дорогу. При мне было дело, при моей, значит, бытности. Раскинул я умом, — ну, значит, ясно, не надо и к ворожее ходить. Значит, было так. Заблудились они, жрать нечего, отощали. У Мокроуса топоришко, он и замыслил убить во сне товарища, золотом завладеть и человечинкой отъесться. Вот ладно. Разрубил приятелю башку и только хотел освежевать, а ему пуля вот в это место — хлоп! Вышел лиходей чалдон из чащи с ружьецом, взял золотишко и — домой. Вот как должно быть дело. Золото оно — ого! — грех в нем.

— Неужели человеческое мясо едят? — спросил студент. Он лежал на животе, записывал в книжку таежные рассказы.

— Едят, дружок, едят.

— И ты ел?

— Кто, я? — И огромный Филька Шкворень встал, как крокодил, на четыре лапы. — Было дело, ел. Человечинка сладимая, как сахар.

Все сплюнули. Стали укладываться спать. Шкворень сказал:

— Правильно говорится: «Золото мыть — голосом выть».

Костер угас, храп по тайге и черная, как сажа, темень.

Шмыгали во мраке неумытики. Осторожно, крадучись потрескивала тьма. С гольцов, из падей могильный холод плыл. А там, на речке, и совсем близко — стон, шорох, шепот, ребячий плач. Прохор дремлет чутко, в один глаз. «Надо зарядить ружье, надо зарядить ружье». Но лень пошевелиться. Треск рядом. Всхрапнули, затопали в испуге кони. Прохор

быстро встал. Тихо. Отяжелевшая голова все еще в дреме. «Надо поджививить костер». Он бросил целую охапку сушняка. Хвои сразу вспыхнули, огонь с шумом разъял мрак. Студент Образцов завизжал в бреду. Филька Шкворень, открыв бородатую пасть, с присвистом похрапывал. Вдруг черная собачка деловито обежала вокруг спящих, тявкнула на Прохора и невидимкой скрылась. Первый камень бухнул в пламя.

— Ребята! Вставай! Вставай! — заорал Прохор с звериным страхом в сердце.

Люди повскакали с мест, пялили незрячие глаза, пошатывались, силясь пробудиться.

Второй камень хватил фельдшера в темя. Спящий фельдшер вскочил на ноги, крутнулся волчком и замертво упал.

Третий камень ударил Прохора в плечо.

— Ребята!!

И град — из тьмы — камней.

Рабочие сразу проснулись. Как сумасшедший вскочил Филька Шкворень — в него угодила тяжелая булыга. Пламя разгорелось, взмыло к небу, в тьму. И весь в пламени, из мрака в мрак промчался черный всадник.

— Леший это. Чур нас, чур!! — завопил дедка Нил и закрестился.

Черная собачка с красным слюнявым языком, сверкая, как черт, глазами, прошмыгнула вслед за всадником.

«Съем, съем, съем!!» — стращала она по-человечьи.

Чернорожий безносый всадник на всем маху крикнул гнусавым страшным голосом, от которого мороз пошел у всех по коже:

— Уходи! Нас много! Передушим всех! А ты, сволочь, по людям стрелять?! — и, вытянув Прохора нагайкой, вмиг растворился во тьме — как сгинул.

Прохор, вложив впопыхах патроны, выстрелил в тьму сразу из двух стволов. Треск сучьев, заполошный топот многих ног. Таежная ночь долго перекатывала эхо, как набитую гулким громом бочку.

Дедка Нил дрожал, крестился, закрыв со страху бельмастый глаз. Филька Шкворень, хватаясь за ушибленную руку, ругался матерно. Студент Образцов спал как мертвый, все так же повизгивал в бреду.

Прохор вновь зарядил ружье. Злоба желчью растекалась по его мускулам. Нечувствительный вначале удар кнута теперь жег спину.

— Ребята, айда смотреть, целы ли кони! — сердито приказал он.

Стреноженные лошади паслись вблизи, на луговине. Подогнали к самому костру. Возле мертвого фельдшера старался дедка Нил.

— Прохор Петров, — сказал дряблым голосом Филька Шкворень, — взгляни, пожалуйста, на свои ходики: который час?

— В начале третий.

— Ого! До свету еще далече.

Теплый труп прикрыли брезентом. Из рассеченной острым камнем головы — смешавшаяся с мозгами кровь. Продегтяренные усы встопорщились, левый глаз полуоткрыт, в вечную смотрит тьму. Мертвец печален, страшен. Нил придавил глаз пятаком, сказал:

— Вот, сударик, боялся смерти... вот. А вишь, как она тебя?.. Совсем не шибко.

Фельдшер промолчал. Только показалось Нилу — пятак на мертвом глазу шевельнулся. Люди сгрудились возле покойника. Холодная дрожь прохватывала всех. О многом, о большом была дума каждого, о последнем своем вздохе.

Дедка Нил утер кулаком слезу, снял с гайтана маленький образок Нила преподобного, положил покойнику на скрещенные руки, низко поклонился ему, сказал:

— Царство тебе небесное, страдалец. Эх, жизнь!

И лицо его сморщилось. Все переглядывались, молчали. Оловянные, с вывернутыми веками глаза Шкворня налились кровью.

— Подвернется — стукну, — темным пыхом выдохнул он сквозь зубы. Желтые щеки его втягивались, грудь от тяжелого дыхания ходила ходуном. — Я знаю этого безносого...

— Пей. —И Прохор подал ему большой стакан вина.

Утром, на рассвете, фельдшера закопали на берегу речонки. Впоследствии пристав составит о его смерти акт. Могилу придавили огромными камнями, чтоб мертвеца не слопал зверь. Тесаный белый крест вырос на могиле.

Фельдшер безродный. Не все ль ему равно, где истлевать? И некому его оплакивать, да и не надо. В летнюю пору, может быть, пролетная иволга всплакнет над ним, зимой будут выть метели. Чего же лучше? А тот камень, которым убил его злодей, старанием старого Нила положен в головы усопшего. С этим камнем усопший фельдшер, имярек Носков, по вере Нила, явится на Страшный суд Христа. Злодей же, поднявший руку на невинного, будет лютою казнию казнен и на земле и в небесах.

— Аминь! — И дедка Нил троекратно поклонился могиле в землю.

11

Наконец необходимые справки получились. Заброшенный прииск когда-то принадлежал петербургскому гусару в отставке Приперентьеву. Он увлекся приехавшей в столицу некрасивой дочкой богатого сибирского золотопромышленника, ради денег женился на ней, переселился в Сибирь, все приданое жены пропил, вогнал ее в гроб. А сам, за неуменье ладить с отчаянным приисковым людом, был зверски убит в тайге хищниками. Застолбленный прииск перешел по наследству к его брату, тоже офицеру, проживавшему в Питере. К нему-то и направил свои стопы Прохор Петрович Громов.

Чудаковатый старичок Иннокентий Филатыч Груздев давным-давно переселился в резиденцию «Громово». Прохор вскоре сделал его управляющим хозяйственных заготовок. Старик это выгодное место принял, через два года выстроил двухэтажный, под железной крышей, дом, раздраконил его, как цыганскую шаль, в пять красок, а внизу, по старой купеческой привычке, все-таки открыл мелочную лавчонку,

где сидела его вдовая дочь, располневшая Анна Иннокентьевна. Над лавчонкой яркая, вызывающая улыбки вывеска:

ДУГИ, ХОМУТЫ, ВЕРЕВКИ И ПРОТЧЕЕ СЪЕСТНОЕ
ИННОКЕНТИЙ ГРУЗДЕВ И К°

В свободное от службы время в лавчонку заглядывал и сам Иннокентий Филатыч. Пошутит с покупателями, продаст бутылочку-другую беспатентного винца, купит тайно добрую щепотку, а то и с фунтик краденого золотишка. Ну и сыт.

Однажды вечером подъехал на линейке Громов и — прямо в лавку. Народу никого. Прохор, здороваясь с мягкотелой молодой вдовой, перетянул ее за руку через выручку, поласкал слегка, вдова из кокетства чуть-чуть куснула его щеку, он боднул головой, спросил:

— Дома сам-то?

— Так точно, дома. После обеда спит, — вздохнув, оправилась вдова. — Пойдемте.

Она передом по крутой внутренней лестнице наверх, он сзади — игриво подсаживал вдову ладонями.

— Папенька, да вставайте же!

Старик вскочил с кровати и, натыкаясь спросонья на мебель, радушно бросился к Прохору.

— Гость дорогой!

— Вот что... Завтра в Питер... Хочешь?

Господи!.. Да как же не хотеть? Надо ж старику встряхнуться. Да он в Питере больше двадцати лет не бывал. Да он... Эх, чего тут!.. Да ему там и лошадиные зубы на человечьи обменяют.

— Готов. Согласен. Прошенька! Прохор Петрович! — шамкал старик чуть не плача.

Прохор осмотрелся. Горящая лампадка колыхала полумрак. Серебряные кованые ризы в киоте переливно трепетали. Натертый маслом пол блестел. Красная с просинью, брошенная наискосок, тканая дорожка. На бархатном стуле рыжий большой, с

лисицу, кот. Скатертки по столам, накрахмаленные занавески, гитара на гвозде. Два чижа в двух клетках. Чистота, уют. Прохору понравилось. Сравнил эту горенку с собственным жилищем, где владычествовала Нина с своим прихотливым, тяготившим Прохора вкусом, и спокойствие его на мгновенье омрачилось. Уж очень сложна эта Нина, недотрога, заноза, ходячая мораль. Она гнетет Прохора; она, как фанатичная игуменья в монастыре, не дает распрямиться ему во весь свой рост.

Прохор в темной тоске выпустил через ноздри воздух. Да, он уверен, что был бы много счастливее вот с такой незатейливой, как брюква, толстомясой бабой.

— Просим вас присесть, — полной белой ручкой показала миловидная Анна Иннокентьевна на кресло.

Меж тем Иннокентий Филатыч, достав из миски с водой свою лошадиную челюсть, отвернулся в уголок и, страшно разинув рот, тужился втиснуть зубы куда надо.

Но Прохор что-то промямлил, нахлобучил картуз и широкоплече зашагал к выходу.

Конь, вздымая задом, рысисто подхватил его, понес, брови Прохора распрямились, в глазах блеснул соблазн: Питер, гульба, вольная жизнь вдали от этой чистоплюйки Нины.

Дома с докладами мистер Кук, освобожденный Матвеев, механик, два десятника и заведующий электростанцией.

— К черту доклады! С завтрашнего дня вступает в управление делами инженер Протасов.

На столе телеграмма тестя.

«Выезжаю Питер. Посовещаться с профессором от полноты. Буду ждать Мариинской гостинице. Целую тебя, Нину, внучку. Бабушка тоже кланяется. Дела благодаря бога хороши.

Яков Куприянов».

На следующее утро Нина дулась. Но все же, прощаясь, перекрестила Прохора, сказала:

— В разлуке не будь мальчишкой, будь мужем.

Иннокентий Филатыч с черным саквояжиком в руке, придерживая концами пальцев выпиравшие наружу зубы, почтительно улыбался, бормотал:

— Тоись будем, как два схимонаха инока.

Спустя полторы недели в резиденции «Громово» праздновалось открытие церковноприходской школы, выстроенной на средства Нины. Тридцать две девочки и семьдесят мальчишек составляли комплект учащихся. Девочки в ситцевых темных платьях с белыми, как у институток, пелеринами, мальчишки в казинетовых штанах и куртках — все новое, только что надетое, хрустит и пахнет краской. Нина рекомендовала детям форму беречь, приходить в ней только в училище. Ребята — пальцы в рот — слушали ее улыбчиво, смелые сказали:

— Ладно, Нина Яковлевна, барыня, будь благонадежна, как придем домой, так и поснимаем.

Быстроглазая Катька, любимица Нины, хвасталась среди подруг:

— Я барыни не боюсь, я только барина боюсь, буки. Когда барина нет, я по комнатам бегаю с Верочкой ихней. Моя мамка в куфарках у них. Мы вчерась господские пироги ели. Меня рвало, объелась потому што...

Все собрались в просторном зале школы. Среди почетных лиц — все начальство, даже мистер Кук. Отсутствовал лишь инженер Протасов, — прислал Нине записку: болен. Илья Петрович Сохатых, страстный любитель всяческих торжеств, пришел на молебен один из первых. Он в накрахмаленной сорочке, во фрачной паре и, несмотря на август месяц, в длинных охотничьих валенках. Он расшаркался перед хозяйкой, браво щелкнув по-военному каблук в каблук, первый подал ей руку и, показывая на теплые свои сапожищи, болезненным тенорком сказал:

— Извините. Сильнейший ревматизм. Пардон!

Нина с интересом окинула взглядом потешную его с жирненьким брюшком фигуру, крепко закусила губы и весь молебен мысленно прохохотала. Рыжеватые завитые кудри франта ниспадали на покатые

плечи, где по черному сукну залег неряшливый слой перхоти. Никем заранее не предупрежденный о молебне, он с утра наелся чесноку, — от него пахло, как от вареной колбасы. Ставший было сзади него мистер Кук наморщил нос, пожевал губами и с брезгливым чувством отпрянул прочь.

В первом ряду — брюхо вперед, с двумя медалями и шашкой — пристав. Апоплексическая, короткая шея его сливалась с плечами, на красном загривке — двойная складка жира, из-за щек-подушек — пышные хвосты усов. Сзади него два огромных жандарма — Пряткин и Оглядкин. Хитренькая Наденька, как рюмка, перетянутая корсетом пополам, низко поклонилась Нине и легковейной феей грациозно протанцевала тоже наперед, под бочок к супругу.

Возле Нины Яковлевны увивался красавчик, инженер путей сообщения, Владислав Викентьевич Парчевский. Он дважды подал ей оброненный платок, подставил стул, кинул к ногам коврик. Нина улыбчиво благодарила его взглядом. Рядом с Ниной — учительница Катерина Львовна. Она украдкой посматривает на дверь, ждет кого-то, наверное — Протасова. Но его нет. Брови Кэтти хмурятся.

Когда начальство разместилось, была впущена толпа. Двери затрещали, народ хлынул, как каменный обвал в горы: рев, шепот, писк — и воздух сразу подурнел.

Начался торжественный молебен. Хор пел с воодушевлением, но слишком громко. Величественный отец Александр — в озлащенной ризе — косился на регента и потрясал главой. Однако запьянцовский регент, успевший хватить для праздника четыре рюмочки перцовки, предостерегающие жесты понимал обратно, и всякий раз, когда батюшка по-строгому взирал на орущий хор, регент подавал команду:

— Нажми! — Хор отворял пасти до самого отказа, у ребят звенело в ушах, пелеринки девчонок колыхались.

Новопосвященный дьякон из громовских кузнецов Ферапонт Дерябин — обладатель неимоверного, но совершенно дикого баса. Он всего голоса пока что не

обнаруживал и провозглашал ектении густой октавой, с треском. Лицо у него темное, космы черные, плешь белая, нос запойный, сизый. Сегодня Ферапонт священнодействует впервые. Кучка кузнецов и молотобойцев пришла слушать своего бывшего товарища.

— Чу, как рявкает... Ай да Ферапошка! — восхищенно перешептывались они. — Гляди, гляди: кадит!

Молебен шел к концу. Воздух этой большой комнаты становился непродышным. Открыли окна. Возле школы огромная толпа. Слышались свистульки, затевались песенки, гвалт и руготня. Кто-то крикнул под окном:

— А что, будут нас обедом чествовать, винцом?

Окна пришлось закрыть.

Отец Александр встал за аналой и, приняв осанистую позу, отверз уста для проповеди. Тетка Иринья икнула и полезла вперед, чтоб лучше слышать уважаемого батюшку. За ней, наступая одна другой на пятки, утирая носы кончиками беленьких платков на головах, двинулись старухи. Восемь басов, две октавы и пять теноров повалили к выходу, — проповедь им не интересна. На потных лицах их — решимость биться с дьяконом голосами до конца. Предстояло «многолетие». Вот тут-то они ему покажут. Певчие пробрались в сторожку и хлопнули ради укрепления глоток по два стакашка водки.

— Ферапонт сорвал голос в городе, когда посвящался, — говорили они.

— Ничего подобного. Он, анафема, хитрый, он к «многолетью» копит голос-то.

Между тем отец Александр, то картинно откидывая назад весь корпус, то приникая к аналою, изощрялся в красноречии. Он коснулся в проповеди известной в конце прошлого века Татевской сельской школы знаменитого профессора Рачинского, обрисовал те идеалы, к которым этот педагог стремился, сообщил, что из его школы вышло много известных людей, в их числе художник Богданов-Бельский.

— В школе — вся жизнь народа, в школе — его дух и святыня, в ней не только его настоящее, но и будущее, — говорил покойный Рачинский. Он старался развить в детях глубокое религиозное чувство, а затем

воспитать в них чувство долга и благожелательности, дружбы и приязни, а вместе с тем развить в них твердость, стойкость, самообладание.

Тетка Иринья и старушонки, ни слова не поняв в проповеди, все-таки из приличия стали лить слезу. Нина слушала одним ухом — ее раздражали крики за окном, Кэтти благоговейно посмаркивалась в раздушенный платочек. Пристав пучил глаза и задыхался. Мистер Кук, сглатывая слюну, ощупывал в кармане спички и сигару. Отец же Александр все говорил и говорил.

Но вот толпа у дверей вдруг посунулась носами: пять теноров, две октавы и восемь басов таранами перли обратно на клирос. Сразу запахло сивухой. Басы взглянули на дьякона, дьякон на них, басы вызывающе прикрякнули, прикрякнул и дьякон.

И вот — «многолетие». Все встрепенулись, насторожили слух. Молотобойцы с кузнецами громко откашлялись.

Священник повернулся к народу и, воздев перед собою позлащенный крест, замер в ожидании. Дьякон встал лицом к нему. Их разделял широкий подсвечник, уставленный горящими свечами.

Дьякон чуть откинул голову, повел плечами и начал многолетие всему царствующему дому. Хор грянул дружно и свирепо. Отец Александр осенял народ на три стороны крестом.

Дьякон откинул голову покруче, переступил на правую ногу, опять повел плечами и, подняв голос на два тона выше, заорал многолетие правительствующему синклиту, военачальникам, градоначальникам и всему христолюбивому воинству. Заглушая густой рев, хор хватил надсадисто и сильно. Отец Александр вновь стал осенять народ крестом. Дьякон с затаенной злобой взглянул на клирос. Весь хор ответил ему наглым победным взором.

Глаза, шея и все лицо дьякона налились кровью, он отступил на шаг, выпятил живот, поднял плечи и, нарушая благолепный чин, в забывчивости подбоченился.

— Строительнице до-о-ма сего, болярыне Нине

Яковлевне Гро-о-мо-вой...— грозно зарычал он, как двадцать львов, и пламя многочисленных свечей, будто желтые цветы под ветром, дрогнуло, склонилось долу. Дьякон привстал на цыпочки, весь от натуги затрясся, и устрашающая пасть его разверзалась, как смертоносное хайло царь-пушки. Слова вырывались из огнедышащей груди его подобно лаве.— И всем православным христи-а-а-нам!.. мно-о-га-я!! ле-е-е-та-а-а!!!

При возгласе «многая» — все до единой свечи, отчаянно взвильнув огнями, враз потухли. Последнее же слово взорвалось, как гром. В рамах звякнули стекла. Дьякон взмахнул локтями и, выпустив весь воздух, сразу осел, стал тоньше. Оглушенная толпа, скованная удивленным страхом, открыла рот. Два голоштанника-парнишки шлепнулись на пол мягкими задами и заплакали. Мистер Кук зажал ладонями уши и присел. На клиросе ответный хор гремел на все лады «многая лета», но его никто не слышал — все стояли как в параличе, оглохли. Неистовый бас дьякона сотряс воздух и за стенами школы: вся улица вплотную прихлынула к окнам, ломилась в запертую дверь, кричала:

— Пустите послушать! Эй, хозяевы!..

Отец Александр только тут пришел в себя; с мистическим трепетом глядя на живого, каким-то чудом не умершего от разрыва сердца дьякона, он, пропустив все сроки, с неподобающей ему поспешностью стал осенять народ крестом. Первым ко кресту приложился отец дьякон. Батюшка шепнул ему:

— Феноменально! В Исаакиевский собор тебя, в столицу, Ферапонт. Спасибо!

За дьяконом стала подходить к кресту вся знать.

С клироса под руки вели в больницу главного баса, рябого штукатура Абрама Бухова. Через лишнее усердие он во время «многолетия» с таким азартом разинул пасть, что вывернул скулы, а в глотке хряпнуло. Рот его широко раскрыт и не затворялся. Из вытаращенных глаз — слезы. Он тужился сказать: «за веру, братцы, пострадал», — но вместо слов — животный мык.

Именитые гости пошли завтракать к хозяйке. Огромный дьякон Ферапонт в центре, — на голову выше всех. Шел вперевалку, как медведь. Неостывшее от напряжения лицо его медно-красно, правый глаз полузакрыт; широкий, как у щуки, рот странно искривлен.

Чрез готовую к скандалу слободскую улицу компания гостей шествовала безмолвно, торопливо... Любопытствующая ватага молотобойцев с кузнецами, обгоняя гостей, отвесила дьякону уважительный поклон. Дьякон по-военному приложил два пальца к широкополой шляпе и густо кашлянул: «Ка-хы!» Кузнецы скрылись в переулок, подмастерья повернули обратно, вновь сорвали картузы с голов, опять отвесили дьякону поклон. «К-ха!» — кашлянул дьякон и отплюнулся.

Гостей встречала у крыльца шустрая горничная Настя.

А там, у школы, зеваки все еще ожидали обеда с угощением. И хоть бы хны, хоть бы по стакашку! Зеваки брюзжали.

Филька Шкворень, после отъезда Прохора, сразу соскочил с зарубки. Половину «зажатого» самородка он тайно продал Наденьке, половину Иннокентию Филатычу. На нем красного атласа рубаха, желтые шелковые штанищи, лакированные сапоги, на голове три шляпы, вложенные одна в другую: соломенная, серая и плюшевая черная. Под глазами фонари: побольше, с прозеленью — синий и поменьше—кровяной.

— Громовы! Князья, цари! — шумел он. — Вам для народа водки жаль? Эй, мелюзга, людишки-комаришки, айда за мной!

Он волочил по пыльной дороге десятисаженную веревку, на нее нанизано множество «мерзавчиков», соток, сороковок казенного вина.

— Три ведра, как одна копейка. Айда за мной в прохладно место! Закусок сюда, сыру сюда, окороков! Я люблю людишек...

Гремучее чудище, играя на солнце стеклянной чешуей, брекочет и вьется, как невиданный дракон. Толпа взрослых и ребят со льстивым хохотком и

прибаутками весело шагает в ногу с загулявшим Филькой Шкворнем.

— Кровососы!! — потрясает каторжник кулаками, и его белые лайковые перчатки трещат по швам. — Чьим хребтом они денежки-то зашибают? Нашим. Так или не так, шпана?

— Так, Филипп Самсоныч, правильно, — сглатывая слюни, гнусит толпа.

— Врешь, Громов! — грозится забулдыга. — Думаешь, мне денег жаль? Я жизнь свою не жалею, а деньги — тьфу! — Он сорвал с себя золотые новые часы, грохнул их оземь и с яростью раздробил ударом каблука. — На, на...

Толпа ахнула, пала в пыль и возле часов — в драку.

— Стой, дурачки! Да оторвись моя башка с плеч! Все наше будет, все... — орал Филька Шкворень.

12

Иннокентий Филатыч через всю Сибирь, экономии ради, ехал в третьем классе и целую неделю пил горькую с земляком-кожевенником. Прохор же пьянствовал с соседом по купе, московским купцом Скоробогатовым. Купца в Москве вывели под ручки два его приказчика и усадили в фаэтон. А Прохор пригласил в свое двухместное купе Иннокентия Филатыча. От непробудного пьянства старик опух и перестал узнавать людей. Даже так: все незнакомые люди казались ему близкими друзьями. Такое помрачение ума впервые обнаружилось в Перми. Выпил в буфете, вошел в вагон:

— Ба! Василь Иваныч!.. Вася! Милай... — и бросился с объятиями к зобастой попадье, ехавшей на операцию в Москву.

И вот теперь, в купе: глядел-глядел на Прохора, вдруг сдернул с седой головы картуз, сложил кисти рук одна на другую ладонями вверх и с благоговением посунулся к Прохору:

— Благослови, преосвященнейший владыко...

Прохор улыбнулся, сказал: «Сейчас», — и подал обалдевшему старцу стопку коньяку.

— Господи помилуй, господи помилуй! — перепуганно закрестился старик, а коньяк все-таки выпил. — Вот, Прошенька, беда. — Он пожевал лимон и выплюнул. — С панталыку сшибся. Голова гудит. В глазах червячки какие-то золотенькие метлесят. Охти мне, беда! — вздохнул старик и лег.

Так промелькнула ночь. В полдень стук в дверь:

— Господа пассажиры, приготовьтесь! Через полчаса поезд прибывает в Санкт-Петербург.

В это время гости Нины Яковлевны усаживались за аппетитный стол. На самом почетном месте дьякон Ферапонт. Впрочем, на приготовленное для отца Александра кресло дьякон сел без приглашенья, первый. Он окинул стол бычьим взглядом — выпивки много, от пирогов духмяный пар — и полез в карман за кисетом с трубкой. Но его волосатую руку удержала бдительная рука священника.

— Ка-хы! — недовольно, по-цыгански прикрякнул дьякон, и пустые бокалы венского стекла, вздрогнув, звякнули.

В руках Иннокентия Филатыча — черный саквояж, во рту — лошадиные зубы. Осанистый Прохор — пальто нараспашку, шляпа на затылок — шел впереди, а сзади три носильщика: двое несли чемоданы, третий — трость Прохора.

Меж тем Иннокентий Филатыч поспешной рысью — к главному кондуктору с седыми грозными усами. Тот слегка попятился, удивленно выпучил глаза, Иннокентий же Филатыч, бросив саквояж, радостно обнял железнодорожника, как закадычного друга своего.

— Милый! Василь Иваныч... Вась! — своими лошадиными зубами он вцепился ему в кончик носа, да так крепко, что челюсть ляскнула, вылетела на пол, а из носа потерпевшего побежала на грозные усы струйка крови.

Жандармы, протокол, «кто вы такие, ваш документ и адрес?» Прохор дал кому следует на чай, и вот они в Мариинской гостинице.

Закуска, выпивка, тосты, за тостами снова тосты, дьякон трижды выходил с своей цыганской трубкой в коридор для дымокура. С бокалом в белой холеной руке поднялся красавчик Владислав Викентьевич Парчевский. Он тонок в обхождении и в талии; чистый лоб, горбатый нос и голубые глаза его надменны, бритые же губы с подбородком мягко женственны, улыбчивы. Прохор Громов терпеть его не мог, но инженер Парчевский родной племянник губернатора, он явился к Громову с любезно-настойчивым письмом превосходительного дяди.

— Господа! — взором небожителя окинул он изрядно нагрузившихся едой и питием гостей. — Я был в Англии, которая славится...

— Свиньями... — подсказал явившийся к концу завтрака Протасов.

— Пардон, пардон... — Мягко улыбнувшись губами и жестко кольнув Протасова взглядом, инженер Парчевский полупочтительно полупоклонился в его сторону. — Итак, господа, я был в Англии, которая славится розами, я был в Голландии, которая славится...

— Я знаю чем, — фыркнул дьякон.

— Пардон... которая славится тюльпанами. Эээ... эээ... И вот теперь... так сказать... колесо фортуны забросило меня в холодную Сибирь. И что ж я вижу? Я здесь вижу и розу и тюльпан... — Он легким жестом холеной руки показал на Нину и Катерину Львовну. — Да, да... эээ... э... И розу и тюльпан. Но здесь они более пышные, более ароматные, чем в Голландии и Англии...

— Бросьте ботанику! — язвительно прищурился инженер Протасов, и его пенсне упало.

— Пардон... Позвольте, позвольте... эээ... эээ...

— Не экай, — пробурчал дьякон. — А не смыслишь — сядь! — Он сказал это шепотом, но вышло очень громко.

— Итак, — воскликнул Владислав Парчевский, — я высоко подымаю бокал за драгоценное здравие, за сибирскую розу, за щедрую жертвовательницу на школу пани Нину Яковлевну и за сибирский тюльпан — труженицу этой школы очаровательную панну Екатерину Львовну. Ура! — Он подскочил к дамам, припал на одно колено и с грацией родовитого шляхтича чмокнул благосклонно протянутые ему ручки.

Гости вспотычку лезли чокаться с хозяйкой, кричали «ура». Дьякон Ферапонт хмуро сидел, ковырял в зубах вилкой: отец Александр, оглохший на оба уха, настрого запретил ему кричать «ура» и провозглашать тосты.

— Отец Александр, — гудел дьякон, — ну, разреши хоть многолетие дому сему возгаркнуть... Я в четверть голоса.

— Нельзя, нельзя.

С приходом Протасова завязался общий разговор. Кэтти то и дело смотрелась в маленькое зеркальце. Пристав расстегнул мундир, сопел. Мистер Кук принял горделивую осанку.

Отец Александр, оправив фиолетового шелка рясу, стал излагать свои взгляды на церковноприходскую школу. Нина сочувственно поддакивала. Инженер Протасов, рискуя впасть в немилость Нины, противоречил батюшке. Мистер Кук пока что держал нейтралитет. Владислав Парчевский перебрасывался хлебными шариками с Кэтти, однако чутко прислушивался к разговорам.

— Вы вольнодум, — сказал священник по адресу Протасова. — Вольтерьянство, может быть, уместно здесь, но совершенно недопустимо среди детишек, среди малых сих, и... горе соблазнителям!

— Я бы сказал: не соблазнителям, а детям, — откинулся на спинку стула инженер Протасов. — Кого ж вы будете готовить? Попов, монахов? Школа должна иметь трудовые навыки.

Отец Александр нервной рукой оправил наперсный крест и прищурил на Протасова из-под рыжих бровей свои проницательные глазки.

— Простите... Я лично посещал сельскую школу профессора Рачинского, — с горячностью заговорил священник. — И что ж я там видел? Там во всем царит трудовая дисциплина. Она будет и у нас. Дети работают там на своем огороде, у них свой сад, своя пасека. Есть мастерские. Наряду с общеобразовательной программой профессор знакомит их с естественными науками, с историей.

— А батюшка, разбивая его естественные науки, заставляет детей верить в басню, что Ева создана из Адамова ребра? Так? — ухмыльнулся инженер Протасов.

— А что ж? — привстал священник. — А вы желали бы внушать детям свои басни, басни о том, что человек произошел от обезьяны? По Дарвину?

— О нет, о нет! — И мистер Кук погрозил пространству указательным перстом.

— Ни я, ни тем более Дарвин этого не утверждает, — сказал Протасов. — Мнение, что человек произошел от обезьяны, — мнение вульгарное, вымысел недоучек. Дарвин говорит, что человек и обезьяна произошли от общего рода предков.

— О нет, о нет! — с пылом выпалил мистер Кук и, приняв вид боевого петуха, придвинулся со стулом к Протасову. — Это самый большой ложь!..

— Я, впрочем, и не собираюсь отрицать науку. Я только хочу сказать, — смиренно опустил священник глаза, — что ребенок не может сразу подыматься на гору: он прежде должен научиться ходить. Так и в нашей школе.

Протасов в раздражении грыз ногти. В споре со священником ему трудно было поставить себя за пределы возможности впасть в слишком резкий тон и, во вред себе, наговорить этому искусному богослову дерзостей. О, если б не было здесь Нины и Парчевского.

Отец дьякон под шумок влил в рот крохотную рюмочку ликера и хотел проглотить, но это ему не удалось: весь ликер всосался в язык и десны, как в сухой песок. Тогда дьякон налил полстакана коньяку, но рука священника отстранила сей напиток. Дьякон поник головой и стал дремать.

— Да, да! — лирическим тенорком воскликнул Владислав Парчевский и посверкал глазами на Протасова. — Всем давно известно, что любезнейший Андрей Андреич ни во что не верит, кроме... революции. Для него эволюция не существует.

— Как когда, — поморщился Протасов и серебряной ложечкой поддел грибок. — В вопросе о происхождении человека я как раз верю в эволюцию.

— А вообще, а вообще? — загорячился, заерзал на стуле Владислав Парчевский.

— Вы этим интересуетесь? — И Протасов перестал жевать грибок. Он на мгновенье задумался: «Стоит ли вступать в рискованный спор с этим легкодумным человеком?» И все-таки сказал: — Революция есть та же эволюция, мгновенно вспыхнувшая, чтоб переключить сроки в сотни лет на какой-нибудь год, два. Так по крайней мере мыслят либеральные историки.

— Ха-ха... Мерси за разъяснение... Но метод, метод?! Кровь, насилие? Ведь так?

— О нет, о нет... — лениво и глубокомысленно протянул раскисший мистер Кук, но, заметив, что Нина смотрит на него, вдруг подтянулся весь и сжал губы в прямую линию.

Протасов поддел еще грибок и, разжигая нетерпение Парчевского, не торопясь ответил:

— Революция есть хирургическая операция. Да, кровь. Да, пожалуй, насилие. Но насилие и кровь на пользу организму в целом.

— Это, простите, вторгаться в судьбы мира, — возвысил свой голос отец Александр. — Но мир находится под божественным водительством.

— Да-да, да-да! — Губы мистера Кука воинственно оттопырились и глаза — две пули. — И на каком основании скорей торопить событий? К чему — сейчас, когда человечество подойдет к этому без крови, без катастроф через сто лет?

— Вот именно! — прозвенел Парчевский, и его лицо раскололось пополам — губы мило улыбались, глаза стали обозленными. — Мы суем свои человеческие масштабы в колесо истории. Что такое сто,

двести, триста лет? Миг, не больше. Эээ, эээ... А мы куда-то торопимся, торопимся, торопимся. Абсурд!

Он привстал, сел и стукнул мундштуком по серебряному портсигару.

— Историю делают люди, — спокойно сказал Протасов. — А у людей, естественно, и человеческие масштабы. Человеку положено прожить ну, скажем, шестьдесят лет. Поэтому вполне понятно, что чуткий человек жаждет, чтоб правда на земле наступила сейчас, а не через двести лет. Значит?..

— Значит, вы за революцию? — насторожился Парчевский.

— Позвольте на это вам не ответить. Я могу с революционными идеями соглашаться и не соглашаться. Но мне понятна психология людей, ожидающих политическую катастрофу.

— Я вас понял, — с каким-то неприятным, скрытым смыслом произнес Владислав Парчевский.

В тот же день он отправил дяде-губернатору письмо. Описывая открытие школы, общие порядки на предприятиях Прохора Петровича, он дал меткую характеристику Протасова, священника, Кука, а также служащих из ссыльнополитических и выразил удивление, что до сих пор здесь нет правильного политического надзора во главе с жандармским офицером.

Нина Яковлевна совместно с отцом Александром, Кэтти и учителем Трубиным в послеобеденное время занялись выработкой программы школьного преподавания. Совещание педагогов длилось до глубокого вечера...

А вечером вся троица, вместе с Яковом Назарычем, поехала на лихачах в баню — выгонять винные пары. Они дали друг другу крепкий обет до случая бросить пьянство. Недельку положат на дела, а там... видно будет.

Все трое зверски хлестались вениками, а после бани так же зверски напились в каком-то извозчичьем трактире. Старик опять перестал узнавать людей.

Утром Прохор отвез его к психиатру. Тот подробно расспросил шамкающего Иннокентия Фила-

тыча о симптомах болезни, сделал экскурс в биографию его предков, забирая вглубь до седьмого поколения, покачал головой, помычал, сказал:

— Защурьтесь. — Потом нажал оба глаза большими пальцами. — Поверните глазные яблоки влево. Что видите?

— То ли хвостики виляют, то ли змейки плавают.

— Какого цвета?

— Беленькие будто...

— А желтых нет?

— Бог миловал!

— Ну, это еще полбеды. Не пейте водки. Вот микстура. Когда ляжете в кровать, можете выпить две рюмки коньяку. Так? Так. Через неделю покажитесь.

В гостинице их ждал обер-кондуктор Храпов. За оскорбленье действием он запросил с обидчика три тысячи, иначе — в суд. Иннокентий же Филатыч предложил ему сто рублей. Храпов грозно повел усами и ушел.

Он стал делать надоедливые визиты ежедневно, то рано утром, то поздно вечером. Его нос облеплен пластырем и забинтован. На второй же день, продолжая запугивать свою жертву, он все-таки сбавил плату до двух тысяч восьмисот, Иннокентий же Филатыч посулил ему сто двадцать. На третий день, раскусив, что сибиряки народ богатый, обер-кондуктор крепко был уверен, что свое возьмет, лишь надо умеючи подойти к купцу. И вот, сложив руки на груди, он униженно молил:

— Ваше степенство, господин коммерсант! Примите во внимание мой нос и мою комплекцию. Ведь по усам да по осанке я не меньше, как генерал. Ведь я верой и правдой его величеству тридцать третий год служу. И вдруг такое оскорбление — фальшивыми зубами прямо в нос! За что безвинно страдаю? Пожалейте, ваша милость! У меня жена, дети, теща сухорукая. Будьте милосердны! Я недорого прошу с вас, поверьте совести, недорого. Да другой нахал содрал бы с вас пять тысяч. Клянусь вам честью! А я сегодня хочу спросить с вас две тысячи шестьсот рубликов. Недорого-с, поверьте. Это вас не разорит...

— Сто сорок пять. И больше никаких.

— Что вы, что вы... У моего двоюродного брата страшная грыжа, неизлечимая, деньгами помогать приходится... Будьте милосердны! Ну, так и быть, две с половиной тыщи.

— Полтораста целковых и больше ни гроша. Эка штука — нос?! Да дорого ли он стоит? Да за две-то с половиной тыщи я тебе свою башку дам напрочь отгрызть. На, на, грызи.

— В таком разе до свиданья, ваша честь. До приятного свиданьица у мирового.

Вскоре старик был вызван в суд. Прохор выписал на две с половиной тысячи чек.

— Вот. Ткни тому сукину сыну в пасть, раз тебе своих денег жаль.

— Прошенька, голубчик!.. Спаситель мой, — шамкал обрадованный старец, обнимая благодетеля.

Вечером Прохор Петрович получил от старика письмо.

«Дорогой Прошенька. Рука не поднялась отдать стервецу твой подарок. Я ему сулил триста, четыреста, пятьсот, семьсот шестьдесят рублей. Он же, по наущению сидевшего с ним рядком облаката, в злопыхательстве своем пойти на мировую отказался. Тогда начался суд. Я во всем покаялся, сказал: «Извините, спьяну». Меня присудили к двум неделям высидки. Выходя из зал-суда, я показал обер-кондуктору Храпову, дураку, меж двух пальцев кукиш. Он взглянул на кукиш, схватился за седую, дурацкую голову свою и, видя, что свалял дурака, лишившись всякой с меня платы, выругал меня поматерно и сразу сделался без чувств, потому что упал со стула в обморок. Я нанял за один рубль семьдесят пять копеек крытую карету и поехал в тюрьму. Да будет воля божия».

— Это на него похоже. Ха-ха! — захохотал Яков Назарыч. — Справимся и без него. Тебе завтра когда к министру?

— В двенадцать ровно.

СОДЕРЖАНИЕ

УГРЮМ-РЕКА

Том первый

Часть первая 7
Часть вторая 124
Часть третья 228
Часть четвертая 407

Шишков
Вячеслав Яковлевич

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, ТОМ 4

Редактор *З. Кондратьева*

Художественный редактор *А. Лепятский*

Технический редактор *С. Розова*

Корректоры *М. Муромцева* и *А. Стукова*

Сдано в набор 22/IX 1960 г. Подписано к печати 28/XII 1960 г.
Бум. 84×108[1]/[32] — 16,5 печ. л. = 27,06 усл. печ. л. 25,42 уч.-изд. л.
Тираж 180 000. Зак. 1816. Цена 1 р. 10 к.
Гослитиздат, Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Типография № 2 им. Евг. Соколовой УПП Ленсовнархоза.
Ленинград, Измайловский пр., 29.